



**ЧАРЛЪЗ
ДИККЕНС**



**ДАВИД
КОПЕРФИЛД**

Annotation

«Жизнь Дэвида Копперфилда» — поистине самый популярный роман Диккенса. Роман, переведенный на все языки мира, экранизированный десятки раз — и по-прежнему завораживающий читателя своей простотой и совершенством.

Это — история молодого человека, готового преодолеть любые преграды, претерпеть любые лишения и ради любви совершить самые отчаянные и смелые поступки. История бесконечно обаятельного Дэвида, гротескно ничтожного Урии и милой прелестной Доры. История, воплотившая в себе очарование «старой доброй Англии», ностальгию по которой поразительным образом испытывают сегодня люди, живущие в разных странах на разных континентах.

Издание дополнено примечаниями.

-
- [Чарльз Диккенс](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [Глава XVII](#)
 - [Глава XVIII](#)
 - [Глава XIX](#)

- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)
- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV](#)
- [Глава XXV](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)

- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)

- [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
 - [72](#)
 - [73](#)
 - [74](#)
 - [75](#)
 - [76](#)
 - [77](#)
 - [78](#)
 - [79](#)
 - [80](#)
 - [81](#)
 - [82](#)
 - [83](#)
 - [84](#)
 - [85](#)
 - [86](#)
 - [87](#)
 - [88](#)
 - [89](#)
 - [90](#)
 - [91](#)
-

Чарльз Диккенс
Давид Копперфильд
Том I

Глава I

Я ПОЯВЛЯЮСЬ НА СВЕТ

В самом начале своего жизнеописания я должен упомянуть о том, что родился я в пятницу, в полночь. Замечено было, что мой первый крик раздался, когда начали бить часы. Принимая во внимание день и час моего появления на свет, сиделка и несколько мудрых соседок, живо интересовавшихся моей особой еще за много месяцев до возможного личного знакомства со мной, объявили, что мне суждено быть несчастным в жизни. Они были убеждены, что такова неизбежно судьба всех злосчастных младенцев обоего пола, родившихся в пятницу, в полночь.

Мне нет надобности говорить здесь что-либо по этому поводу, ибо история моей жизни сама покажет лучше всего, оправдалось ли это предсказание или оно было ложным.

Родился я в Блондерстоне, в графстве Суффолк, после смерти моего отца, глаза которого закрылись для земного света за шесть месяцев до того, как мои открылись. И теперь даже, когда я думаю об этом, мне кажется странным, что отец так никогда и не видел меня. И еще более странны мои смутные воспоминания раннего детства, связанные с отцовским белым надгробным камнем на нашем деревенском кладбище: я всегда чувствовал какую-то невыразимую жалость к этому камню, лежащему одиноко во мраке ночи, в то время как в нашей маленькой гостиной было так светло и тепло от зажженных свечей и горящего камина. Порой мне казалось даже жестоким, что двери нашего дома накрепко запираются, как будто именно от этого камня.

Самой важной персоной в нашем роду была тетка моего отца, стало быть, моя двоюродная бабушка, о которой вскоре мне придется немало говорить здесь. Тетка, мисс Тротвуд, или мисс Бетси (как звала ее моя матушка в те редкие минуты, когда ей удавалось, преодолевая свой страх, упоминать об этой грозной особе), вышла замуж за человека моложе себя, красавца, не оправдавшего, однако, поговорки: «Красив тот, кто красиво поступает». Его сильно подозревали в том, что иногда он бил мисс Бетси, а однажды, в пылу

спора по поводу денежных дел, он вдруг дошел до того, что едва не выбросил ее из окна второго этажа. Такое красноречивое доказательство несходства характеров побудило мисс Бетси откупиться от своего муженька и получить развод по взаимному соглашению. С добытым таким образом капиталом бывший супруг мисс Бетси отправился в Индию, и там, по нелепой семейной легенде, его однажды видели едущим на слоне в обществе павиана. Как бы то ни было, десять лет спустя из Индии дошли слухи о его смерти.

Какое впечатление произвели эти слухи на тетушку, осталось для всех тайной, ибо она немедленно после развода приняла снова свое девичье имя, купила себе домик где-то далеко, в деревушке на берегу моря, поселилась там одна со служанкой и с тех пор вела жизнь настоящей отшельницы.

Мне кажется, что отец мой был когда-то любимцем тетки, но он смертельно оскорбил ее своей женитьбой на «восковой кукле», как мисс Бетси называла мою матушку. Она никогда не видела моей матери, но знала, что ей нет и двадцати лет. Женившись, отец мой больше никогда с теткой не встречался. Он был вдвое старше матушки и здоровья далеко не крепкого. Умер отец год спустя после свадьбы и, как я уже упоминал, за шесть месяцев до моего рождения.

Таково было положение вещей в важную для меня, чреватую последствиями пятницу, после полудня. Матушка сидела у камина; ей нездоровилось, и настроение у нее было очень подавленное. Глядя сквозь слезы на огонь, она в глубоком унынии думала о себе и о крошечной неведомой сиротке, которую мир, видимо, собирался встретить не очень-то гостеприимно.

Итак, в ясный ветреный мартовский день матушка сидела у камина, со страхом и тоской думая о том, удастся ли ей выйти живой из предстоящего испытания, как вдруг, утирая слезы, она увидела в окно идущую через сад незнакомую леди.

Матушка еще раз взглянула на леди, и верное предчувствие сказало ей, что это мисс Бетси. Заходящее солнце из-за садовой ограды озаряло своими лучами незнакомку, направлявшуюся к дверям дома, и шла она с таким самоуверенным видом, с такой суровой решимостью во взоре, которых не могло быть ни у кого, кроме мисс Бетси. Приблизившись к дому, тетушка представила еще одно доказательство того, что это была именно она: мой отец часто

говаривал, что тетка его редко поступает, как обыкновенные смертные. И на этот раз, вместо того чтобы позвонить, она подошла к окну и стала глядеть в него, прижав так сильно нос к стеклу, что по словам моей бедной матушки, он у нее моментально сплюснулся и совсем побелел.

Появление ее чрезвычайно напугало мою мать, и я всегда был убежден, что именно мисс Бетси я обязан тем, что родился в пятницу. Взволнованная матушка вскочила со своего кресла и забилась позади него в угол. Мисс Бетси, медленно и вопросительно вращая глазами, подобно турку на голландских часах, обводила ими комнату; наконец взор ее остановился на матушке, и она, нахмурившись, повелительным жестом приказала ей открыть дверь. Та повиновалась.

— Вы, полагаю, миссис Копперфильд? — спросила мисс Бетси.

— Да, — пролепетала матушка.

— Мисс Тротвуд, — представилась гостья. — Надеюсь, вы слышали о ней?

Матушка ответила, что имела это удовольствие. Но у нее было неприятное сознание, что это «великое» удовольствие отнюдь не отражается на ее лице.

— Так вот, теперь вы видите ее перед собою, — заявила мисс Бетси.

Матушка поклонилась и попросила ее войти. Они прошли в маленькую гостиную, откуда только что вышла матушка, ибо в парадной гостиной не был затоплен камин, вернее сказать, он не топился с самых похорон отца.

Когда обе они сели, а мисс Бетси все не начинала говорить, матушка, после тщетных усилий взять себя в руки, расплакалась.

— Ну-ну-ну, — торопливо сказала мисс Бетси. — Оставьте это! Полноте! Полноте же!

Однако матушка не могла справиться с собой, и слезы продолжали литься, пока она не выплакалась.

— Снимите свой чепчик, дитя мое, — вдруг проговорила мисс Бетси, — дайте-ка, я погляжу на вас.

Матушка была слишком перепугана, чтобы не покориться этому странному требованию, и тотчас же сняла чепчик, при этом она так нервничала, что ее густые, чудесные волосы совсем распустились.

— Боже мой! — воскликнула мисс Бетси. — Да вы совсем ребенок!

Несомненно, матушка даже для своих лет была необычайно моложава. Бедняжка опустила голову, словно в этом была ее вина, и, рыдая, призналась, что, быть может, она слишком молода и для вдовы и для матери, если только, став матерью, она останется в живых.

Наступило снова молчание, во время которого матушке почудилось, что мисс Бетси коснулась ее волос, и прикосновение это было как будто ласково. Матушка с робкой надеждой взглянула на тетку мужа, но та, приподняв немного платье, поставила ноги на решетку камина, охватила руками колени и, нахмурившись, уставилась на пылающий огонь...

— Скажите, ради бога, — вдруг неожиданно заговорила тетюшка, — почему это «Грачи»?

— Вы говорите о нашей усадьбе? — спросила матушка.

— Почему именно «Грачи»? — настаивала мисс Бетси. — Конечно, вы назвали бы свою усадьбу как-нибудь иначе, будь хотя у одного из вас на грош здравого смысла.

— Название это было дано мистером Копперфильдом, — ответила матушка. — Когда он купил эту усадьбу, ему нравилось, что кругом много грачиных гнезд.

В этот момент вечерний ветер так загудел среди старых вязов, что и матушка и мисс Бетси невольно поглядели в ту сторону. Вязы склонились друг к другу, словно великаны, перешептывающиеся между собой; затихнув на несколько секунд, они снова яростно заметались, размахивая своими косматыми ручищами, как бы взволнованные только что полученными ужасными вестями. А старые грачиные гнезда, выдавшие на своем веку немало непогод, раскачивались на верхних ветвях, подобно обломкам корабля на бурных морских волнах.

— Но где же птицы? — спросила мисс Бетси.

— Что? — рассеянно откликнулась матушка.

— Грачи... что с ними случилось? — допрашивала мисс Бетси.

— Да за все время нашей жизни их вовсе и не было здесь, — ответила матушка. — Мы думали... мистер Копперфильд думал, что в этой усадьбе множество грачей, но, видимо, гнезда слишком стары, и грачи давно покинули их.

— Давид Копперфильд весь тут, с головы до ног! — воскликнула мисс Бетси. — Назвать усадьбу «Грачи», когда и близко-то нет и единого грача, только потому, что он видел грачиные гнезда.

— Мистер Копперфильд умер, — дрожащим голосом сказала матушка, — и если вы осмелитесь дурно говорить о нем...

Тут у матушки, мне кажется, промелькнуло желание броситься на тетушку, которая без труда могла бы справиться с нею одной рукой, даже будь бедняжка и в лучшем состоянии, чем в этот вечер. Но не успела матушка подняться, как порыв этот мгновенно угас. Она смиренно опустила в кресло и лишилась чувств. Когда матушка пришла в себя, или, вернее, когда ее привела в чувство мисс Бетси, она увидела тетушку стоящей у окна.

Сумерки уже сменились ночной тьмой, и обе женщины видели друг друга только благодаря горевшему камину.

— Ну, хорошо, — проговорила мисс Бетси, возвращаясь на свое место, словно она на секунду только подходила взглянуть в окно. — Когда же вы ожидаете?

— Я вся дрожу, — промолвила чуть слышно матушка. — Уж не знаю, что со мной... Наверно, я умру...

— Нет! Нет! — отрезала мисс Бетси. — Выпейте чаю.

— Ах, боже мой, боже мой! Вы думаете, что это действительно поможет мне? — пролепетала матушка.

— Конечно, поможет. Ведь все это у вас одно воображение... Как звать вашу девочку?

— Но я еще не знаю, мэм, будет ли это девочка, — простодушно сказала матушка.

— Настоящий ребенок! Ведь я же не об этом говорю! — нетерпеливо воскликнула мисс Бетси. — Я имела в виду вашу служанку.

— Ее зовут Пигогги, — пояснила матушка.

— Пигогги?!^[1] — повторила с каким-то негодованием мисс Бетси. — Неужели, дитя мое, вы хотите уверить меня, что какое-либо существо на свете могло при крещении получить имя Пигогги?

— Это ее фамилия, слабым голосом отозвалась матушка. — Мистер Копперфильд звал ее по фамилии, потому что у нас с нею одинаковое имя.

— Эй, Пиготти! — крикнула мисс Бетси, распахивая дверь гостиной. — Чаю! Вашей хозяйке что-то нездоровится. Только живей!

Отдав это приказание таким тоном, словно она повелевала в этом доме с самого его основания, мисс Бетси выглянула в дверь, чтобы убедиться, идет ли Пиготти, — и, увидев, что та, пораженная незнакомым голосом, уже шла по коридору с зажженной свечой, захлопнула дверь и уселась попрежнему: приподняла платье, поставила ноги на решетку камина и охватила колена руками.

— Вы говорите, что, быть может, это будет девочка, — начала мисс Бетси, — а я так не сомневаюсь, что будет именно девочка, предчувствую это. И вот, дитя мое, с момента появления этой девочки...

— А может быть, и мальчика, — осмелилась заметить матушка.

— Говорю вам; у меня есть предчувствие, что это должна быть девочка. Не противоречьте!.. С момента появления этой девочки я намерена, дитя мое, стать ее другом. Хочу быть ее крестной матерью и прошу вас назвать ее Бетси Тротвуд-Копперфильд. У этой Бетси Тротвуд не должно быть ошибок, в жизни. Над ее, бедняжки, чувствами не будут уж издеваться. Ей нужно дать хорошее воспитание, ее надо будет хорошенько предостеречь от того, чтобы она безрассудно не доверяла там, где не следует доверять. Уж это будет моя забота.

После каждой фразы мисс Бетси покачивала головой, словно припоминая свои собственные старые обиды и, видимо, с трудом удерживаясь от желания сказать о них больше. Так, по крайней мере, показалось матушке при слабом свете мерцающего камина.

Помолчав немного, мисс Бетси мало-помалу перестала качать головой и вдруг спросила:

— Дитя мое, был ли добр к вам Давид? Дружно вы жили с ним?

— Мы были очень счастливы, — ответила матушка, — мистер Копперфильд был даже слишком добр ко мне.

— Наверно, он избаловал вас? — допрашивала тетушка.

— Боюсь, что да: он избаловал меня, и теперь, снова оставшись одна в этом суровом мире, снова предоставленная самой себе, я это очень чувствую, — рыдая, промолвила матушка.

— Ну, не плачьте же! Вы не подходили друг к другу, и вообще едва ли возможно это на свете, — вот почему я и задала вам такой

вопрос. Вы ведь были сирота, не правда ли?

— Да.

— И гувернантка?

— Я служила бонной в семье, где бывал мистер Копперфильд. Он мне выказывал много доброты и внимания и в конце концов сделал мне предложение. Я дала свое согласие, и мы повенчались, — простодушно рассказала матушка.

— Ах, бедная крошка! — задумчиво проговорила тетушка, продолжая, нахмурившись, смотреть в огонь. — А умеете ли вы что-нибудь делать?

— Простите, мэм, я вас не понимаю, — пробормотала матушка.

— Ну, например, вести хозяйство.

— Боюсь, что я мало смыслю в этом, — призналась матушка. — Не так, как бы мне хотелось. Но мистер Копперфильд учил меня...

— Да много ли сам он смыслил в этом! — перебила мисс Бетси.

— А все же я думаю, что при моем старании и его терпении я выучилась бы, если б не это великое несчастье — его смерть...

Тут рыдания не дали матушке закончить фразу.

— Не надо! Не надо! — уговаривала мисс Бетси.

— Я аккуратно вела свою расходную книгу, и каждый вечер мы с мистером Копперфильдом подсчитывали расходы... — прорыдала матушка, снова впадая в отчаяние.

— Ну, довольно же! Довольно! Не надо плакать! — продолжала уговаривать мисс Бетси.

— И у нас из-за этого никогда не бывало ни малейшего недоразумения, разве только иногда мистер Копперфильд упрекал меня за то, что мои тройки похожи на пятерки, а хвостики моих семерок не отличить от хвостиков девяток, — заливаясь слезами, закончила матушка.

— Вы доведете себя таким образом до болезни, — заметила мисс Бетси, — и это, знаете, будет плохо и для вас и для моей крестницы. Полноте же! Не надо так!

Эти доводы заставили матушку несколько успокоиться, хотя, видимо, здесь еще большую роль сыграло все возраставшее недомогание. Наступило молчание, время от времени прерываемое лишь какими-то восклицаниями мисс Бетси, — она все продолжала сидеть у камина, поставив ноги на решетку.

Наконец тетушка снова заговорила:

— Я знаю, что Давид на свои деньги приобрел пожизненную ренту. А что, скажите, сделал он для вас?

— Мистер Коппефильд был так добр и заботлив, что часть доходов с этой ренты завещал мне, — с трудом ответила матушка.

— Сколько? — спросила мисс Бетси.

— Сто пять фунтов стерлингов^[2] в год.

— Ну что ж! Он мог поступить и хуже! — заметила тетушка.

Это слово «хуже» соответствовало моменту. Матушке стало настолько хуже, что Пигогги, которая пришла с чайным прибором и свечами, сейчас же это бросилось в глаза. Конечно, мисс Бетси заметила бы это и раньше, будь в комнате посветлее. Тут Пигогги без дальних слов увела свою хозяйку наверх, в ее комнату. Затем она немедленно послала за сиделкой и доктором своего племянника, Хэма Пигогги, которого вот уже несколько дней держала в доме тайком от матушки на случай экстренной нужды.

Доктор и сиделка — эти «союзные державы» — явились почти одновременно. Они были очень удивлены при виде незнакомой леди величественного вида, которая, восседая у камина, со шляпкой, висевшей на левой руке, набивала себе уши ватой. Так как Пигогги ничего не знала о ней, а матушка ни слова не сказала, то появление незнакомки казалось таинственным. То обстоятельство, что у нее в кармане был целый склад ваты, которой она не переставала затыкать себе уши, нисколько не умаляло важности ее вида.

Доктор поднялся наверх, к матушке, а потом спустился. Предвидя, что ему, быть может, придется провести несколько часов в обществе незнакомой леди, он старался быть как можно вежливее и общительнее. Доктор был самым кротким, самым мягким человеком на свете. Входя и выходя из комнаты, он обычно проскальзывал боком, стремясь занять как можно меньше места. Ходил он тише и медленнее, чем тень в «Гамлете»^[3], и, быть может, еще бесшумнее, а говорил так же тихо, как и ходил.

Мистер Чиллип (так звали доктора), склонив голову набок, кротко поглядывал на тетушку, а затем, коснувшись своего левого уха, очевидно намекая на вату, с легким поклоном спросил:

— Какое-то местное раздражение, мэм?

— Что-о? — отозвалась тетушка, вытаскивая из одного уха, словно пробку, комок ваты.

Мистер Чиллип, как потом рассказывал матушке, до того был ошеломлен резкостью ее тона, что удивительно, каким образом он при этом не потерял самообладания и смог кротко повторить свой вопрос:

— Какое-то местное раздражение, мэм?

— Что за вздор! — оборвала его тетушка, снова закупоривая себе ухо.

После этого мистеру Чиллипу оставалось лишь сесть и беспомощно уставиться на тетушку, глядевшую в огонь камина. И так сидел он до тех пор, пока его не позвали наверх. Через какие-нибудь четверть часа он вернулся.

— Ну? — проговорила тетушка, вытаскивая вату из того уха, которое было ближе к доктору.

— Ну что же, мэм, — ответил мистер Чиллип, — мы... — мы понемножкудвигаемся, мэм.

— Э-эх... — с полнейшим презрением вырвалось у тетушки, и она опять закупорила себе ухо.

Тут мистер Чиллип, по его словам, действительно был почти возмущен, и возмущен именно как врач. Тем не менее он около двух часов продолжал сидеть и смотреть на тетушку, глядевшую в огонь, пока его еще раз не позвали наверх. Через некоторое время он вернулся.

— Ну? — спросила тетушка, вытаскивая вату из того же уха.

— Ну что же, мэм, — ответил мистер Чиллип, — мы... мы понемножкудвигаемся, мэм.

— Э-эх... — протянула тетушка таким сердитым тоном, что мистер Чиллип не смог уже выносить дольше; он предпочел отправиться на лестницу и сидел там, в темноте, на сквозняке, до тех пор, пока за ним снова не прислали.

Хэм Пиготти, посещавший народную школу, большой знаток катехизиса, а потому свидетель, заслуживающий доверия, рассказывал на следующий день, как он имел несчастье час спустя после описанной сцены полуоткрыть дверь в гостиную. Здесь, очень взволнованная, расхаживала из угла в угол мисс Бетси. Заметь мальчика, она мгновенно набросилась на него, и он стал ее жертвой. Очевидно, вата недостаточно плотно закупоривала ее уши, и когда,

сверху, из комнаты матушки, более явственно, поносилось топание ног и голоса, мисс Бетси вымешала на злосчастном Хэме избыток своего волнения: она, держа за ворот куртки, безостановочно заставляла его маршировать из угла в угол, затыкала ему уши ватой, очевидно принимая их за свои собственные, и вообще всячески тормошила и тиранила его.

Все это отчасти было подтверждено его теткой, Пиготти, видевшей Хэма в половине первого ночи, сейчас же после его, освобождения. Она уверяла, что племянник ее был не менее красен, чем я.

Добряк доктор вообще не был злопамятен, а в такой момент и подавно. Как только мистер Чиллип, в свою очередь, освободился, он бочком пробрался в гостиную, где была тетушка, и с самым добродушным видом сказал ей:

— Ну, мэм, я счастлив, что могу поздравить вас.

— С чем? — резко спросила тетушка.

Суровость мисс Бетси снова смутила мистера Чиллипа, и, чтобы как-нибудь смягчить ее, он, улыбаясь, поклонился.

— Господи, помилуй! Да что же творится с этим человеком! — с раздражением воскликнула тетушка. — Немой он, что ли?

— Успокойтесь, мэм, — проговорил мистер Чиллип самым сладким голосом, — теперь больше нет оснований тревожиться. Успокойтесь же!

Впоследствии считалось почти чудом что тут тетушка не схватила доктора за шиворот и не вытрясла из него то, что он должен был сказать, а лишь ограничилась тем, что потрясла собственной головой, правда, так потрясла, что у бедняка душа ушла в пятки.

— Ну вот, мэм, я счастлив поздравить вас, — заговорил мистер Чиллип, собравшись с духом. — Все кончено, и благополучно кончено.

Все пять минут, или около этого, пока мистер Чиллип собирался и произносил эту речь, тетушка пристально разглядывала его.

— Как она чувствует себя? — спросила тетушка, скрестив руки; на левой из них продолжала болтаться шляпка.

— Надеюсь, мэм, что вскоре она будет себя чувствовать совсем хорошо, — ответил мистер Чиллип, — настолько хорошо, насколько может себя чувствовать юная мать при таких печальных семейных

обстоятельствах. Теперь нет никаких препятствий к тому, чтобы вы с ней повидались. Это, быть может, даже принесет ей пользу.

— А «она»? Как «она»? — с суровым видом продолжала спрашивать тетушка.

Мистер Чиллип, склонив набок голову, посмотрел на тетушку, словно ласковая ручная птичка.

— Новорожденная здорова? — переспросила тетушка.

— Но я предполагал, мэм, что вы уже знаете: это мальчик.

Тетушка не проронила ни единого слова, но, схватив шляпу за ленты, хлопнула ею по голове мистера Чиллипа. Затем, напялив смятую шляпку себе на голову, мисс Бетси вышла и исчезла, как разгневанная фея. Никогда уже больше она здесь не появлялась, да, никогда...

Я лежал в своей корзинке, матушка — на кровати, а Бетси Тротвуд-Копперфильд навеки осталась в той стране снов и теней, откуда я только что явился. Луна, светившая в окно нашей комнаты, заливала своим светом одновременно и жилища многих таких же, как я, новых пришельцев земли и холмик с прахом человека, без которого мне никогда бы не появиться на свет...

Глава II

Я НАБЛЮДАЮ

Первое, что рисуется передо мной, когда я оглядываюсь на далекие дни моего раннего детства, это матушка с ее красивыми волосами и юным видом. Потом — Пиготти; она какая-то бесформенная, глаза у нее так темны, что бросают тень на лицо, а руки и щеки до того тверды и красны, что я удивляюсь, почему птицы не клюют их вместо яблок.

Мне кажется, что я припоминаю, как матушка и Пиготти на некотором расстоянии от меня присели или стоят на коленях, а я неуверенными шажками расхаживаю от одной к другой. Я как сейчас вижу перед глазами и даже ощущаю шероховатый от шитья, как терка, указательный палец Пиготти, когда она протягивает его мне. Что же еще вспоминается мне? Посмотрим... Словно сквозь туман виднеется наш дом... В нижнем этаже кухня Пиготти, выходящая на задний двор. Посредине этого двора высится на столбе голубятня без единого голубя, а в углу приютилась большая собачья конура без собаки; по двору бродит с угрожающим, свирепым видом множество кур, они мне кажутся огромными. Хорошо помню петуха, взобравшегося на столб прокричать свое «кукареку».

Когда я гляжу на него из кухонного окна, мне кажется, что он обращает на меня особенное внимание, и я дрожу от страха, до того он представляется мне лютым. А гуси, бродящие по ту сторону ограды! Когда я прохожу мимо, они гонятся за мной, вытянув свои длинные шеи. Вот эти гуси даже снятся мне, по ночам, как, вероятно, снятся львы тому, кто живет среди диких зверей.

Вот длинный коридор — какой бесконечный! Он ведет из кухни Пиготти к входным дверям. В этот коридор выходит темная кладовая, откуда, когда открывается дверь, несет затхлым запахом маринадов, мыла, перца, свечей и кофе. Мимо такого едва освещенного места вечером надо пробегать как можно скорее, ибо совершенно неизвестно, что может оказаться между всеми этими кадками, кувшинами и старыми ящиками от чая, когда там никого нет с тускло горящей лампочкой. Помню две гостиных: одну, в которой мы сидим

вечерами — матушка, я и Пиготти, — ведь она, когда кончает работу и никого нет, наш неразлучный компаньон; другую — парадную гостиную, где мы проводим время по воскресеньям, Она более пышна, но менее уютна и кажется мне унылой, вероятно потому, что Пиготти, рассказывая мне о похоронах отца, — уж не знаю когда, но, видимо, целую вечность тому назад, — упомянула о том, что в этой самой гостиной тогда собрались гости, все в черном. А однажды в ней же в воскресенье вечером матушка прочла нам с Пиготти, как воскрес из мертвых Лазарь. Я так был этим напуган, что матушка и Пиготти потом принуждены были вынуть меня из кровати, чтобы показать в окно залитое лунным светом тихое кладбище, где умершие спокойно лежат в своих могилах.

Ничего не знаю такого зеленого, как трава этого кладбища, ничего такого тенистого, как его деревья, не знаю большей тишины, чем та, которая царит вокруг его могил... По утрам, когда, стоя на коленках в своей кровати, я пляжу туда, я вижу пасущихся там овец, вижу, как красное солнышко заливает солнечные часы, и спрашиваю себя, рады ли эти часы, что они снова могут показывать время.

А вот наша скамья в церкви; какая у нее высокая спинка! Вблизи нас окно, в которое виден наш дом. В течение всей обедни Пиготти не перестает поглядывать в это окно, желая убедиться, не горит ли наш дом и не грабят ли его. Отвлекаясь сама таким образом от церковной службы, Пиготти, однако, бывает очень недовольна, когда я, взобравшись с ногами на скамью, тоже пляжу в окно. Хмурясь, она показывает мне, что я должен смотреть на священника. Но не могу же я без конца смотреть на него, я и без того хорошо знаю нашего священника, когда на нем нет этой белой штуки. Я боюсь даже, что он удивится, почему я так уставился на него, и, пожалуй, может еще прервать службу и спросить, что мне надо. А что тогда делать? Ужасно скверно зевать, но мне надо же чем-нибудь заняться. Смотрю на матушку, — она делает вид, что не замечает меня. Смотрю на мальчика, сидящего в проходе между скамьями, — он строит мне рожи. Смотрю на солнечный луч, вырывающийся через портик в открытую дверь, и вижу в этой двери заблудшую овцу, — не грешника, нет, а настоящую овцу; она стоит в раздумье, не войти ли ей в церковь. Чувствую, что если слишком долго буду смотреть на нее, то не удержусь и скажу что-нибудь громко. А тогда — что только

будет со мной! Смотрю на мраморные надгробные доски, вделанные в церковные стены, и стараюсь думать о покойном мистере Баджерсе, прихожанине нашей церкви. Меня интересует вопрос, звали ли к мистеру Баджерсу доктора Чиллипа, а если звали, то как это он не смог вылечить его. И раз он не в силах был спасти больного, то как, должно быть, ему неприятно теперь каждое воскресенье смотреть на эту надгробную надпись. С мистера Чиллипа в его праздничном галстуке я перевожу глаза на кафедру священника, и у меня вдруг мелькает мысль, каким прекрасным местом для игры могла бы быть эта самая кафедра, хотя бы, например, крепостью; я бы защищал ее, другой мальчик бросился бы по лестнице в атаку, а я тут швырнул бы ему в голову бархатную подушку с кистями... Мало-помалу глаза мои начинают смыкаться. Я слышу еще, как священник поет нагоняющий сон псалом. Духота страшная. Вскоре я ничего уже не сознаю — до тех пор, пока с шумом не сваливаюсь под скамью, откуда Пиготти вытаскивает меня, полумертвого от страха.

А теперь я вижу фасад нашего дома с настезь открытыми решетчатыми окнами спальни. В них так и льется сладкий душистый воздух, в саду на ветвях все еще раскачиваются старые, растрепанные грачиные гнезда. Но вот я в другом саду — в том, что позади двора, где пустая голубятня и пустая собачья конура. Это настоящий заповедник бабочек. Вокруг этого сада высокий забор; на калитке висит замок. Деревья гнутся под тяжестью плодов. Никогда, кажется, во всю свою жизнь потом я не видывал ни в одном саду такого множества чудесных спелых фруктов. Матушка рвет их и кладет в корзину, а я украдкой набиваю себе рот крыжовником, делая вид, что совершенно им не интересуюсь.

Но вот поднимается страшный ветер — и лета как не бывало. В зимние сумерки мы с матушкой играем и танцуем в гостиной... Запыхавшись, матушка бросается в кресло. Я вижу, как она закручивает на пальце свои светлые кудри, выпрямляет свою талию; никто не знает лучше моего, как она рада, что хорошо выплядит, как гордится тем, что такая красивая.

Все это, да еще то, что мы с матушкой оба немножко побаиваемся Пиготти и во многих случаях делаем так, как она хочет, — мои самые ранние впечатления детства.

Однажды вечером сидели мы с Пиготти одни у камина в гостиной. Я читал ей о крокодилах. Должно быть, читал я не очень-то понятно или она, бедняжка, не особенно внимательно слушала меня, но только, помнится, после моего чтения у нее осталось смутное впечатление, что крокодилы — это род растений. Чтение утомило меня, и мне ужасно захотелось спать. Но так как мне было разрешено ждать возвращения матушки от соседей, то я скорее умер бы на своем посту, чем лег бы в кроватку. Я уже дошел до такого состояния сонливости, что Пиготти на моих глазах стала расти и делаться огромной. Тут, чтобы не закрывались глаза, я поддерживаю веки указательными пальцами и упорно гляжу на работающую Пиготти. Смотрю на кусочек восковой свечи, которым, она воцит нитку. Весь изборожденный, он кажется совсем сморщенным. Таращу глаза на крошечный домик с соломенной крышей, где обитает нянин сантиметр, и на ее рабочую коробку с задвигающейся крышкой, на которой изображен собор св. Павла с яркорозовым куполом, и на медный наперсток на ее пальце, и, наконец, опять на самую Пиготти; она мне кажется прелестной. Сон так одолевает меня, что я чувствую: на миг закрою глаза, и тогда конец — засну.

— Пиготти, были ли вы когда-нибудь замужем? — вдруг спрашиваю я.

— Господь с вами! — восклицает Пиготти. — Почему только вам пришла в голову мысль о замужестве?

Она отвечает мне с таким оживлением, что сонливости моей как не бывало; Пиготти перестает штопать и, вытянув руку с иголкой во всю длину нитки, смотрит на меня.

— Так были вы когда-нибудь, замужем, Пиготти? — переспрашиваю я. — Вы ведь очень красивая, не правда ли?

И я действительно считаю ее красавицей, хотя и в другом роде, чем матушку. В нашей парадной гостиной стоит красная бархатная скамеечка, на ней матушка нарисовала букет цветов. И вот мне кажется, что щеки Пиготти очень похожи на эту самую красную скамеечку. Правда, бархат мягкий, а лицо Пиготти шероховатое, но это не так уж важно...

— Я? Красавица, Дэви? Где уж там, дорогой мой! Но откуда все-таки взялась в вашей голове мысль о замужестве?

— Не знаю. А скажите, ведь нельзя же выйти замуж сразу больше чем за одного человека или можно? — допрашиваю я.

— Конечно, нет, — тотчас решительно отвечает Пиготти.

— Но если выйти замуж, а человек этот умрет, разве тогда нельзя выйти за другого, Пиготти? — опять спрашиваю я.

— Можно, — отвечает Пиготти, — если пожелаете. Это — как кто хочет...

— А вы сами, Пиготти, что об этом думаете? — говорю я и смотрю на нее с таким же любопытством, с каким она перед тем плядела на меня.

— Я думаю, — говорит Пиготти после некоторого колебания, перестав на меня смотреть и снова взявшись за работу, — я думаю, Дэви, что я никогда не была замужем и не собираюсь выходить. Вот все, что я знаю на этот счет.

— Скажите, Пиготти, ведь вы же не сердитесь на меня, не правда ли? — спрашиваю я, помолчав минутку.

Я действительно решил, судя по краткости ее ответа, что она недовольна мной, но ошибся: отбросив чулок, который она штопала, Пиготти раскрывает свои объятия и крепко прижимает к себе мою курчавую голову. Когда Пиготти, при своей полноте, делает более или менее резкое движение, то пуговицы ее платья обыкновенно отлегают, а на этот раз, я хорошо помню, у нее отскочили две пуговицы на другой конец гостиной.

— Теперь почитайте-ка мне еще об этих самых крокиндах, — говорит Пиготти, до сих пор не одолевшая слова «крокодил». — Признаться, я не все о них разобрала.

Помнится, я не мог хорошенько понять, почему у Пиготти был такой странный вид и почему ей вдруг опять захотелось вернуться к крокиндам. Тем не менее мы снова принимаемся за этих чудовищ; я читаю с новым жаром, ибо от моей сонливости и и следа не осталось. Чего мы тут только не делали! И закапывали яйца крокодилов в песок, чтобы солнце выводило из них детенышей, и дразнили неповоротливых крокодилов, безнаказанно увиваясь вокруг них, и, подобно туземцам, бросались за ними в воду и всаживали им в пасть заостренные колья, — словом, мы как бы прошли сквозь целый крокодилий строй, по крайней мере я. Относительно же Пиготти у

меня были сомнения, — она то и дело по рассеянности тыкала в себя иглой, то в лицо, то в руку.

Уж мы исчерпали все о крокодилах и перешли к аллигаторам, когда у садовой калитки раздался звонок. Мы бросились отворять. У дверей стояла матушка — показалась она мне необыкновенно хорошенькой — и с ней джентльмен с прекрасными черными волосами и бакенбардами^[4], тот самый, который в прошлое воскресенье провожал нас из церкви.

Когда матушка у порога, нагнувшись, схватила меня на руки и расцеловала, джентльмен, помню, сказал:

— Да... малыш этот счастливее самого короля.

— Что это значит? — спросил я его, глядя через плечо матушки.

Он погладил меня по голове. Почему-то ни он сам, ни его низкий голос не понравились мне. Инстинктивно как-то мне было неприятно, что его рука, касаясь меня, дотрагивается в то же время до руки матушки, и я изо всех сил оттолкнул его.

— Ах, Дэви! — с упреком воскликнула матушка.

— Славный мальчик, — промолвил джентльмен. — Его ревнивая любовь несколько меня не удивляет.

Никогда до сих пор не видел я на щеках матушки такого чудесного румянца. Ласково пожурив меня за мою грубость, она прижала меня к себе и повернулась поблагодарить джентльмена за то, что он так любезно проводил ее до дому. Тут матушка подала ему руку, и, когда черный джентльмен пожимал ее, мне показалось, что она взглянула на меня.

— Ну что ж, мой милый мальчик, пожелаем друг другу спокойной ночи, — сказал джентльмен, наклоняясь и приближая, голову — я это прекрасно видел — к крошечной матушкиной ручке в перчатке.

— Покойной ночи! — проговорил я.

— Давайте-ка хорошенько подружимся с вами! — смеясь, продолжал джентльмен. — Пожмемте друг другу руку!

Правая моя рука была в руке матушки, и потому я ему подал левую.

— Нет, это не та рука, Дэви, — со смехом заметил джентльмен.

Матушка протянула ему мою правую руку, но я, продолжая относиться к нему недоброжелательно, решил не подавать ему этой

руки — и не подал. Упрямо протянул я ему левую руку, а он сердечно пожал ее, повторил, что я славный мальчик, и ушел. Словно сейчас вижу, как он, выходя из сада, еще раз оглядел нас своими зловещими черными глазами.

Пиготти, которая за все это время не проронила ни единого слова и даже не шевельнула пальцем, моментально задвинула засов на дверях, и мы все пошли в гостиную.

Матушка, вернувшись домой, обыкновенно усаживалась в кресло у камина. На этот раз она осталась в другом конце комнаты и начала что-то напевать.

— Надеюсь, вы хорошо провели вечер, мэм? — обратилась к ней Пиготти, стоя неподвижно, словно бочка, посередине комнаты, с подсвечником в руках.

— Благодарю вас, Пиготти, — весело ответила матушка, — я очень, очень довольна сегодняшним вечером.

— Новое лицо всегда вносит приятную перемену, — промолвила Пиготти.

— Действительно, очень приятную, — подтвердила матушка.

Пиготти продолжала неподвижно стоять посреди комнаты, матушка снова начала напевать, а я впал в какое-то полусонное состояние: слышал голоса, не понимая, однако, о чем идет речь. Очнувшись от этой неприятной полудремоты, я застал и Пиготти и матушку, обеих в слезах. Они горячо спорили.

— Такой человек, конечно уж, не пришелся бы по сердцу мистеру Копперфильду, готова поклясться в этом, — заявила Пиготти.

— Господи, боже мой, — плача, закричала матушка. — Вы просто сведете меня с ума! Виданное ли дело, чтобы бедная девушка терпела столько от своей собственной служанки!.. Но, однако, почему я зову себя девушкой? Разве я никогда не была замужем, Пиготти?

— Богу известно, мэм, что вы были замужем, — ответила Пиготти.

— Тогда, как вы смеете... — начала матушка. — Но нет, вы знаете, что я хочу сказать — не как вы смеете, а как хватает у нас духу делать меня такой несчастной, говорить мне такие неприятные вещи, зная, что у меня вне этого дома нет ни единого друга, к которому я могла бы обратиться.

— Вот именно поэтому я и должна сказать, что это не годится, — ответила Пиготти. — Нет! Совсем не годится! Нет! Ни за что на свете так не нужно поступать! Нет!

Говоря это, Пиготти так размахивала подсвечником, что я думал, она в конце концов отшвырнет его от себя.

— Как можете вы так преувеличивать! — воскликнула матушка, пуще прежнего заливаясь слезами. — Как можете вы быть такой несправедливой! Почему, Пиготти, вы говорите так, словно это дело решенное, а между тем я еще и еще повторяю вам, злючка вы такая, что здесь ничего нет, кроме самой обыкновенной любезности. Вы говорите, что он восхищается мной? Что же мне делать, скажите на милость, если люди так глупы, что влюбляются в меня? Разве я виновата в этом? Что же мне делать, спрашиваю я вас? Быть может, вы хотели бы, чтобы я обрила себе волосы, вымазала лицо сажей или даже как-нибудь исковеркала его? Вероятно, этого вы хотели бы, Пиготти! Это, повидимому, доставило бы вам удовольствие!

Мне показалось, что Пиготти была очень, очень задета взведенным на нее клеветой.

— Дорогой мой мальчик, мой родной Дэви! — воскликнула матушка, подойдя к креслу, в котором я полулежал, и горячо лаская меня. — Знаете, ведь намекают, будто я недостаточно люблю вас, мое бесценное сокровище, моя восхитительнейшая в свете крошка!

— Никто никогда и не думал вам делать таких намеков, — отозвалась Пиготти.

— Нет! Не говорите! Вы намекали на это, Пиготти, — волнуясь, ответила матушка. — Сами знаете, что намекали. Какой же другой вывод можно будет сделать из ваших слов, недобрая вы? А между тем вы так же хорошо знаете, как и я сама, что три месяца тому назад я из-за моего мальчика не купила себе нового зонтика, хотя мой зеленый совсем вылинял, а бахрома на нем вся оборвалась. Вам это прекрасно известно, Пиготти, вы не можете отрицать этого.

Она нежно нагнулась ко мне и, прижавшись своей щекой к моей, продолжала:

— Я плохая для вас мама, Дэви? Правда? Такая нехорошая, эгоистичная, жестокая, гадкая мама?.. Скажите, скажите, что это так, родной мой мальчик, и Пиготти будет любить вас, а любовь Пиготти гораздо ценнее моей, Дэви. Я ведь совсем не люблю вас? Не так ли?

После этого мы все разревелись, — я, кажется, громче всех, — и плакали мы все несомненно искренне. Сердце мое надрывалось от горя, и боюсь, что в первом порыве обиды за мать я обозвал Пиготти «скотиной». Помню, как была огорчена славная девушка, и, должно быть, в это время у нее от волнения отлетели все до одной пуговицы. Когда она примирилась с матушкой и, желая, заключить мир со мной, опустила у моего кресла на колени, пуговицы градом посыпались с нее.

Мы пошли спать в чрезвычайно подавленном состоянии духа. Рыдания долго не давали мне заснуть, и когда, задыхаясь от слез, я поднялся в кроватке, то увидел, что матушка, согнувшись, сидит на моей постели. Она обняла меня, и я, прижавшись к ней, крепко заснул.

Не могу теперь припомнить, когда опять я увидел черного джентльмена, в следующее ли воскресенье, или позже. Но это было в церкви, а потом он пошел провожать нас. Помнится, он зашел к нам поглядеть на роскошную герань, которая стояла на окне в гостиной. Мне показалось, что он не обратил особенного внимания на эту герань, но, уходя, попросил матушку дать ему от нее цветок. Она предложила ему выбрать по своему вкусу, но он не захотел этого сделать, не знаю уж почему, и матушка сама сорвала цветок герани и подала ему. Он при этом уверял, что никогда, никогда не расстанется с ним. А я подумал про себя, что он совершенный дурак, раз не знает, что цветок этот через несколько дней весь осыплется.

Пиготти реже, чем бывало, проводит с нами время вечерами. Матушка к ней очень внимательна, мне кажется, даже внимательнее, чем раньше, и мы все трое в большой дружбе, но все-таки что-то изменилось: нам уж не так хорошо, не так уютно вместе, как прежде. Порой мне кажется, что Пиготти как бы недовольна матушкой, что та наряжается в свои красивые платья и так часто бывает у соседей. Но я хорошенько не разбираюсь в этом.

Мало-помалу я привыкаю видеть у нас джентльмена с черными бакенбардами. Он попрежнему мне не нравится, и то же неприятное, ревнивое чувство к нему живет во мне. Однажды осенним утром мы были с матушкой в палисаднике, когда мистер Мордстон — я уже знал тогда его имя — появился верхом. Он остановил свою лошадь, чтобы поздороваться с матушкой, и сказал, что едет в Лоустофт повидаться с

друзьями, прибывшими туда на яхте. Тут же веселым голосом он предложил взять меня с собой, если только мне улыбается проехаться верхом, сидя впереди него на седле. День был чудесный, даже конь храпел и бил копытами о землю, как бы предвкушая прелесть поездки, и мне очень захотелось прокатиться.

Матушка отправила меня наверх, к Пиготти, придется, а в это время мистер Мордстон спрыгнул с лошади и, держа в руке поводья, стал медленно прогуливаться вдоль наружной стороны изгороди из шиповника. Беседуя с ним, матушка также медленно ходила вдоль внутренней стороны этой изгороди. Помню, как мы с Пиготти поглядывали на них из маленького окошка моей комнаты. Помню, какво время этой прогулки они близко наклонялись друг к другу, особенно внимательно рассматривая шиповник, и как Пиготти, бывшая до этого в ангельски добродушном настроении, вдруг почему-то разозлилась и стала пребольно драть мне голову щеткой.

Вскоре мы с мистером Мордстоном уж были на лошади и рысцой пробирались по зеленой травке вдоль дороги. Он придерживал меня рукой, а я хотя вообще и не был беспокойным ребенком, но тут почему-то все время поворачивался и заглядывал ему в лицо. И вот, несмотря на его непроницаемые черные неприятные глаза, несмотря на свою антипатию к нему, я все-таки не мог не сознаться, что он очень красивый мужчина. Не сомневался я также в том, что моя дорогая бедняжка мамочка тоже считает его красавцем.

Мы приехали в гостиницу, стоявшую у морского берега, и там в отдельной комнате нашли двух джентльменов, курящих сигары. Одетые в широкие грубые куртки, они лежали на стульях, причем каждый из них занимал по крайней мере четыре стула. В углу были свалены куртки, морские плащи и флаг. Все это было связано вместе.

Когда мы вошли, они как-то небрежно поднявшись, воскликнули:

— Алло! Мордстон! А мы уже считали вас мертвым!

— Пока нет! — отозвался мистер Мордстон.

— А это что за юнец? — спросил один из господ, притягивая меня к себе.

— Это Дэви, — ответил Мордстон.

— Дэви, а дальше?.. Джонс?

— Копперфильд, — добавил мистер Мордсон.

— Вот как! Обуза очаровательной миссис Копперфильд, этой хорошенькой вдовушки! — воскликнул один из джентльменов.

— Квиньон! — остановил его мистер Мордстон. — Пожалуйста, будьте осторожнее: кое у кого имеется смекалка.

— У кого же? — смеясь, спросил джентльмен. Заинтересованный, я поднял голову.

— У Брукса из Шеффильда, — пояснил мистер Мордстон.

У меня отлегло от сердца, ибо сперва я подумал, что речь шла обо мне.

Очевидно, этот Брукс из Шеффильда был большой комик, ибо при упоминании его имени оба джентльмена громко расхохотались, и мистер Мордстон тоже не отставал от них.

Нахохотавшись вволю, джентльмен, которого звали Квиньон, спросил:

— А скажите, какого мнения Брукс из Шеффильда о предполагаемой сделке?

— Думаю, пока вряд ли он разбирается в этом, — ответил мистер Мордстон, — но вообще, кажется, настроен недоброжелательно.

Вслед за этим раздался новый взрыв смеха, и мистер Квиньон заявил, что он позвонит и велит подать вишневой наливки, чтобы выпить за здоровье Брукса. Он это сейчас же и сделал; а когда наливка появилась, налил мне немного, дал к этому сухарик, и прежде чем я начал пить, он встал и возгласил:

— Да будет пусто Бруксу из Шеффильда!

Тост этот был встречен такими аплодисментами, таким гомерическим хохотом, что даже и я расхохотался. А это заставило всех еще больше смеяться. Словом, нам всем было очень весело. Потом мы отправились на морской берег и, усевшись там на траве, стали смотреть в подзорную трубу. Я, по правде сказать, когда мне давали смотреть в подзорную трубу, ровно ничего не видел, но уверял, что вижу все прекрасно. После этого мы вернулись в гостиницу к раннему обеду. Все время, пока мы гуляли, оба джентльмена непрерывно курили: повидимому, судя по запаху их курток, они не переставали это делать с момента, когда эти куртки были принесены им от портного. Не забыть бы сказать, что мы побывали и на яхте этих господ. Все трое мужчин спустились в каюту и возились там с

какими-то бумагами. С палубы я видел, как они были погружены в эту работу.

В течение всего дня я замечал, что мистер Мордстон держит себя гораздо степеннее и серьезнее, чем оба его приятеля. Те были очень беспечны и веселы; то и дело они подшучивали друг над другом, но редко когда над ним.

В сумерки мы отправились домой. Вечер был прекрасный, и матушка и мистер Мордстон опять прогуливались вдоль изгороди из шиповника, а меня в это время отослали домой, пить чай. Когда он уехал, матушка стала расспрашивать меня, как провел я день, что делали, что говорили. Я ей рассказал, как они отозвались о ней, и она смеялась и уверяла, что джентльмены эти бесстыдники, болтающие всякий вздор, но я видел, что мамочка довольна. Я знал это тогда так же хорошо, как знаю это теперь. Кстати, я спросил матушку, знакома ли она с мистером Бруксом из Шеффилда, она ответила «нет», но прибавила, что это, очевидно, какой-нибудь фабрикант ножей и вилок.

Поговорив, я пошел спать, а матушка пришла пожелать мне покойной ночи. Она шаловливо опустилась на колени у моей кровати, опершись подбородком на сложенные руки, и со смехом спросила:

— Что оно там про меня говорили, Дэви? Скажите еще раз. Мне как-то все не верится.

— «Очаровательная...» — начал было я.

Матушка закрыла мне рот рукой, чтобы не дать мне продолжать.

— Наверно, не «очаровательная» было сказано, — проговорила она смеясь, — не так, Дэви, выразились они. Знаю, что не так!

— Да так же: «очаровательная миссис Копперфильд», — настаивал я. — А потом еще сказали «хорошенькая»...

— Нет, нет! Они вовсе не называли меня хорошенькой! Неправда! — воскликнула матушка, снова закрывая мне рот рукой.

— Да, да! Так и сказали: «хорошенькая вдовушка».

— Вот глупые бесстыдники! — воскликнула матушка, смеясь и закрывая себе лицо руками. — Какие смешные люди, правда?.. Дэви, дорогой...

— Что, мамочка?

— Знаете, не говорите Пиготти, — она пожалуй, еще на них рассердится. Я сама ужасно сердита на них и предпочла бы, чтобы

Пиготти не знала об их глупой болтовне...

Я, конечно, обещал. Тут мы бесчисленное количество раз поцеловались, и я крепко заснул.

Прошло так много времени, что теперь мне кажется, будто на следующий же день Пиготти сделала мне то удивительное предложение, о котором я сейчас расскажу; на самом же деле, наверное, это было месяца два спустя.

Однажды вечером (матушка и на этот раз была в гостях) мы с Пиготти попережнему сидели в гостиной, в компании с чулками, сантиметром, кусочком воска, рабочей коробкой с собором св. Павла на крышке и книжкой о крокодилах. Вдруг Пиготти несколько раз взглянула на меня, открывая рот, как бы собираясь что-то сказать. Я решил, что она зевает, а то, пожалуй, это даже испугало бы меня. Наконец Пиготти проговорила каким-то задабривающим тоном:

— Что сказали бы вы, Дэви, если б я предложила вам поехать со мной недельки на две к моему брату в Ярмут? Ведь, правда, это было бы очень весело?

— А брат ваш, Пиготти, приятный человек? — предусмотрительно спросил я.

— О! какой еще приятный! — воскликнула Пиготти, восторженно поднимая руки кверху. — Потом, Дэви, там есть и море, и корабли, и лодки, и рыбаки, и берег, и Хэм, который будет играть с вами. (Пиготти имела в виду своего племянника Хэма, о котором я уже упоминал).

При перечне стольких наслаждений я весь просиял и ответил, что, конечно, это было бы огромным удовольствием, но что скажет мама?

— Да я готова держать пари на целую гинею^[5], что она нас отпустит, — сказала Пиготти, пристально глядя на меня. — Если хотите, я спрошу ее, как только она вернется домой?

— А как же она будет здесь одна, без нас? — сказал я глубокомысленно, положив на стол спой маленькие локотки, чтобы обсудить это дело. — Не может же она жить одна?

Тут Пиготти принялась отыскивать такие маленькие дырочки на пятке чулка, которые, пожалуй, и не стоило бы штопать.

— Говорю нам, Пиготти, ведь не может же мама остаться одна! — настаивал я.

— Господь с вами! — воскликнула Пиготти, наконец, глядя на меня. — Разве вы не знаете? Мама собирается недельки две погостить у миссис Грейпер. Там, говорит, будет большое общество.

— О! Если это так, то я с радостью готов ехать, — заявил я и с огромным нетерпением стал ждать возвращения матушки от миссис Грейпер (она опять была там), горя нетерпением выяснить, сможем ли мы с Пиготти осуществить наши великие проекты. Матушка далеко не была так удивлена, как я ожидал, и сейчас же дала свое согласие на нашу поездку.

В тот же вечер переговорили обо всем и условились, что и питание мое и помещение у брата Пиготти будут оплачиваться.

Наступил день нашего отъезда.

В глубине души и, признаться, боялся, чтобы землетрясение, извержение вулкана или какие-либо другие подобные стихийные бедствия не помешали нашей поездке. Мы должны были ехать в извозничьей повозке, которая отправлялась утром, после завтрака. Помнится чего только не дал бы я тогда, лишь бы мне позволили одеться с вечера и лечь в постель в шапке и сапогах.

Хотя я как будто и с легким сердцем рассказываю обо всем этом, но мне даже теперь тяжело думать о том, как мне хотелось покинуть родной дом, где я был так счастлив. Уж очень далек был я от мысли, что многое, многое покидаю я здесь навеки!..

Мне радостно вспомнить, что, когда повозка была у ворот и матушка целовала меня, любовь и благодарное чувство к ней и к родному дому, с которым я никогда до этого момента не расставался, заставили меня расплакаться. Радостно вспомнить, что матушка также плакала, и я чувствовал, как ее сердце взволнованно бьется подле моего. Радостно вспомнить, что, когда повозка тронулась, матушка выбежала из ворот и остановила извозчика, чтобы еще раз проститься со мной. Как горячо, с какой любовью она тут расцеловала меня!

Проводив нас, матушка одиноко стояла на дороге, когда подошел мистер Мордстон, и стал, как мне показалось, упрекать ее за то, что она так расчувствовалась. Высунувшись из повозки, я смотрел и думал: какое, спрашивается, ему до всего этого дело? Пиготти, видимо, это нравилось не больше моего. Некоторое время я сидел молча, уставившись на Пиготти, и думал, что, если б она вдруг взяла,

да и потеряла меня в каком-нибудь лесу, как «Мальчика с пальчик»,
смог бы я найти дорогу домой по посеянным ею пуговицам?

Глава III

ПЕРЕМЕНА

Лошадь извозчика была, повидимому, самым ленивым животным на свете. Опустив голову, она медленно тащилась по дороге с таким видом, как будто ей нравилось заставлять ждать тех людей, которым она везла вещи. Порой мне казалось, что она сама громко посмеивается над этим, но извозчик уверял, что ее просто мучит кашель.

Извозчик, так же как и лошадь, имел обыкновение держать голову опущенной. Он правил словно в полусне, покачиваясь взад и вперед и положив локти на колени. Я сказал «правил», но на самом деле я убежден, что повозка точно так же добралась бы до Ярмута и без него, ибо все делала сама лошадь. Извозчик совершенно не разговаривал, а только посвистывал.

У Пиготти на коленях стояла корзина, до того набитая припасами, что нам, наверное, хватило бы их до самого Лондона. Оба мы с Пиготти ели и спали очень много. Засыпая, она упиралась подбородком в ручку корзины, которую ни на секунду не выпускала из рук. Никогда не поверил бы я, если б сам не слышал, что беззащитная женщина может храпеть так громко, как она.

Мы столько блуждали по проселочным дорогам, то заезжая на постоялый двор сдавать деревянную кровать, то останавливаясь где-либо еще, что я ужасно устал и был очень рад, когда увидел Ярмут. Он, вероятно, был расположен на каком-то болотистом, сыром месте. Такое, по крайней мере, я вынес впечатление, глядя на мрачные пустыри, лежащие за рекой. Тут я, помню, удивился, что на земле, если она и вправду так кругла, как утверждает моя география, могут быть такие вот плоские места; но я сейчас же объяснил себе это тем, что Ярмут, должно быть, находится у одного из полюсов. Когда мы въехали в город, где нас охватил запах рыбы, смолы, пакли, дегтя, и увидели снующих взад и вперед матросов и гроыхающие по мостовой телеги, я почувствовал, как был несправедлив к такому кипящему жизнью месту. Помнится, что я поспешил высказать это Пиготти, и она, выслушав с самодовольным видом мои восторженные

отзывы, заявила: «Всем известно (думаю — только тем, кто имел счастье сам родиться ярмутской «селедкой»), что это красивейшее место в мире».

— А вот и мой Хэм! — воскликнула Пиготти. — Как он вырос! Просто не узнать его!

Действительно, ее племянник ждал нас у дверей трактира и сейчас же, как старый знакомый, справился о моем здоровье. Мне сначала показалось, что я знаю его не так хорошо, как он меня, по той простой причине, что с момента моего рождения он никогда у нас в доме не появлялся. Но мы скоро подружились с ним, ибо он сейчас же взвалил меня себе на спину и так понес домой. Он был плотный, крепкий, широкоплечий малый, футов шести ростом, но лицо у него было глуповато улыбающееся, мальчишеское, а светлые курчавые волосы делали его похожим на барашка. На нем была парусиновая куртка и такие плотные штаны, что они могли бы стоять сами по себе, без всяких ног. То, что он носил на голове, собственно говоря, нельзя было назвать шапкой, а скорее походило на просмоленную крышу старой постройки.

Хэм нес меня на спине, а один из наших сундучков — под мышкой, Пиготти же тащила другой сундучок. Шли мы переулками, усеянными щепками и кучками песку, шли мимо газовых заводов, канатных фабрик, такелажных^[6], конопатных, шляпочных мастерских и всяких других подобных учреждений, пока, наконец, не добрались до мрачного пустыря, который я уже видел издали. Тут Хэм сказал:

— А вот и наш дом, Дэви!

Я посмотрел во все стороны, но нигде — ни на пустыре, ни дальше у моря, ни у реки — не заметил никакого дома. Стояла только неподалеку, на сухом песке, черная баржа или какое-то другое, отслужившее свой век судно. Оттуда торчала железная труба, и из нее как-то уютно шел дым. Ничего другого, напоминающего человеческое жилье, видно не было.

— Скажите, вот это, похожее на корабль, не ваш ли дом? — спросил я.

— Оно самое и есть, — ответил Хэм.

Если бы это был дворец Алладина или волшебное яйцо арабской птицы Рок, то, право, я не был бы более очарован, чем теперь, при

мысли, что буду жить в такой барже. В одном боку этого судна была вырезана прехорошенькая дверь; имелись тут и крыша и маленькие окошечки, но самым восхитительным было то, что судно это — настоящее, ходившее сотни раз по морю и никогда не предназначавшееся для жилья человека на суше. Вот именно это особенно меня в нем и прельщало.

Внутри царил чистота и порядок. Здесь был и стол, и голландские часы, и комод. На комод стоял поднос, где была нарисована леди с зонтиком, прогуливающаяся с ребенком воинственного вида, который катил обруч. Поднос этот, помню, поддерживала библия, иначе, сдвинувшись с места, он мог бы перебить чайную посуду, расставленную вокруг него. На стенах висело несколько аляповато раскрашенных картин из священного писания, в рамках и под стеклом. Над небольшим камином была картина, изображавшая бриг^[7] «Сара Джен», построенный в Зундерланде. В картину была вделана миниатюрная деревянная корма. Это художественное произведение, где живопись сочеталась со столярным мастерством, тогда качалось мне самой ценной вещью в мире. В балках потолка было ввинчено несколько крючков, назначения которых я никак не мог постигнуть. Здесь же стояли разные ящики, заменявшие стулья.

Все это я заметил с первого взгляда, мне думается, благодаря присущей детям наблюдательности. Затем Пиготти открыла маленькую дверь и показала мне мою комнатку. Это была самая совершенная и самая прелестная комнатка, какую только можно себе представить в корме старой баржи. Здесь имелось окошечко, сделанное из того отверстия, где когда-то помещался руль. На стене, низко, по моему росту, висело зеркальце в рамке из ракушек. Тут же стояла кровать, также как раз по мне, а на столе в синей кружке красовались водяные растения. Стены были выбелены чисто-начисто, а одеяло из разноцветных лоскутков своей пестротой слепило мне глаза. В этом очаровательном доме я особенно обратил внимание на господствовавший в нем рыбный запах. Был он до того силен, что когда я вынимал носовой платок, чтобы утереть нос, от него несло так, словно в нем только что был завернут омар. Когда это свое наблюдение я сообщил Пиготти, она сказала мне что брат ее занимается продажей омаров, крабов и речных раков. Потом я сам

видел в маленькой деревянной пристройке, где хранились горшки и котлы, множество этих разнородных раков, удивительно перепутанных между собой и никогда не выпускавших из своих клешней того, что им удавалось захватить.

Нас встретила очень вежливая женщина в белом переднике; сидя на спине Хэма, я видел, как она по крайней мере за четверть мили начала кланяться и приседать. Так же приветствовала нас и красавица-девочка (по крайней мере, такой она мне показалась) с голубыми бусами на шее. Я хотел было поцеловать ее, но она убежала и спряталась.

Вскоре после того, как мы роскошно пообедали отварной камбалой с вареным картофелем и топленым маслом (а для меня специально еще была приготовлена котлета), появился волосатый мужчина с очень добродушным лицом. Так как он назвал Пиготти «девочкой» и крепко поцеловал ее в щеку, я, зная строгость нравов Пиготти, решил, что это ее брат. Так оно и оказалось; мне представили его как мистера Пиготти, хозяина дома.

— Рад видеть вас, сэр, — приветствовал меня мистер Пиготти. — Вы пожалуй, найдете нас неотесанными, но вам мы всегда будем рады.

Я поблагодарил его и сказал, что, наверное, буду счастлив в этом восхитительном месте.

— А как здоровье вашей мамы, сэр? — спросил мистер Пиготти. — Что, вы оставили ее веселой?

Я ответил, что матушка была в настроении очень веселом и приказала ему кланяться, — по правде сказать, это была святая ложь.

— Премного, конечно, ей благодарен, — промолвил мистер Пиготти. — Коли вам не надоест у нас за две недели вот с ними (он указал на мою Пиготти, а затем на Хэма и на маленькую Эмми), то это будет для нас большая честь.

Выполнив так гостеприимно долг хозяина, мистер Пиготти ушел мыться к котлу с горячей водой, ибо — пояснил он — «холодная вода никогда не смыла бы моей грязи».

Вскоре он вернулся в гораздо более благообразном виде, но страшно красный, и мне невольно пришло на ум, что у его лица есть то общее с омарами, крабами и раками, что все они, попадая в горячую воду очень черными, выходят из нее очень красными.

После чая, когда заперли дверь и стало так уютно, а на дворе было сыро и холодно, баржа показалась мне самым очаровательным уголком на свете. Слышать, как завывает над морем ветер, знать, что туман стелется по заброшенному пустырю, и в это время смотреть в огонь и думать, что кругом нет никакого жилья, кроме нашего, да и то — баржа, — в этом было нечто сказочное. Крошка Эмми, преоделев свою застенчивость, сидела рядом со мной на самом низком и самом маленьком из ящиков, — он как раз входил в уголок у камина, и на нем было достаточно места для нас обоих.

Миссис Пиготти, в белом переднике, расположилась со своим вязаньем по другую сторону камина. Моя Пиготти шила, и она, и ее рабочий ящик с изображением собора св. Павла, и огарок восковой свечи — все они чувствовали себя здесь так, как будто никогда не знали иной кровли.

Хэм, успевший уже дать мне урок карточной игры «империал», теперь старался припомнить какое-то гадание, причем каждый раз, когда он переворачивал засаленные карты, на них оставался еще новый след от его пропитанных рыбой пальцев.

Мистер Пиготти спокойно курил свою трубку, тут я почувствовал, что как раз настало время для задушевной беседы.

— Мистер Пиготти... — начал я.

— Что угодно, сэр? — отозвался он.

— Скажите, не потому ли вы назвали своего сына Хэмом, что живете вы как будто в ковчеге?^[8]

Повидимому, идея эта показалась мистеру Пиготти глубокомысленной, но он ответил;

— Нет, сэр. Я вовсе никогда не давил ему никакого имени.

— А кто же тогда дал ему это имя? — спросил я.

— Ну, разумеется, его отец, сэр!

— А я думал, что вы его отец...

— Нет, отцом его был мой брат Джо, — пояснил мистер Пиготти.

— Что же, он умер, мистер Пиготти? — спросил я, почтительно помолчав.

— Утонул, — проговорил мистер Пиготти.

Я был очень удивлен, узнав, что мистер Пиготти не отец Хэма, и сейчас же подумал, не заблуждаюсь ли я также относительно родства

его с другими здесь присутствующими лицами. Любопытство мое было так возбуждено, что я решил это выяснить.

— А маленькая Эмми? — спросил я, взглянув на нее. — Она ваша дочь, мистер Пиготти, не правда ли?

— Нет, сэр, мой зять Том был ее отцом.

Я не мог удержаться от того, чтобы после нового почтительного молчания не спросить:

— Он тоже умер, мистер Пиготти?

— Утонул.

Я чувствовал, как трудно продолжать разговор в таком духе, по так как я еще не узнал всего, что хотел знать, то опять спросил:

— Разве у вас нет детей, мистер Пиготти?

— Нет, сэр, — ответил он посмеиваясь, — я холостяк!

— Холостяк! — повторил я с удивлением. — А тогда кто же это, мистер Пиготти? — спросил я, указывая на особу в белом переднике, запятую вязаньем.

— Это миссис Гуммидж, — сказал хозяин дома.

— Гуммидж?! Мистер Пиготти?..

Но тут Пиготти, моя собственная Пиготти, стала делать мне такие выразительные знаки, чтобы я прекратил свои вопросы, что мне ничего больше не оставалось, как сидеть смирнехонько и смотреть на всех членов молчаливого общества.

Наконец настала пора ложиться спать. В тиши моей маленькой комнатки Пиготти рассказала мне, что Хэм и Эмми, племянники хозяина дома, были усыновлены им крошками в разное время, когда они остались круглым сиротами, без всяких средств к существованию, а миссис Гуммидж — вдова его компаньона по лодке, умершего в большой бедности. Пиготти прибавила, что брат ее тоже небогат, но хорош, как золото, и надежен, как сталь (это подлинные ее сравнения). Единственное, что, по словам моей Пиготти, могло вывести ее брата из себя, это упоминание о его великодушии; тут он свирепел, стучал кулаком по столу так, что однажды даже расколол его, раздражался страшными проклятиями и кричал, что если кто-либо заикнется еще о чем-нибудь подобном, он совсем сбежит.

Я был очень растроган рассказом о доброте хозяина дома. Прислушиваясь к тому, как женщины укладываются спать в крошечной, похожей на мою, комнатке в противоположной части

баржи, а мужчины подвешивают свои гамаки на крючья, привинченные к балкам потолка, я был в прекраснейшем настроении духа, и оно усиливалось еще тем, что меня очень клонило ко сну. Засыпая, я сквозь сон слышал, как свирепо завывает ветер на море, и в мою душу закралась было смутная боязнь, что ночью может разыгаться буря, но меня тотчас же успокоила мысль, что мы ведь в барже и с нами такой опытный моряк, как мистер Пиготти.

Однако ничего не случилось, кроме того, что ночь сменилась утром. Как только первые лучи солнца засверкали на рамке моего зеркальца, я уже вскочил со своей кровати и сейчас же отправился с маленькой Эмми на берег собирать камушки.

— Мне кажется, вы настоящий моряк, ведь правда? — сказал я Эмми.

На самом деле вряд ли я предполагал что-либо подобное, но я считал, что из вежливости надо что-нибудь сказать в этом роде; а тут еще в этот момент проходивший вблизи нас парус так красиво в миниатюрном виде отразился в ясных глазах девчурки...

— Нет! — возразила Эмми, покачивая головой. — Я боюсь моря.

— Боятесь?! — воскликнул я с видом смельчака, высокомерно поглядывая на могучий океан. — А я вот не боюсь!

— Но оно свирепое, — сказала девочка. — Я видела, как жестоко оно обошлось с некоторыми из наших рыбаков: на моих глазах в щепы разбило такую баржу, как та, в которой мы живем.

— Надеюсь, что это не то судно, на котором...

— Утонул мой отец? Нет, это не то, — того я никогда не видела.

— А отца тоже не видели? — спросил я.

Маленькая Эмми отрицательно покачала головой.

— Я не помню его.

Какое удивительное совпадение: наши судьбы имели много общего! Я сейчас же принялся ей рассказывать, что я тоже никогда не видел своего отца и мы с матушкой всегда жили одни: так счастливо, как только можно себе представить, — жили, живем и думаем всегда жить. Я также рассказал ей, что могила отца на кладбище совсем близко от нашего дома; у могилы растет тенистое дерево, и на его ветвях расппевают пташки; а в одно чудесное утро и слушал там их пение.

Но все-таки сиротство наше с Эмми не было совсем одинаковым: она еще до смерти отца лишилась матери; могилы ее отца также не существовало, — знали только, что он покоится где-то на дне моря.

— А кроме того, — вернулась к нашему разговору девчурка, не переставая при этом разыскивать ракушки и камушки, — ваш папа был джентльмен, а мама леди, мой же отец — рыбак, мать — дочь рыбака и дядя Дэн тоже рыбак.

— Дэн — это мистер Пиготти? — спросил я.

— Дэн — дядя вот тот, — ответила Эмми, кивая на баржу.

— Да, понимаю. Мне кажется, ваш дядя очень добрый человек, не так ли?

— Добрый? — повторила Эмми. — Это мало сказано! Если когда-нибудь, только я сделаюсь знатной леди, я сейчас же подарю ему кафтан небесно-голубого цвета с бриллиантовыми пуговицами, шелковые панталоны, красную бархатную жилетку, треугольную шляпу, большие золотые часы, серебряную трубку и целый ящик денег.

Я ответил, что несколько не сомневаюсь в этом. Мистер Пиготти бесспорно заслуживал всех этих сокровищ, но, по правде сказать, мне не казалось, чтобы ему могло быть удобно в костюме, о котором для него мечтала его маленькая благодарная племянница; особенно сомневался я относительно треугольной шляпы. Понятно, я это не высказал, а подумал только про себя.

Маленькая Эмми, перечисляя дары, которыми мечтала осчастливить своего дядю, остановилась и стала смотреть на небо — так, словно все дары эти, как светлое видение, рисовались там перед ней. Затем мы отправились опять собирать ракушки и камушки.

— А вам хотелось бы быть леди? — спросил я. Эмма взглянула на меня и кивнула головкой.

— Очень хотелось бы, — промолвила она. — Мы все тогда стали бы господами: и я, и дядя, и Хэм, и миссис Гуммидж. Нам самим тогда было бы мало дела до бурной погоды, но мы, конечно, боялись бы ее, из-за рыбаков и, случись что-либо с ними, помогали бы им деньгами. А вы, — добавила она застенчиво, — неужели вы не боитесь моря?

В эту минуту море было так спокойно, что внушало к себе доверие, по я несколько не сомневаюсь, что поднимись только волна

— и я, помня ужасный конец родственников Эмми, немедленно бросился бы бежать со всех ног подальше от бушующей стихии. Тем не менее я сказал: «Нет, не боюсь», и прибавил:

— Да и вы, кажется, не так уж боитесь его, как говорите.

Она действительно шла слишком близко от края ветхого деревянного помоста, куда мы с нею забрались, и я боялся, как бы она не свалилась в воду.

— О! Когда море такое, я его не боюсь, — заявила Эмми. — А вот когда на нем разыграется буря, я просыпаюсь и дрожу, думая о дяде Дэне и Хэме, и мне все чудится тогда, что я слышу, как зовут они на помощь. Потому-то мне так и хотелось бы стать знатной леди... Когда же море спокойно, я ничуть не боюсь его... Ну, посмотрите-ка!

И она бросилась от меня и стала бегать по неотесанному бревну, выступавшему над морем.

Этот момент так глубоко врезался в моей памяти, что, будь я живописцем, я и сейчас набросал бы с мельчайшими подробностями крошку Эмми, несущуюся, как мне казалось, к своей цели, с незабываемым взглядом, устремленным в морскую даль...

Легкая и смелая воздушная фигурка мгновенно повернулась на бревне и благополучно вернулась ко мне, а я стал тут смеяться над своим страхом и криками, — они-то, во всяком случае, были совершенно напрасны, так как кругом не было ни души.

Долго бродили мы вместе, набивая наши карманы разными интересными для нас вещами. Помню, наткнулись мы на лежащие на песке морские звезды, и уж не знаю, были ли они довольны этим, но мы осторожно опустили их в воду. Наконец направились мы домой. Под навесом чулана, где хранились раки, мы остановились, обменялись невинным поцелуем и, румяные и довольные, отправились завтракать.

— Они точно два молоденьких дрозда, — проговорил, увидев нас, мистер Пиготти, и я принял это как комплимент.

Конечно, я был влюблен в крошку Эмми. И я убежден, что в моей любви к этой малютке было столько же искренности и нежности как в самой возвышенной, благородной любви более позднего возраста, но дышала она большей чистотой и бескорыстием. Мое юное воображение окружало эту милую голубоглазую крошку эфирным сиянием и рисовало мне ее настоящим ангелом. Если бы в одно

прекрасное утро у нее вдруг за спиной появились крылышки и она улетела бы, то и тогда, кажется, я не был бы особенно удивлен.

Целыми часами бродили мы с ней по пустынному ярмутскому берегу, как настоящие влюбленные. Дни пробегали за днями так, как будто время было не старцем, а ребенком, помышляющим только об играх к забавах. Помню, как-то раз сказал я Эмми о том, как обожаю ее, и что если она не любит меня, то я принужден буду заколоть себя шпагой. Но Эмми призналась в своей любви ко мне, и я не усомнился в ней.

Вскоре я заметил, что миссис Гуммидж далеко не всегда так мила, как можно было бы ожидать, учитывая те обстоятельства, при которых жила она у мистера Пиготти. Довольно часто была она раздражительна, порой ныла и жаловалась больше, чем могло быть приятно окружающим да еще в таком тесном помещении. Я жалел миссис Гуммидж, но иногда думал, как хорошо было бы, если бы она имела свою отдельную комнату, куда могла бы удалиться, пока не пройдет ее хандра.

Мистер Пиготти захаживал иногда в трактир «Доброжелатель». Узнал я об этом на второй или на третий день своего пребывания, видя, как миссис Гуммидж между восемью и девятью часами вечера стала поглядывать на голландские часы, ворча, что мистер Пиготти, очевидно, в этом трактире, и что она еще с утра знала об этом.

Миссис Гуммидж весь день была в очень подавленном состоянии духа, а когда после обеда затопили камин и он стал дымить, она даже расплакалась.

— Несчастное, одинокое я существо! — начала она ныть. — Все делается мне наперекор.

— О, это скоро пройдет, — сказала Пиготти (я опять имею в виду мою Пиготти), — поверьте, и нам всем это не менее неприятно, чем вам.

— Я больше чувствую это, — возразила миссис Гуммидж.

День был очень холодный, дул пронзительный ветер. Уголок у камина, где обыкновенно сидела миссис Гуммидж, казался мне самым тёплым и уютным во всем домике, а кресло ее было несомненно самое удобное из всех здешних сидений, но в этот день все как-то было не по ней. Она то и дело жаловалась на холод; уверяя, что по спине ее не перестают пробегать мурашки. В конце концов она снова

расплакалась и опять стала повторять, что она несчастное, одинокое существо, которому все делается назло.

— Конечно, очень холодно, — заметила Пиготти, — каждый чувствует это.

— Я больше других чувствую это! — отозвалась миссис Гуммидж.

В таком же настроении была она и за обедом, хотя ей подавали сейчас же после меня (это внимание оказывали мне как почетному гостю). Она жаловалась, что рыба слишком мелка и костлява, а картофель пригорел. Мы все соглашались, что это неприятно, но миссис Гуммидж уверяла, что ей неприятнее, чем всем другим, и опять проливала слезы и опять горько причитала. Когда около девяти часов вечера хозяин вернулся домой, миссис Гуммидж в самом ужасном настроении вязала в своем углу, моя Пиготти работала с веселым видом, Хэм чинил свои длинные непромокаемые сапоги, а я, сидя рядом с маленькой Эмми, читал всем вслух. Миссис Гуммидж от самого чая не проронила ни слова, ни на кого не взглянула, а только все вздыхала.

— Ну, друзья мои, — проговорил мистер Пиготти, усаживаясь на свое место, — как же вы все поживаете?

Каждый из нас, ласково взглянув на него, сказал что-нибудь; одна миссис Гуммидж молча покачала головой над своим вязаньем.

— Чего же нехватает? — спросил ее мистер Пиготти, всплеснув руками. — Ну, развеселитесь же, матушка!

Но миссис Гуммидж, видимо, не была в состоянии развеселиться. Она вытащила старый шелковый, черный носовой платок и вытерла им себе глаза. Вместо того чтобы положить свой платок в карман, она продолжала держать его в руках наготове.

— Чего же вам нехватает, миссис Гуммидж? — переспросил ее мистер Пиготти.

— Ничего, — ответила миссис Гуммидж. — А вы, Дэн, кажется, были сегодня в «Доброжелателе»?

— Да, я сегодня посидел там часок, — ответил он.

— Очень мне грустно, что я гоню вас туда, — заявила миссис Гуммидж.

— Вы гоните?.. Поверьте, меня вовсе не нужно гнать, — добродушно смеясь, сказал мистер Пиготти. — Я даже слишком

охотно хожу туда.

— Да, именно слишком охотно, — промолвила миссис Гуммидж, качая головой и утирая слезы. — Да, да, слишком охотно. Вот мне и грустно, что это из-за меня.

— Из-за вас?.. Да совсем не из-за вас, — возразил мистер Пиготти. — Ни минуты не думайте этого.

— Да, да! Это так! — закричала миссис Гуммидж. — Я знаю, что я такое: бедное, несчастное, одинокое создание. Все делается мне назло, и я всем стою поперек горла. Да, да, я чувствую все гораздо острее, чем другие, и показываю более явно. Это мое несчастье!

Тут, помню, мне пришло в голову, что несчастье миссис Гуммидж в данном случае распространяется и на других членов семьи. Но сам хозяин и не подумал сказать что-либо подобное, а только снова стал ее упрашивать развеселиться.

— Я совсем не такая, какой мне хотелось бы быть, — говорила миссис Гуммидж. — Далеко мне до этого. Я хорошо знаю себя. Несчастья испортили мой характер. Я все время переживаю их, и это отражается на мне. Хотела бы я не чувствовать так своих несчастий, но — что поделаешь! — чувствую их. Желала бы привыкнуть к ним, но не в состоянии этого сделать. Я отравляю жизнь всему дому — не сомневаюсь в этом. Целый день сегодня я мучила и вашу сестру и мистера Дэви.

Растроганный, я в страшном волнении закричал:

— Нет, нет! Миссис Гуммидж, вы вовсе не мучили нас!

— Разумеется, я не имею ни малейшего права поступать таким образом, — продолжала миссис Гуммидж, — это неблагодарно с моей стороны. Лучше мне вернуться в мой приход и умереть. Я одинокая, несчастная женщина, и мне не надо быть здесь никому в тягость. Если мне кажется, что все делается наперекор мне и сама я всем делаю наперекор, так пусть уж это происходит в моем приходе. Дениэль, повторяю, мне лучше уйти домой, умереть и освободить всех!

С этими словами миссис Гуммидж удалилась к себе и легла в постель.

Когда она ушла, мистер Пиготти, на лице которого за все время этой сцены не отразилось никакого иного чувства, кроме самой глубокой симпатии, посмотрел на всех нас и, качая головой, с горячим сочувствием прошептал:

— Это она опять вспомнила своего старика.

Я сперва было не понял, о каком именно старике так задумывается миссис Гуммидж, но Пиготти, укладывая меня спать, пояснила, что это покойный мистер Гуммидж. Каждый раз, когда старушка была не в духе, мистер Пиготти считал несомненным, что она вспоминает своего покойного мужа, и это всегда трогало его до глубины души. Я сам слышал, как в этот вечер, лежа в своем гамаке, он говорил Хэму:

— Бедняжка, она все думает о старике!

Когда миссис Гуммидж во время нашего пребывания на барже начинала хандрить (что случалось с ней не раз), мистер Пиготти всегда приводил это объяснение в качестве смягчающего обстоятельства и обыкновенно при этом выражал ей самое горячее сочувствие.

Так прошло две недели без иных перемен, как смена приливов и отливов, от которых зависело время ухода и возвращения хозяина, а также его племянника. Когда Хэм бывал свободен, он гулял с нами на берегу, показывал нам лодки и корабли и даже раза два покатал нас на лодке по морю.

Особенно памятно мне одно воскресное утро. Каждый раз, когда я слышу об Ярмуте или даже читаю название этого городка, оно так ясно-ясно встает передо мной. Гудят колокола, призывая прихожан к обедне; мы трое сидим на берегу; крошка Эмми прислонила к моему плечу свою головку, Хэм лениво бросает в воду камушки, а солнце, пробиваясь сквозь густой туман, вырисовывает проходящие в отдалении, словно какие-то призраки, корабли.

Наконец наступил день нашего отъезда. Я еще крепился, прощаясь с мистером Пиготти и миссис Гуммидж, но отчаяние мое при расставании с крошкой Эмми было ужасно. Мы шли с ней, держа друг друга за руку, до самого трактира, где должна была забрать нас извозчичья повозка. Дорогой я обещал Эмми писать. Это обещание я потом выполнил, послав ей письмо с буквами побольше тех, какими обыкновенно пишутся объявления о сдаче внаймы квартир и комнат. Расставаясь, мы оба были страшно убиты, и, кажется, никогда потом в жизни не ощущал я такой пустоты в душе, как в этот день. Надо сказать, что все время, пока я был в гостях, я, неблагодарный, не вспоминал о родном доме; но стоило мне направиться домой, как

юная моя совесть заговорила во мне, и чем грустнее делалось мне, тем яснее чувствовал я, что там мое гнездо, там моя мать — друг и утешительница.

Это чувство все росло во мне, и чем ближе подъезжали мы к дому, чем больше появлялось знакомых мест, тем сильнее горел я нетерпением поскорее доехать и броситься на шею матушке. Пиготти, вместо того чтобы разделять мою жажду скорее попасть домой, старалась, хотя и очень ласково, охладить ее и вообще казалась мне какой-то смущенной и не в своей тарелке.

Тем не менее наши «Грачи» должны же были появиться, если только извозчицье кляче заблагорассудится дотащить нас до места. И ей это заблагорассудилось.

Как хорошо помню я наш приезд! Вечереет, холодно, пасмурно, хмурое небо грозит дождем...

Двери отворяются, и я, в волнении, смеясь и плача от радости, ищу глазами матушку, но вместо нее вижу не знакомую мне служанку.

— Что это значит, Пиготти? — с убитым видом спрашиваю я. — Неужели мама еще не вернулась домой?

— Да, да, вернулась, мистер Дэви, — отвечает Пиготти, — она дома. Обождите немножко, Дэви, я вам что-то... что-то... скажу...

У взволнованной Пиготти, когда она, при своей неповоротливости, вылезала из повозки, одежда пришла в удивительный беспорядок, но я был слишком озадачен, слишком поражен, чтобы указать ей на это. Выбравшись, наконец, из повозки, она взяла меня за руку и, к моему великому удивлению, повела на кухню, где сейчас же заперла за собой дверь.

— Пиготти, что случилось? — спросил я, совсем перепуганный.

— Господь с вами, мистер Дэви, дорогой мой, ничего не случилось, — ответила Пиготти с напускной веселостью.

— Нет, наверное знаю: что-то у нас случилось. Где мама?

— Где мама? — повторила Пиготти.

— Да, где мама? Почему не вышла она к калитке и почему пришли мы с вами сюда?.. Ах, Пиготти!

Глаза мои были полны слез, и мне казалось, что вот-вот я упаду.

— Что с вами, мой бесценный мальчик? — воскликнула Пиготти, подхватывая меня. — Скажите мне, мой любимый!

— Но ведь не умерла же она, не умерла, Пиготти? — бормотал я.

— Нет! — прокричала Пиготти необыкновенно громким голосом.

Затем она села и, задыхаясь, проговорила, что я совсем перепугал ее; чтобы успокоить няню, я обнял ее и, стоя перед ней, вопросительно, с тревогой смотрел на нее.

— Видите ли, дорогой мой, я раньше бы сказала вам об этом, да не было удобного случая, — начала Пиготти. — Надо было это сделать, но у меня все нехватало духу.

— Ну, говорите ж, Пиготти! — упрашивал я, еще более перепуганный.

— Дэ-ви... — прерывающимся голосом, развязывая дрожащими руками ленты своей шляпки, пролепетала Пиготти. — Можете себе представить, у вас есть папа!

Я задрожал и побледнел. Чем-то непонятным, чем-то страшным, имеющим какое-то отношение к могиле на кладбище и воскресению из мертвых, вдруг повеяло на меня.

— Новый папа, — пояснила Пиготти.

— Новый? — повторил я.

Пиготти откашлялась, словно проглоченный твердый кусок оцарапал ей горло, и, протягивая руку, сказала:

— Идемте, поздоровайтесь с ним.

— Не хочу его видеть!

— А маму?

Я тут перестал упираться, и мы пошли с ней в парадную гостиную, где она меня оставила. По одну сторону камина сидела матушка, по другую мистер Мордстон. Матушка уронила работу и вскочила, как мне показалось, несколько смущенная.

— Ну, Клара, дорогая, — обратился к матушке мистер Мордстон, — помните, что надо сдерживать себя, постоянно сдерживать... Здравствуйте, Дэви! Как поживаете?

Я подал ему руку. После минутной нерешительности я подошел к матушке и поцеловал ее. Она тоже поцеловала меня, ласково потрепала по плечу и опять села за работу. Я был не в силах взглянуть ни на нее, ни на него, ибо был уверен, что мистер Мордстон смотрит на нас с матушкой, и, повернувшись к окну, стал глядеть на кусты, поникшие от холода.

Как только мне удалось ускользнуть, я пробрался наверх. Моя прежняя любимая комнатка уже не была моей. Мне приходилось

теперь спать далеко от нее. Я поплелся вниз, думая там найти что-нибудь в прежнем виде, но всюду все так изменилось! Потом я пошел побродить по двору, но сейчас же со всех ног бросился бежать оттуда: оказалось, что в собачьей конуре, всегда пустовавшей, теперь жила большущая собака. Она была такая же черная, с таким же громким голосом, как и «он» сам. Увидев меня, собака рассвирепела и выскочила из конуры, порываясь наброситься на меня.

Глава IV

Я ВПАДАЮ В НЕМИЛОСТЬ

Если б та комната, куда перенесли мою кровать, была одушевленным существом, способным давать свидетельские показания, я теперь обратился бы к ней (интересно, кто спит в ней в настоящее время?), чтобы она засвидетельствовала, с каким тяжелым сердцем вошел тогда я в нее. Все время, пока я поднимался по лестнице, собака на дворе не переставала на меня лаять. С грустью посмотрел я на комнату: она показалась мне такой печальной, такой чужой... Скрестив на груди ручки, я сел и задумался.

Самые странные мысли бродили в моей голове: я думал о форме комнаты, о трещинах в потолке, об обоях на стенах, о неровностях на оконных стеклах, искажавших видимые через них предметы, о старом умывальнике на трех ножках, — в нем, по-моему, было что-то недовольное, напомнившее мне о миссис Гуммидж, когда та думает о своем старике. Все это время я не переставал плакать, но, помнится, не отдавал себе отчета в причине своих слез — мне было только холодно, и я был удручен. Наконец в своем отчаянии я стал думать о том, как я влюблен в маленькую Эмми, как разлучили нас с ней и привезли меня сюда, где, повидимому, никому я не нужен, где никто даже наполовину не любит меня так, как она. Тут я почувствовал себя до того несчастным, что бросился на кровать, завернулся в угол стеганого одеяла и плакал до тех пор, пока не уснул.

Проснулся я, услышав, что кто-то говорит: «Вот он здесь», и снимает с моей разгоряченной головы одеяло. Это матушка и Пиготти пришли взглянуть на меня, и это был голос одной из них.

— Дэви, — сказала матушка, — что с вами?

Вопрос этот показался мне очень странным, я ответил: «Ничего», и сейчас же отвернулся, чтобы скрыть свои дрожащие губы, — они были правдивее этого «ничего».

— Дэви! — снова проговорила матушка. — Детка моя!

Ничто, кажется, не могло произвести на меня большего впечатления, как слова: «детка моя». Я уткнулся лицом в простыню,

чтобы скрыть слезы, и, когда она хотела приподнять меня, пытался оттолкнуть ее от себя.

— Это вы все наделали, злая Пиготти! — воскликнула матушка. — Нисколько не сомневаюсь в этом. Удивляюсь только, как хватило у вас совести вооружить моего мальчика против меня и того, кто дорог мне. Скажите, что хотите вы этим достигнуть, Пиготти?

Бедная неповинная Пиготти подняла руки и глаза к небу и проговорила:

— Да простит вам господь, миссис Копперфильд, и пусть никогда раскаяние не мучит вас за сказанные вами сейчас слова.

— Можно просто сойти с ума! — закричала матушка. — И все это еще в мой медовый месяц, когда, кажется, и злейший враг мой должен был бы пожалеть меня и не отравлять мне моей маленькой доли счастья и спокойствия... Дэви, вы скверный мальчик. А вы, Пиготти, вы не человек, а зверь! Ах, боже мой, боже мой! — капризно-раздражительным тоном кричала матушка, поворачиваясь то ко мне, то к Пиготти. — Какая печальная вещь жизнь, даже тогда, когда имеешь как будто право ждать от нее только хорошего!

Вдруг я почувствовал, что до меня дотронулась чья-то рука, но это не была ни матушкина рука, ни рука Пиготти, и я тотчас соскользнул с кровати. То была рука мистера Мордстона, и он, не выпуская меня, сказал:

— Что все это значит, Клара, душа моя? Да разве вы забыли? Твердость духа, твердость, дорогая моя.

— Очень жалею, Эдуард, — пробормотала матушка. — Мне так хотелось бы быть очень хорошей... но мне так не по себе...

— Неужели? Не особенно радостно, Клара, слышать это уже теперь.

— Я и говорю: это особенно тяжело, что именно теперь меня так расстраивают, — надув губки, заявила матушка. — Не правда ли, это тяжело?

Он привлек ее к себе, что-то зашептал ей на ухо и поцеловал. Когда я увидел, что голова матушки лежит на его плече, а рука ее обнимает его за шею, мне стало тогда так же ясно, как и теперь, что при слабых характеристиках матушки он сможет с нею сделать все, что только захочет.

— Идите вниз, душа моя, — сказал мистер Мордстон матушке, — а мы с Давидом сейчас придем к вам.

Проводив жену ласковым кивком головы и улыбкой, он с суровым видом обратился к Пиготти:

— Милая моя, скажите, вам известна фамилия вашей хозяйки?

— Я давно служу у нее, сэр, — ответила Пиготти, — и, конечно, должна знать ее фамилию.

— Это так. Но когда я поднимался по лестнице, мне как будто послышалось, что вы назвали вашу хозяйку не ее именем. Вы ведь должны знать, что теперь она носит мою фамилию. И впредь вы будете помнить это?

Тревожно поглядывая на меня, Пиготти молча присела и вышла из комнаты. Видимо, она почувствовала, что ее ухода ждут. Когда мы остались вдвоем, мистер Мордстон закрыл дверь, сел на стул и, поставив меня перед собой, стал пристально смотреть мне в глаза. Я, словно загипнотизированный, так же пристально глядел на него. Когда я вспоминаю об этой минуте, мне кажется, что и сейчас я слышу, как громко колотилось тогда мое сердечко.

— Давид, — наконец проговорил он, сжимая губы, — если мне приходится иметь дело с упрямой лошастью или непослушной собакой, как должен я, по-вашему, поступать с ними?

— Не знаю.

— Я бью их.

Свое «не знаю» я произнес едва слышным шопотом и почувствовал, что мне нечем дышать.

— Я заставляю их дрожать и корчиться от боли, — продолжал мистер Мордстон. — Уж, поверьте, я уломаю упряма, хотя бы для этого пришлось из него выпустить всю кровь... А что это у вас на лице?

— Грязь, — сказал я.

Он знал так же хорошо, как и я сам, что это были следы слез; но спроси он меня об этом хоть двадцать раз, и каждый раз с побоями, мне кажется, детское мое сердце скорее разорвалось бы на части, чем я сознался бы ему, что плакал.

— Я вижу, вы умны не по летам, — сказал он, улыбаясь со свойственной ему важностью, — и вижу, вы прекрасно поняли меня. А теперь, сэр, умойтесь, и идемте со мной вниз.

Он указал мне на умывальник, похожий, как мне казалось, на миссис Гуммидж, и кивком головы приказал немедленно повиноваться.

У меня не было ни малейшего сомнения тогда и еще меньше теперь, что, прояви я в эту минуту хотя малейшее колебание, отчим без зазрения совести тут же исколотил бы меня.

Когда, выполнив его приказание, я спустился с ним в гостиную, он, продолжая держать меня за руку, сказал матушке:

— Клара, дорогая! Надеюсь, что вам больше не будут делать неприятностей.

Бог свидетель, что ласковое слово в эту минуту исправило бы меня на всю жизнь, быть может даже сделало бы из меня другого человека. Сердечное, ободряющее слово, показавшее бы мне, что я попрежнему дома, могло вместо лицемерного послушания завоевать мое сердце, и я стал бы уважать мистера Мордстона, а не ненавидеть.

Мне кажется, матушке больно было видеть меня посреди комнаты таким запуганным и словно чужим, а когда я прокрался к стулу и сел, она проводила меня еще более грустным взглядом: очевидно, ей нехватало моей резвой детской беготни. Но ласковое слово не было сказано, и момент был упущен.

Обедали мы втроем. Повидимому, он очень любил матушку (боюсь, что это несколько не примирило меня с ним) и она его очень любила. Из их разговоров я узнал, что старшая сестра мистера Мордстона будет жить с ними и ее ожидают сегодня же вечером. Не знаю хорошенько, тогда ли или позднее мне стало известно, что мистер Мордстон был акционером (хотя лично в деле и не участвовал) одной лондонской виноторговли, пайщиком которой их семья состояла еще с дедовских времен. Сестра его также получала какие-то доходы с этого винного дела.

После обеда, когда мы сидели у камина и я все обдумывал, как бы убежать к Пиготти, не отваживаясь, однако, это сделать из боязни разгневать хозяина дома, к садовой калитке подъехал экипаж. Мистер Мордстон пошел встретить приехавшую. Матушка отправилась вслед за мужем, а я робко побрел за нею. У дверей гостиной матушка, воспользовавшись темнотой, вдруг повернулась и обняла меня, как бывало прежде обнимала, и шепнула, чтобы я любил и слушался своего нового папу. Все это она проделала очень нежно, но украдкой,

страшно спеша, словно делая что-то предосудительное. Затем она взяла меня за руку и, держа ее за своей спиной, вела меня до тех пор, пока мы не подошли к стоявшему в саду Мордстону. Здесь она оставила меня и взяла под руку мужа.

Приехавшая мисс Мордстон была особой очень мрачного вида. Такая же черноволосая, как и брат, она вообще на него походила и лицом и голосом. Густые черные брови ее почти сходились над большим носом. Брови эти, казалось, заменяли у мисс Мордстон бакенбарды, носить которые не полагается особе прекрасного пола. Она привезла с собой два ужасно твердых черных чемодана, на которых медными гвоздями были изображены ее инициалы. Расплачиваясь с извозчиком, мисс Мордстон вынула деньги из твердого стального кошелька, а кошелек этот она держала, как в тюрьме, в дорожной сумке, которая на крепкой цепочке висела у нее на руке и щелкала затвором, словно зубами.

Мне никогда еще не приходилось видеть такой металлически твердой особы, как мисс Мордстон. Ее встретили самым радушным образом и провели в гостиную. Здесь она соблаговолила признать мою матушку за новую близкую родственницу. Затем, взглянув на меня, она спросила:

— Это ваш мальчик, золовка?

Матушка отвечала, что — да.

— Вообще говоря, я не люблю мальчиков, — заявила мисс Мордстон. — Здравствуйте, мальчик! Как поживаете?

Ободренный ее «милым» приветствием, я сказал, что чувствую себя очень хорошо и надеюсь, что она — также; но проговорил я это таким равнодушным тоном, что мисс Мордстон сейчас же охарактеризовала меня двумя словами:

— Требуется воспитания.

Высказав так определенно свое мнение обо мне, она попросила, чтобы соблаговолили показать предназначенную для нее комнату. С этого момента комната эта сделалась для меня страшным, наводящим ужас местом. Там стояли два черных чемодана, которых никто никогда не видел открытыми, — всегда они были на замке. Раз или два, в отсутствие мисс Мордстон, мне удалось заглянуть в ее комнату, и я увидел там множество висевших на зеркале в боевом порядке

стальных цепочек и пряжек; ими мисс Мордстон украшала себя, когда хотела принарядиться.

Насколько я мог понять, она водворилась у нас основательно, не имея ни малейшего желания от нас куда-нибудь уехать. Со следующего же утра мисс Мордстон принялась «помогать» матушке. Целый день она провозилась в кладовой, наводя там порядок, то есть переворачивая все вверх дном и устраивая все по-своему. Скоро я заметил в мисс Мордстон такую странность: ей не давала покоя мысль, что наши служанки прячут в усадьбе какого-то мужчину. Это подозрение так мучило ее, что она в самое неподходящее время лазила в чулан, где лежал уголь, и отворяла дверцы темных кухонных шкафов в надежде захватить там кого-нибудь. Хотя в мисс Мордстон не было и следа жизнерадостности, но просыпалась она вместе с жаворонком. Вставала она, когда в доме у нас никто еще не думал пошевелинуться, и я до сих пор убежден, что делала она это для того, чтобы найти спрятанного мужчину. Пиготти высказывала предположение, что она, должно быть, спит одним глазом, но мне что-то не верилось, ибо сам я пробовал это делать, и у меня не выходило.

В первое же утро после своего приезда мисс Мордстон поднялась с петухами и начала звонить, поднимая прислугу. Когда матушка вышла к завтраку и собиралась заварить чай, мисс Мордстон, клюнув ее в щеку, что у нее означало поцелуй, сказала:

— Ну, дорогая Клара, я, как вы знаете, приехала сюда, чтобы избавить вас по возможности от всех забот. Вы слишком хорошенькая и беспечная, чтобы налагать на вас те обязанности, какие могут лежать на мне. (Матушка покраснела при этом, но улыбнулась: ей, повидимому, такая аттестация была по душе.) И если, дорогая моя, вы будете настолько добры, что передадите мне ключи, то отныне обо всем я сама буду заботиться.

С этих пор мисс Мордстон держала весь день ключи в своей маленькой тюрьме-сумке, а всю ночь — под своей подушкой; матушка же имела отношение к ним не больше моего.

Все-таки она, бедняжка, выпустила из рук своих бразды правления не без некоторого протеста. Однажды вечером, когда мисс Мордстон развивала перед братцем какие-то свои хозяйственные планы, а он выражал свое одобрение, матушка вдруг заплакала и

сказала, что ей думается, как будто относительно этих вопросов должны бы были посоветоваться и с нею.

— Клара! Клара! — строго проговорил мистер Мордстон. — Вы меня удивляете!

— Хорошо вам говорить, что вы удивлены! — закричала матушка. — Хорошо вам рассуждать о твердости! Но будь вы на моем месте, я уверена, вам это не пришлось бы по вкусу.

(Должен тут заметить, что твердость духа была главной добродетелью, которой кичились и мистер Мордстон и его сестрица.)

— Очень тяжело, что в моем собственном доме... — продолжала матушка.

— В моем собственном доме? — повторил мистер Мордстон. — Клара!!

— В нашем собственном доме, — пробормотала, видимо перепуганная, бедняжка-мамочка. — Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать, — сконфуженно опять заговорила она. — Очень тяжело, что в нашем доме я совершенно отстранена от хозяйства. Ведь до моего брака с вами, я сама хозяйничала, и совсем не так уж плохо. Спросите Пиготти, и она вам скажет, что, когда никто не вмешивался, я прекрасно справлялась с хозяйством.

— Эдуард, надо с этим покончить, — заявила мисс Мордстон. — Завтра же я уезжаю.

— Джен Мордстон! — прогремел ее брат. — Извольте молчать! Как смеете вы притворяться, что не знаете моего характера?

Матушка почувствовала себя очень неловко и, бедная, расплакалась.

— Я вовсе не хочу, чтобы кто-нибудь уезжал отсюда, — плотая слезы, проговорила она. — Я была бы в отчаянии и очень несчастна, если бы из-за меня кто-нибудь уехал. Ведь я немного желаю, и в этом нет ничего безрассудного: мне хотелось бы только, чтобы со мной иногда советовались. Я очень благодарна за то, что мне помогают в хозяйстве, но желала бы, чтобы иногда, хотя для виду, спрашивали моего мнения. Мне казалось, Эдуард, вам нравилось, что я еще не очень опытна и похожа на девочку, — вы даже, помнится, говорили мне это, — а теперь вы как будто за это ненавидите меня: вы так суровы!

— Эдуард, надо положить этому конец: завтра же я уезжаю!

— Джен Мордстон! — снова прогремел ее братец. — Да замолчите ли вы наконец?! Как смеете вы говорить таким образом?

Мисс Мордстон высвободила из своей тюрьмы-сумки носовой платок и поднесла его к глазам.

— Клара, — продолжал мистер Мордстон, плядя на матушку, — вы удивляете меня! Вы поражаете меня! Да, мне приятно было думать, что я беру себе в жены неопытное и наивное существо, характер которого я образую и сообщу ему недостающую твердость и решимость. Но когда Джен Мордстон была так добра, что согласилась помочь мне и взять, ради меня, как бы роль ключницы, она вдруг встретила такую низкую неблагодарность.

— Умоляю, умоляю вас, Эдуард, — закричала матушка, — не обвиняйте меня в неблагодарности. Этого, я знаю, нет во мне. Никто никогда до сих пор не звал меня неблагодарной. У меня много недостатков, но только не этот. О, не обвиняйте меня, дорогой мой!

Мистер Мордстон обождал, пока матушка кончит, а затем снова заговорил прежним тоном:

— Да, повторяю, когда Джен Мордстон встретила такую низкую неблагодарность, мое собственное чувство остыло и изменилось!

— Любимый мой, не говорите этого! — очень жалобным голосом взмолилась матушка. — О, не говорите этого! Я не в состоянии это слышать. Какова бы я ни была, а любить я умею. Я бы не говорила этого, если бы не была уверена. Спросите Пиготти, и она, наверно, скажет вам, что у меня любящее сердце.

— Клара, никакая слабость не может иметь цены в моих глазах, а вы совсем задыхаетесь от волнения...

— Умоляю вас, Эдуард, будем опять друзьями! Я не могу жить, когда со мной холодно и суровы. На душе так тяжело! Я знаю, у меня много недостатков, и это очень хорошо с вашей стороны, Эдуард, что вы, такой твердый духом, стараетесь исправить их... Джен, я во всем согласна с вами. Поверьте, я буду в отчаянии, если вы вздумаете от нас уехать...

Матушка не в силах была докончить начатую фразу.

— Джен Мордстон, — обратился мистер Мордстон к своей сестре, — резкие слова между нами, полагаю, вещь необычная. Вина тут не моя. Другие довели меня до этого. Точно так же нельзя винить

и вас: вас тоже довели до этого другие. Постараемся оба забыть о случившемся.

Произнеся эти великодушные слова, он прибавил:

— Подобные сцены совсем не для мальчика... Давид, идите спать.

С трудом нашел я дверь, до того глаза мои заволокло слезами. Я был страшно убит матушкиным отчаянием. Ощупью вышел я и в темноте добрался до своей комнаты; у меня даже нехватило сил зайти попрощаться с Пиготти и взять у нее свечу. Когда она, около часу спустя после этого, поднялась, чтобы взглянуть на меня, я проснулся, и она сказала мне, что матушке нездоровится и она легла в постель, а мистер Мордстон с сестрицей одни сидят в гостиной.

На следующее утро я сошел вниз ранее обыкновенного и, услышав голос матушки, остановился у дверей гостиной. Матушка горячо и смиренно просила прощения у мисс Мордстон; та благоволила простить ее, и тут произошло полное примирение. С того времени мне никогда не приходилось слышать, чтобы матушка высказывала свое мнение о чем-нибудь, не обратившись сперва к мисс Мордстон или не зная наверное, как смотрит на это мисс Мордстон. И каждый раз, когда мисс Мордстон, выйдя из себя (в этом отношении она не была твердой), запускала руку в свою тюрьму-сумку, как бы с намерением передать ключи матушке, бедняжка бывала страшно перепугана этим.

Мрачность, бывшая у Мордстонов в крови, налагала мрачную тень и на их религиозные убеждения; религия их была суровая, проникнутая гневом. Я хорошо помню, с какими унылыми лицами мы обыкновенно ходили в церковь и как все переменилось там. Вот опять наступает ужасное для меня воскресенье. Я первый подхожу к нашей скамье, под конвоем, как приговоренный к месту казни. Опять по пятам за мной идет мисс Мордстон в черном бархатном платье, которое кажется мне сшитым из гробового покрывала; за ней идет матушка, и, наконец, замыкает шествие мистер Мордстон. Теперь нет Пиготти с нами, как в былое время. Опять слышу я, как мисс Мордстон бормочет молитвы и с особым свирепым воодушевлением произносит все страшные слова в своем молитвеннике. Опять вижу я, как она при словах «окаянные грешники» обводит церковь своими темными, мрачными глазами, будто все прихожане и представляют

собой этих самых грешников. Опять, когда мне изредка удается взглянуть на матушку, я вижу, как она робко шевелит губами, в то время как ее муж и золовка поочередно бормочут ей то на одно ухо, то на другое молитвы, напоминая этим отдаленные раскаты грома. Опять мне делается страшно при мысли, что наш добрый старик священник, быть может, ошибается, а правы мистер Мордстон и его сестрица, считающие, что все ангелы на небе — истребители. Опять, стоит мне двинуть пальцем или мускулом на лице, как мисс Мордстон сейчас же больно толкает меня в бок молитвенником.

И опять, когда мы возвращаемся домой, я замечаю, что соседи поглядывают на нас и перешептываются между собой. Опять, в то время как матушка с мужем и его сестрой идут все трое под руку впереди, а я плетусь за ними, я вижу, как на них смотрят проходящие, и спрашиваю себя: неужели походка матушки стала не так уже легка, как прежде, неужели совсем исчезли и веселость и оживление на ее красивом личике? Также спрашиваю я себя, помнят ли еще наши соседи, как мы бывало вдвоем с ней возвращались из церкви. И в течение всего печального, страшного дня все эти мысли неотвязно преследуют меня.

Поговаривали о том, чтобы отдать меня в школу полным пансионером. Проект этот зародился в голове мистера Мордстона и его сестрицы, а матушка, конечно, согласилась, а пока я учился дома. Никогда не забуду я этого ученья! Считалось, что учила меня матушка, но в действительности преподавателями были Мордстоны. Они всегда присутствовали при наших занятиях, видя в них удобный случай наставлять матушку в «твердости», отравлявшей нашу с нею жизнь. Думаю, что именно для этого меня и оставили дома.

Способности у меня были довольно хорошие, и я учился охотно, пока мы с матушкой жили одни. Смутно рисуется мне, как учил я азбуку, сидя у матушки на коленях. С воспоминанием о первом моем знакомстве с буквами не связано ничего неприятного. Напротив, мне кажется, что, уча азбуку, я шел как бы по дороге, усеянной цветами, и совсем незаметно добрался до книги о крокодилах. Помнится, как ободряла меня матушка своим нежным голосом и лаской. А эти торжественные занятия, сменившие те, радостные, были каким-то смертельным ударом моему душевному спокойствию, мучительным ежедневным трудом, моим несчастьем. Предметов было много, и

уроки задавались огромные, очень трудные, некоторые из них совсем непонятные; в общем, все это приводило как меня, так, думаю, и матушку в полное замешательство.

Надо мне припомнить, как все это происходило, воскресить одно такое утро.

Вот, после завтрака вхожу я в большую гостиную с книгами, тетрадками и аспидной доской. Матушка уже ждет меня у письменного столика, но гораздо больше ждут моего прихода мистер Мордстон в кресле у окна (хотя он и делает вид, что читает книгу) и мисс Мордстон, которая сидит подле матушки и нанизывает на шнурок стальные бусы. Один вид их производит на меня такое впечатление, что я уж начинаю чувствовать, как все слова, которые я с таким трудом вбил себе в голову, ускользают из нее и исчезают неизвестно куда. С удивлением спрашиваю я себя, куда же могли они провалиться.

Я подаю матушке первую книгу, — может, это учебник грамматики, а может, и географии или истории. Книгу эту я протягиваю открытой, с мучительным чувством пробегая глазами начало урока, и, пока еще он не совсем улетучился из моей головы, пускаюсь быстро и громко его отвечать. Но вот я запинаюсь на каком-нибудь слове. Мистер Мордстон поднимает глаза от своей работы. Я краснею, путаюсь, спотыкаюсь на целой полдюжине слов и наконец умолкаю...

Думаю, что матушка, посмей она сделать это, дала бы мне заглянуть в книгу, но она не решается и говорит:

— Ах, Дэви, Дэви!

— Ну, Клара, будьте же тверды с мальчиком, — вмешивается мистер Мордстон, — не говорите ему: «Ах, Дэви, Дэви!» Это ребячество! Он или знает урок, или не знает его!

— Он не знает его, — с ужасным видом вмешивается мисс Мордстон.

— Действительно, боюсь, что он не знает урока, — подтверждает матушка.

— В таком случае, Клара, вы должны вернуть ему книгу и заставить выучить урок, — заявляет мисс Мордстон.

— Я так и предполагаю сделать, милая Джен, — отвечает матушка. — Ну, Дэви, попробуйте-ка еще поучить и не будьте же

таким глупым.

И вот я пытаюсь выполнить первую часть приказания и учу урок, но привести в исполнение вторую часть его мне никак, не удается, — чувствую, что окончательно оглупел.

Вторично отвечая урок, я начинаю спотыкаться раньше, чем в первый раз, там где тогда я отвечал совершенно гладко. Стараюсь припомнить что-нибудь, но мозг отказывается работать в нужном направлении. Вместо того, чтобы думать об уроке, я прикидываю в голове, сколько метров тюля пошло на чепец мисс Мордстон и сколько мог стоять халат мистера Мордстона...

Словом, в голову мне лезут самые нелепые мысли о вещах, до которых мне нет и не может быть никакого дела. У мистера Мордстона наконец вырывается нетерпеливый жест, которого я давно поджидал. Мисс Мордстон проделывает тот же жест. Матушка покорно смотрит на мужа, и золовку, закрывает книгу и откладывает ее в сторону, как бы для того, чтобы я выучил этот урок, когда отвечу остальные. Таких недоимок у меня скоро накапливается много, они растут, как катящийся снежный ком. Чем больше их нарастает, тем глупее я становлюсь. Положение мое делается совсем безнадежным, я чувствую, что так завяз в болоте бессмыслиц, что теряю всякую надежду выбраться оттуда, и отдаюсь на волю судьбы. Отчаяние, с которым мы с матушкой смотрим друг на друга, когда я ошибаюсь, действительно ужасно. Но самый трагический момент в этих злополучных занятиях — тогда, когда матушка, думая, что никто не замечает, еле шевеля губами, силится подсказать мне. Сейчас же мисс Мордстон, которая только и ждала этого, предостерегает ее глухим голосом: «Клара!»

Матушка вздрагивает, краснеет и смущенно улыбается. Мистер Мордстон поднимается со своего кресла, берет книгу, швыряет ею в меня или бьет меня по ушам и, взяв за плечи, выталкивает из комнаты.

Но если даже уроки отвечены, худшее еще впереди: это задача с огромными числами. Задача эта придумывается для меня и диктуется мистером Мордстоном. Она в таком роде: «Если я пойду в лавку, где торгуют сырами, и куплю там за наличный расчет пять тысяч двойных глостерских сыров по четыре с половиной пенса за каждый...»

Тут я всегда замечаю на лице мисс Мордстон выражение затаенной радости. Не понимая задачи, я бессильно мучаюсь над

этими сырами до самого обеда. К этому времени я уже превращаюсь в настоящего мулата, ибо все мои поры забиты грязью с аспидной доски. Чтобы помочь мне справиться с моими сырами, вместо обеда дают мне ломоть хлеба, а потом весь вечер я чувствую себя словно в опале.

Давно, правда, это было, но теперь мне кажется, что злосчастное мое учение всегда так протекало. А мог бы я учиться очень хорошо, если б на уроках не присутствовали Мордстоны.

Они действовали на меня, как действуют взгляды двух змей на птенца.

Даже в тех случаях, когда мне удавалось сравнительно благополучно выйти из моих утренних испытаний, я, кроме обеда, немного от этого выигрывал. Мисс Мордстон была не в состоянии вынести, чтобы я был без работы, и если я имел неосторожность обнаружить, что свободен, она сейчас же обращала на это внимание своего братца, говоря матушке:

— Клара, дорогая ничего нет выше труда, — дайте вашему мальчику какое-нибудь упражнение!

И меня засаживали за новую работу. Играть и забавляться с другими детьми мне приходилось очень редко, ибо, по мрачным воззрениям Мордстонов, все дети были какой-то кучей змеенышей, только заражающих друг друга.

Естественным результатом такого обращения со мной в течение полугода, а быть может и больше, было то, что я стал мальчиком угрюмым, вялым и упорным. Немало способствовало этому и то, что я чувствовал, как стараются они все более и более отдалить меня от матери. Пожалуй, совсем превратился бы я в идиота, если б одно обстоятельство не спасло меня.

А обстоятельство это было такое: после моего отца осталась небольшая библиотека, помещавшаяся наверху, в маленькой комнате, рядом с моей. Я имел в это помещение свободный доступ, и никто в доме, кроме меня, туда не заглядывал. Книги эти были моим единственным постоянным утешением. Когда я думаю об этом, мне рисуется летний вечер; деревенские мальчики играют на кладбище, а я сижу на своей кровати и с головой ушел в чтение, — так, как будто от этого зависит вся моя жизнь. Каждый соседний амбар, каждый камень в церкви, каждая пядь земли на кладбище, помню, имели в

моих глазах какую-то связь с тем, что я читал в книгах, и напоминали мне какую-нибудь местность, описанную в них.

Однажды утром, когда я по обыкновению явился в гостиную со своими книгами, мне показалось, что матушка в каком-то особенно тревожном состоянии духа, мисс Мордстон в особенно «твердом», а мистер Мордстон привязывает что-то к концу гибкой и тонкой трости. При моем появлении он, словно играя, хлестнул этой тростью несколько раз по воздуху.

— Говорю вам, Клара, что меня самого частенько секли, — проговорил мистер Мордстон.

— Конечно, случилось, — подтвердила мисс Мордстон.

— Все это так, дорогая Джен, — смиренно, дрожащим голосом промолвила матушка, — но... но думаете ли вы, что это было на пользу Эдуарду?

— А вы думаете, что для Эдуарда это было во вред? — с серьезным видом спросил мистер Мордстон.

— Конечно, на пользу, — заявила сестрица.

— Очень может быть, дорогая Джен, — пробормотала матушка и больше не проронила ни слова.

Я стал догадываться, что разговор этот касается лично меня, и вопросительно посмотрел в устремленные на меня глаза мистера Мордстона.

— Ну, Давид, — сказал он, еще пристальнее глядя на меня, — сегодня вы должны быть гораздо прилежнее обыкновенного.

С этими словами он поднял трость и опять хлестнул ею по воздуху. Сделав все приготовления, он положил трость рядом с собой, выразительно посмотрел на меня и снова принялся за чтение.

Конечно, такое начало вряд ли могло поднять мой дух. Тут я вдруг почувствовал, что из всего заученного мной ускользают не только слова, не только строчки, но целые страницы. Я силился их удержать, но они мчались от меня, если можно так выразиться, на коньках, и угнаться за ними не было никакой возможности.

Наши занятия с матушкой начались плохо, а дальше пошло все хуже и хуже. Идя отвечать уроки, я, помнится, думал отличиться, так как очень хорошо приготовил все, что мне было задано, а вышло совсем не так. Одна за другой откладывались книги, и все росло количество уроков, которые надо было переучивать. Мисс Мордстон

со своей обычной «твердостью» все время следила за нами с матушкой. А когда мы наконец добрались до пяти тысяч сыров (впрочем, в тот день они были заменены хлыстами), матушка расплакалась.

— Клара! — как бы предостерегая ее, воскликнула мисс Мордстон.

— Дорогая Джен, мне, кажется, нездоровится, — еле слышно пролепетала матушка.

Я видел, как мистер Мордстон важно поднялся с хлыстом в руке и, собираясь говорить, мигнул своей сестрице.

— Видите ли, Джен, мы с вами едва ли можем надеяться, чтобы Клара с полной твердостью была в состоянии вынести те терзания и муки, которым подверг ее сегодня Давид. Для этого надо быть настоящим стойком^[9]. Правда, Клара сделала большие успехи и стала гораздо тверже, но подобного стоицизма ожидать от нее все-таки вряд ли мы можем... А теперь, мальчик, пойдете-ка наверх!

Когда он выводил меня из гостиной, матушка бросилась было за ним, но мисс Мордстон непустила ее, прошипев: «Да вы совсем с ума сошли, что ли!» Матушка заткнула себе уши и разрыдалась.

Отчим медленно и торжественно ввел меня в мою комнату. Я убежден, что весь этот показной церемониал экзекуции доставлял ему наслаждение.

Не успели мы войти в комнату, как он сунул мою голову себе подышку и сжал ее, словно в тисках.

— Мистер Мордстон, сэръ! — закричал я. — Не бейте, не бейте меня, прошу вас! Я старался выучить, но в присутствии вас и вашей сестры я все забываю, право, забываю!

— Так-таки все и забываете, Давид? — прошипел он. — Ну, попробуйте-ка этого!

Хотя он держал мою голову словно в тисках, но я как-то умудрился вырваться от него и опять стал умолять не бить меня. Но это была лишь мгновенная отсрочка, — он снова сжал меня, и вдруг я почувствовал сильнейший удар. В этот момент я схватил его за руку, которой он зажимал мне рот, и прокусил ее насквозь. И теперь, как вспомню это, мороз пробирает меня по коже.

Тут он стал бить меня беспощадно: казалось, он хотел засечь меня досмерти. Несмотря на поднятый нами шум, я слышал, как

бегали и рыдали матушка и Пиготти. Наконец он вышел и запер за собой дверь на ключ; а я лежал на полу, весь как в огне, избитый, измученный, взбешенный своим бессилием...

До чего ясно помню я, как, придя в более спокойное состояние, я обратил внимание на то, что во всем доме царит какая-то неестественная тишина. Так же живо помнится мне, каким дурным почувствовал я себя, когда жгучая боль и бешенство начали затихать во мне.

Долго сидел я прислушиваясь, но до меня не доходило ни единого звука. С большим трудом поднялся я с пола, увидел в зеркале свое лицо и почти испугался его, до того оно было распухшее, красное, уродливое. Рубцы на теле так страшно болели и ныли при каждом движении, что я снова начал плакать. Но все это было ничто по сравнению с мукой, которую испытывал я от сознания своей вины. Мне кажется, я чувствовал себя более виновным, чем если б совершил самое ужасное преступление.

Начинало уже смеркаться, и я закрыл окно. (Почти все время я полулежал на подоконнике, прислонившись к раме, то плача, то дремля, то рассеянно поглядывая вдаль.) Вдруг ключ в замке повернулся, и вошла мисс Мордстон. Она принесла мне хлеба, мяса и молока. Все это, ни слова не говоря, поставила она на стол, посмотрела на меня с достойной подражания твердостью и ушла, опять, закрыв за собой дверь на ключ.

Долго после того, как стемнело, сидел я и ждал, не зайдет ли еще кто-нибудь ко мне. Когда же я понял, что, во всяком случае, уж в эту ночь никто притти ко мне не может, я разделся и лег спать. Помнится, с каким страхом стал я думать о том, что именно меня ждет. Уж не совершил ли я в самом деле преступления? Быть может, меня арестуют, посадят в тюрьму, а пожалуй, еще и повесят.

Никогда не забуду я своего пробуждения на следующее утро. В первую минуту я почувствовал себя бодрым и веселым, но затем меня как бы придавили к земле тяжелые воспоминания о вчерашнем дне. Прежде чем я встал с постели, снова появилась мисс Мордстон. Она объявила, что мне разрешается полчаса, но не больше, погулять в саду, и ушла, оставив дверь открытой, для того чтобы я смог воспользоваться этим позволением.

Я погулял полчаса, и потом гулял так каждое утро во все время моего заключения, а оно длилось пять дней.

Если бы я имел возможность наедине повидаться с матушкой, я пополз бы к ней на коленях и вымолил бы у нее прощение; но в течение всего этого времени я никого не видел, кроме мисс Мордстон. Правда, каждый вечер она приводила меня в гостиную на молитву, но это бывало тогда, когда все уже стояли на своих местах, а я, как юнец, находящийся вне закона, оставался один у дверей. Как только оканчивалась молитва, прежде чем кто-либо успевал встать, мой тюремщик торжественно отводил меня в место моего заключения. Во время этой вечерней молитвы мне удалось только заметить, что матушка держится от меня как можно дальше, да еще и отворачивается, так что мне ни разу не удалось увидеть ее лицо. Обратил я также внимание на то, что рука мистера Мордстона забинтована белым полотном.

Не могу выразить, насколько бесконечными, показались мне эти пять дней! Они и теперь вспоминаются мне, как целые годы. Помнится, как прислушиваюсь я к малейшим звукам в доме: вот дребезжит звонок, открываются и закрываются двери, слышатся голоса, раздаются шаги на лестнице... Смех, свист, пеньё за стенами дома делают еще печальнее мое одиночество и позор. Помню, что у меня терялось представление о времени, особенно, когда темнело. Я, бывало, просыпаюсь, думая, что скоро уже утро, а тут оказывается, что в доме еще никто и не думал ложиться, и передо мной целая ночь, бесконечная ночь, с ее тревожными снами и ужасными кошмарами. Но вот снова наступает день, полдень, вечер, когда соседние мальчишки играют на кладбище, и я смотрю на них из угла своей комнаты. Я не подхожу к окну, боясь, как бы они не узнали, что я узник. А как странно никогда не слышать собственного голоса! Я развешиваюсь немного во время еды, но это не надолго. Помню, однажды вечером шел дождь, так хорошо запахло свежестью, и капли сплошной завесой все быстрее заструились между мной и церковью — до тех пор, пока совсем не надвинулась ночь, с ее мраком, ужасами и угрызениями совести...

В последнюю ночь моего заключения я проснулся, услышав, что кто-то шопотом зовет меня. Я вскочил с постели и, протягивая в темноте руки, спросил:

— Это вы, Пиготти?

Ответа не последовало, но вскоре я снова услышал свое имя, произнесенное таким таинственным, страшным голосом, что, пожалуй, я мог бы лишиться чувств, не догадайся я, что голос этот слышится через замочную скважину.

Я пробрался к двери и, прильнув губами к замочной скважине, прошептал:

— Это вы, Пиготти, дорогая?

— Да, сокровище мое, мой Дэви, это я. Но тише, будьте как мышка, а то нас услышит кошка.

Я понял, что она говорит о мисс Мордстон, и почувствовал, насколько надо было быть осторожным, раз ее комната рядом с моей.

— Как мама, дорогая Пиготти? Что, она очень на меня сердится?

Я слышу, как Пиготти тихонько плачет по ту сторону замочной скважины, в то время как я лью слезы до эту сторону; наконец она отвечает:

— Нет, не очень.

— Пиготти, милая, что хотят со мной сделать? Не знаете ли вы?

— Школа... Близ Лондона... — шепчет Пиготти.

— Когда же, Пиготти?

— Завтра.

— Ах! Вот, значит, почему мисс Мордстон и вынула сегодня утром из комода мои костюмы, — говорю я.

— Да, они в чемодане, — еле слышно подтверждает Пиготти.

— Неужели я не увижу мамы?

— Увидите, утром, — шепчет Пиготти.

Тут, прильнув к самой замочной скважине, она тихонько говорит со мной с таким чувством, с таким жаром, какие вряд ли проникали когда-либо через замочные скважины.

— Дэви, дорогой мой, если в последнее время я не была так ласкова с вами — это не потому, что я не люблю вас... Нет, я люблю вас попрежнему, и даже еще больше, мой любимый красавчик... Я хотела сделать как лучше — для вас... и еще для кого-то... Дэви, сокровище мое, слышите ли вы меня? Разбираете ли?..

— Да-а-а-а, Пиготти... — стараясь заглушить рыдания, отвечаю я.

— Радость моя! — продолжает шептать Пиготти с бесконечным состраданием. — Вот что я хочу сказать вам: никогда не забывайте меня, как я никогда не забуду вас... Я, Дэви, буду так же заботиться о вашей маме, как заботилась о вас... И я не брошу ее... Может, настанет день, когда она снова рада будет положить свою бедную головку на плечо своей глупой, сердитой старой Пиготти... И я буду писать вам, дорогой мой... Хотя я и неученая, но буду... непременно буду...

Тут Пиготти, не имея возможности поцеловать меня, припадает к замочной скважине и целует ее.

— Спасибо, дорогая Пиготти! — со слезами шепчу я. — О, великое спасибо! Обещаете ли вы исполнить одну мою просьбу? Обещаете ли написать мистеру Пиготти и маленькой Эмми, и миссис Гуммидж, и Хэму о том, что я вовсе не такой уж гадкий мальчик, как они теперь могут подумать, и сказать им, что я их всех очень люблю, но больше всего маленькую Эмми... Ну что, Пиготти? Сделаете вы то, о чем я прошу вас?

Конечно, добрая душа обещала мне это, и мы оба, поцеловав замочную скважину с величайшей нежностью (а я, помнится, при этом еще гладил скважину с таким ж чувством, словно это было доброе, славное лицо моей Пиготти), расстались.

С этой ночи у меня к Пиготти появилось какое-то новое чувство, которое мне трудно было даже определить. Понятно, няня не могла заменить мне матушку, никто не мог этого сделать, но она заполнила какое-то пустовавшее в моем сердце место, и я почувствовал к ней нечто такое, чего никогда не чувствовал ни к какому другому существу на свете.

Утром, по обыкновению, явилась ко мне мисс Мордстон и сообщила, что меня отдадут в школу; это не было для меня такой новостью, как, наверное, она предполагала. Также она сказала мне, чтобы, одевшись, я шел завтракать в гостиную.

Увидев там матушку, очень бледную, с покрасневшими глазами, я бросился к ней на шею и от всей своей измученной души молил ее простить меня.

— Ах, Дэви, Дэви! — укоризненно сказала матушка. — Как могли вы поступить так с тем, кого я люблю! Постарайтесь же исправиться. Молитесь богу, чтобы он помог вам стать хорошим

мальчиком. Прощаю вас, но печалюсь очень, что в сердце вашем гнездится столько дурного.

Повидимому, Мордстонам удалось-таки уверить матушку, что я гадкий, злой мальчик, и это ее огорчало, пожалуй, больше, чем даже самая разлука со мной. Очень больно было мне это. Я старался проглотить свой прощальный завтрак, но слезы капали на хлеб с маслом и скатывались в мой чай. Я видел, как матушка по временам поглядывает то на меня, то на бдительную мисс Мордстон, а затем опускает глаза в землю или начинает смотреть по сторонам.

— Вынесите чемоданы мистера Копперфильда, — приказывает мисс Мордстон, когда у ворот слышится стук колес.

Я оглядываюсь, ожидая увидеть Пиготти, но входит другая служанка. Ни Пиготти, ни мистер Мордстон так и не появились. Мой старый знакомец извозчик стоит у дверей. Служанка выносит вещи и кладет в повозку.

— Клара! — говорит мисс Мордстон, и в тоне ее звучит предупреждение.

— Все готово, милая Джен, — отвечает матушка. — Прощайте, Дэви! Вы едете для своего блага. Прощайте, дитя мое! На праздники вы приедете домой и, надеюсь, будете хорошим мальчиком.

— Клара! — повторяет мисс Мордстон.

— Слышу, милая Джен, — отзывается, матушка, продолжая обнимать меня. — Прощаю вас, дорогой мой мальчик, бог да благославит вас.

— Клара! — еще раз предостерегает ее золовка.

Мисс Мордстон настолько любезна, что, оторвав меня от матушки, провожает до самой повозки. Дорогой она выражает надежду на то, что я исправлюсь. «А иначе, — прибавляет она, — вы плохо кончите!»

Глава V

Я ИЗГНАН ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА

Мы, должно быть, отъехали с полмили, и мой носовой платок успел насквозь промокнуть от слез, как вдруг извозчик останавливает лошадь. Я выплядываю, чтобы узнать, в чем дело, и, к величайшему моему удивлению, вижу Пиготти. Выскочив из-за забора, она влезает в повозку, обнимает меня обеими руками и так крепко прижимает к своему корсету, что чуть не раздавливает мне нос. Но я вспомнил об этом лишь впоследствии: нос долго давал о себе знать. Пиготти не говорит ни единого слова. Высвободив одну руку, она опускает ее по локоть в свой карман и вытаскивает оттуда сначала несколько бумажных кулечков со сладкими пирожками, — ими она набивает мои карманы, — затем кошелек; его она сует мне в руку. И все это, повторяю, проделывает она совершенно безмолвно.

Тут, обняв и прижав меня к себе в последний раз, она соскакивает с повозки и убегает. Нисколько не сомневаюсь, что после этого у нее не осталось ни одной пуговицы на платье. Я подобрал на память одну из валявшихся вокруг пуговиц и долго потом хранил ее. Извозчик посмотрел на меня, как бы спрашивая, не вернется ли она. Я покачал головой и проговорил:

— Не думаю.

— Ну, тогда трогай! — обратился он к своей ленивой кляче, и она снова поплелась.

Выплакав все свои слезы, я начинаю думать, что плакать больше не стану. В этом решении большую роль играло еще то, что герои прочтенных мною книг в самых тягостных положениях никогда не плакали. Извозчик, видя, что я принял такое благое решение, предложил мне просушить мой носовой платок на спине лошади. Я поблагодарил и поручил ему это сделать. Помню, что платок мой на спине лошади показался мне ужасно маленьким.

Теперь, на досуге, я мог хорошенько рассмотреть свой кошелек. Он был из грубой кожи, с щелкающим затвором. В нем лежало три

блестящих шиллинга^[10], - их Пиготти, очевидно, чтоб доставить мне побольше удовольствия, хорошенько вычистила мелом. Однако, самым драгоценным в этом кошельке были две полукроны^[11]. Завернуты они были в белую бумажку, на которой матушка написала: «Дэви — от любящей мамы». Я был так растроган этим, что попросил извозчика достать мне со спины лошади носовой платок. Он на это ответил, что не лучше ли мне обойтись без него. Подумав, я согласился с ним и, утерев слезы рукавом, перестал плакать. Только время от времени из моей груди все еще вырывались громкие всхлипывания.

Мы тащились черепашьям шагом, и через некоторое время я осведомился у извозчика, повезет ли он меня до конца.

— До конца? Куда? — спросил он.

— Да туда! — ответил я.

— А где это «туда»? — поинтересовался извозчик.

— Близ Лондона, — пояснил я.

— Ну, что вы! Эта лошадь протянет ноги, как зарезанная свинья, если сделает хотя половину такого пути, — отозвался извозчик и дернул вожжами, как бы показывая, на что способна его кляча.

— Тогда, значит, вы едете всего до Ярмута? — спросил я.

— Да, как будто так, — отозвался извозчик. — А там я доставлю вас на дилижанс^[12], и он уж отвезет вас туда, где это самое и есть.

Так как сказать все это было далеко не легко для в высшей степени неразговорчивого, флегматичного извозчика (звали его мистер Баркис), то я, желая оказать ему внимание, предложил один из моих пирожков. Проплотил он его, словно слон, разом, причем на его толстом лице отразилось это не больше, чем могло бы отразиться у слона.

— Это «она» их печет? — вдруг спросил мистер Баркис, продолжая сидеть с опущенной головой, положив ноги на подножку телеги, а руки на колени.

— Вы спрашиваете, сэр, о Пиготти? — осведомился я.

— О ней.

— Да, это она печет пирожки и вообще все у нас готовит.

— В самом деле?

Тут Баркис сложил свой рот, словно собираясь свистнуть, но не свистнул. Он сидел и смотрел на уши лошади так, как будто открыл в

них что-то новое. Просидел он таким образом довольно долго и наконец проговорил:

— А зазнобы, верно, нет?

— Сдобы, мистер Баркис? — переспросил я, решив, что он хочет еще полакомиться и намекает на это.

— Нет, зазнобы... то бишь, никто с ней не гуляет?

— С Пиготти?

— Да, да... с ней...

— О нет, с ней никто никогда не гуляет.

— В самом деле? — откликнулся мистер Баркис.

Опять он сложил губы, как бы собираясь свистнуть, и опять не свистнул, а сидел и смотрел на уши лошади. После долгого размышления он спросил:

— Так, значит, это она печет пирожки с яблоками и все готовит?

Я подтвердил, что именно она.

— Ладно! Тогда вот что скажу я вам, — продолжал Баркис: — быть может, вы будете писать ей?

— Конечно, буду, — отвечал я.

— Ага, — проговорил он, медленно поворачиваясь ко мне. — Так вот, когда будете писать, может быть, не забудете сказать ей, что Баркис согласен. Не забудьте же!

— Так, значит, и написать, что Баркис согласен? — наивно, ничего не понимая, повторил я. — И ничего больше не писать?

— Да-а, — подумав, сказал он, — так и пишите: «Баркис согласен».

— Да ведь вы сами завтра будете в Блондерстоне, так не лучше ли вам самому это сказать ей? — заметил я, и сердечко мое сжалось при мысли, что я-то сам в это время буду уж далеко.

Но так как он на это отрицательно покачал головой и с очень серьезным видом еще раз повторил: «Баркис согласен — вот и все», — я охотно взялся выполнить его поручение.

(В этот же вечер, ожидая в ярмутской гостинице отхода дилижанса, я раздобыл себе лист бумаги, перо и чернильницу и настроил Пиготти такое послание:

«Моя дорогая Пиготти! Сюда я доехал благополучно. Баркис согласен. Передайте маме, что я ее целую. Любящий вас Дэви.

Р. S. Он очень хочет, чтобы вы знали, что Баркис с_о_г_л_а_с_е_н»).

Убедившись, что я берусь исполнить его поручение, мистер Баркис погрузился в глубочайшее молчание, а я, утомленный и измученный всеми переживаниями последнего времени, улегся на дне повозки на какой-то мешок и заснул. Проспал я, как убитый, до самого Ярмута. Со двора гостиницы городок этот показался мне таким незнакомым, что в душе моей угасла таившаяся в ней надежда встретить здесь кого-нибудь из семейства мистера Пиготти и, быть может, даже маленькую Эмми.

Вычищенный дилижанс стоял во всем своем блеске во дворе гостиницы, но лошадей видно не было, а потому казалось совсем невероятным, чтобы он когда-нибудь смог отправиться в Лондон. Я только задумался об этом и о том, что будет с моим чемоданом, который мистер Баркис, уезжая положил во дворе прямо на мостовую, да и со мной самим, когда какая-то дама, выплянув из окна, увешанного битой птицей и кусками мяса, окликнула:

— Не вы ли будете маленький джентльмен из Блондерстона?

— Да, мэм.

— А как ваше имя?

— Копперфильд, мэм.

— Нет, это не вы. На это имя не заказывали обеда.

— Так, быть может, мэм, заказано на имя Мордстона? — сказал я.

— Если вы мистер Мордстон, — возразила дама, — так почему скажите, сперва вы назвали другое имя?

Я объяснил даме, как могло произойти это недоразумение, и она, позвонив, крикнула:

— Вильям! Проводите их в столовую!

Тут выбежал из кухни, находившейся на другой стороне двора, официант. Узнав, что проводить в столовую надо именно меня, он очень удивился. Столовая была большая, длинная комната, где по стенам висели большие географические карты. Думаю, что если бы эти карты вдруг превратились в изображаемые ими страны, то я не почувствовал бы себя там более затерянным и одиноким, чем здесь в эту минуту.

Робко сняв фуражку, я примостился близ дверей на краешке стула: и это уж казалось мне очень смелым поступком. Когда официант накрывал специально для меня стол, я не переставал краснеть от смущения.

Он принес мне котлет и овощей, причем снимая крышки с блюд, так стучал, что я боялся, не обидел ли я его чем-либо. У меня отлегло от сердца, когда он, подвинув мне стул, очень приветливо сказал:

— Ну, великан, садитесь!

Я поблагодарил его и сел за стол. Мне чрезвычайно трудно было справиться с ножом и вилкой и не обливать себя соусом, в то время как официант этот с таким важным видом стоял напротив, уставившись на меня. Каждый раз, когда наши глаза встречались, я отчаянно краснел.

Видя, что я принялся за вторую котлету, официант сказал мне:

— Для вас заказано полпинты^[13] эля^[14]. Не хотите ли выпить его сейчас?

Я поблагодарил и сказал «да». После этого он налил эля из кувшина в большой стакан и, держа стакан перед светом, показал мне, какого чудного цвета этот напиток и как он прозрачен.

— А правда, этого эля много здесь? — спросил он.

— Много, — ответил я улыбаясь.

Я был совсем очарован, найдя официанта таким милым. Это был малый с моргающими глазами, прыщеватым лицом и волосами, торчащими на голове, словно щетка.

Официант стоял, подбоченившись одной рукой, а другой держал стакан перед светом. Он, казалось, относился ко мне очень благосклонно.

— Здесь был вчера один господин, — начал он, — такой из себя полный и высокого роста, мистер Топсоэр... быть может, вы знаете его?

— Нет, — ответил я, — не думаю...

— Он носит короткие панталоны, гетры, шляпу с большими полями, серый сюртук, галстук с крапинками...

— Нет, — смущенно пробормотал я, — не имею удовольствия...

— Так вот, этот самый джентльмен, продолжал официант, все разглядывал эль на свет, — как-то зашел сюда. Заказал он себе стакан этого самого эля, и не обратив внимания на мои предостережения,

выпил его и тут же упал мертвый. Видимо, эль этот оказался слишком старым для него.

Узнав о таком печальном конце мистера Топсоэра, я очень был потрясен и заявил, что пожалуй, мне лучше выпить воды.

— Видите ли, — сказал официант, продолжая, прищурился, глядя на стакан, — хозяева не любят, когда гости, потребовав что-нибудь, потом оставляют. Это их обижает. Хотите, я выпью этот эль? Я привык к нему, а привычка, знаете, великое дело. Думаю, если я так закину голову и залпом выпью, то — сойдет... Ну что, пить?

Я ответил, что буду ему очень благодарен, если он выпьет, но при условии, что это ему не повредит. Когда он, закинув голову, залпом опорожнил весь стакан, признаюсь, я дрожал от страха, как бы его не постигла участь злополучного мистера Топсоэра и он не упал бы тут же бездыханным на ковер. Но эль не только не повредил ему, а наоборот, мне показалось, что после него лакей стал даже бодрее.

— Что тут у нас есть? — вдруг проговорил он, тыкая вилкой в мою тарелку. — Не котлеты ли?

— Котлеты, — отозвался я.

— Ах, боже мой! А я и не знал, что это котлеты! Ведь это же лучшее средство против вредного действия эля. Вот так удача!

Тут он схватил котлету за косточку в одну руку, а картофель — в другую и, к моему великому удовольствию, стал уплетать их. Затем он взял вторую котлету и картофель, а потом третью котлету и картофель...

Покончив с котлетами, он принес мне пудинг^[15] и, поставив его передо мной, стал что-то задумчив.

— Ну, каков пирог? — словно очнувшись, спросил он.

— Да это пудинг, — ответил я.

— Пудинг! — воскликнул он. — Ах, господи!

Затем, нагнувшись к пудингу и всмотревшись в него пристальнее, лакей воскликнул:

— Неужели пудинг? Да еще сбитый! — Тут он взял в руки большую столовую ложку. — Ведь знаете, это мой любимый пудинг. Какое счастье! Давайте-ка, малыш, начнем его уписывать наперегонки. Посмотрим, кто съест больше.

Разумеется, официант съел гораздо больше моего. Он то и дело подзадоривал меня одержать над ним верх, по что значила моя чайная

ложечка по сравнению с его столовой ложкой, его темпы по сравнению с моими темпами, его аппетит по сравнению с моим аппетитом! Конечно, я остался далеко позади после первого же глотка, и на победу не было никаких шансов. Никогда, кажется, не видел я никого, кто бы так наслаждался пудингом, как он. Покончив с ним, он все еще радостно смеялся, как бы продолжая наслаждаться. Видя, как официант дружески и по-товарищески относился ко мне, я попросил его принести бумаги, перо и чернила, чтобы написать Пиготти то письмо, о котором я уже упоминал. Он не только сейчас же принес мне это, но все время, пока я писал, был настолько добр, что стоял за моей спиной и смотрел на мое писание. Когда я кончил, он спросил, в какую школу я еду.

— Близ Лондона, — ответил я. Больше этого я и сам не знал.

— Ах, боже мой! — воскликнул он с очень опечаленным видом. — Жаль, очень жаль...

— Почему? — спросил я.

— Да потому, что в этой самой школе переломали мальчику ребра, — помнится даже, именно два ребра. Это был маленький мальчик, лет... Пойдите-ка: сколько вам лет?

— Девятый, — ответил я.

— Ну, значит, как раз ваш ровесник. Ему было восемь лет с половиной, когда ему переломали первое ребро, и восемь лет и восемь месяцев, когда переломали второе. Тут он и отправился на тот свет.

Я и не был в силах скрыть ни от себя самого, ни от официанта, что такое печальное происшествие как раз с моим ровесником встревожило меня, и спросил, как все это произошло с ним. Ответ его: «Во время порки», был далеко не успокоителен.

Рожок дилижанса, очень кстати затрубивший в этот момент, отвлек меня от печальных мыслей. Я встал из-за стола и спросил, следует ли мне что-нибудь уплатить. Вынимая при этом из кармана кошелек, я испытывал смешанное чувство и гордости и робости.

— Следует уплатить за лист почтовой бумаги, — ответил лакей. — А вам приходилось когда-нибудь покупать почтовую бумагу?

— Что-то не помню, — ответил я.

— Она теперь дорога из-за пошлины, — пояснил лакей — Три пенса^[16]. Вот как облагают в нашей стране! А больше, платить

нечего, разве только пожалуете мне на чаек. Относительно чернил не извольте беспокоиться, этот расход я уж принимаю на себя!

— Сколько же... вам... Сколько я должен... Пожалуйста, скажите, сколько нужно давать официанту... на чай? — бормотал я, весь красный от смущения.

— Не будь у меня семьи и не более эта семья ветряной оспой, я не взял бы от вас и шести пенсов... Еще, если бы мне не приходилось кормить престарелую мать и прелестную сестрицу, — говоря это, официант казался очень взволнованным, — я ни за что не взял бы с вас ни единого пенса. А служи я на порядочном месте, где со мной хорошо обращались бы, не только ничего не взял бы от вас, а сам бы подарил вам на память какую-нибудь безделицу. Но здесь кормят меня объедками и спать заставляют в угольном чулане... — и официант залился слезами.

Я почувствовал глубокое сострадание к его бедственному положению и решил, что дать ему на чай менее девяти пенсов было бы жестоко и бесчеловечно. И потому я отдал ему один из моих блестящих шиллингов. Монету эту он взял от меня почтительно, с большим смирением, но тотчас же попробовал ее ногтем большого пальца, чтобы убедиться, не фальшивая ли она.

Когда меня сажали в дилижанс, я был смущен, узнав, что меня подозревают в том, что я один, без посторонней помощи, уничтожил весь поданный мне обед. Это стало мне известно из слов той же дамы, стоящей у окна. Обращаясь к кондуктору, она крикнула:

— Джорж! Присмотрите-ка за этим малышом, а то как бы он еще не лопнул в дороге!

Служанки гостиницы, бывшие по дворе, хихикали, разглядывая меня, как какое-то маленькое чудо. Мой новый злосчастный приятель-официант, снова повеселевший, несколько не смущаясь, без зазрения совести вместе с другими дивился моему аппетиту. Признаюсь, мне было очень неприятно стать незаслуженно предметом насмешливых шуток кучера и кондуктора. Оба они все уверяли, что лошади из-за меня едва тащат дилижанс и что лучше уж было бы мне ехать в грузовом фургоне. Мои спутники, проведав о моем необыкновенном аппетите, принялись также над ним подтрунивать и приставали ко мне с расспросами, на каких именно условиях принят я в пансион, не будут ли за меня платить вдвое или втрое больше, чем за других

мальчиков. Немало и других насмешек в этом роде сыпалось тут на меня. Однако хуже всего было то, что я прекрасно знал, как после всех этих насмешек мне стыдно будет есть и благодаря этому мне, после, в сущности, очень легкого обеда, придется всю ночь голодать; а я тут еще, как назло, в суете позабыл в гостинице все Пиготтины пирожки. Так на самом деле оно и случилось. Когда мы остановились ужинать, у меня нехватало духу сесть за стол, хотя к этому времени я уже очень проголодался. Я примостился у камина и заявил, что есть ничего не буду. Это, однако, не спасло меня от всевозможных новых шуток. Один из моих спутников, с сиплым голосом и грубой физиономией, который в продолжении всей дороги не переставал уписывать бутерброды, делая перерыв только для того, чтобы отхлебнуть из захваченной с собой бутылки, громогласно заявил, что я похож на удава, который столько поглощает зараз, что долго потом не нуждается в пище. Сказав это, сам он набросился на вареное мясо.

Мы выехали, из Ярмута в три часа дня и должны были прибыть в Лондон на следующий день, часов в восемь утра. Был чудесный летний вечер. Когда мы проезжали через какую-нибудь деревню, я старался себе представить, что там делается, в этих домах, и какие люди живут в них. Видя бегущих за нашим дилижансом мальчиков, цепляющихся сзади за рессоры, я спрашивал себя, живы ли у них отцы и счастливы ли эти мальчики дома. Ночью путешествие сделалось менее приятным — стало холодно. Меня, дабы я не вывалился, усадили между двумя пассажирами (один из них был джентльмен с грубой физиономией). Заснув, они оба навалились на меня и едва не раздавили. Временами они так притискивали меня, что я не мог удержаться, чтобы не закричать: «Ах, пожалуйста, поосторожнее!» Это им не нравилось, так как будило их. Напротив меня в большой меховой шубе сидела пожилая леди, до того закутанная, что в темноте она походила на копну сена. Она везла с собой корзину и долго не знала, куда ее пристроить. Наконец, найдя, что мои ноги коротки, она подсунула ее под них. Корзина страшно стесняла и мучила меня. Когда же я осмеливался чуть-чуть шевельнуться, какая-то склянка в корзине позвякивала, и пожилая леди в шубе пребольно толкала меня ногой, ворча при этом:

— Эй, вы! Не вертитесь! Кости ведь у вас молодые — не болят, надеюсь!

Наконец вошло солнце, и сон моих двух соседей сделался спокойнее, а когда солнце поднялось несколько выше, они, один за другим, проснулись.

Каким удивительным местом показался мне Лондон, когда я увидел его издали! Помнится, мне пришло тут в голову, что приключения всех моих героев происходили именно здесь, и еще бродили какие-то неясные мысли о том, что в Лондоне больше, чем во всех городах мира, и чудес и пороков. Но на этом не стану останавливаться.

Подвигаясь мало-помалу, мы наконец въехали в город и добрались до гостиницы, находящейся в Уайт-Чепельском квартале, где была контора дилижансов. Не помню уже теперь, как звалась эта гостиница, — не то «Голубой бык», не то «Голубой кабан», только знаю, что на вывеске был изображен какой-то голубой зверь и что на задней стороне кузова дилижанса красовалось такое же точно изображение.

Вылезая из дилижанса, кондуктор посмотрел на меня, а потом, подойдя к дверям конторы, спросил:

— Ждет ли здесь кто-нибудь молодого Мордстона, приехавшего из Блондерстона в Суффолке? Он прислан сюда «до востребования».

Никто не отозвался.

— Попробуйте спросить, сударь, о Копперфильде, — попросил я, беспомощно озираясь кругом.

— Ждет ли здесь кто-нибудь юнца, записанного под фамилией Мордстон, но который зовется Копперфильдом? Он приехал из Блондерстона в Суффолке и должен здесь ждать, пока за ним не явятся, — еще раз объявил кондуктор.

Нет, никого не было. Я продолжал робко оглядываться. На вопросы кондуктора никто из присутствующих не обратил внимания, за исключением одноглазого джентльмена, который посоветовал надеть на меня медный ошейник и привязать к стойлу в конюшне.

Принесли лестницу, и я спустился по ней на землю вслед за дамой, похожей на копну сена. Я не осмелился встать, пока она не забрала своей корзины. К этому времени все пассажиры уже вышли из дилижанса. Богаж был очень скоро выгружен. Лошадей отпрягли еще раньше, и, наконец, самый дилижанс конюхи откатали куда-то в

сторону, а за запыленным юнцом из Блондерстона в Суффолке все еще никто не являлся.

Я чувствовал себя более одиноким, чем Робинзон Крузо, — на того, по крайней мере, никто не посматривал и не видел его одиночества. Я вышел в контору и там, по приглашению писца, сел позади конторки на весы, на которых взвешивали багаж. В то время как я сидел здесь и смотрел на тюки, ящики, конторские книги, вдыхая в себя запах конюшен (он навсегда остался неразрывно связанным с этим утром), самые ужасные мысли стали бродить в моей голове. Что, если вдруг никто за мной так и не явится? Долго ли согласятся держать меня здесь? Позволят ли, по крайней мере, остаться до тех пор, пока я не израсходую своих семи шиллингов? Смогу ли я ночевать в одном из этих деревянных ящиков среди другого багажа и по утрам мыться во дворе у помпы, или же меня станут выгонять каждую ночь на улицу и впускать только утром, когда откроется контора, где я должен буду сидеть и ждать, пока за мной кто-нибудь не придет? А что, если здесь нет никакого недоразумения, а просто мистер Мордстон все это придумал, желая избавиться от меня, — что тогда мне делать? Наконец, если мне и разрешили бы здесь оставаться до тех пор, пока я не истрачу своих семи шиллингов, то меня, наверное, выгонят, когда я начну умирать от голода. Несомненно, такое зрелище было бы совсем неподходящим и неприятным для посетителей гостиницы, да к тому же, «Голубому быку», или «кабану», пожалуй, еще пришлось бы и хоронить меня на свой счет. А если мне уйти сейчас и попробовать вернуться домой, — мелькало у меня о голове, — то как я найду туда дорогу? Буду ли я в силах пройти такое расстояние пешком? Но даже если бы мне удалось добраться домой, могу ли я рассчитывать, что меня кто-нибудь, кроме Пиготти, хорошо встретит? Можно было бы, конечно, обратиться к местным властям с просьбой записать меня в солдаты или матросы, но ведь я такой еще маленький, что вряд ли согласятся принять меня на службу. От таких и множества других подобных мыслей меня бросало в жар и кружилась голова. Это лихорадочное состояние все росло и росло, когда наконец в контору вошел человек и стал шептать что-то на ухо писцу, а тот, ни слова не говоря, поднял меня с весов и толкнул к пришедшему человеку, словно я был вещью, купленной, взвешенной и оплаченной.

Когда мы с этим человеком вышли из конторы, держа друг друга за руку, я решился украдкой взглянуть на своего нового знакомого. Это был сухощавый молодой человек с болезненно бледным лицом, впалыми щеками и почти с таким же черным подбородком, как у мистера Мордстона. Но на этом сходство с ним и ограничивалось, ибо бакенбарды этого молодого человека брили, а волосы его были не гладкие и не блестящие, а сухие и грубые. На нем был черный костюм, грубостью своей материи как-то напоминавший его волосы. Рукава костюма и панталоны были слишком коротки, а белый галстук далеко не отличался чистотой. Я не думал и не думаю, что этот галстук заменял собою все белье на моем новом знакомом, но, кроме галстука, никаких признаков белья не было заметно.

— Вы новичок? — спросил он.

— Да, сэр, — ответил я.

В сущности, я хорошо не понимал, что значит «новичок», но предположил, что это должно относиться ко мне.

— Я один из учителей Салемской школы, — пояснил он. Я поклонился ему и так страшно оробел, что не посмел сказать этому ученому мужу, преподавателю Салемской школы, о такой простой, житейской вещи, как мой чемодан, и, уже пройдя порядочное расстояние, я наконец решился на это. Когда я смиренно заявил ему, что чемодан может мне иногда и понадобится, мы повернули назад, и учитель предупредил писца, что за моим чемоданом будет прислано в полдень.

— Позвольте спросить, сэр, это далеко? — обратился я к нему, когда мы отошли от конторы приблизительно на такое же расстояние, как и в первый раз.

— Возле Блекгиса, — ответил он.

— А «это» далеко? — робко опять спросил я.

— Да, порядочно. Мы поедем туда на дилижансе. Это будет миль шесть.

Я был до того утомлен и так ослабел, что мысль ехать еще шесть миль просто привела меня в отчаяние. Я решился сказать учителю, что всю ночь ничего в рот не брал и буду ему чрезвычайно благодарен, если он разрешит мне купить себе чего-нибудь поесть. Это его как будто удивило. Он остановился и посмотрел на меня, а затем, подумав немного, сказал, что ему надо зайти к одной старушке, живущей здесь

по соседству, и всего лучше будет мне купить хлеба или чего-нибудь другого по моему выбору и позавтракать у нее. Там, к тому же, можно будет получить и молока.

Мы подошли к окну булочной; здесь глаза мои разбежались, и я захотел закупить все, что видел сдобного, но учитель был против этого, и мы наконец сошлись с ним на маленьком пеклеванном хлебце, стоившем три пенса. Затем в мелочной лавке мы купили одно яйцо и кусочек свиной грудинки, после чего у меня от второго моего блестящего шиллинга осталось, на мой взгляд, столько мелочи, что жизнь в Лондоне показалась мне очень дешевой.

Взяв купленную провизию, мы продолжали наш путь среди такого шума и грохота улицы, что это вконец затуманило мою и без того усталую голову. Помнится, проходили мы по мосту, который, очевидно, был Лондонским мостом (кажется, учитель и сказал мне об этом, но я был в полусонном состоянии). Наконец мы дошли до жилья старушки, которая, судя по надписи над воротами дома, была в богадельне для двадцати пяти бедных престарелых женщин.

Учитель Салемской школы открыл одну из многочисленных черных дверей, — они все были одинаковы, причем в каждой имелось два маленьких ромбообразных оконца, одно сбоку, а другое сверху, — и мы вошли в комнату, где одна из бедных старушек раздувала огонь под маленькой кастрюлей. Увидев учителя, она уронила на колени раздувательный мех и воскликнула, как мне показалось, что-то вроде: «Чарли мой!» Но, заметив меня, она встала и, потирая руки, смущенно сделала мне полуреверанс.

— Если возможно, пожалуйста, приготовьте завтрак этому юному джентльмену, — обратился к ней учитель:

— Отчего же нет? Конечно, можно, — ответила старушка.

— А как сегодня чувствует себя миссис Фибитсон? — обратился учитель к другой старушке, сидящей у огня в большом кресле. (Она до того походила на ворох разной одежды, что я и поныне благодарю судьбу, что по ошибке не сел на нее!)

— Ах! Она плоха, — ответила первая старушка. — Сегодня один из тяжелых для нее дней. Потухни только случайно у нас огонь — и она, пожалуй, потухла бы вместе с ним.

Тут они оба взглянули на нее, и я за ними. Хотя день был очень жаркий, она, повидимому, ни о чем не думала, как только об огне.

Кажется, она завидовала и самой кастрюле. И имею основание думать, что она отнеслась враждебно к приготовлению моего завтрака. Своими собственными утомленными глазами я видел, как она, воспользовавшись тем, что никто не смотрит на нее, погрозила мне кулаком. Заметив, что приготовление завтрака окончено и сковородка снята с огня, она громко и, должен сознаться, очень немелодично расхохоталась от радости.

Я уселся за стол и принялся чудесно завтракать пеклеванным хлебом, яйцом, поджаренными кусочками грудинки да еще миской молока.

В то время как я наслаждался этим завтраком, старушка — хозяйка спросила учителя:

— С вами ли флейта?

— Да, — ответил он.

— Сыграйте что-нибудь, — ласково стала упрашивать она его, — пожалуйста, сыграйте!

Учитель засунул руку под полу своего сюртука и извлек оттуда три части развинченной флейты, свинтил их и принялся играть. Я вынес такое впечатление, которого придерживаюсь и поныне, что на свете не существует человека, играющего хуже его. Он извлекал из своей флейты самые ужасные из слышанных мною когда-либо в жизни звуков. Не знаю уж, что играл он, но только музыка его сначала заставила меня вспомнить все мои бывшие огорчения и почти довела до слез, затем лишила аппетита и, наконец, нагнала на меня такую сонливость, что глаза мои стали сами собой смыкаться. Даже и теперь при воспоминании об этой музыке мне хочется спать.

Еще раз клюнув носом, я засыпаю. Звуки флейты стихают, и вместо них я слышу стук колес дилижанса. Мне кажется, что я снова еду. Вот наш дилижанс подпрыгивает на ухабе, я вздрагиваю и просыпаюсь. Опять на сцене флейта. Салемский учитель, закинув одну ногу на другую, печально насвистывает на флейте, а старушка слушает его с видимым наслаждением. Но вот опять все бледнеет и исчезает — нет больше ни учителя, ни его флейты, ни Салемской школы, ни самого Давида Копперфильда, — нет ничего, кроме тяжелого сна...

Я спал, вероятно, довольно долго. В конце концов салемский учитель разбудил меня, развинтил свою флейту, спрятал ее в прежнее

место и увел меня из богадельни. Мы тут же, по соседству, нашли дилижанс и взобрались на его верх, но я так разоспался, что, когда мы остановились по дороге взять нового пассажира, меня пересадили внутрь дилижанса, благо там никого не было. Я проспал глубоким сном до тех пор, пока мы не стали взбираться шагом среди зеленых деревьев на крутой холм. Вслед за тем дилижанс, прибыв к месту своего назначения, остановился.

Мы, то есть учитель и я, вскоре дошли до Салемской школы. Вид у этой школы был очень мрачный, и обнесена она была высокой кирпичной стеной. Над воротами была прибита доска с надписью: «Салемская школа».

Когда мы позвонили, в решатчатое оконце, сделанное в этих воротах, выглянуло какое-то угрюмое лицо. Войдя, я убедился, что лицо это принадлежало здоровяку с бычачьей шеей, с деревяшкой вместо одной ноги, с выпуклым лбом и волосами, обстриженными под гребенку.

— Это новичок, — пояснил учитель.

Человек с деревянной ногой оглядел меня с головы до ног, на это ему не понадобилось много времени, ибо я был очень невелик, затем запер ворота и положил ключ в карман. Мы с учителем направились к дому и шли среди деревьев с густой темной листвой, когда он окликнул нас:

— Эй! Пойдите!

Мы оглянулись; видим — он стоит у двери своей сторожки, держа в руках пару сапог.

— Вот что, мистер Мелль! — прокричал он. — Без вас заходил сюда сапожник и сказал, что больше их чинить невозможно. Он считает, что от прежних сапог ничего уж не осталось — заплатка на заплате сидит, и даже удивлен, откуда вы взяли, будто с ними можно что-либо еще сделать.

С этими словами он швырнул сапоги по направлению к мистеру Меллю. Тот вернулся, подобрал их и на ходу, с сокрушенным видом, начал разглядывать. Тут только я заметил, что сапоги на нем были в ужасном состоянии, а в одном месте выглядывал, словно распускающаяся почка, носок.

Салемская школа помещалась в квадратном кирпичном здании с флигелями, имевшими незаконченный вид. Кругом царили такая

тишина и спокойствие, что я спросил мистера Мелля, не ушли ли все мальчики на прогулку. Он объяснил мне, что по случаю каникул все ученики распущены по домам. Видимо, мое неведение немало удивило его. Пока мы подходили к дому, он успел сообщить мне, что директор школы мистер Крикль с женой и дочерью отдыхают на берегу моря, а что меня прислали сюда во время каникул в наказание за дурное поведение. Классная комната, куда он привел меня, показалась мне самым пустынным, заброшенным местом на свете. Я как сейчас вижу ее: большая, длинная комната с тремя длинными рядами столов и шестью рядами скамеек. Стены оцетинились колышками, на которые вешают шляпы и аспидные доски. На грязном полу валяются обрывки тетрадей. Коробки для выведения шелковичных червей, сделанные также из старых тетрадей, разбросаны по столам. Две злосчастные маленькие белые мышки, покинутые хозяином, мечутся по затхлому домику в виде замка, сделанному из картона с проволокой. Своими красными глазками они ищут, что бы можно было им поесть. Какая-то птичка сидит в маленькой клетке, которая немного больше ее самой, но она не поет и не чирикает, а только как-то жалобно шуршит, то вскакивая на низкую жердочку, то спрыгивая с нее.

Вся комната пропитана каким-то странным, тяжелым запахом гниющих яблок и заплесневевших книг. Пол до того залит чернилами, точно комната эта никогда не была под крышей и во все времена года вместо дождя, снега и града в нее лился чернильный дождь. Приведя меня сюда, мистер Мелль вышел отнести свои «неизлечимые» сапоги, а я тем временем занялся изучением классной комнаты. Вдруг я увидел на одном из столов картонный плакат, на котором очень красивыми буквами было выведено: «Берегитесь его — он кусается!»

Моментально я вскочил на стол в ужасе, что внизу, под скамьями, скрывается какая-нибудь злющая громадная собака. Беспорочно оглядываясь я кругом, но найти ее не смог. Я все еще был занят этими розысками, когда вернулся мистер Мелль и спросил, что я делаю на столе.

— Простите, сэр, — ответил я, — я искал собаку. — Собаку? Какую собаку?

— А разве здесь нет собаки?

— О какой собаке вы говорите?

— Да о той, которой надо беречься, так как она кусается.

— Нет, Копперфильд, — проговорил он серьезным тоном, — это не собака, а мальчик. Мне, Копперфильд, предписано повесить этот плакат вам на спину. Неприятно с самого начала так поступать с вами, но я обязан это сделать.

Тут он снял меня со стола и прикрепил мне на спину этот самый плакат. С тех пор, куда бы я не шел, я имел удовольствие всюду таскать его за собой.

Никто не может даже представить себе, сколько выстрадал я из-за этого плаката! Смотрели на меня или нет, я все воображал, что кто-то его читает. Если даже позади меня никого не было, что меня мало успокаивало, — мне все равно чудилось, что кто-то там есть. А жестокий человек на деревянной ноге еще усиливал мои муки. Он тоже ведь был моим начальством, и вот, если он замечал, что я прислонился к дереву, стене или дому, он сейчас же кричал мне из своей сторожки громовым голосом:

— Эй вы, мистер Копперфильд! Носите так ваш плакат, чтобы его было видно, а то я на вас донесу.

Местом для игр была совершенно открытая, усыпанная гравием площадка. На нее выходил задний фасад дома и служб, и мне приказано было гулять именно здесь. Я прекрасно знал, что прислуга школы читает на моей спине злополучный этот плакат, читают его и мясник и булочник, — словом, знал, что всякий входящий в дом и выходящий из него читает о том, как меня нужно остерегаться, ибо я кусаюсь. Помнится, я дошел до того, что положительно стал бояться самого себя, воображая, что я действительно какой-то бешеный мальчик, способный кусаться.

На площадку выходила старая дверь, которую ученики всю испещрили своими именами. С ужасом думал я о конце каникул и возвращении учеников. Я не мог прочесть ни одного имени, без того чтобы мучительно не задуматься над тем, каким тоном и с каким выражением этот ученик прочтет: «Берегитесь его — он кусается!» Больше других бросалась в глаза фамилия Стирфорт, — она виднелась в нескольких местах и была вырезана глубже других. Мне все представлялось, что он прочтет надпись громким голосом, а затем станет дергать меня за волосы. Боялся я и другого мальчика — Томми Трэдльса: мне казалось, что этот начнет издеваться надо мной,

притворяясь, что ужасно боится меня. Почему-то я также вообразил, что третий мальчик, Джордж Демпль, станет читать мой плакат нараспев. И вот я, маленькое, дрожащее от ужаса существо, до того зачитывался именами учеников (их, по словам мистера Мелля, было человек сорок пять), что мне начинало мерещиться, будто все эти мальчики единогласно решили отправить меня в Ковентрийскую тюрьму, и каждый из них при этом на свой лад выкрикивал: «Берегитесь его — он кусается!»

То же самое впечатление производили на меня и классные столы, и скамьи, и множество пустых кроватей в дортуарах^[17], когда мне случалось там бывать или я ложился спать. Помню, как много ночей подряд мне снилось, что я живу с матушкой и она такая, как бывала прежде, что я гощу у мистера Пиготти, что путешествую, сидя на верху дилижанса, обедаю со своим злосчастным другом официантом, и неизменно все эти люди тарашат на меня глаза и, убедившись, что я в одной сорочке, с ужасным плакатом на спине, принимаются кричать.

Однообразная жизнь и постоянный страх, что скоро начнется учение в школе, невыносимо терзали меня. Ежедневно я подолгу занимался с мистером Меллем, и, так как здесь не было ни мистера Мордстона, ни его сестрицы, занятия мои шли совсем неплохо. До них и после них я гулял под надзором, как уже говорил, человека на деревянной ноге. Как ясно вижу я перед собой унылый школьный двор, его позеленевшие, потрескавшиеся плиты, большущую, ветхую, рассохшуюся бочку для воды и бесцветные стволы безобразных деревьев, которые, казалось, больше всех других деревьев мокли под дождем и меньше всех были на солнце!

В час мы с мистером Меллем обедали в углу длинной столовой с голыми стенами, набитой голыми дощатыми столами, где всегда пахло жиром. Затем мы снова занимались до чая, который мистер Мелль пил из голубой чашки, а я — из оловянной кружки. Целый день, иногда до семи или восьми часов вечера, мистер Мелль, сидя за своим столом в классной комнате, усердно работал над сведением счетов за последнее полугодие. Покончив с этим и убрав свои книги, бумагу, чернила и перо, он вынимал флейту и дул в нее с такой энергией, что мне порой приходило в голову, не вдует ли он себя в конце концов во флейту, а затем не просочится ли через ее клапаны.

Как сейчас вижу себя в тускло освещенной классной комнате: такой крохотный, сижу я, облокотясь на стол, склонив голову на руки, и готовлю к следующему дню уроки под заунывную музыку мистера Мелля. Но вот я кончил, спрятал свои книги и все еще продолжаю слушать унылые звуки флейты, и мне чудится, что среди них я различаю то далекие, знакомые звуки родного дома, то завывания морского ветра на ярмутском побережье. Мне делается страшно тоскливо и одиноко.

День кончился. Вот я иду спать по непривычным комнатам, вот я сижу на кровати и горько плачу. Как я жажду услышать ласковый голос Пиготти!.. Утром я спускаюсь по лестнице и смотрю сквозь мрачное, узкое, как щель, окно во двор на школьный колокол, висящий на крыше сарая с флюгером, дрожу при мысли, что этот самый колокол скоро будет призывать к занятиям Стирфорта и всех остальных; но куда больше ужасает меня тот момент, когда человек на деревянной ноге откроет ржавые ворота и впустит директора, страшного мистера Крикля.

Мистер Мелль мало говорил со мной, но и груб не был. Мне кажется, что мы, сидя вместе, оба с ним меньше чувствовали свое одиночество.

Я забыл упомянуть о том, что мистер Мелль по временам говорил сам с собой, горько усмехался, сжимал кулаки, скрежетал зубами и как-то удивительно ерошил себе волосы. Уж такие были у него странности; сначала они пугали меня, но вскоре я привык к ним.

Глава VI

КРУГ МОИХ ЗНАКОМЫХ

РАСШИРЯЕТСЯ

Так провел я почти месяц, когда вдруг человек с деревянной ногой начал ковылять вокруг с ведром воды и шваброй.

Я из этого заключил, что делаются приготовления к приему мистера Крикля и учеников. И действительно, вскоре мистер Мелль сказал мне, что сегодня вечером приезжает директор. После вечернего чая я услышал, что он уж прибыл. Незадолго до того как мне надо было ложиться спать, мистер Крикль прислал за мной человека с деревянной ногой.

Та часть дома, которую занимал мистер Крикль, была несравненно комфортабельнее нашего школьного помещения. У него также был уютный садик, который еще больше выигрывал от сравнения с нашей площадкой для игр — этой настоящей пустыней в миниатюре, где, мне казалось, одни верблюды могли чувствовать себя как дома.

Когда меня ввели к мистеру Криклю, я был в таком замешательстве, что почти не обратил внимания на миссис Крикль и мисс Крикль (обе они сидели тут же, в гостиной). Никого и ничего не видел я, кроме самого мистера Крикля. Толстый этот джентльмен, с золотой цепочкой и массой брелоков на животе, восседал в кресле у стола, на котором стояли бутылка и стакан.

— Итак, — проговорил мистер Крикль, увидев меня, — это и есть тот юный джентльмен, которому надо подпилить зубки? Поверните-ка его ко мне спиной!

Человек с деревянной ногой сейчас же повернул меня так, чтобы был виден мой плакат. Дав директору налюбоваться им, он снова поставил меня к нему лицом, а сам стал подле него.

Лицо у мистера Крикля было багровое, глаза крошечные, глубоко сидящие, нос маленький, подбородок широкий, на лбу выдавались толстые вены. На макушке виднелась лысина, а с висков шли пряди редких лоснящихся волос, начинавших седеть; они сходились на лбу.

Но всего более поразило меня в мистере Крикле то, что он был почти без голоса и мог говорить только шопотом. Напряжение, с которым он говорил, и сознание своего бессилия делали еще злее его и без того злое лицо и заставляли жилы на его лбу еще больше надуваться.

— Ну, — обратился мистер Крикль к человеку с деревянной ногой, — что же вы о нем скажете?

— Пока он ни в чем не замечен, — ответил тот. — Видно, подходящего случая не было.

Мне тут показалось, что мистер Крикль был разочарован, но зато миссис и мисс Крикль (тощие молчаливые особы, на которых я впервые взглянул), видимо, не были разочарованы.

— Подойдите-ка поближе, сэр, — прошептал мистер Крикль, поманив меня.

— Подойдите-ка поближе, сэр, — повторил человек с деревянной ногой, делая тот же жест.

— Я имею счастье знать вашего отчима, — стал шептать мистер Крикль, беря меня за ухо: — достойнейший человек с сильным характером. Мы хорошо знаем друг друга. А вот вы — знаете ли вы меня? — и при этом он страшно больно, со свирепой шутливостью стиснул мне ухо.

— Пока еще не знаю, сэр, — пробормотал я, стараясь вырвать ухо из его пальцев.

— Пока еще нет, а-а? — повторил мистер Крикль. — Ну, скоро узнаете! Да!

— Скоро узнаете! Да! — повторил человек с деревянной ногой. (Впоследствии я узнал, что он, со своим громовым голосом, всегда служил посредником между директором и учениками.)

Я был ужасно перепуган и, заикаясь, пролепетал, что надеюсь скоро узнать его, если это ему будет угодно. А ухо мое так и пылало, до того он натискал его.

— Я сейчас вам скажу, кто я такой, — прошептал мистер Крикль, выпуская наконец мое ухо и напоследок так ущипнув его, что у меня на глазах невольно выступили слезы. — Я татарин!

— Татарин, — повторил человек с деревянной ногой.

— Если я говорю: хочу это сделать, так уж сделаю, — продолжал мистер Крикль. — И если я говорю, чтобы то или иное было сделано, так оно уж будет сделано.

— Если я говорю, чтобы то или иное было сделано, так оно уж будет сделано, — как эхо, опять повторил человек с деревянной ногой.

— Я человек с решительным характером — вот я какой! — снова зашептал мистер Крикль. — Человек долга. Восстань против меня моя собственная плоть и кровь (он при этом бросил взгляд на миссис Крикль) — я и от нее отрекусь... А, кстати, что, этот малый не появлялся ли снова здесь? — обратился он к человеку с деревянной ногой.

— Нет, — ответил тот.

— Нет? И хорошо сделал. Он меня знает. Пусть держится подальше. Говорю, пусть держится подальше, — зашептал мистер Крикль, ударя рукой по столу и снова пристально глядя на миссис Крикль, — ибо он хорошо знает меня. Теперь, думаю, и вы начинаете узнавать меня, юный мой друг. Можете уходить. Уберите его.

Я очень был рад тому, что меня выпроваживали, ибо миссис и мисс Крикль уже начали утирать себе глаза, и мне за них было не менее тяжело, чем за себя. Но я должен же был попросить об одной вещи, такой важной для меня, и тут — сам не понимаю как — я собрался с духом и выпалил:

— Пожалуйста, сэр...

— А? Что? — зашептал мистер Крикль и при этом так посмотрел на меня, словно хотел своим взглядом, как молнией, испепелить меня.

— Пожалуйста, сэр, — опять начал я, заикаясь, — позвольте (я, право, очень сожалею о том, что сделал), чтобы сняли с меня это «написанное» прежде, чем вернутся мальчики.

Действительно-ли уж тут мистер Крикль вышел из себя, или сделал он это, чтобы утратить меня, только он так стремительно вскочил с кресла и бросился ко мне, что, не дожидаясь человека с деревянной ногой, я пустился улепетывать со всех ног и остановился только в своем дортуаре. Здесь, убедившись, что за мной никто не гонится, я разделся и лег в постель (время было уже спать), но после этого еще часа два, дрожа от страха, я не в силах был заснуть.

На следующее утро возвратился и мистер Шарп. Он был старший учитель, и мистер Мелль состоял у него помощником. Мистер Мелль ел с учениками, а мистер Шарп обедал и ужинал за столом мистера Крикля. Он прихрамывал и был, как мне казалось, слабого здоровья. Нос у него был большущий, и он имел привычку склонять голову как-

то набок, словно она была слишком тяжела для него. Волосы у него были очень мягкие и волнистые, но первый же приехавший мальчик сообщил мне, что это парик, да притом еще подержанный, и что мистер Шарп каждую субботу после обеда ходит к парикмахеру завивать его.

Ученик, сообщивший мне все это, был не кто иной, как Томми Трэдльс. Он вернулся первым из мальчиков. Представляясь мне, он сказал, что имя его я могу найти с правой стороны ворот, как раз над засовом.

— Вы Трэдльс? — спросил я.

— Он самый! — ответил он и тут же потребовал, чтобы я все рассказал ему о себе и о своей семье.

То, что именно Трэдльс вернулся первым, было для меня большим счастьем. Мой плакат так забавлял Томми, что это положительно выручило меня из беды; мне не нужно было его скрывать: каждому из появлявшихся учеников, и малому и большому, он тотчас же показывал его, говоря:

— А ну-ка, посмотрите, — вот так потеха!

По счастью, большинство мальчиков возвращались из дома в подавленном настроении и не были так буйны, как я опасался. Правда некоторые из них устраивали вокруг меня, словно индейцы, дикую пляску; правда, что большая часть учеников не могла удержаться от того, чтобы не подразнить меня, обращаясь со мной так, как будто я на самом деле был собакой, — они гладили меня, как бы задабривая, чтобы я не укусил их, приговаривая: «Куш, сэр», и звали меня собачьей кличкой «Таузер», Конечно, все это немало смущало меня и стоило мне многих слез, но, в общем, дело обошлось гораздо лучше, чем я предполагал.

Все-таки до приезда ученика Стирфорта товарищи как бы еще не считали меня окончательно принятым в их среду. Этот Стирфорт пользовался репутацией великого ученого, был очень красив собой и по крайней мере лет на шесть старше меня. Меня привели к нему, словно к какому-то важному должностному лицу. Под навесом на площадке для игр он подробно расспросил меня обо всем, касающемся моего наказания, и соизволил изречь, что все это «довольно-таки постыдно», — слова, за которые я ему вечно благодарен.

Разобрав таким образом мое дело и отойдя со мной в сторону, он спросил меня:

— Сколько у вас денег, Копперфильд?

Я ответил, что у меня семь шиллингов.

— Лучше дайте их мне на хранение, — сказал он. — Конечно, если хотите. А если не хотите, можете и не давать.

Я сейчас же поспешил воспользоваться его дружеским предложением и, открыв кошелек Пиготти, все, что в нем было, высыпал ему в руку.

— Быть может, сейчас вы желаете что-нибудь себе купить? — спросил он меня.

— Нет, благодарю вас, сэр, — ответил я.

— Знаете, вы ведь можете это, только скажите, — настаивал Стирфорт.

— Нет, благодарю вас, сэр, — повторил я.

— А непрочь ли вы истратить шиллинга два на бутылочку смородиновой наливки? Мы бы ее распили в дортуаре, — ведь вы как раз, я узнал, будете в моем дортуаре, — сказал Стирфорт.

Правда, мне никогда не приходилось до этого пить наливку, но я сейчас же ответил, что это мне будет очень приятно.

— Прекрасно! В таком случае вы, пожалуй, не будете иметь ничего и против того, чтобы истратить еще какой-нибудь шиллинг на миндальное пирожное?

Я снова ответил:

— Да, сэр, мне это также доставит большое удовольствие.

— Ну, потратим еще один шиллинг на бисквиты, а один на фрукты, — добавил, улыбаясь, Стирфорт.

Я улыбнулся потому только, что он улыбался, но, откровенно говоря, был несколько смущен.

— Ну, словом, позволим себе, что сможем, — вот и все. Для вас, Копперфильд, я уж изо всех сил постараюсь. Я имею право выходить всегда, когда мне это заблагорассудится, и тайком пронесу эту маленькую покупку.

Говоря это, он положил деньги себе в карман и, ласково улыбаясь, сказал мне, чтобы я ни о чем не беспокоился, ибо он устроит все, как надо.

Стирфорт сдержал свое слово, если только действительно все было сделано, как надо, но в глубине души я лично думал, что так вовсе не надо было делать и матушкины две полукроны не следовало бы тратить. Хорошо еще, что я сохранил лоскуток бумаги, в который они были завернуты: он-то был особенно мне дорог.

Когда настало время ложиться спать и мы, поднявшись наверх, вошли в дортуар, Стирфорт при лунном свете разложил все, приобретенное на семь шиллингов, на мою кровать.

— Видите, Копперфильд, — обратился он ко мне, — у нас просто королевское угощение.

Сознавая, как я мал, не смел я и думать быть хозяином подобного пиршества, когда тут присутствовал сам Стирфорт. При одной мысли об этом у меня начинали дрожать руки. Я стал его просить распоряжаться всем, и так как к моей просьбе присоединились и другие мальчики, жившие в этом дортуаре, то Стирфорт согласился. Он уселся на мою подушку и стал распределять между всеми лакомства, делая это, я должен сознаться, в высшей степени беспристрастно, и угощать наливкой, наливая каждому из нас в свою собственную рюмку с отбитой ножкой. Я сидел на своей кровати, по левую руку Стирфорта, а все остальные мальчики разместились вокруг нас на ближайших кроватях и на полу.

Я так ясно и сейчас представляю себе, как мы тут все сидим, разговаривая шопотом, или, вернее, они разговаривают, а я почтительно прислушиваюсь. Лунный свет, проникая через окно, рисует на полу слабое отражение этого окна. Большинство из нас сидит в темноте, и только когда Стирфорт, желая что-нибудь найти на моей кровати, служащей столом, зажигает спичку, она, вспыхивая, освещает нас синеватым пламенем, но тотчас же потухает. Помнится, какое-то загадочное чувство, вызванное мраком, таинственностью нашего пиршества и шопотом, овладевает мною. Я прислушиваюсь к тому, что говорится, как к чему-то торжественному и вместе с тем страшному, и я рад, что все мальчики сидят так близко от меня; но все-таки дрожу от страха, хотя и делаю вид, что смеюсь, когда Трэдльс уверяет, что видит в углу привидение.

Из этих разговоров я многое узнаю о школе и о тех, кто имеет отношение к ней. Узнаю я, что мистер Крикль недаром зовет себя татаринном: он самый суровый и строгий учитель. Каждый день,

врываясь в среду учеников, он бьет направо и налево, как драгун в атаке, — порет беспощадно. Он круглый невежда; единственно, в чем он силен, — это в порке; по словам Стирфорта, он знает меньше последнего ученика. Говорят, что много лет тому назад он был мелким торговцем хмелем и, обанкротившись, на деньги миссис Крикль открыл эту школу. Много другого еще слышу я и удивляюсь, откуда только ученики могли все это проведать.

Узнаю, что человека с деревянной ногой зовут «Тонгей — тупой варвар». Раньше, когда мистер Крикль торговал хмелем, он служил у него. Потом он вместе с хозяином стал работать по ученой линии. По словам учеников, это объясняется тем, что Тонгей на прежней службе у мистера Крикля сломал себе ногу, да к тому же, принимая с ним участие в разных нечистых делах, посвящен в его тайны. Узнаю, что Тонгей этот, за исключением одного лишь мистера Крикля, всю школу, как учителей, так и учеников, считает своими естественными врагами и что для него нет большего наслаждения, как всем пакостить и отравлять существование. Мне также рассказывают, что у мистера Крикля есть сын, который не ладил с Тонгеем. Помогая отцу в школьных делах, он однажды упрекнул его в чрезмерной жестокости по отношению к ученикам. Кроме этого, по слухам, сын мистера Крикля позволил себе протестовать против дурного обращения отца с его матерью. В результате всего этого мистер Крикль выгнал сына из дому, и вот почему с тех пор так грустны и миссис и мисс Крикль.

Но из всего слышанного о мистере Крикле наиболее удивляет меня, что он не отваживается поднять руку только на одного ученика своей школы — и ученик этот Стирфорт. Когда речь зашла об этом, Стирфорт подтвердил и прибавил, что хотел бы только посмотреть, как осмелился бы Крикль до него дотронуться. На вопрос же одного из робких учеников (не мой только), что бы он сделал, вздумай Крикль задать ему потасовку, Стирфорт, как бы для большего эффекта, зажег спичку и ответил, что начал бы с того, что схватил бутылку с чернилами, которая всегда стоит на камине, и трахнул бы ею Крикля по голове. Когда голубоватый свет спички погас, мы некоторое время молча сидели в темноте, едва переводя дух от страха.

Узнал я также, что мистер Шарп и мистер Мелль получают, повидимому, самое ничтожное жалованье, и когда за столом директора наряду со свежеприготовленными блюдами подаются

вчерашние остатки, то мистери Шарпу полагается говорить, что именно эти холодные остатки он и предпочитает. Это опять-таки подтвердил Стирфорт, единственный из всех учеников столующийся у директора. Узнал я, что парик Шарпа ему не по голове и что важничать этим париком ему совсем не приходится, ибо из-под него прекрасно видны его собственные рыжие волосы. Узнал я, что за одного из мальчиков, сына торговца углем, уплачивают углем, а потому ученики дали ему клички; «Обмен» и «Меновщик».

Узнал я, что пиво, подаваемое к столу ученикам, просто грабеж их родителей, а пудинги — налог на них же. Узнал я, что вся школа уверена, что мисс Крикль влюблена в Стирфорта, и я, сидя в темноте подле него и представляя себе его чудный голос, его красивое лицо, его кудри, его хорошие манеры, счел это очень правдоподобным. Узнал я, что мистер Мелль — человек совсем не плохой, но не имеет гроша за душой, а его мамаша бедна, как Иов. Я тут вспомнил о своем завтраке в богадельне, о послышавшихся мне словах: «Мой Чарли», и мне приятно теперь вспомнить, что я об этом промолчал, словно в рот воды набрал.

Все эти и подобные им рассказы затянулись и после нашего банкета. Правда, большая часть гостей пошла спать, как только было покончено с лакомствами и наливкой, а мы, остальные, полураздетые, все еще сидели и шептались. Наконец и мы улеглись.

— Доброй ночи, малыш Копперфильд! — сказал, укладываясь, Стирфорт. — Я о вас буду заботиться.

— Вы очень добры, сэр, очень, очень вам благодарен! — совсем растроганный, проговорил я. — А что, у вас есть сестра? — спросил он меня, зевая.

— Нет, — ответил я.

— Жаль, — сказал Стирфорт. — Будь у вас сестра, она, наверное, была бы прехорошенькой застенчивой девчуркой с ясными глазами, и мне было бы приятно с ней познакомиться. Ну, спокойной ночи, малыш Копперфильд.

— Спокойной ночи, сэр, — отозвался я.

Помнится, в постели я долго еще думал о Стирфорте и раз даже поднялся, чтобы поглядеть, как он, такой красивый, подложив изящно руку под голову, лежит, освещенный луной... В моих глазах он был большим человеком; потому, конечно, я так и заинтересовался им.

Глава VII

МОЕ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В САЛЕМСКОЙ ШКОЛЕ

На следующий день в школе закипела шумная жизнь. Помню, какое глубокое впечатление произвела на меня мертвая тишина, внезапно сменившая гул и рев голосов, когда мистер Крикль после завтрака вошел в класс и, стоя на пороге, оглядывал нас, как в сказках великан оглядывает своих пленников.

Тонгей поместился возле мистера Крикля, и не знаю уж, почему нужно было ему так свирепо кричать: «Тише!», когда и без того мальчики, помертвелые от страха, стояли безмолвно и неподвижно.

Мы видели, что начал говорить мистер Крикль, и слышали, что начал говорить Тонгей, а говорили они следующее:

— Вот наступает новое полугодие, мальчики! Смотрите, не зевать! Советую вам приступить к занятиям с новыми силами, ибо и я с новыми силами приступлю к наказаниям. Спуску вам я давать не буду. Сколько потом ни чешитесь, а рубцы от порки не счешете, они останутся. Ну, теперь все за работу.

Прогредев эту страшную вступительную речь, Тонгей заковылял из класса, а мистер Крикль подошел к скамье, где я сидел, и прошептал мне, что если я мастер кусаться, то и он не меньше известен в этом искусстве. Тут он, показав трость, забросал меня вопросами:

— Что вы думаете о таком вот зубе? Коренной зуб, да? Что, он очень острый, да? А как он кусается, как кусается? — и при каждом вопросе он с такой силой хлестал меня, что я корчился от боли.

Таким образом сейчас же состоялось мое «посвящение» в ученики Салемской школы (как выразился Стирфорт), и, конечно, оно не обошлось без горьких слез.

Однако при обходе классов мистером Криклем не один я получил эти знаки отличия, а их удостоилось большинство мальчиков (особенно малышей). Половина школы корчилась от боли и плакала еще до начала занятий, а сколько корчилось и плакало все время, до

конца уроков! Боюсь даже назвать количество пострадавших, дабы не сочли это преувеличением с моей стороны.

Мне кажется, не существовало никогда человека более довольного своей профессией, чем мистер Крикль. Сечь мальчиков доставляло ему такое же наслаждение, как, например, очень голодному наброситься на пищу. Я уверен, что особенно не мог он устоять против искушения выпороть, когда дело шло о толстеньком мальчике. Такие мальчуганы обладали для него особенной притягательной силой, и он не мог успокоиться, пока хорошенько не исполосует их. Я тоже был кругленьким и потому испытал это на себе.

При одном воспоминании об этом человеке во мне закипает вся кровь, и закипает не потому, что он истязал меня лично. Негодование мое еще усиливается, когда я вспоминаю, до какой степени невежественно было это животное, Крикль. Он имел не больше прав стоять во главе школы, чем быть адмиралом флота или главнокомандующим армией. Притом, занимая два этих последних поста, он, наверное, принес бы гораздо меньше вреда, чем будучи директором школы.

Жалкие маленькие подхалимы жестокого идола, как мы пресмыкались перед ним! До чего отвратительно, думаю я теперь, оглядываясь назад, так подло раболепствовать перед таким низким, самонадеянным человеком!

Вот снова я в классе, сижу на скамье и смотрю мистеру Криклю в глаза, смотрю с трепетом, в то время как он линует арифметическую тетрадь для другого мальчика, руки которого за минуту перед этим были избиты той же самой линейкой, — он теперь, бедняжка, старается стереть следы побоев своим носовым платком. У меня работы по горло, но я отнюдь не из лени смотрю в глаза директору, — нет, он словно гипнотизирует меня, — и я в ужасе жажду знать, чей следующий черед страдать — мой или какого-нибудь другого мальчика. Ряд учеников, сидящих за мной, с таким же интересом следит за глазами нашего мучителя. Мне кажется, что он это знает и только притворяется, будто не замечает. Разлиновывая тетрадь для арифметики, он делает ртом ужасные гримасы. Но вот он бросает взгляд на наш ряд, и мы все дрожим и смотрим в книги, но через минуту мы опять уже устали на него. По его грозному приказу

подходит к нему несчастный юный преступник, допустивший ошибку в своей работе. Преступник лепечет извинения и уверяет, что завтра он этого не сделает. Тут мистер Крикль, прежде чем начать лупить его, еще поиздевается над ним, отпустит шуточку, а мы, презренные, трусливые щенки, мы смеемся над этим; лица же наши бледнее полотна, а души ушли в пятки.

Опять сижу я в классе в душный, навевающий дремоту летний день. Кругом меня все гудит и жужжит, словно мои товарищи обратились в рой больших синеватых мух. Всего час или два как мы пообедали, и я все еще чувствую тяжесть от съеденного полухолодного говяжьего жира, а голова моя как будто налита свинцом. Все на свете, кажется, отдал, бы я за возможность поспать. Я уставился глазами на мистера Крикля и моргаю, как молодая сова.

Сон совсем одолевает меня, а все-таки, как сквозь туман, мерещится мне наш мучитель, разлиновывающий арифметическую тетрадь, и это длится до тех пор, пока он не подкрадется ко мне сзади и не вернет меня к действительности, хватив так, что на спине появится кровавая борозда.

Припоминаю себя на площадке для игр. Здесь, к счастью, нет самого мистера Крикля, но есть окно, подле которого, я знаю, он обедает; даже окно это как бы гипнотизирует меня, и я не могу оторвать от него глаз. Если в нем мелькнет его физиономия, то сейчас же я чувствую, как лицо мое принимает умоляющее, покорное выражение. А выгляни он только в окно — и самый смелый из учеников (за исключением Стирфорта) моментально умолкает на половине веселого возгласа и становится задумчивым.

Однажды Трэдльс (злополучнейший мальчик на свете) нечаянно мячом разбил это окно. Я и теперь содрогаюсь при воспоминании об этом. Подумать только, его мяч угодил в священную голову самого мистера Крикля!

Бедняга Трэдльс! В своем слишком тесном, небесно-голубого, цвета костюмчике, делающем из его рук и ног подобие немецких сосисок, он был самым веселым и самым злосчастливым мальчиком на свете. Его колотили беспрестанно. Мне кажется, что в течение этого полугодия не было дня, чтобы он не испробовал трости, за исключением одного понедельника, когда ограничивались тем, что били его по рукам линейкой. Он все собирался написать об этом

своему дяде, да так никогда и не собрался. Жестоко избитый, он, бывало, пригорюнившись посидит немного, опустив голову на парту, а через минуту, смотришь, слезы еще не высохли у бедняжки, а он уже, как ни в чем не бывало, смеется и рисует на своей аспидной доске скелеты. Я долго недоумевал, какое утешение Трэдльс находит в рисовании скелетов. Сначала я даже предполагал, что он, как какой-нибудь отшельник, рисуя эти символы смерти, утешается мыслью, что порка, как и жизнь, не вечна. В действительности же, кажется, он рисовал скелеты просто потому, что их легче изобразить, чем живых людей.

Трэдльс был очень славный мальчик, очень благородный: стоять за товарища он считал священным своим долгом. Не раз, бедняга, страдал он за это. Особенно досталось ему однажды, когда Стирфорт рассмеялся в церкви, а церковный сторож, вообразив, что это сделал Трэдльс, вывел его из церкви. Я как теперь вижу эту картину: с каким негодованием глядели, прихожане на бедного мальчика, когда его вели в карцер. А он ни за что не захотел выдать виновного товарища, хотя и был за это жестоко высечен на следующий день, а затем провел в карцере столько часов, что успел там весь свой латинский словарь изукрасить таким количеством скелетов, что ими можно было бы заполнить целое кладбище. Зато он был вознагражден за свои страдания. Подумайте только: Стирфорт соблаговолил изречь: «А действительно, Трэдльс не фискал», — и все мы почувствовали, что в словах этих высочайшая похвала! Да! за такую награду я, будучи и гораздо моложе Трэдльса и менее мужествен, чем он, охотно многое претерпел бы!

Стирфорт продолжал мне покровительствовать, и дружба его была мне очень полезна. Никто не посмел бы обидеть того, кто имел такого защитника. Он только не защищал меня от мистера Крикля, который был очень суров со мной. Но нет худа без добра, и жестокость мистера Крикля оказалась мне полезной в одном единственном отношении. Мой мучитель, по-видимому, нашел, что, когда он подкрадывается сзади к скамейке, где я сижу, намереваясь хорошенько стегануть меня тростью, мой плакат на спине мешает ему, а потому его скоро сняли, и больше он никогда не попадался мне на глаза.

Одно случайное обстоятельство еще больше сблизило меня со Стирфортом, и я был очень горд и счастлив нашей дружбой, хотя она

и имела свои неудобства. Как-то раз, когда он почтил меня своим разговором в рекреационном дворике, я, помнится, заметил, что кто-то напоминает мне «Перегрину Пикля».^[18] В тот момент Стирфорт ничего не сказал мне, но, когда я вечером ложился спать, он спросил меня, нет ли у меня этой книги.

Я ответил ему, что «Перегрину Пикля» у меня не имеется, и при этом рассказал, как мне удалось познакомиться с этой самой книгой и многими другими, названия которых и тут же ему сообщил.

— А что, вы их все помните? — осведомился Стирфорт.

— О да! — ответил я.

У меня была хорошая память, и мне казалось, что я прекрасно помню все прочитанное.

— Знаете, что я скажу вам, малыш Копперфильд: вы мне будете рассказывать все, что читали. С вечера я сразу не могу заснуть, да и утром рано просыпаюсь, вот вы и перескажете мне одну за другой все свои книги, — таким образом, у нас с вами получатся настоящие «арабские ночи».

Этот проект очень польстил мне, и мы с этого вечера начали приводить его в исполнение. Теперь я не могу и мне не хочется даже вспоминать, до чего я искажал и коверкал моих любимых авторов; одно знаю, что, повидимому, у меня была способность просто и увлекательно передавать то, что я рассказываю. Это, вероятно, и покрывало все остальные погрешности, и я был горд своими успехами повествователя.

Но в этих «арабских ночах» была и обратная сторона: меня часто вечером клонило ко сну или просто я не был настроен рассказывать, и я очень тяготился этим, а отказаться было невыносимо. Могло ли мне даже притти на ум огорчить или сделать малейшую неприятность Стирфорту! Также и по утрам: бывало, чувствуешь, что совсем еще не выспался, так хочется еще подремать часок, а тут, подобно султанше Шехерезаде^[19], изволь начать рассказывать длиннейшую какую-нибудь историю, пока не раздастся звон утреннего колокола, по которому все ученики должны были вставать. А ничего не поделаешь! Стирфорт был очень настойчив. Но так как в награду за мое повествование он помогал мне в приготовлении уроков, я отнюдь не был в убытке. Однако я должен отдать справедливость себе, что тут не руководило мной ни корыстное,

эгоистическое чувство, ни страх перед моим другом. Нет, я восхищался им, обожал его, и одобрение моего покровителя было для меня превыше всего.

И Стирфорт тоже относился ко мне внимательно. Однажды он выказал заботу обо мне с такой суровой непреклонностью, что, кажется, подверг беднягу Трэдльса и других товарищей по дортуару мукам, напоминающим муки Тантала^[20].

Обещанное Пигогги письмо, ах, что это было за чудесное послание! — пришло ко мне зерез несколько недель после начали наших занятий. Вместе с письмом прибыл и сладкий пирог, вокруг которого лежала апельсины; кроме этого, в посылке были две бутылки наливки. Все эти сокровища поверг я к стопам Стирфорта, прося его распорядиться ими по своему усмотрению.

— Так вот что скажу я вам, малыш Копперфильд, — заявил он: — наливку эту мы припрячем для вас, чтобы во время повествований, когда у вас пересохнет горло, вы смогли промочить его.

Я покраснел от смущения и скромно стал уверить, что об этом не стоит думать. Но он возразил, что не раз замечал во время «арабских ночей», как голое мой делался хриплым, — очевидно, горло у меня пересыхало, — и потому наливка будет употреблена именно так, как он сказал. Сейчас же обе бутылки Стирфорт запер в свой сундук. Впоследствии, отлив некоторое количество этого напитка в аптекарскую склянку, он каждый раз, когда, по его мнению, я нуждался в восстановлении сил, давал мне из нее пить через перышко, просунутое в пробку. Не знаю уж, право, насколько было это мне полезно, но тянул я эту наливку всегда с благодарным чувством и очень был тронут вниманием своего друга.

Помнится, что-то долго продолжались эти «арабские ночи», — чуть ли не целых несколько месяцев возились мы с одним «Перегрином Пиклем», а там пошли другие повествования. Могу сказать, что недостатка в них не было. Наливка же казалась такой же неистоощимой, как и моя фантазия. Бедняга Трэдльс, — я о нем никогда не могу вспомнить без смеха, в то же время тут же наворачиваются и слезы на глаза, — исполнил у нас как бы роль хора в древних театральных представлениях: он то судорожно хохотал в комических местах, то мастерски стучал зубами от страха, когда разговор шел о приключениях Жиль Блаза^[21].

Помню, однажды, когда Жиль Блаз встретился с атаманом разбойников в Мадриде, злосчастный Трэдльс, шутки ради, так завопил, изображая якобы охвативший его ужас, что крики услышал шагавший в это время по коридорам мистер Крикль и тут же отстегал беднягу за неприличное поведение в дортуаре.

Эти долгие повествования среди ночного мрака несомненно способствовали развитию у меня романтизма и фантазии, присущих моему характеру. Конечно, это было не очень полезно, но меня подзадоривало то, что я стал как бы любимой игрушкой своего дортуара, да и вообще, будучи самым младшим среди всех мальчиков школы, я приобрел славу талантливой рассказчика.

В школе, где все держится на одной жестокости, учение вряд ли может идти особенно успешно, независимо даже оттого, кто стоит во главе ее. Мне кажется, что невежественнее наших учеников не было в мире. Они слишком были запуганы, слишком их колотили, чтобы учение могло идти на ум. Я был исключением благодаря своему маленькому тщеславию, а также помощи Стирфорта, и мне все-таки удалось в этой ужасной школе подобрать кое-какие крохи знаний.

Немало помог мне в этом и мистер Мелль. Он хорошо ко мне относился, и я вспоминаю о нем с очень благодарным чувством. Мне всегда было больно видеть, как Стирфорт систематически унижает его и редко упускает случай оскорбить его или подтолкнуть на это других. Это особенно мучило меня потому, что я на первых же порах нашей дружбы со Стирфортом рассказал ему о двух старушках в богадельне, к которым завел меня мистер Мелль. Сделал я это исключительно потому, что для меня было так же немисливо иметь от моего друга тайны, как не поделиться с ним пирожным или каким-либо другим своим достоянием. И я был в постоянном страхе, как бы Стирфорт не проговорился и не стал попрекать этим мистера Мелля. Конечно, когда я в то утро завтракал в богадельне и заснул под звуки флейты мистера Мелля, никому и в голову не приходило, что визит такого маловажного мальчугана, как я, мог иметь какие-нибудь последствия. А оказалось, что последствия были, и даже очень серьезные.

Однажды, когда мистер Крикль по болезни остался дома, что, разумеется, страшно обрадовало всю школу, за утренним уроком поднялся невообразимый гам. Ученики до того были радостно

возбуждены, что с ними просто сладу никакого не стало. И хотя грозный Тонгей два или три раза, ковыляя, появлялся на своей деревяшке в классе и записывал имена главных нарушителей тишины, но большого впечатления это не производило. Мальчишки знали, что все равно порки завтра не миновать, и поэтому сегодня уж хотели повеселиться вволю. Собственно говоря, день этот был полупраздничный — суббота. Но так как шум на площадке для игр мог потревожить мистера Крикля, а погода не была благоприятна для дальней прогулки, то нас после обеда загнали в класс и посадили за уроки, правда, более легкие чем обыкновенно. Так как по субботам мистер Шарп уходил к парикмахеру завивать свой парик, то за всей школой наблюдал Мелль. На него вообще всегда взваливали самую неприятную работу.

Если бы можно было такого мягкого человека, каким был мистер Мелль, сравнить с быком или медведем, то я сказал бы, что в этот день, когда гам и возня в классе достигли своей высшей точки, мистер Мелль напоминал одного из этих зверей, затравленного огромной стаей собак. Помню, как он, держась своей тощей рукой за разболевшуюся голову, грустно склоняется над книгой, лежавшей у него на столе, и, напрягая все силы, старается справиться со своей утомительной работой среди такого адского шума, от которого, пожалуй, могла закружиться голова даже у председателя Палаты общин. Мальчишки то и дело вскакивают со своих мест, задирая друг друга. Кто «выжимает масло» в углу, кто хохочет, кто поет, кто отплясывает; вот этот орет во все горло, а тот шаркает ногами; кто-то, кривляясь, гримасничая и строя всякие рожи, кружится вокруг учителя, кто-то передразнивает его за его спиной и даже открыто; есть и такие, которые издеваются над его бедностью, над порванными сапогами, над всем тем, к чему они должны были относиться с особенной деликатностью.

— Молчать! — наконец крикнул, вскакивая и ударяя книгой по столу, мистер Мелль. — Да что это такое, в самом деле?... Нет сил переносить это!.. Действительно, так можно дойти до сумасшествия... Как у вас, мальчишки, хватает духу подобным образом вести себя со мной?

Книга, которой он стукнул по столу, была как раз моей, и я, отвечая ему урок, видел, как после этих его слов все ученики

присмирели. Одни были просто удивлены, другие несколько испуганы, а некоторые, быть может, даже пристыжены.

Место Стирфорта находилось в глубине длинной классной комнаты, на задней скамейке. Бездельничая и засунув руки в карманы, он стоял, прислонившись к стене. Когда мистер Мелль посмотрел на Стирфорта, он тоже уставился на него, сложив губы так, словно собирался свистнуть.

— Тише, мистер Стирфорт! — крикнул мистер Мелль.

— Сами вы потише, — покраснев, ответил Стирфорт. — С кем позволяете вы себе говорить таким образом?

— Сядьте на свое место! — приказал мистер Мелль.

— Сами садитесь, — отрезал Стирфорт, — лучше своим делом занимайтесь!

Кто-то захихикал, кто-то даже заплодировал, но мистер Мелль был так мертвенно бледен, что сразу воцарилась тишина, и один ученик, собиравшийся было снова поднять на-смех его мать, вдруг остановился и сделал вид, что чинит перо.

— Если вы думаете, Стирфорт, — обратился к нему мистер Мелль, — что я не знаю, каким влиянием пользуетесь вы у всех своих товарищей (при этих словах он, верно, не отдавая себе отчета, положил свою руку мне на голову), или не заметил, как вы несколько минут тому назад подбивали младших учеников всячески надо мной издеваться, — то вы жестоко ошибаетесь.

— Я вовсе не даю себе труда думать о вас, — ответил очень хладнокровно Стирфорт, — а потому и не могу ошибаться.

— Ну, если вы пользуетесь своим положением любимчика, чтобы наносить оскорбления джентльмену...

— Какому джентльмену? Где он? — нагло спросил Стирфорт.

Тут раздался голос:

— Постыдитесь, Джемс Стирфорт, — это уже гадость!

То был Трэдльс; но мистер Мелль сейчас же велел ему замолчать.

— Сэр, если вы оскорбляете человека, которому не повезло в жизни, но который ничем никогда не обидел вас, причем оскорбляете его, понимая, в ваши годы и при вашем уме, всю тяжесть его положения, то поступаете подло и низко, — закончил с трясущейся челюстью мистер Мелль. — Теперь, сэр, вы можете сесть или стоять, как вам заблагорассудится... Продолжайте, Копперфильд.

— Погодите, малыш Копперфильд! — закричал Стирфорт, выходя на середину комнаты. — Вот что я скажу вам раз навсегда, мистер Мелль! Если вы позволяете себе называть меня низким и подлым человеком или чем-то в этом роде, так вы после этого бесстыдный нищий! Нищим вы всегда были, сами прекрасно это знаете, а поступив так, как сейчас, вы стали еще бесстыдным нищим!

Не знаю уж хорошенько, собирался ли Стирфорт ударить мистера Мелля, порывался ли мистер Мелль броситься на него и были ли вообще у них подобные намерения, но вдруг я увидел, что все ученики замерли, словно окаменели. Среди нас появился мистер Крикль со своим неизменным спутником на деревянной ноге — Тонгеем. Миссис и мисс Крикль, смущенные и как будто даже испуганные, выглядывали из-за дверей. Мистер Мелль уселся за свой стол и, облокотившись на него, закрыл лицо руками. Так просидел он молча несколько мгновений.

— Мистер Мелль, — наконец прошептал директор, дергая учителя за руку, и шопот его на этот раз был таким внятным, что Тонгей нашел излишним повторять его слова, — надеюсь, вы не забылись?

— Нет, нет... я не забылся, — заикаясь и отрицательно качая головой, ответил учитель; он открыл лицо и в страшном волнении потирал себе руки. — Нет, сэр, нет. Я не забылся, я... нет — не забылся, мистер Крикль... Я... прекрасно помнил, что делаю... Только я... я... хотел бы, чтобы вы... вспомнили обо мне несколько раньше... Это было бы и великодушнее, сэр, и справедливее... Это, сэр, избавило бы меня кое от чего...

Мистер Крикль сурово взглянул на мистера Мелля, потом, опершись на плечо Тонгея, взобрался на скамью и сел на стол. С этого стола, как с трона, он продолжал сурово смотреть на учителя. Видя, что тот с таким же волнением продолжает потирать себе руки и качать головой, директор повернулся к Стирфорту и прошептал:

— Ну, сэр, раз он не удостоивает меня ответом, быть может, вы скажете мне, в чем тут дело?

Стирфорт некоторое время не отвечал. Он молча, со злобой и презрением смотрел на своего противника. Помнится, что даже в этот момент я не мог не обратить внимания на то, какой благородный вид

был у моего друга и до чего некрасивым и вульгарным^[22] казался рядом с ним учитель.

— Спрашивается, что он имел в виду, говоря о любимчиках? — наконец проговорил Стирфорт.

— О любимчиках? — повторил мистер Крикль, и жилы на его лбу налились еще больше. — Кто говорил о любимчиках?

— Он говорил, — ответил Стирфорт.

— Будьте добры, мистер Мелль, объясните, что вы этим хотели сказать? — спросил директор, бросая гневный взгляд на своего помощника.

— Я хотел сказать, мистер Крикль, — глухо промолвил учитель, — что ни один ученик, пользуясь своим положением любимчика, не вправе унижать меня.

— Унижать вас, бог мой! Но позвольте спросить вас, мистер... как вас там зовут... — при этом Крикль скрестил руки на груди вместе с тростью и так насупил брови, что его крошечные глазки почти исчезли под ними, — говоря о любимчиках, считали ли вы, что оказываете подобающее уважение мне, директору этого учебного заведения и вашему хозяину, сэр?

— Я был неправ, сэр, и охотно в этом сознаюсь, — сказал мистер Мелль. — Конечно, я так не поступил бы, если бы был и более спокойном состоянии.

Тут в разговор вмешался Стирфорт:

— Он сказал, что я подлец и низкий человек, а я в ответ на это назвал его нищим. Будь и я в более спокойном состоянии духа, то, быть может, не назвал бы его нищим, но я сказал это и готов за это ответить.

Не вдумываясь, мог ли вообще мой друг ответить за свою дерзость, я пришел в восторг от смелости его речи. Такое же впечатление, очевидно, произвела она и на других мальчиков. Правда, не было произнесено ни единого слова, но среди них как бы пронесся шопот одобрения.

— Хотя ваша откровенность и делает вам честь, — прошептал мистер Крикль, — конечно, делает честь, но я все-таки удивлен, сэр, что вы могли назвать нищим человека, служащего в Салемской школе и состоящего у этой школы на жалованье...

Стирфорт только усмехнулся.

— Это, сэр, не ответ на мое замечание, — опять прошептал мистер Крикль. — Я жду большего от вас, Стирфорт.

Если мистер Мелль казался мне вульгарным по сравнению с красавцем-юношей, то нет слов, чтобы выразить, насколько еще вульгарнее выглядел рядом с ним мистер Крикль.

— Пусть он попробует доказать, что это неверно, — заявил Стирфорт.

— Доказать, что он не нищий, Стирфорт? — делая усилие, крикнул мистер Крикль. — Да разве он нищий? Скажите, куда же он ходит просить милостыню?

— Если сам он не нищий, так его ближайшая родственница — нищая, — проговорил Стирфорт, — а это одно и то же.

Говоря это, Стирфорт бросил на меня взгляд, а в это время, рука мистера Мелля ласково потрепала меня по плечу. Я весь покраснел, и сердце заныло, охваченное раскаянием, но мистер Мелль не мог видеть моего лица. Он продолжал, похлопывая меня по плечу, смотреть на Стирфорта.

— Раз вы ждете, мистер Крикль, чтобы я оправдался, — наконец, промолвил Стирфорт, — и объяснил свои слова, то я должен сказать, что его мать живет из милости в богадельне.

Мистер Мелль попрежнему не сводил глаз со Стирфорта и, ласково все поглаживая меня по плечу, как бы про себя прошептал: «Да, я так и думал».

Мистер Крикль обернулся к учителю и, нахмурясь, с деланной вежливостью шопотом сказал:

— Вы слышите, мистер Мелль, что говорит этот джентльмен? Будьте добры опровергнуть его слова перед всей школой.

— Я не могу этого сделать, сэр, — среди гробовой тишины произнес мистер Мелль. — То, что он сказал, — правда!

— Тогда будьте добры объявить во всеуслышание, знал ли: я лично до сего момента об этом, — прошептал мистер Крикль, склонив голову и обводя глазами учеников.

— Да, непосредственно от меня вы не знали об этом, сэр.

— Почему говорите вы как-то неопределенно? Милый мой, да разве можете вы в этом сомневаться?

— Полагаю, сэр, что вы никогда не могли считать мое положение блестящим, — ответил мистер Мелль. — Оно вам известно теперь, и

всегда вы об этом знали.

— Раз вы сами об этом заговорили, — прошептал мистер Крикль, и жилы его при этом еще больше надулись, — так позвольте вам сказать, что, видимо, вы вообще не понимали своего положения, — вероятно, вы и мою школу считали тоже чем-то вроде богадельни. С вашего позволения, мистер Мелль, нам надо будет с вами расстаться, и чем скорее, тем лучше.

— Самое удобное сделать это сейчас же, — заявил, поднимаясь, мистер Мелль.

— Наше вам почтение, сэр! — просипел директор.

— Прощайте, мистер Крикль, прощайте и вы, мальчики, — сказал мистер Мелль, окидывая взором весь класс и снова ласково поглаживая меня по плечу. — А вам, Джемс Стирфорт, — добавил он, — лучшее, что я могу пожелать на прощанье, — это чтобы вы когда-нибудь устыдились того, что сделали сегодня. А пока я предпочел бы и сам не иметь такого друга, как вы, и чтобы вы не были другом того, к кому я расположен.

Он еще раз погладил меня по плечу, а затем, вынув из своего стола флейту и несколько книг и положив туда ключи для своего заместителя, ушел из школы, унося подмышкой все свое достояние.

После его ухода мистер Крикль произнес через посредство Тонгея речь, в которой благодарил Стирфорта за то, что он отстаивал, хотя, быть может, и слишком уж горячо, независимость и доброе имя Салемской школы.

Затем директор пожал руку Стирфорту, а мы трижды прокричали «ура». Не знаю уж, в честь кого кричалось «ура», но я решил, что это относится к Стирфорту, и потому, хотя на душе у меня и было очень скверно, я горячо присоединил свой голос к голосу товарищей.

Мистер Крикль еще отстегал своим хлыстом злосчастного Томми Трэдльса — за то, что он (бедняга!), вместо того, чтобы радоваться и кричать «ура», вздумал проливать горькие слезы по поводу ухода мистера Мелля. Наконец почтенный директор удалился восвояси на покинутую им кровать или диван.

Мы же, предоставленные самим себе, помнится, очень смущенно смотрели друг на друга. Я лично чувствовал такие угрызения совести, так винил себя в случившемся, что непременно расплакался бы, если быне боялся этим обидеть Стирфорта, часто поглядывавшего на меня.

Он был и так уже обозлен на Трэдльса и даже заявил, что ему поделом досталось за его слезы.

Бедняга Трэдльс, успевший пережить свой период отчаяния, когда он, уткнувшись головой в стол, заливался слезами, уже утешался, как обычно, рисуя бесконечное количество скелетов.

Услышав злорадные слова Стирфорта, он заявил, что к побоям он относится равнодушно, а вот с Меллем несомненно поступили дурно.

— Кто же, по-вашему, девчонка вы этакая, поступил с ним дурно? — спросил Стирфорт.

— Кто? Да вы, конечно, — ответил Трэдльс.

— А что же я сделал? — продолжал спрашивать Стирфорт.

— Что вы сделали? Вы оскорбили его и лишили места. Вот что вы сделали, — бросил ему Трэдльс.

— Оскорбил! — презрительно повторил Стирфорт. — Подумаешь какая важность! Он вмиг забудет об этом. Поверьте, у него не такое сердечко, как ваше, мисс Трэдльс! А что касается его места, уж действительно можно сказать, необыкновенно выгодного, то неужели вы думаете, вы, милая мисс, что я не напишу домой и не позабочусь, чтобы ему прислали денег?

Это его намерение всем показалось очень благородным. А мы, по слухам, знали, что мать Стирфорта, богатая вдова, исполняет малейшее желание своего сыночка. Страшно были мы рады, что Стирфорт так осадил Трэдльса, и стали превозносить его до небес, особенно после того, как он соблаговолил пояснить нам, что историю с Меллем он затеял отнюдь не из каких-либо своих, эгоистических побуждений, а исключительно ради нас и нашей школы и этим несомненно принес всем нам большую пользу.

Но все-таки должен сознаться, что в этот вечер, когда, по обыкновению, я занимался своим повествованием, не раз среди мрака мне чудились печальные звуки старой флейты мистера Мелля, а когда наконец Стирфорт, устав меня слушать, заснул, мне представилось, до чего печально должен был где-то в эту минуту играть на своей флейте наш бедный учитель, и мне стало невыносимо тяжело.

Но вскоре я перестал думать о злосчастном мистере Мелле — до того был я увлечен преподаванием Стирфорта, согласившегося заниматься с нами некоторыми предметами впредь до приискания

нового учителя. Занимался он как любитель, легко, без всяких книг, и мне казалось, что все на свете он знает наизусть.

Новый учитель перешел к нам из классической гимназии и перед вступлением в свои обязанности был приглашен директором на обед, чтобы познакомиться со Стирфортом.

Стирфорт отозвался о новом учителе с величайшей похвалой и прибавил, что он настоящий «брус». Я, по правде сказать, хорошенько не понимал, какая ученая степень кроется под этим словом, но тем не менее почувствовал к новому учителю величайшее уважение и нисколько не сомневался в глубине его познаний. Но новый учитель никогда не уделял мне, незаметному мальчугану, и малой доли того внимания, какое оказывал мне мистер Мелль.

В этом первом учебном полугодии на фоне обычной школьной жизни в моей памяти сохранилось еще одно происшествие. И запечатлелось оно в ней по многим причинам.

Однажды после обеда, когда мистер Крикль, расправлялся направо и налево, а мы находились в страшно подавленном состоянии, появился Тонгей и своим обычным громовым голосом объявил:

— Посетители к Копперфильду!

Тут они обменялись с директором несколькими словами: очевидно, он доложил, кто были посетители, и получил указание, в какую комнату их следует провести. Я же, услышав, что ко мне кто-то пришел, сейчас же, по обычаю, существовавшему в школе, встал и стоял, полуживой от волнения. Мне было приказано идти в столовую, но раньше подняться по черной лестнице в дортуар и надеть чистую манишку. Приказание это я бросился исполнять в таком смятении, какого до сих пор в жизни не испытывал. Сначала я было предположил, что явились мистер и мисс Мордстон, когда же у дверей в столовую у меня мелькнула мысль, что здесь, может быть, матушка, я остановился, чтобы справиться с подступившими к горлу рыданиями. Наконец я вошел в комнату. Сначала я никого не увидел, но, так как, отворяя дверь, я почувствовал, что мне что-то мешает, я заглянул туда и, к великому своему удивлению, увидел мистера Пиготти и Хэма. Тиская друг друга к стене, они махали мне шляпами, Я не мог удержаться от смеха, но смеялся я не потому, что они были смешны, а скорее от радости, что их вижу. Мы очень дружески

пожали друг другу руки, а затем я начал опять смеяться и смеялся до тех пор, пока не был принужден вытащить носовой платок и вытереть выступившие на глазах слезы.

Мистер Пиготти, помнится, не закрывавший рта во всё время своего посещения, проявил большое участие к моим слезам и стал подталкивать локтем Хэма, чтобы и тот что-нибудь сказал мне.

— Ну, развеселитесь же, мистер Дэви! — проговорил Хэм, по своему обыкновению скаля зубы. — Как вы выросли, однако!

— Так, по-вашему, я вырос? — спросил я, утирая слезы. Я и сам не знал, отчего я плачу; видно, расчувствовался при виде старых друзей.

— Еще бы не выросли! Не правда ли, дядя, они очень выросли?

— Очень выросли, — согласился мистер Пиготти.

Дядя и племянник оба рассмеялись, и я вместе с ними; мы все трое так хохотали, что я опять едва не расплакался.

— Не знаете ли, мистер Пиготти, как поживает моя мама? — спросил я. — И моя дорогая старая Пиготти?

— Как всегда, — сказал, мистер Пиготти.

— А маленькая Эмми, а миссис Гуммидж?

— Как всегда, — повторил мистер Пиготти.

Наступило молчание. Чтобы как-нибудь прервать его, мистер Пиготти вытащил из своих необъятных карманов двух большущих омаров, громадного краба и целый холщёвый мешочек креветок^[23] и все это навалил на руки Хэму.

— Видите ли, — сказал мистер Пиготти, — мы осмелились привезти вам это, ибо помнили, что вы с удовольствием кушали их у нас. Их, знаете, сварила старушка — миссис Гуммидж... Да, — снова повторил он, очевидно, не имея другой темы для разговора, — уверяю вас, она их варила.

Я поблагодарил, а мистер Пиготти, взглянув на Хэма (тот, глуповато-застенчиво улыбаясь, и не думал даже притти на помощь дяде), продолжал:

— Видите ли, мистер Дэви, мы воспользовались попутным ветром и приливом и на одной из своих ярмутских шлюпок пришли под парусами в Грэвсенд. А сестра написала мне, как зовется ваше место, и также просила, когда мне придется быть в Грэвсенде, чтобы я непременно зашел проведать мистера Дэви, передал ему самый

низкий поклон и сказал, что все семейство чувствует себя, конечно, как всегда. И вот теперь, когда я вернусь домой, маленькая Эмми напишет сестре, что я видел вас и что вы тоже чувствуете себя, как всегда. Ну, и обойдет это всех, как карусель.

Я не сразу сообразил, что мистер Пиготти этим хотел сказать, что все мы таким образом узнаем друг о друге. Горячо поблагодарив его, я спросил, чувствуя, что краснею:

— А, верно, маленькая Эмми также изменилась с тех пор, как мы с нею на морском берегу собирали ракушки и камушки?

— Она скоро будет совсем взрослой, — ответил мистер Пиготти, — вот спросите его.

Он имел в виду Хэма, а тот с восторженным видом, уставившись на мешочек с креветками, утвердительно закивал головой.

— А какая она хорошенькая! — воскликнул мистер Пиготти с сияющим лицом.

— И как она учится! — прибавил Хэм.

— И как пишет! — продолжал мистер Пиготти. — У нее буквы черные, как смоль, и такие большие, что их, кажется, отовсюду можно видеть.

Я был в восторге, видя, с каким воодушевлением мистер Пиготти говорит о своей маленькой любимице. Как сейчас передо мною его грубоватое бородатое лицо, сияющее такой любовью, такой гордостью, что я не в силах даже этого описать. Его честные, добрые глаза светятся и сверкают, словно в глубине их есть что-то блестящее. Широкая грудь радостно вздымается. Возбужденный, он невольно сжимает в кулаки свои могучие руки и, чтобы усилить выразительность того, что говорит, так размахивает правой рукой, что мне, пигмею, она кажется огромным молотом.

Хэм был в таком же восторженном состоянии, как и его дядя. Наверное, они еще много сообщили бы мне о маленькой Эмми, если бы их не смутило неожиданное появление Стирфорта. Войдя в столовую и видя меня разговаривающим с двумя незнакомцами, он перестал напевать и сказал:

— Я не знал, что вы здесь, малыш Копперфильд. (Столовая ведь не была обычным местом приема посетителей).

Пройдя мимо нас, он уже собрался уйти, но я его остановил.

Не знаю уж, почему я так поступил; хотел ли я похвастаться, что у меня такой друг, как Стирфорт, или желал объяснить этому другу, как могут быть у меня такие приятели, как мистер Пиготти, но я скромно сказал (удивительно, до чего все это ясно стоит у меня перед глазами спустя столько лет!):

— Не уходите, пожалуйста, Стирфорт. Это два ярмутских рыбака, добрейшие, прекрасные люди. Они родственники моей няни и приехали из Грэвсенда проведать меня.

— Вот как! — проговорил Стирфорт. — Очень рад с ними познакомиться. Как вы оба поживаете?

У него была такая непринужденная манера говорить с людьми, — веселая, приятная, совершенно лишенная чванства, словом, обворожительная манера. Мне до сих пор кажется, что его обаяние объяснялось именно вот этой манерой себя держать, его жизнерадостностью, чудесным голосом и красотой лица и фигуры, да еще какой-то врожденной притягательной силой. Перед этим его обаянием редко кто мог устоять. Тут также я не мог не заметить, что он очень понравился моим рыбакам и сразу завоевал их сердца.

— Мистер Пиготти, — обратился я к нему, — когда будете писать домой, пожалуйста, сообщите моим, что мистер Стирфорт очень добр ко мне и без него я просто не знал бы, что здесь и делать...

— Пустяки! — смеясь, воскликнул мой друг. — Ничего подобного им не пишите!

— Знаете, мистер Пиготти, — сказал я, — если в один прекрасный день мистер Стирфорт придет в наши места, в то время как я буду там, то будьте уверены, что я уж непременно, если он только пожелает, свезу его в Ярмут, чтобы показать ему ваш дом. Вы ведь, Стирфорт, никогда в жизни такого прекрасного дома не видывали: он сделан из баржи!

— Из баржи? Ну что же! Это как раз настоящий дом для такого молодца-моряка, — заметил Стирфорт.

— Так, так, сэр! — громко смеясь, вмешался в разговор Хэм. — Вы правы, молодой джентльмен! Верно говорите. Он настоящий молодец-моряк. Да, да, настоящий!

Мистер Пиготти не меньше племянника был доволен комплиментом Стирфорта, но из скромности не мог так же громко, как он, проявить свое удовольствие.

— Ну, сэр, благодарю вас, благодарю! — сказал, кланяясь и радостно посмеиваясь, мистер Пиготти, поправляя при этом концы своего шейного платка. — Уж стараюсь, стараюсь, как могу, в своем деле.

— Лучший из людей не может сделать большего, мистер Пиготти, — проговорил Стирфорт, успевший узнать его имя.

— Бьюсь об заклад, что и вы, сэр, таким же образом все делаете, — ответил мистер Пиготти, кивая головой, — и всегда и везде вы молодец. Благодарю вас, сэр! Тронут очень вашей приветливостью. Я, сэр, человек грубый, но готов, по крайней мере думается мне, что готов... Вы понимаете, что я хочу сказать, сэр. Дом мой неважный, конечно, он не стоит того, чтобы его смотреть, но он, сэр, всегда к вашим услугам, если вам когда-нибудь угодно будет пожаловать к нам с мистером Дэви... Однако я настоящая улитка, — смеясь, добавил он, намекая на то, что медлит уходить: не раз порывался он это сделать и все оставался на месте. — А все-таки в конце концов надо же уйти. Желаю вам обоим всего доброго! Будьте счастливы!

Хэм, как эхо, повторил дядюшкины пожелания, и мы расстались самым дружеским образом. Весь этот вечер я был близок к тому, чтобы рассказать Стирфорту о хорошенькой крошке Эмми, но все-таки постеснялся произнести это имя, боясь его насмешек. Помнится, долго и с беспокойным чувством думал я о том, что, по словам мистера Пиготти, Эмми делается совсем взрослой, но потом я решил, что это, конечно, все глупости.

Мы тайком перенесли в наш дортуар дары мистера Пиготти и вечером задали великолепный пир. Но Трэдльсу и тут не повезло, — бедняга не мог безнаказанно, как все остальные, насладиться этим роскошным угощением: он объелся крабом, и ночью его так схватило, что он лежал, как пласт. Его заставили проглотить такое количество черной микстуры и синих пилюль, что, пожалуй, этого не выдержал бы и лошадиный организм, — таково было мнение одного из учеников, Демпля, считавшегося у нас авторитетом в медицине, ибо отец его был врачом. А сверх того, за отказ объяснить причину своей внезапной болезни его жестоко выпороли и задали вызубрить шесть глав евангелия на греческом языке.

Вообще об этом учебном полугодии в памяти моей сохранились лишь какие-то смутные, отрывочные картинки нашей тяжелой школьной жизни: вот кончилось лето, настала осень; так холодно вставать по утрам, когда нас поднимает с постели колокол; таким же холодом и сыростью веет от темной ночи, когда нас, опять же по колоколу, заставляют ложиться спать. Вижу перед собой тускло освещенную, плохо протопленную классную комнату, где мы по вечерам готовим уроки; но еще холоднее бывает в ней утром, когда мы здесь положительно дрожим, не попадая зуб на зуб. Прносятся передо мной наши обеды и ужины: вареная и жареная баранина, груды бутербродов, пахнущие салом, воскресные пудинги... А вот мелькают перед глазами потрепанные учебники с уголками, загнутыми наподобие собачьих ушей, потрескавшиеся аспидные доски, закапанные слезами тетради, порка, битье по рукам линейкой, дерганье за волосы, — и все это на фоне пасмурной, дождливой погоды, в грязной, душной атмосфере.

Так ясно вспоминается мне, как мысль о каникулах, бывшая бесконечное время какой-то неподвижной точкой, стала наконец приближаться к нам, расти и расти; как мы, считая сначала время месяцами, переходили на недели, а там и на дни... И тут, помню, я стал бояться, что меня не возьмут домой на каникулы. Когда же я узнал от Стирфорта, что меня берут и пришлют за мной, у меня почему-то явилось мрачное предчувствие, что я ко времени поездки домой непременно сломаю себе ногу и не смогу поехать. Помнится, как короткие зимние дни быстро сменяют друг друга, недели летят за неделями. Остается неделя, три дня, два дня, несколько часов... И вот уж я сижу в ярмутском дилижансе и еду домой... Плохо спалось мне в этом дилижансе, мучили меня какие-то бессвязные сны из школьной жизни. Пробуждаясь время от времени, я высовываюсь из окна и радостно убеждаюсь, что я уже не на рекреационной площадке и доносящийся свист кнута не значит, что секут злосчастного Трэдльса, а это просто кучер погоняет своих лошадей.

Глава VIII

КАНИКУЛЫ. ОДИН ОСОБЕННО СЧАСТЛИВЫЙ ВЕЧЕР

Когда мы, еще до рассвета, подъехали к гостинице, где останавливался дилижанс, — это была не та гостиница, в которой служил мой приятель официант, — меня провели в уютный маленький номер с изображением дельфина на дверях. Помню, я никак не мог согреться, несмотря на то, что меня перед этим внизу напоили горячим чаем у ярко горящего камина, и я был радехонек улечься в дельфинову постель, укрыться с головой дельфиновым одеялом и заснуть крепким сном. Мой старый знакомый, извозчик мистер Баркис должен был заехать за мной в девять часов утра. Проснулся я в восемь часов, и хотя не совсем еще выспался и у меня даже слегка кружилась голова, я был готов раньше назначенного времени.

Мистер Баркис встретил меня так, как будто мы расстались с ним не больше пяти минут тому назад, ну, скажем, чтобы забежать в гостиницу разменять деньги или за чем-нибудь в этом роде. Как только я со своим чемоданом поместился в повозке, а мистер Баркис взобрался на козлы, его ленивая лошадь тронулась и поплелась своим обычным шагом.

— Вы очень хорошо выглядите, мистер Баркис, — сказал я, думая этим сделать ему приятное.

Мистер Баркис молча потер себе щеку рукавом, потом посмотрел на рукав, как бы ожидая на нем увидеть отпечаток своего румянца, — это все, чем он ответил на мой комплимент.

— Я исполнил ваше поручение, мистер Баркис, — продолжал я, — писал Пиготти.

— А-а, — пробормотал мистер Баркис. Казалось, он был не в духе.

— Разве я сделал это не так, как надо? — спросил я его после некоторого колебания.

— Что не так, как надо? — отозвался Баркис.

— Да поручение.

— Поручение, может быть, и исполнено, как надо, но этим все и кончилось, — проговорил извозчик.

Не понимая, что он этим хочет сказать, я опять спросил:

— Как все этим кончилось?

— Ничего из этого не вышло, — пояснил мистер Баркис, глядя в сторону. — Нет ответа.

— А, значит, нужен был ответ, мистер Баркис? — проговорил я, широко открывая глаза: я только сейчас начал догадываться об этом.

— Когда человек говорит, что он согласен, — промолвил мистер Баркис, снова медленно оборачиваясь и смотря на меня, — так, значит, он ждет ответа.

— Ну, и что же, мистер Баркис?

— Ну, и что же? — повторил он, снова устремив глаза на уши лошади. — Человек этот все ждет ответа.

— Говорили ли вы ей об этом, мистер Баркис?

— Н-нет... — протянул он в раздумье. — Зачем мне идти к ней и говорить это? Ведь я отроду не сказал с нею и шести слов. Нет, мне неохота говорить ей это.

— Хотите, я сделаю это за вас, мистер Баркис? — предложил я нерешительно.

— Пожалуй, скажите вы, если вам охота, — промолвил мистер Баркис. — Скажите ей, что Баркис, значит, ждет ответа. А какое имя вы называли?

— Ее имя?

— Ага, — ответил мистер Баркис, кивнув головой.

— Пиготти.

— Это имя или фамилия? — осведомился мистер Баркис.

— Это фамилия. Имя ее — Клара.

— Вот как! — бросил мистер Баркис.

Казалось, это обстоятельство дало ему обильный материал для размышления; он некоторое время сидел глубоко задумавшись, посвистывая про себя.

— Так-с! — наконец снова начал он. — Скажите ей так: «Пиготти, Баркис ждет ответа». Может, она спросит: «Ответа на что?» Вы скажете: «На то, что он писал». Пиготти спросит: «А что он писал?» Вы скажете: «Баркис согласен».

Давая мне эту, столь искусно составленную инструкцию, Баркис так толкнул меня локтем, что едва не проломил мне бок. Затем, с обычной для него манерой, он склонился над лошадьёю и больше уж об этом не заикался. Только полчаса спустя он вынул из кармана кусок мела и вывел внутри повозки: «Клара Пиготти», — очевидно, для того, чтобы не забыть.

Какое странное чувство испытывал я, приближаясь к дому, который, в сущности, уже не был для меня родным домом и где каждая вещь, на которую я посмотрю, будет напоминать мне о былом счастье, исчезнувшем, как сон!

Дни, когда матушка, я и Пиготти, были всем на свете друг для друга и когда никто еще не вносил розни в нашу жизнь, с такой ясностью рисовались передо мной, и мне так тяжело становилось на душе, что я, право, не знаю, радовался ли я, в сущности, тому, что еду домой, или мне казалось, что, пожалуй, было бы лучше для меня остаться в школе и в обществе Стирфорта позабыть счастливое прошлое.

Но я уже подъезжаю... Вот и наш дом, где старые обнаженные вязы под напором сурового зимнего ветра раскачивают свои бесчисленные косматые ручищи, с которых срываются клочья грачиных гнезд...

Извозчик, сняв с повозки мой чемодан, положил его у садовой калитки, а сам поехал дальше. Я направился по дорожке к дому, глядя на окна и трепеща при мысли, что вот-вот сейчас из одного из них выпянет или мистер Мордстон, или его сестрица. Однако никто в окне не показался, и я, дойдя до дома и зная секрет, как днем можно было самому открыть дверь, вошел без стука, тихонько и робко. Когда я очутился в передней, вдруг в памяти моей проснулись бог знает какие далекие воспоминания моего раннего детства. Пробудились они под влиянием пения матушки, доносившегося из нашей старой гостиной. Она тихонько напевала. Мне почудилось, что, лежа на коленях у матушки грудным младенцем, я когда-то слышал эту самую колыбельную песенку. Мелодия эта одновременно казалась мне новой и такой старой, что сердце мое переполнилось радостью, как при встрече с долго отсутствовавшим другом.

По тому, как задумчиво матушка напевала, я решил, что она одна, и потихоньку вошел в гостиную. Матушка сидела у камина и кормила

грудью ребенка; его крошечная ручка покоилась у нее на шее. Глаза матушки были устремлены на крошку, которого она убаюкивала своей песенкой. Предположение мое оказалось верным — никого другого в комнате не было.

Я заговорил с ней, и она вздрогнула и вскрикнула. Увидев, что это я, она закричала: «Дорогой Дэви, родной мой мальчик!» и, побежав мне навстречу, опустилась на колени, обняла меня, целовала и, положив мою голову себе на грудь рядом с примостившейся там головкой крошки, протянула его ручку к моим губам. Жаль, что я не умер в эту минуту! Лучше было мне умереть тогда, с сердцем, переполненным теми чудесными чувствами...

— Это ваш братец, — сказала матушка, лаская меня. — Дэви, милый мой мальчик, дитяtko мое бедное! — шептала она, без конца целуя и обнимая меня.

В это время прибежала Пиготти, повалилась на пол подле нас и с четверть часа просто с ума сходила от радости.

Оказалось, что меня ждали позднее, — извозчик, поводитому, приехал гораздо раньше, чем обыкновенно проезжал здесь. Оказалось также, что мистер и мисс Мордстон были в гостях у соседей и должны были вернуться только к ночи.

Никак не мог я рассчитывать на такое счастье! Никогда не мечтал я, что мы снова сможем с матушкой и Пиготти очутиться одни! И я тут почувствовал себя так, словно опять вернулись прежние дни...

Мы все вместе обедали у камина. Пиготти хотела было прислуживать нам, но матушка не допустила этого и заставила ее обедать с нами. Я ел на своей прежней тарелке, на которой в коричневых тонах был изображен военный корабль, несшийся на всех парусах. Пиготти после моего отъезда куда-то запрятала эту тарелку; она уверяла, что, разбей кто-нибудь такую драгоценность, — и сто фунтов стерлингов не утешили бы ее. Передо мной стояла также моя собственная кружка с надписью: «Давид», и пользовался я своим, совершенно не режущим маленьким ножиком и такой же вилкой.

Во время обеда мне пришло в голову, что, пожалуй, это как раз благоприятный момент передать Пиготти поручение мистера Баркиса, но не успел я договорить, как Пиготти громко расхохоталась и закрыла себе лицо передником.

— Пиготти, что с вами? — спросила матушка.

Пиготти пуще прежнего расхохоталась, а когда матушка порывалась стащить с ее лица передник, она еще плотнее в него закуталась, так что голова ее, казалось, была в мешке.

— Что вы с собой делаете, дурочка вы этакая? — смеясь, сказала матушка.

— Ах чтоб ему! — воскликнула Пиготти. — Он хочет на мне жениться!

— Это была бы для вас хорошая партия. А разве нет? — проговорила матушка.

— Ей-богу, не знаю, — ответила Пиготти. — И не говорите мне о нем! Будь он из чистого золота, я и тогда не пошла бы за него. Да и совсем ни за кого не пойду.

— Ну так почему же, чудачка, вы не скажете ему этого? — спросила матушка.

— Сказать ему? — отозвалась Пиготти, выглядывая из-за передника.. — Да он сам никогда словом со мной не обмолвился и прекрасно знает, что, посмей он сказать что-нибудь подобное, я сейчас же дам ему по физиономии.

А собственная ее физиономия была так красна, как я никогда не видывал в жизни. Тут на нее опять напал смех, и она снова закрылась передником. После двух или трех таких припадков смеха она наконец уgomонилась и принялась за обед.

Я обратил внимание на то, что хотя матушка и улыбалась, когда Пиготти посматривала на нее, но стала вдруг как-то задумчивее и серьезнее. Вообще с первого взгляда мне бросилось в глаза, что она очень изменилась. Правда, попрежнему она была очень хорошенькая, но лицо ее похудело и постарело от забот, а руки стали такими худенькими и бледными, что казались совсем прозрачными. Но еще больше изменилась ее манера себя держать, — в ней чувствовалось какое-то беспокойство и смущение.

Помолчав немного, матушка ласково положила руку на руку своей старой служанки и спросила ее:

— Пиготти, дорогая, вы ведь и вправду не собираетесь выходить замуж?

— Я, мэм? — вытаращив глаза, воскликнула Пиготти. — Господь с вами!

— Во всяком случае, не теперь же? — нежно продолжала допрашивать матушка.

— Никогда! — закричала Пиготти.

Взяв ее за руку, матушка проговорила:

— Не покидайте меня, Пиготти. Будьте со мной. Быть может, уже не так долго осталось нам быть вместе. Не знаю, что я стала бы делать без вас.

— Чтобы я когда-нибудь покинула вас, мое сокровище! — закричала Пиготти. — Ни за что на свете! Как только такая мысль могла притти в вашу глупенькую головку?

Надо сказать, что Пиготти, с давних времен привыкла порой говорить с матушкой, как с малым ребенком.

Матушка ничего не ответила, только поблагодарила ее, а Пиготти по своему обыкновению затараторила:

— Чтобы я вас оставила! Хотела бы я видеть это! Чтобы Пиготти ушла от вас! Как даже такая мысль могла притти ей в голову? Нет, нет, нет! — повторяла она, трясая головой и скрещивая на груди руки. — Нет, дорогая моя, Пиготти не уйдет. Конечно, есть здесь «милые души», которых очень порадовал бы мой уход, но не беда, пусть злятся! А я все-таки останусь с вами до тех пор, пока не стану совсем ворчливой, дряхлой старушонкой. Когда же я буду хромой, глухой, слепой, беззубой, когда никуда не буду годна, даже не смогу ни ворчать, ни браниться, — вот тогда я пойду к моему Дэви и попрошу, чтобы он взял меня к себе.

— А я, Пиготти, — заявил я, — буду страшно рад вас видеть и приму вас, как королеву!

— Ах, дорогой вы мой мальчик! — воскликнула Пиготти. — Знаю, что вы меня уж приютите! — и она кинулась целовать меня, благодаря за мое будущее гостеприимство.

Тут она еще раз набросила себе на лицо передник и принялась снова хохотать по поводу предложения мистера Баркиса. Затем она вынула братца из колыбели и принялась ухаживать за ним. Покончив с этим, она убрала со стола и ушла. Вскоре она вернулась в другом чепчике и принесла с собой свой рабочий ящик, сантиметр, кусочек восковой свечи, — точь в точь, как это делала раньше.

Мы все втроем сидели у камина и чудесно болтали. Я рассказал им, какой жестокий человек наш директор мистер Крикль, и они

страшно жалели меня. Я также говорил им о Стирфорте, какой он замечательный малый и как он мне покровительствует, и Пиготти тотчас же объявила, что готова была бы пройти сколько угодно миль пешком, лишь бы его увидеть.

Когда дитя проснулось, я взял его на руки и с любовью нянчился с ним. Вскоре оно опять уснуло, и я, по старой, давно забытой привычке, подсел совсем близко к матушке, обнял ее обеими руками, прильнул своей румяной щекой к ее плечу, и снова ее роскошные волосы покрыли меня. И я действительно в эти минуты чувствовал себя очень, очень счастливым...

Когда мы отпили чай, а Пиготти выгребла золу из догоревшего камина и сняла нагар со свечей, я, чтобы напомнить прошлое, прочел ей главу из книги о крокодилах, — она вытащила ее из своего кармана: уж, право, не знаю, всегда ли эта книга была при ней, — а затем мы снова заговорили о Салемской школе, что, естественно, привело меня опять к рассказам о Стирфорте, служившем для меня неисчерпаемой темой. Мы все трое были очень счастливы, и этот вечер, последний в своем роде, завершивший первый период моей жизни, никогда не изгладится из моей памяти. ыш

Было около десяти часов, когда послышался стук колес. Мы сейчас же встали, и матушка поспешно сказала мне, что так как уже поздно, а мистер и мисс Мордстон считают, что таким мальчикам, как я, надо ложиться спать пораньше, то лучше мне в самом деле лечь в постель. Я поцеловал матушку и сейчас же, не ожидая появления Мордстонов, пошел наверх. Когда я поднимался в свою комнату, которая перед моим отъездом в школу служила мне тюрьмой, моему детскому воображению почудилось, что вместе с Мордстонами в дом ворвался какой-то ледяной порыв ветра, унесший с собой, как перышко, весь наш уют, все наше счастье...

На следующее утро мне было очень неловко итти вниз к завтраку, где я должен был встретиться с мистером Мордстоном; я еще ни разу его не видел после того моего достопамятного проступка. Но что было делать — итти надо было, и я пошел. Правда, я раза два-три по дороге останавливался, даже на цыпочках возвращался в свою комнату, но все-таки в конце концов открыл дверь и вошел в столовую.

Отчим стоял у камина спиной к огню, а мисс Мордстон приготовляла чай. Когда я вошел, он пристально посмотрел на меня,

но не показал вида, что меня узнает. Очень я был смущен, но почти сейчас же подошел к нему и сказал:

— Пожалуйста, сэръ, извините меня. Я очень сожалею о том, что сделал. Надеюсь, вы простите меня.

— Рад слышать, Давид, что вы сожалеете об этом, — ответил мистер Мордстон. Говоря это, он подал мне укушенную мною руку.

Я не мог удержаться от того, чтобы хотя мельком не взглянуть на красное пятнышко на ней, но пятно это все-таки было менее красно, чем моя физиономия, когда я встретился со злобещим взглядом моего отчима.

— Здравствуйте, мэм, как поживаете? — сказал я, обращаясь затем к мисс Мордстон.

— Ах, бог мой! — отозвалась она, вздыхая и тыча мне вместо своих пальцев совок для чая. — Сколько времени продолжаются каникулы?

— Месяц, мэм.

— Считая с какого времени?

— С сегодняшнего дня, мэм.

И она тут же стала вести счет моему каникулярному времени, вычеркивая ежедневно по одному дню. Вначале, пока она не дошла до десяти, лицо ее оставалось очень сумрачным, но как только появились двухзначные цифры, она как будто повеселела, а под конец совсем сияла.

В первый же день я имел несчастье привести в страшный ужас мисс Мордстон, хотя вообще ей и несвойственны были человеческие слабости. Я вошел в комнату, где она сидела с матушкой; ребенок (ему было всего несколько недель) лежал на коленях у матушки. Очень осторожно я взял его на руки. Вдруг мисс Мордстон так вскрикнула, что я едва не выронил крошку.

— Дорогая Джен, что с вами? — воскликнула перепуганная матушка.

— Боже мой! Да разве вы не видите, Клара? — крикнула мисс Мордстон.

— Что вижу? Где, дорогая Джен?

— Да он схватил его! — закричала мисс Мордстон. — Мальчик схватил ребенка!

Мисс Мордстон была в полуобморочном состоянии от страха, но все-таки нашла в себе настолько сил, чтобы броситься ко мне и вырвать из моих рук братца. Тут ей сделалось дурно, и для того, чтобы привести в чувство, пришлось дать ей выпить вишневой настойки. Придя в себя, мисс Мордстон с самым торжественным видом запретила мне брать на руки крошку.

Матушка, которой, повидимому, хотелось, чтобы я нянчил братца, тем не менее кротко подтвердила это запрещение, сказав:

— Конечно, вы правы, дорогая Джен.

В другой раз, когда мы опять были втроем вместе, дорогой крошка — он действительно был мне дорог ради матушки — стал невинной причиной того, что мисс Мордстон вышла из себя. Дело было так: крошка лежал у матушки на коленях, и она долго рассматривала его глазки; вдруг матушка сказала:

— Дэви, пойдите-ка сюда, — и стала также рассматривать мои глаза.

Я заметил, что мисс Мордстон отложила в сторону бусы, которые нанизывала.

— Я нахожу, — тихо промолвила матушка, — что у них обоих глаза совершенно одинаковые. Мне кажется, у них мои глаза — цвет моих глаз. Во всяком случае, они удивительно между собой похожи.

— О чем вы говорите, Клара? — спросила ее мисс Мордстон.

— Ми... ла... я Джен... — заикаясь, начала робко матушка, смущенная резким тоном золовки, — я нахожу, что глазки малютки удивительно похожи на глаза Дэви.

— Клара! — проговорила мисс Мордстон, сердито поднимаясь с места. — Вы положительно порой бываете душой.

— Но... милая Джен... — пробормотала матушка.

— Да, настоящая дура! — повторила мисс Мордстон. — Какой здравомыслящий человек мог бы сравнить малютку моего брата с вашим мальчиком! Между ними нет ни малейшего сходства. Они резко отличаются друг от друга во всех отношениях. Надеюсь, что и всегда это будет так. А теперь я вовсе не желаю оставаться здесь, чтобы слышать подобные сравнения!

Сказав это, она важно выплыла из комнаты, хлопнув за собой дверью.

Одним словом, я не был в чести у мисс Мордстон, да, по правде сказать, ни у кого я не был в чести, даже у самого себя; ибо те, кто любили меня, не смели этого показывать, а те, которые не любили, выказывали это так явно, что я сам чувствовал, как под влиянием их враждебного отношения я всегда кажусь каким-то подавленным, мешковатым и тупым.

Чувствовал я, что сам так же стесняю всех, как они стесняют меня. Бывало, войдешь в комнату, когда они разговаривают между собой. У матушки вид веселый, а смотришь — с моим появлением ее лицо уже омрачилось, и в нем появилось какое-то беспокойство. Пусть будет мистер Мордстон в самом лучшем настроении, — стоит мне показаться — и настроения этого как не бывало. Если мисс Мордстон бывала в плохом настроении, с моим приходом оно делалось еще более скверным. Будучи чутким, я прекрасно знал, что матушка всегда является жертвой. Она боялась заговорить со мной, приласкать меня, опасаясь этим вызвать их неудовольствие и получить за это выговор. Бедняжка, она жила в постоянном страхе, не только за себя, но и за меня и при всяком моем движении с беспокойством поглядывала на них. Ввиду всеготэтого я решил как можно реже попадаться им на глаза. Много зимних часов провел я за книгой в своей мрачной комнатке, закутавшись в теплое пальтишко и слушая бой церковных часов.

Иногда по вечерам я уходил к Пиготти на кухню. Здесь мне было хорошо, и я не боялся быть самим собой. Но ни один из моих способов времяпрепровождения не одобрялся в гостинной. Дух мучительства, царивший там, не давал мне распоряжаться собой. Все еще считали, что я необходим для матушкиной дрессировки и я должен был неотлучно быть при ней как полезное для нее испытание.

Однажды после обеда, когда я, по своему обыкновению, собирался было уйти, мистер Мордстои остановил меня.

— Давид, — сказал он, — с сожалением замечаю я, что вы постоянно надуты, угрюмы.

— Угрюм, как медведь, — бросила мисс Мордстон.

Я молча стоял, понурился.

— Знаете, Давид, — продолжал мистер Мордстои, — что нет ничего хуже угрюмого, упрямого характера.

— А у него, — опять вмешалась сестрица, — самый угрюмый и упрямый характер из всех, какие мне когда-либо случалось встречать у детей. Кажется, даже вы, милая Клара, замечаете это.

— Извините, дорогая Джен, — начала, волнуясь, матушка, — но уверены ли вы... надеюсь, что вы простите меня, дорогая Джен... что вполне понимаете характер Дэви?

— Мне было бы стыдно самой себя, Клара, — ответила мисс Мордстои, — если бы я была не в состоянии понять этого мальчика или вообще всякого ребенка. Я, конечно, не претендую на глубокий ум, но в то же время нельзя отказать мне и в здравом смысле.

— Нет сомнений, дорогая Джен, вы очень умны...

— Ах, нет, нет! Пожалуйста, не говорите мне подобных вещей! — с досадой прервала ее мисс Мордстои.

— Но я действительно уверена, что вы очень умны: каждый это знает, — возразила матушка. — Я сама не раз пользовалась, или, по крайней мере, должна была бы пользоваться вашими мудрыми советами, поэтому никто более меня не может быть уверен в проницательности вашего ума. Потому, поверьте, дорогая Джен, я всегда очень смущаюсь, высказывая пред вами свое мнение.

— Ну хорошо, допустим даже, что я не понимаю вашего мальчика, — продолжала мисс Мордстон, поправляя висевшие у нее на руках цепочки. — Извольте! Пусть будет так — я его совершенно не понимаю. Он, видите ли, слишком сложен для меня. Но, быть может, брат мой способен постичь всю глубину его характера. И мне кажется, что он как раз собирался высказать что-то по этому поводу, когда мы с вами не очень-то вежливо прервали его.

— Я думаю, Клара, — тихо, с серьезным видом заговорил мистер Мордстон, — что в этом вопросе нашлись бы здесь судьи лучшие и более беспристрастные, чем вы.

— Эдуард, — робко возразила матушка, — вы, конечно, гораздо лучше моего можете судить обо всем, так же точно, как и Джен. Я только сказала...

— Да, вы сказали то, что обнаружило вашу слабохарактерность и необдуманность, — перебил ее муж. — Постарайтесь, милая Клара, впредь этого не делать и получше следите за собой.

Губы матушки зашевелились, как бы отвечая: «Хорошо, дорогой Эдуард», но голоса ее не было слышно.

— Я уже сказал вам, Давид, — обратился ко мне мистер Мордстон, пристально глядя на меня, — мне очень неприятно, что вы так угрюмы. Я не могу допустить, чтобы такой характер проявлялся на моих глазах. Вы должны, сэр, постараться его исправить. Мы должны постараться его исправить для вас.

— Простите, сэр, — пробормотал я, — с тех пор как я вернулся, я вовсе и не думал быть угрюмым.

— Не прибегайте ко лжи! — крикнул мистер Мордстон таким раздраженным тоном, что матушка невольно протянула свою дрожащую руку, словно собираясь защитить меня. — Вы стали таким нелюдимым, — продолжал отчим, — что постоянно удаляетесь в свою комнату, вместо того чтобы оставаться здесь. Да будет вам известно раз навсегда: я требую, чтобы вы были не там, а здесь, а также требую полного послушания. Вы ведь знаете меня, Давид: все должно быть по-моему.

У мисс Мордстон вырвался хриплый смешок.

— Слышите, Дэви! Я хочу, чтобы вы были со мной почтительны, — продолжал отчим, — и готовы немедленно исполнять всякое мое приказание. Так же должны вы вести себя по отношению к Джен Мордстон и вашей матери. Я не желаю, чтобы в силу какого-то детского каприза вы избегали этой комнаты, словно она зачумленная. Садитесь!

Он крикнул на меня, как на собаку, и я, как собака, повиновался ему.

— Вот еще что, — прибавил он: — я замечаю в вас склонность к низкому, вульгарному обществу. Вы не должны общаться с прислугой. Кухня не поможет вам исправиться. А что касается женщины, которая потакает вам... я о ней не говорю, раз вы, Клара, — тут он, понизив голос, обратился к матушке, — в силу старой привычки и укоренившейся с давних пор фантазии питаете к ней слабость, от которой до сих пор не можете отделаться.

— И это самое nepостижимое oслепление! — воскликнула мисс Мордстон.

— Итак, я сказал, — закончил мистер Мордстон, — что не одобряю предпочтения общества мисс Пиготти нашему обществу, и этого, слышите, больше не должно быть! Ну, Давид, вы меня

понимаете и знаете, каковы будут последствия, если вы буквально не исполните моих приказаний.

Я знал лучше, чем, быть может, он предполагал, каковы могут быть последствия моего непослушания для бедной моей матушки, а потому стал во всем буквально повиноваться отчиму. Я не уходил больше в свою комнату и больше не отводил душу в обществе Пиготти, а изо дня в день тоскливо просиживал в гостиной, с нетерпением ожидая ночи и времени итти спать.

Как томительно было сидеть целыми часами, не смея шевельнуться, дабы не слышать упреков мисс Мордстон, что я ее беспокою, не смея даже глаз поднять из страха встретить недоброжелательный, испытующий взгляд, жаждущий найти повод сделать мне выговор! Что за невыносимая тоска слушать тиканье часов, смотреть, как мисс Мордстон нанизывает свои бесконечные стальные бусы, размышлять, выйдет ли когда-нибудь эта милейшая особа замуж, и если да, то кто будет этот несчастный!..

Как скучны были в скверную зимнюю погоду мои одинокие прогулки по лужам проселочных дорог! Бродя один, я всюду таскал за собой воспоминание об ужасной гостиной и о сидящих в ней мистере и мисс Мордстон.

Никак не мог я стряхнуть с себя это чудовищное бремя, не мог избавиться от этого, терзавшего меня наяву кошмара, и все это страшно подавляло и притупляло меня. А как тягостно было сидеть за обеденным столом, смущенно, боясь проронить слово, чувствуя, что и прибор мой на столе — лишний, и подаваемая на тарелке мне пища — лишняя, и стул, на котором сижу я, — лишний, и сам я — лишний!..

Как скучны были длинные зимние вечера! Когда подавались свечи, считалось, что я должен чем-нибудь заняться. Однако я не смел взяться за какую-нибудь интересную книгу, а корпел над чем-нибудь вроде головоломного учебника арифметики. Но, увы, все данные таблиц мер и весов, кружась в моей злополучной голове попеременно с разными народными мелодиями, ни за что не хотели в ней задерживаться и, входя в одно ухо, уходили в другое.

Как ни силился, я не мог удержаться от зевоты, порой начинал я и дремать, но тут же вздрагивал и просыпался. Я все время чувствовал, что я как бы пустое место и в то же время помеха для всех. Помню,

как ждал я девяти часов, когда мисс Мордстон с первым ударом их отправляла меня спать.

Так день за днем тянулись для меня каникулы, пока не наступило утро, когда мисс Мордетон наконец сказала:

— Ну, вот и вычеркнут последний день! — и с этими словами она подала мне последнюю на каникулах чашку чаю.

Я не жалел о том, что уезжаю. Находился я в состоянии какого-то оупения. По временам только я чувствовал облегчение, мечтая о свидании со Стрфортом, хотя он и рисовался мне на фоне мистера Крикля.

Снова появился у ворот мистер Баркис; снова мисс Мордстон, когда матушка, прощаясь, склонилась надо мной, проговорила предостерегающим тоном: «Клара!»

Я поцеловал матушку, поцеловал крошку-братца, и на душе у меня было очень тяжело. Но я горевал не о том, что уезжаю, а о том, что между мной и матушкой уже была пропасть, все углублявшаяся с каждым днем.

Матушка на прощанье поцеловала меня, но не этот поцелуй, хотя и очень горячий и нежный, живет в моем воспоминании, а то, что было за ним.

Я сидел уже в повозке, когда матушка окликнула меня. Выглянув, я увидел, что она одна стоит у садовой калитки и, высоко подняв братца, показывает мне его.

Погода была холодная, но безветренная. Ни единый волосок на ее голове, ни единая складка ее платья не шевелились, в то время как она, подняв кверху свое дитя, глядела на меня каким-то особенно пристальным взглядом.

Такой видел я ее в последний раз. Такой потом в школе снилась она мне. Молча стояла она возле моей постели и, высоко подняв своего крошку, пристально глядела на меня.

Глава IX

ВЕЧНО ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я пропускаю здесь все, что было со мной в школе, вплоть до дня моего рождения, в марте месяце.

Необыкновенно ясно помню я этот день. Как сейчас вдыхаю я туман, заволакивающий все окрестности, вижу сквозь него кругом белеющий иней, чувствую, как заиндевевшие мои волосы липнут к щекам. Передо мной вырисовываются неясные очертания классной комнаты, в которой то там, то сям вдруг затрещит свечка, тускло освещающая утренний полумрак. Вижу и, как из наших ртов, извиваясь, поднимаются клубы пара, а мы, мальчики, в это время дуем себе на пальцы и стучим об пол ногами, тщетно пытаюсь согреться.

Мы уже позавтракали и после перемены вернулись в класс. Вдруг вошел мистер Шарп и сказал:

— Давид Копперфильд, вас зовут к гостиную.

Я ожидал посылки от Пиготти и потому, услышав это приказание, просиял. Когда я быстро вскочил со своего места, некоторые соседние мальчики предусмотрительно напомнили мне, чтобы я не забыл о них, распределяя полученные гостинцы.

— Не торопитесь так, Давид, — промолвил мистер Шарп, — успеете, друг мой, не торопитесь.

Если бы мысли мои в эту минуту не были так заняты другим, я, пожалуй, обратил бы внимание на сочувствие, звучавшее в голосе учителя, но это припомнилось мне уже потом.

Я помчался в гостиную, где застал мистера Крикля за завтраком. Он сидел со своей неразлучной тростью и с газетой. Миссис Крикль сидела тут же, держа в руке распечатанное письмо. Никакой посылки не было видно.

— Давид Копперфильд, — обратилась ко мне миссис Крикль, усаживая меня на диван и сама садясь подле меня, — мне нужно об очень важном поговорить с вами. Я должна, дитя мое, что-то сообщить вам.

Мистер Крикль, на которого я, разумеется, не мог не смотреть, покачал головой и, не глядя на меня, заглушил вздох, запихнув в рот большой кусок поджаренного хлеба с маслом.

— Вы слишком молоды, Давид, — продолжала миссис Крикль, — чтобы ясно представить себе, какие перемены происходят на свете ежедневно и как беспрестанно исчезают люди. Однако всем нам приходится познакомиться с этим — одним в ранней юности, другим в старости, а некоторым в течение всей их жизни.

Я внимательно посмотрел на нее. Помолчав немного, миссис Крикль спросила:

— Скажите, когда вы уезжали после каникул, все ли у вас дома были здоровы?

И, помолчав, добавила:

— Мама ваша была здорова?

Я тут задрожал, хорошенько сам не понимая почему и, еще внимательнее глядя на нее, не пытался даже отвечать.

— Я спрашиваю об этом потому, — продолжала миссис Крикль, — что, к великому своему сожалению, сегодня утром узнала, что ваша мама очень больна.

Словно какая-то дымка опустилась между мной и миссис Крикль, и она на мгновение заколыхалась передо мной. Затем я почувствовал, как по моим щекам заструились жгучие слезы, и миссис Крикль перестала качаться.

— Ваша мама очень опасно больна, — прибавила она. Я понял все...

— Она умерла.

Но говорить мне это было уже излишне. У меня еще до этого вырвался вопль отчаяния, еще до этого почувствовал я, что один остался на свете...

Миссис Крикль была очень добра ко мне. Она целый день продержала меня у себя, по временам только оставляя одного. Я плакал до совершенного изнеможения, засыпал, пробуждался и снова плакал. Когда наконец я не в силах был более рыдать, я начал думать, и мне стало еще тяжелее, — безысходная, глухая, томительная тоска сдавила мне сердце.

Я должен был ехать домой на следующий день, но не дилижансом, а фургоном, который звался «фермером» и обслуживал

деревенских жителей, чаще всего на небольших расстояниях.

В этот вечер я уж не занимался повествованием, а Трэдльс усердно уговаривал меня взять его подушку. Не знаю, право, какое одолжение думал он мне этим сделать, ибо у меня была собственная подушка, но, верно, у бедняги ничего другого небыло, кроме этого, да еще листа бумаги, изрисованного скелетами, который он, желая утешить меня, подарил мне при расставании.

На другой день после обеда я покинул Салемскую школу. Далек я был от мысли, что оставляю ее навсегда. Наш фургон медленно тащился всю ночь, и мы добрались до Ярмута не раньше девяностидесяти часов утра. Я все смотрел кругом, не увижу ли мистера Баркиса, но его нигде не было. Вместо него к фургону подошел, тяжело дыша, толстенький веселый старичок, одетый во все черное, — в черных коротких панталонах, перевязанных у колен поношенными черными лентами, в черных чулках и в широкополой черной шляпе. Заглянув в окошечко, он спросил:

— Мистер Копперфильд?

— Да, сэр.

— Не угодно ли вам, молодой сэр, пойти со мной, — сказал он, отворяя дверцу фургона. — Я буду иметь удовольствие проводить вас к себе домой.

Недоумевая, кто бы мог быть этот старичок, я вложил свою руку в его, и он привел меня в лавку, помещавшуюся в узенькой улице. Над лавкой была такая вывеска: «Омер, торговец сукном, галантереей, портной, поставщик траура и т. д.». Это была тесная, душная лавка, набитая всяким товаром, материями и готовым платьем, а на окне было выставлено множество мужских фетровых шляп и дамских шляпок. Мы вошли в маленькую, находившуюся позади лавки комнату, где я увидел трех молодых женщин, сидевших за работой. Перед ними на столе лежала целая груда черных материй, обрезки которых устилали весь пол. В камине весело пылал огонь, а вся комната была пропитана удушливым запахом крепа: тогда я еще не знал его запаха — теперь знаю.

Три молодые девушки, усердно работавшие, повидимому, чувствовали себя прекрасно. При нашем появлении они на минуту подняли головы, чтобы взглянуть на меня, и сейчас же снова принялись за работу. Стиг... стиг... стиг... — шуршали их иголки, а

из другой мастерской, находившейся по ту сторону дворика, неслись частые равномерные удары молотка, которые сливались в какой-то своеобразный, без всяких вариаций мотив: рат-тат-тат... рат-тат-тат... рат-тат-тат...

— Ну что, Минни? — спросил старичок у одной из молодых женщин. — Как идет у вас работа?

— Не беспокойтесь, батюшка, — с веселым видом ответила Минни, не поднимая глаз от работы, — к сроку все будет готово.

Мистер Омер снял свою широкополую шляпу и сел, чтоб отдышаться, но он был так толст, что потребовалось немало времени, прежде чем ему удалось вымолвить:

— Ну, и прекрасно.

— Батюшка, — шутливо обратилась к нему дочь, — знаете, вы скоро станете настоящим тюленем или дельфином!

— Я и сам ума не приложу, почему я толстею так, — подумав немного, проговорил старичок. — Таков, значит, уродился.

— Да, быть может, потому, что вы такой покладистый человек: вы ведь ничего близко к сердцу не принимаете, — заметила Минни.

— А зачем, в сущности, и принимать все близко к сердцу? — проговорил мистер Омер.

— Разумеется, не нужно: нам всем здесь весело живется... ведь правда, батюшка?

— Правда, правда, моя милая, — согласился отец. — А теперь, — продолжал он, — я уже отдышался, и надо снять мерку с этого юного ученого. Не угодно ли вам, мистер Копперфильд, пожаловать в лавку?

Мы вошли с ним в лавку, причем он пропустил меня вперед, и здесь он показал мне кусок материи, по его словам, самого высшего качества, наиболее пригодной для траура по родителям. Затем он стал снимать с меня мерку и данные записывать в книгу.

Кончив с этим, старик повел меня обратно в комнату, где работали девушки, и здесь, отворив дверь, выходящую на очень крутую лестницу, крикнул кому-то:

— Подайте-ка сюда чаю и бутербродов!

То и другое вскоре появилось на подносе. Оказалось, что все это было предназначено для меня.

Видя, что я что-то плохо справляюсь с завтраком, — надо признаться, все эти черные материи совсем лишили меня аппетита, —

мистер Омер сказал:

— А ведь я вас, мой юный друг, давненько знаю, да, давненько...

— Неужели, сэр?

— Всю вашу жизнь, — пояснил мистер Омер. — Даже, можно сказать, до вашего рождения, ибо раньше вас я знал вашего батюшку. Он был ростом пяти футов и девяти с половиной дюймов, а теперь лежит в земле на площади в двадцать пять футов.

— Рат-тат-тат... рат-тат-тат... — доносилось с дворика.

— Да, он лежит там на площади в двадцать пять футов и, кажется, несколько дюймов. Такова его доля земли. Уж не помню теперь, сам ли он сделал такое, распоряжение, или в завещании было сказано, — с веселым видом продолжал Омер.

— А вы, сэр, не знаете, как здоровье моего маленького братца? — спросил я.

Мистер Омер покачал головой.

— Рат-тат-тат... рат-тат-тат... — продолжало нестись из мастерской.

— Он покоится в объятиях своей матери, — ответил мистер Омер.

— Бедненький малютка! Значит, и он умер?

— Не горюйте над тем, чего нельзя изменить, — сказал старик. — Да, малютка умер.

Известие это растравило еще больше мое горе, и я, бросив завтрак, к которому едва прикоснулся, побрел к столику, стоявшему в углу, и в отчаянии положил на него голову.

Вдруг стук молотка умолк, и красивый молодой человек вошел со двора в комнату. У него в руках был молоток, а рот полон маленьких гвоздиков. Прежде чем начать говорить, он принужден был вынуть их оттуда.

— Ну что, Джорам, как идут дела? — осведомился мистер Омер.

— Все в порядке, сэр: кончено.

Минни слегка покраснела, а две другие девушки, улыбаясь, переглянулись.

— Вот как! Значит, прошлую ночь, когда я был в клубе, вы работали при огне, не так ли? — прищурился один глаз, спросил мистер Омер.

— Да, — ответил Джорам. — Вы ведь сказали, что если работа будет кончена, мы предпримем маленькую экскурсию — Минни, я... и вы.

— А я-то думал, что вы предпочтете оставить меня дома, — проговорил мистер Омер, заливаясь смехом, доведшим его до кашля.

— А раз, сэр, вы были так добры, что это пообещали, я, понятно, уж из кожи лез, — добавил молодой человек. — Теперь же не угодно ли вам будет высказать свое мнение относительно этой работы?

— Хорошо, — сказал мистер Омер вставая; затем, повернувшись ко мне, спросил: — Не хотите ли, дорогой мой, посмотреть на...

— Нет, батюшка, не надо! — прервала его Минни.

— Я думал, моя милая, что ему будет приятно это, а впрочем, быть может, вы и правы, — согласился старый гробовщик.

Не знаю уж как, но я догадался, что они идут смотреть гроб моей дорогой, родной мамочки. Я ни разу в жизни не слышал, как сколачивают гроб, ни разу вообще не видел ни одного гроба, но, услышав здесь звук молотка, я решил, что делается именно мамин гроб, а когда вошел молодой человек, у меня мелькнула мысль, что это он работал над ним.

Между тем шитье тоже было окончено. Обе девушки, имена которых мне не пришлось услышать, встали, стряхнули с себя обрезки, нитки и пошли в лавку привести там все в порядок и ждать новых заказчиков. Минни осталась в мастерской, чтобы уложить законченную работу в две корзины. Делала она это, опустившись на колени и весело напевая. Джорам, бывший несомненно ее женихом, вошел в то время, как она была занята этой укладкой, и поцеловал ее. На меня, видимо, он не обращал ни малейшего внимания. Джорам сказал, что отец пошел за экипажем, а сам он должен поскорее приодеться. Он вышел, а Минни, положив в карман наперсток и ножницы, заколола себе осторожно в лиф иголку с черной ниткой и стала, надевая пальто и шляпку, прихорашиваться перед зеркалом. Мне было видно в зеркале ее радостное личико.

Все это наблюдал я, сидя у стола подперев голову руками, а в голове моей беспорядочно бродили всевозможные мысли.

Вскоре перед лавкой остановился экипаж. Сначала в него погрузили обе корзины, потом посадили меня, и, наконец, забрались туда и трое остальных. Помню, что это был экипаж, окрашенный в

темный цвет, напоминающий не то линейку, не то фургон для перевозки роялей; запряжен он был черными, с длинными хвостами, лошадьми. И места в этом рыдване имелось больше, чем надо было.

Кажется, никогда в жизни не испытывал я такого странного чувства, как во время этой поездки. Я знал, зачем эти трое едут, и в то же время видел, какое искреннее удовольствие доставляет им подобная поездка. Не то чтобы я сердился на них за это, — нет, я скорее испытывал чувство как бы страха, находясь с существами какой-то совершенно чуждой мне породы. Все они были в очень веселом настроении. Мистер Омер сидел спереди и правил, а молодые примостились за его спиной, и каждый раз, когда старик заговаривал с ними, они заискивающе наклонялись к его толстощекой физиономии. Непрочь были они поболтать и со мной, но я дичился их и сидел, забившись в свой угол, подавленный их веселостью и их заигрыванием друг с другом. Кажется, даже я чуть не дивился тому, что их не постигает кара за бессердечие.

Сделав привал, чтобы покормить лошадей, они ели, пили и веселились, но я не мог ни до чего дотронуться.

Когда мы подъезжали к дому, я поскорее соскочил с экипажа, чтобы не очутиться с этой компанией перед печально закрытыми окнами нашего дома; окна эти, словно глаза, когда-то радостно сиявшие, теперь казались ослепшими. Увидав окно матушкиной комнаты и то, которое в прежние, счастливые времена было в моей детской, я залился слезами...

Еще не дойдя до входной двери, я уже очутился в объятиях Пиготти, и она ввела меня в дом.

Увидев меня, она было разрыдалась, но скоро взяла себя в руки, начала говорить шопотом и ходить на цыпочках, как будто боясь беспокоить умершую. Я узнал, что Пиготти давно не ложилась в постель, — она просиживала целые ночи у тела матушки. «Пока мою ненаглядную не зароят в могилу, я не покину ее», сказала она мне.

Мистер Мордстон не обратил ни малейшего внимания на меня, когда я вошел в гостиную. Погруженный в свои думы, он тихо плакал в кресле у камина, а мисс Мордстон, сидевшая у своего письменного стола, заваленного письмами и бумагами, протянула мне кончики своих ледяных пальцев и суровым шопотом спросила, сняли ли с меня мерку для траурного костюма.

Я ответил: «Да».

— А сорочки ваши? — продолжала допрашивать мисс Мордстон. — Вы их привезли с собой?

— Да, мэм, я привез с собой все свои вещи.

И этим исчерпывались все утешения, которые она, при своей твердости, нашла для меня.

Не сомневаюсь, что она с особым удовольствием при данных обстоятельствах выставляла напоказ то, что она называла своим самообладанием, своей твердостью, своей силой воли, своим здравым смыслом... словом, весь дьявольский список своих далеко не приятных качеств. Особенно гордилась она своей деловитостью и теперь проявляла ее в течение всего дня, бесчувственно скрипя по бумаге пером и обращаясь ко всем шопотом, с ничем невозмутимым хладнокровием. При этом ни один мускул ее лица ни разу не дрогнул, голос ее ни на мгновение не смягчился, все в ее туалете было безупречно.

Брат ее иногда брал в руки книгу, но, насколько я мог заметить, не читал ее. Правда, он открывал и смотрел в нее, как бы читая, но часами не переворачивал страницы, а потом вдруг откладывал книгу в сторону и начинал ходить взад и вперед по комнате. А я тут же сидел, скрестив на груди руки, и целыми часами следил за ним, считая его шаги. Он очень редко говорил с сестрой, а со мной ни разу не проронил ни единого слова. Казалось, за исключением стенных часов, он был единственным движущимся предметом во всем замершем доме.

В эти дни, до похорон, я редко видел Пиготти; только поднимаясь и спускаясь по лестнице, встречал я ее близ комнаты, где лежала матушка со своим младенцем, да еще вечером, когда она приходила ко мне и сидела у моего изголовья, пока я не засну.

За день или два до похорон Пиготти привела меня в комнату матушки. Помню только, как мне показалось, что под ослепительно белым покрывалом кровати почивает сама торжественная тишина, царящая в доме. Когда Пиготти хочет осторожно приподнять покрывало, я кричу:

— О нет, нет, не надо! — и отдергиваю ее руку...

Похороны эти я помню так, как будто они были вчера. Вот я вхожу в парадную гостиную, и на меня пахнуло затхлым ее воздухом;

ярко пылает камин, искрится вино в графинах, на столе стоят стаканы и тарелки, доносится приятный запах сладкого пирога, и тут же ощущается неприятный запах наших траурных костюмов. Присутствующий здесь доктор Чиллип подходит ко мне.

— Как поживаете, мистер Давид? — ласково спрашивает он.

Я не могу сказать ему, что очень хорошо «поживаю», молча подаю ему руку, и он ее держит в своей.

— Боже мой! — восклицает мистер Чиллип, кротко улыбаясь, в то время как на глазах у него навертывается что-то блестящее. — Как быстро растут вокруг нас маленькие друзья! И не заметишь, как вырастут! Не правда ли, мэм?

Вопрос относится к мисс Мордстон, но она не удостоивает доктора ответом.

— А ведь вы очень похорошели, не так ли, мэм? — продолжает мистер Чиллип.

Мисс Мордстон, нахмутив брови, отвечает холодным кивком головы; сконфуженный мистер Чиллип удаляется в угол, уводя меня с собой, и больше не открывает рта.

Это я замечаю только потому, что вообще замечаю все, что происходит вокруг, а в сущности, со времени своего возвращения домой меня ничто не интересует.

Но вот раздается звон колокола. Появляется мистер Омер и еще кто-то с ним, и они делают последние приготовления к похоронам. Помнится, что Пиготти не раз рассказывала мне, как в этой самой парадной гостиной собирались приятели моего отца, чтобы проводить его до могилы на это же самое кладбище.

Теперь нас четверо: мистер Мордстон, наш сосед мистер Грейпер, мистер Чиллип и я. Когда мы выходим из дверей, носильщики с гробом стоят уже в саду. Впереди нас спускаются они вниз по дорожке, осененной вязами, выходят из ворот и идут по кладбищу, где я, бывало, так часто летним утром слушал пение птиц.

Мы стоим у открытой могилы. День мне кажется совсем не таким, как всегда, и свет не такой, а какой-то печальный. Кругом царит торжественная тишина; мы словно принесли ее с теми, кто покоится в отверстой могиле. Стоим мы с обнаженными головами, и я слышу голос священника; он так ясно звучит на открытом воздухе. Тут раздаются рыдания, и я, оглядываясь, вижу в стороне от толпы

любопытных ту чудесную, верную служанку, которую теперь я люблю больше всех на свете.

Но вот все кончено. Могила засыпана землей, и мы уходим с кладбища.

Передо мной наш дом. Он попрежнему красив. В нем ничего не изменилось, и он так неразрывно слит с тем, что я безвозвратно потерял, что прежнее мое горе ничто по сравнению с тем отчаянием, которое его вид вызывает во мне. И все-таки меня ведут в этот дом. Дорогой миссер Чиллип что-то говорит мне и, придя домой, подносит к моим губам стакан воды. Когда же я прошу его разрешить мне уйти в мою комнату, он прощается со мной с чисто женской нежностью.

Я знал, что Пиготти непременно придет ко мне, и она пришла. Села она подле меня на кровать, взяла мою руку и то целовала ее, то гладила, словно она ласкала и утешала не такого большого мальчика, как я, а моего крошечного братца.

Тут няня по-своему рассказала мне обо всем случившемся.

— Вашей маме давно уж нездоровилось, — начала Пиготти, — не была она спокойна душой, да и счастлива не была. Когда родилось у нее дитя, я сперва думала, что она поправится. Но нет, ей делалось все хуже, и силы ее падали с каждым днем. До рождения ребенка она, бывало, любила сидеть одна и часто плакала. Потом она всегда сидела с вашим братцем и пела ему так нежно, что однажды, когда я слушала ее, мне показалось, что это ангел поет... Чем дальше, тем она становилась все более робкой и пугливой, каждое резкое слово было для нее просто ударом. Но со мной она была прежняя. Ненаглядная моя, она никогда ничуть не изменялась к своей глупой Пиготти...

Здесь няня остановилась и нежно потрепала меня по руке.

— Последний раз, когда она была сама собой, это в тот вечер, когда вы, дорогой мой, приехали домой из школы. А в тот день, когда вы уехали, она сказала мне: «Знаете, Пиготти, никогда больше не увижу я моего любимого красавчика. Какой-то внутренний голос говорит мне это, и я знаю, что это будет так».

«Она пыталась и после этого крепиться и зачастую, когда они ей говорили, что она и легкомысленна и беспечна, она соглашалась с ними, но от легкомыслия и беспечности уже давно, конечно, ничего не осталось. Она никогда не говорила мужу того, что мне. Бедняжка боялась делиться этим с кем бы то ни было, кроме меня, и только под

конец, за какую-нибудь неделю до смерти, она сказала ему: «Дорогой мой, мне кажется, что я скоро умру».

«Теперь, Пиготти, у меня на душе стало легче, — объявила она мне, когда я в тот вечер укладывала ее в постель. — С каждым днем он, бедный, все больше и больше будет убеждаться в этом, а там все будет кончено. Я очень устала. Если это потому, что я хочу спать, посидите подле меня, пока я не усну. Не покидайте меня, Пиготти! Да благословит господь обоих моих детей. Да защитит и сохранит он моего мальчика, круглого сиротку».

«С тех пор я никогда не оставляла ее одну, — продолжала Пиготти. — Часто она разговаривала с теми, что сидят там, внизу, — она их любила: ведь она не могла не любить тех, кто ее окружал, но когда они отходили от ее постели, моя ненаглядная поворачивалась ко мне с таким лицом, словно ей спокойнее всего было со своей Пиготти, и никогда не засыпала она без меня. Поздно вечером в последний день она поцеловала меня и сказала:

«Пиготти, если мой малютка также умрет, пожалуйста, пусть они положат мне его на грудь и похоронят нас вместе (это и было исполнено, ибо бедный крошка пережил мать только на один день). Пусть мой любимый мальчик проводит нас обоих до могилы, — прибавила она, — и скажите ему, что его мама, лежа здесь, не раз, а тысячу раз благословила его».

Опять замолчала Пиготти, опять нежно потрепала меня по руке.

— Уже очень поздно ночью, — снова начала няня, — ваша мамочка попросила пить, и когда выпила, моя дорогая, тут она улыбнулась мне такой страдальческой, такой дивной улыбкой!

«Рассвело. Выходило солнце, и она стала мне рассказывать, как добр и внимателен был к ней мистер Копперфильд, как терпелив был он с ней, как подчас, когда она начинала сомневаться в себе, он говаривал ей, что любящее сердце гораздо ценнее какой угодно премудрости и что он очень счастлив с нею. «Пиготти, дорогая, — вдруг сказала она, — подвиньте меня поближе к себе (мамочка ваша была так слаба, что не могла уж сама двигаться), обнимите меня и наклонитесь ко мне: ваше лицо что-то отдаляется от меня, а я хочу быть поближе к вам».

«Я сделала так, как она хотела. И вот, Дэви, сбылось то, что я говорила когда-то: она рада была положить свою бедную головушку

на руки своей глупой, ворчливой Пигогги, и умерла она на них спокойно, как засыпает ребенок».

Этими словами Пигогги закончила свой рассказ. С того момента, когда я узнал о смерти матушки, я забыл о том, какая была она в последнее время. Я только представлял ее себе юной мамой моих младенческих годов, когда она завивала на пальчике свои кудри и плясала со мной в сумерках в гостиной... То, что рассказала мне Пигогги о ее последних днях, сделало как бы еще ярче этот образ. Быть может, это покажется странным, но это так... это мать, лежащая в могиле, — мать моего детства; маленькое существо в ее руках, ушедшее с ней в могилу, — это я, каким я был до сих пор, мое детство, кончившееся для меня.

Глава X

НА МЕНЯ НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ, А ЗАТЕМ ПРИСТРАИВАЮТ

На следующий день после похорон, едва успели открыть ставни на окнах и впустить в дом по-траурному затемненный дневной свет, как мисс Мордстон объявила Пиготти, что через месяц она получит расчет.

Как ни претило моей няне служить у Мордстонов, но ради меня, я уверен, она это место предпочла бы лучшему на свете. Няня объявила мне, что мы с нею должны расстаться, и сказала почему. Оба мы с ней всем сердцем горевали об этом.

Что касается меня лично и моей будущности, то об этом никто не заикался ни единым словом, никто не делал ни единого шага. Воображаю, как были бы они счастливы, если б могли меня спровадить так же, как Пиготти, дав месячный срок для приискания себе нового места!

Однажды я осмелился спросить мисс Мордстон, когда я поеду обратно в школу. На это она сухо ответила, что, повидимому, я вовсе не вернусь туда. Больше мне ничего не было сказано. С большим беспокойством ломал я себе голову над тем, что собираются делать со мной. Не менее интересовалась этим и Пиготти, но ни одному из нас не удалось проведать что-либо на этот счет.

В моем положении произошла одна приятная перемена, которая, вдумайся я в нее хорошенько, могла бы возбудить во мне серьезные опасения за будущее. Дело и том, что я не только не был обязан (как мне приказано было раньше) сидеть в скучнейшей гостиной, но несколько раз, когда я хотел там расположиться, мисс Мордстон, нахмутив брови, давала мне этим понять, что лучше отсюда убраться куда-нибудь подальше. Также не запрещалось мне больше бывать в обществе Пиготти. Меня совершенно оставили в покое. Сперва я был в непрерывной тревоге, как бы мистер Мордстон снова не надумал

заняться моим воспитанием или его сестрица не решила бы посвятить себя этому делу. Но вскоре я пришел к убеждению, что опасения эти неосновательны и единственно, чего я могу ждать, так это пренебрежения.

Однажды вечером, грея руки перед огнем в кухне, я задумчиво, тихо сказал Пиготти:

— Знаете, мистер Мордстон еще пуще прежнего не выносит меня. Правда, он и раньше недолго любил, а теперь рад был бы никогда не видеть меня.

— Быть может, тут его горе причиной, высказала свое предположение Пиготти, нежно глядя меня по полосам.

— А разве у меня нет горя, Пиготти?.. Знай я, что причиной здесь горе, я не придавал бы этому значения. Но это не то, Пиготти, нет, нет, не то.

— А почему вы думаете, что не то? — спросила, помолчав, Пиготти.

— Горе его — совсем другое дело, — отвечал я, — Вот он сейчас горюет, сидя с мисс Мордстон у камина, а только войди я туда — и, поверьте, кроме горя, он почувствует еще что-то.

— А что же? — спросила Пиготти.

— Да злость, — проговорил я, невольно подражая манере отчима хмурить брови. Будь это только горе, Пиготти, он так бы не смотрел на меня. Мое горе, кажется, делает меня даже добрее.

На это Пиготти ничего не сказала, и я тоже молчал, грея руки у огня.

— Дэви! — проговорила она наконец.

— Что, Пиготти? — спросил я.

— Видите ли, дорогой мой, я делала, кажется, все возможное и невозможное, чтобы подыскать себе какое-нибудь место в Блондерстоне, и все-таки, мой любимый, не удалось мне найти ничего подходящего.

— А что думаете вы делать, Пиготти? — спросил я, пристально глядя на нее. — Уж не собираетесь ли вы искать счастья в другом месте?

— Кажется, мне придется ехать в Ярмут и жить там, — ответила Пиготти.

— Вы могли бы уехать и дальше, и тогда совсем были бы для меня потерянной, а здесь все-таки я смогу вас иногда видеть, — ведь Ярмут не на краю света, правда, Пиготти? — проговорил я, и у меня отлегло немного от сердца.

— Слава богу, нет! Наоборот! — с большим воодушевлением воскликнула Пиготти. — Пока вы будете здесь, мое сокровище, я каждую неделю смогу приезжать с вами повидаться! Да уж раз в неделю обязательно!

Словно тяжелый камень тут свалился с моего сердца. Но и это было еще не все, так как Пиготти прибавила:

— Видите ли, Дэви, я сперва хочу поехать к брату погостить у него недельки две, чтобы осмотреться и опомниться. Вот мне и пришло в голову, что, раз вы им здесь не нужны, они, пожалуй, могли бы отпустить вас со мной.

В том состоянии, в каком я находился тогда, кажется, ничто не могло так порадовать меня, как это предложение. Мысль, что я снова буду среди этих милых, радушных людей, снова буду наслаждаться сладостной тишиной воскресного утра, слышать звон колоколов, шум катящихся в море камушков, видеть выходящие из тумана, похожие на призраки корабли, снова буду бродить с маленькой Эмми по берегу, рассказывать ей о своих горестях и находить утешение в собирании с ней ракушек и камушков, — мысль эта была бальзамом для моего измученного сердца. Но сейчас же радость эта была отравлена боязнью, что мисс Мордстон не согласится на мою поездку. Но и это беспокойство не замедлило рассеяться: вскоре для своей обычной проверки кладовой появилась мисс Мордстон, и Пиготти, удивив меня своей смелостью, немедленно подняла вопрос о моей поездке.

— Мальчик будет там бездельничать, — заметила мисс Мордстон, заглядывая в банку с пикулями, — а праздность есть мать всех пороков. Впрочем, мне кажется, он и здесь и всюду будет все равно бить баклуши.

Я видел, что у Пиготти вертится на языке резкий ответ, но она ради меня сдержалась и промолчала.

— Гм!.. — протянула мисс Мордстон, все рассматривая пикули. — Важнее всего остального и, можно сказать, самое плавное — это избавить моего брата от беспокойства и раздражения, и я думаю, придется-таки согласиться на эту поездку.

Я поблагодарил мисс Мордстон, не выказав при этом своей радости, опасаясь, что, заметив ее, она, пожалуй, сможет взять обратно данное разрешение. Но все обошлось благополучно, и, когда месяц кончился, мы с Пиготти были готовы пуститься в путь-дорогу.

Мистер Баркис пришел за вещами Пиготти в самый дом, а ведь раньше он никогда не переступал порога садовой калитки. Взвалив себе на плечи ее самый большой сундучок, он повернулся и посмотрел на меня выразительно, если только вообще можно сказать, что лицо мистера Баркиса могло когда-либо быть выразительным.

Понятно, Пиготти была в подавленном состоянии, покидая дом, который в течение стольких лет был ей, как родной, и где зародились две сильнейшие в ее жизни привязанности — к моей матушке и ко мне. Рано утром она сходила на кладбище, а теперь, взобравшись на повозку, все держала у глаз носовой платок.

Пока няня была в таком убитом состоянии, мистер Баркис не подавал никаких признаков жизни. Он сидел на своем обычном месте в своей обычной позе, напоминая большое, набитое соломой чучело. Но когда Пиготти стала озиаться кругом и заговорила со мной, он начал кивать головой и усмехаться, причем не совсем было понятно, кому он кивает и чему усмехается.

— Какой чудесный день, мистер Баркис! — из вежливости обратился я к нему.

— Неплохой, — отозвался мистер Баркис, всегда очень сдержанный в своих выражениях и редко позволявший себе что-либо смело утверждать.

— Теперь уж Пиготти чувствует себя совсем хорошо, — заметил я, желая доставить ему удовольствие.

— В самом деле? — проговорил мистер Баркис и, подумав немного, пристально глядя на Пиготти, спросил: — И вправду хорошо?

Пиготти засмеялась и ответила утвердительно.

— Нет, скажите, и вправду вам хорошо здесь? — нежно пробормотал мистер Баркис, ближе придвигаясь к ней и подталкивая ее локтем. — Вы, значит, не шутите? В самом деле, вам удобно? А? — продолжал он допрашивать.

При каждом вопросе он все ближе придвигался к ней и подталкивал локтем, так что в конце концов мы все сбились в кучу в

углу повозки, и меня притиснули до того, что я едва не задохнулся.

Когда Пиготти обратила внимание Баркиса на мое критическое положение, он понемногу стал отодвигаться на свое место. Повидимому, он был убежден, что напал на прекрасный способ объясняться легко, приятно, остроумно, в то же время не утруждая себя разговором, и довольно ухмылялся, очевидно радуясь своей изобретательности.

Вскоре мистер Баркис снова обратился к Пиготти с теми же вопросами и снова стал наваливаться на нас, так что я опять подвергся опасности быть задушенным.

Так как и в дальнейшем он не раз пускал в ход изобретенный им способ, то я каждый раз вылезал из повозки и, став на подножку, делал вид, что люблюсь окрестностями.

Почтенный извозчик в своей любезности дошел до того, что специально для нас остановился возле трактира и угостил нас жареной бараниной и пивом. Причем, когда Пиготти пила пиво, он опять вздумал ее подтолкнуть, так что та едва не захлебнулась.

По мере того как мы приближались к Ярмуту, дорога становилась все хуже; из-за этого мистеру Баркису приходилось внимательно относиться к своим обязанностям, и для ухаживания оставалось меньше времени.

Мистер Пиготти и Хэм ожидали нас у знакомого мне постоянного двора. Они встретили нас с Пиготти самым радушным образом. Мистеру Баркису они пожали руку, а тот, со шляпой на затылке, по моему, имел очень смущенный вид, даже ноги его дрожали. Мистер Пиготти с Хэмом взяли каждый по сундучку, и мы собрались было уже уходить, когда мистер Баркис с таинственным видом поманил меня к себе указательным пальцем.

— А все ведь вышло хорошо, — тихо прогудел он.

Я посмотрел на него и глубокомысленно произнес:

— О, конечно!

— Тогда, значит, это не вышло, — сказал он, конфиденциально кивая мне головой, — а теперь все хорошо.

Я опять произнес:

— О, конечно!

— Вы ведь знаете, кто был согласен? — допрашивал мой приятель. — Баркис был согласен, именно Баркис...

Я утвердительно кивнул головой.

— Все прекрасно, — продолжал Баркис, пожимая мне руку, — я друг ваш. Это вы хорошо начали, а теперь все хорошо.

Делая усилия выразаться как можно яснее, мистер Баркис был, однако, совершенно непонятен, и я мог бы, пожалуй, еще простоять с добрый час, глядя на его физиономию с таким же успехом, как на циферблат остановившихся часов, если б наконец Пиготти не позвала меня.

Она спросила, что говорил мне Баркис, и я сказал ей, что, по его мнению, «все идет прекрасно».

— Какая наглость! — воскликнула Пиготти. — Да, впрочем, это неважно. А что сказали бы вы, Дэви, дорогой мой, если бы я вздумала выйти замуж?

— Вы ведь тогда не стали бы меньше любить меня, правда? — спросил я после минутного раздумья.

Тут, к великому удивлению прохожих на улице и ее родичей, шедших впереди нас, милейшая женщина не смогла удержаться, чтобы, остановившись, не обнять и не расцеловать меня, уверяя в своей неизменной любви ко мне.

— Ну, что сказали бы вы на это, дорогой мой? — повторила свой вопрос Пиготти, когда мы, после поцелуев, снова пустились в путь.

— Если бы вы вздумали выйти замуж за мистера Баркиса?

— Да, — отрезала Пиготти.

— Мне кажется, это было бы чудесно. Подумайте только, Пиготти, у вас тогда была бы своя повозка, своя лошадь, и вы смогли бы, когда только захотите, бесплатно приехать ко мне.

— Умница какой! — воскликнула Пиготти. — Ведь я сама думала об этом весь этот месяц. Верно, мое сокровище! Видите ли, я стану тогда вольным человеком: работать в своем доме гораздо лучше, чем у чужих; да, признаться, я и не знаю, как теперь смогла бы я служить у чужих людей. А к тому же, я буду жить по соседству с могилой моей ненаглядной, — прибавила задумчиво Пиготти, — и всегда, когда захочу, смогу пойти туда. Когда же умру, меня положат неподалеку от моей любимой девочки...

Мы некоторое время шли молча.

— Но, конечно, я и не подумала бы выйти замуж, если б мой Дэви хотя немного был против этого, — веселым тоном снова

заговорила Пиготти, — пусть тут хоть трижды было бы сделано в церкви оглашение и носи я даже в своем кармане обручальное кольцо.

— Ну, посмотрите же на меня, Пиготти, и вы увидите, как я действительно рад, как искренне хочу этого!

И в самом деле, я всем сердцем радовался нянинному замужеству.

— Видите ли, светик мой, — продолжала Пиготти, прижимая меня к себе, — и я это обсуждала денно и ночью со всех сторон, и мне кажется, что так и нужно сделать. Но я еще об этом подумаю и поговорю с братом, а пока, Дэви, мы с вами это будем держать в секрете. Баркис простой, хороший человек, и если я не стану выполнять мой долг относительно него, то сама буду виновата, если... если мне не будет с ним «довольно удобно», — закончила Пиготти, заливаясь веселым смехом.

То, что она тут привела выражение Баркиса «довольно удобно», было так кстати и так рассмешило нас обоих, что мы не переставали хохотать всю остальную часть дороги и были в прекраснейшем настроении, когда наконец увидели перед собой жилище мистера Пиготти. Оно выглядело так же, только почему-то показалось мне меньше. Миссис Гуммидж поджидала нас у дверей, словно она простояла там все время с нашего отъезда. Внутри домика все осталось попрежнему, даже в моей комнатке стояла та же синяя кружка с букетом водяных растений. Заглянул я в чуланчик, и там как будто прежние омары, крабы и раки были одержимы той же жаждой щипать всех на свете. Цепляясь друг за друга, они в прежнем углу образовали такую же, как и раньше, движущуюся кучу.

Не видно только было маленькой Эмми, и я спросил мистера Пиготти, где она.

— Эмми в школе, сэр, — ответил он, утирая пот, выступивший на лбу: неся тяжелый сундучок сестры, он порядком-таки разгорячился. — Вернется школьница, — он взглянул при этом на голландские часы, — минут через двадцать, во всяком случае не позже, чем через полчаса. Мы все очень чувствуем отсутствие нашей славной девчурки. Господь да благословит ее!

Миссис Гуммидж застонала.

— Не унывайте, матушка! — крикнул мистер Пиготти.

— А я чувствую ее отсутствие больше, чем кто-либо другой, — стонущим голосом проговорила миссис Гуммидж. — Ведь я

горемычная, одинокая на свете женщина... Она же одна ничего не делает мне наперекор...

Охая и качая головой, старушка принялась раздувать огонь. Мистер Пиготти, окинув нас всех взглядом, промолвил тихонько, прикрывая рот рукой:

— Всё о старике...

Из этого я вывел заключение, что за мое отсутствие в настроении миссис Гуммидж улучшения не произошло.

Однако это место было или должно было бы быть по-прежнему самым чудесным местом. Но... здесь чего-то нахватало, я даже был несколько разочарован. Быть может, это объяснялось тем, что не было дома маленькой Эмми. Я спросил, по какой дороге она должна была возвращаться, и через минуту уже шел ей навстречу.

Вскоре я заметил приближающуюся ко мне фигурку, в которой сейчас же узнал Эмми. Она хотя и выросла, но все еще была невелика. Когда она подошла ближе, я увидел, что ее синие глазки стали еще синее, ее кругленькое с ямочками личико еще более сияет, что вообще она вся похорошела и выглядит еще веселей, и тут странное желание вдруг пробудилось во мне: захотелось сделать вид, что я ее не знаю, и смотря вдаль, пройти мимо нее. Если не ошибаюсь, я это самое не раз проделывал в жизни и потом.

Эмми это несколько не смутило. Она прекрасно узнала меня, но вместо того, чтобы повернуться и окликнуть, со смехом бросилась бежать. Это заставило меня побежать за ней, но она неслась так быстро, что я догнал ее почти у самого дома.

— Так это в самом деле вы? — сказала шалунья.

— Да вы, Эмми, прекрасно знали, что это я.

— А вы? Разве и вправду вы не узнали меня? — отозвалась девчурка.

Я тут хотел было ее поцеловать, но она прикрыла рукой свои губки-вишенки и, заявив мне, что она уже не ребенок, умчалась домой, хохоча еще громче.

Казалось, ей доставляло удовольствие дразнить меня, и эта новая ее манера очень меня удивила.

Чай был готов, и наш ящик стоял на прежнем месте, но вместо того, чтобы сесть рядом со мной, Эмми примостилась подле ворчливой миссис Гуммидж. А когда мистер Пиготти спросил ее,

почему она это делает, девчурка закрыла себе лицо волосами и, ничего не ответив, стала хохотать.

— Настоящий котенок! — проговорил мистер Пиготти, слегка похлопывая ее своей ручищей.

— Да, да! — подтвердил Хэм. — Ведь правда, мистер Дэви, Эмми у нас настоящий котенок? — и он некоторое время все ухмылялся, глядя на девочку с таким восхищением, что физиономия его стала огненно-красной.

Действительно, маленькую Эмми баловали все в доме, но больше всех сам мистер Пиготти. С ним она могла делать все, что хотела, стоило ей только подойти к нему и прижаться своей розовой щечкой к его щетинистым бакенбардам. По крайней мере так думал я, видя, как она это делает, и я совершенно понимал мистера Пиготти. Эмми была так нежна и мила, одновременно так забавно лукава и застенчива, что очаровала меня еще больше прежнего.

А сердечко у Эмми было очень сострадательное. Когда, после чая, мы сидели у камина, и мистер Пиготти, покуривая трубку, коснулся моей потери, на глазах у Эмми заблестели слезы, и она посмотрела на меня с таким сочувствием, что сердце мое переполнилось благодарностью.

— Видите ли, сэр, она ведь тоже сиротка, — заметил мистер Пиготти, лаская кудри племянницы и пропуская их между пальцами, словно воду. А затем, хлопнув наотмашь по груди Хэма, прибавил: — Вот и еще сирота, хотя сиротой-то он уж никак не выпядит.

— Если б моим опекуном были вы, мистер Пиготти, — сказал я, кивая головой, — я, пожалуй, тоже не чувствовал бы себя сиротой.

— Хорошо сказано, мистер Дэви! Ура! Хорошо сказано! Лучше не скажешь! — восторженно воскликнул Хэм, в свою очередь стукнув наотмашь мистера Пиготти в грудь.

Тут маленькая Эмми встала и поцеловала своего баловника-дядюшку.

— Как поживает ваш друг, сэр? — осведомился у меня мистер Пиготти.

— Стирфорт? — спросил я.

— Да. Вот как его зовут! Говорил я вам, Хэм, что его фамилия будто в этом роде. Ну, сэр, так как же он поживает?

— Когда я уезжал из школы, он был вполне здоров, мистер Пиготти.

— Вот это так друг! — воскликнул мистер Пиготти, потряхивая трубкой. — Это, можно сказать, из друзей друг! Клянусь богом, сердце радуется, на него глядя!

— А правда, ведь он красавец? — спросил я, в восторге от его похвал.

— Мало сказать, красавец! Когда он стоит перед вами, как... да нет, тут просто слов не найдешь. Какой молодец!

— Да, да! Он именно молодец! — воскликнул я. — Он храбр, как лев! А если бы вы знали, мистер Пиготти, какой он искренний, прямой!

— К тому же, мне думается, — продолжал мистер Пиготти, глядя на меня сквозь клубы дыма от своей трубки, — что и в книжном учении он всякого за пояс заткнет.

— Конечно! — согласился я, в полном восхищении. — Он все знает, поразительно способен...

— Вот это так друг! — тихо еще раз повторил мистер Пиготти, многозначительно покачивая головой.

— Все ему нипочем, — с воодушевлением рассказывал я. — Стоит заглянуть ему в книгу — и урок уже готов! А посмотрели бы вы, как он в крокет играет! В шашки! Он даст вам вперед, сколько хотите, и всегда вас обыграет!

Тут мистер Пиготти опять кивнул головой, словно говоря этим: «Да, конечно, обыграет».

— А как он красноречив! — продолжал я, захлебываясь. — Каждого может он убедить в чем угодно. Но что сказали бы вы, мистер Пиготти, услышав, как он поет!

Мистер Пиготти еще раз кивнул головой.

— Потом, он такой великодушный, деликатный, благородный! — не унимался я, сев на своего любимого конька. — Просто нет слов для похвал! И, знаете, я чувствую, что никогда не смогу отблагодарить его за то великодушное покровительство, которое оказал он мне, мальчику настолько моложе и ниже его.

Я продолжал, захлебываясь, расхваливать своего друга, как вдруг глаза мои остановились на маленькой Эмми. Нагнувшись над столом, она слушала меня, затаив дыхание; ее синие глазки сверкали, как

бриллианты, а румянец пылал на щечках. Она была до того увлечена моим рассказом и такая была хорошенькая, что я, пораженный, замолчал. Повидимому, и другие обратили внимание на Эмми, ибо, когда я, в восхищении, умолк, все расхохотались и посмотрели на нее.

— Эмми, как и мне, хотелось бы повидать вашего друга, — заметила Пиготти.

Видя, что на нее все смотрят, Эмми смутилась, опустила головку и еще больше покраснела.

Поглядев на нас сквозь кудри, упавшие ей на личико, и заметив, что мы продолжаем наблюдать за ней (я-то готов был не отрывать от нее глаз целыми часами), девчурка вскочила и убежала.

Вернулась она уже незадолго до того, как надо было ложиться спать.

Меня попрежнему поместили на маленькой кроватке в кормовой каюте и попрежнему вокруг по побережью завывал ветер. Но теперь мне чудилось, что он оплакивает тех, кого уж нет... И, вместо того чтобы, как бывало, бояться, как бы морской прилив не унес ночью нашу баржу, я думал об огромном горе, которое, после того как я в последний раз прислушивался к этому завыванию ветра, нахлынуло и затопило мой родной, счастливый дом...

Но вот ветер и прибой волн все слабее и слабее доносятся до меня, и я сладко засыпаю, моля бога о том, чтобы, выросши, жениться на маленькой Эмми...

В общем, день за днем проходит попрежнему, с тою только разницей, — для меня огромной, — что теперь мы с Эмми редко можем бродить по берегу: то ей надо учить уроки, то заниматься шитьем, а большую часть дня ее и совсем не бывает дома. Но я чувствую, что даже не будь она так занята, мы все равно не смогли бы, как бывало, бродить по берегу. Несмотря на свою резвость и детские причуды, маленькая Эмми стала гораздо более взрослой, чем я ожидал. За какой-нибудь год с лишним она очень опередила меня. Правда, Эмми как будто и хорошо относится ко мне, но в то же время не перестает насмехаться надо мной и даже мучить. Бывало, пойду я навстречу ей, а она нарочно вернется домой другой дорогой и, стоя у дверей, при виде моего разочарования заливается смехом. Больше всего любил я, когда она сидит на крыльце за шитьем, а я, примостившись на ступеньке у ее ног, что-нибудь читаю ей.

Мне и теперь еще кажется, что никогда уж потом в жизни не наслаждался я таким бесподобным закатом солнца, как в те чудесные апрельские вечера; никогда уж больше не встречал я такого сияющего, лучезарного существа, как то, что сидело тогда на пороге старой баржи; никогда больше не видывал я такого дивного неба, такого безбрежного моря, таких великолепных кораблей, на всех парусах несущихся в золотистую даль...

Вечером в день нашего приезда появился мистер Баркис. Вид у него был очень смущенный, а лицо совершенно бессмысленное; в руках держал он апельсины, завязанные в носовой платок. Уходя, он не заикнулся о том, кому они предназначаются, а потому мы все решили, что он просто забыл у нас свой узелок. Хэм с апельсинами побежал догонять его, но вскоре вернулся с ними и объявил, что они оставлены были для моей Пиготти. После этого Баркис аккуратно являлся каждый вечер, всегда в одно и то же время и всегда с узелком, о котором он никогда не упоминал и всегда оставлял в уголке, за дверь. Эти знаки внимания были очень разнообразны и оригинальны; помнится, фигурировали тут и свиные ножки, и огромная подушка для булавок, чуть не полмеры яблок, пара серег из черного янтаря, испанский лук, ящичек с домино, канарейка в клетке, целый окорок ветчины...

Вообще ухаживания мистера Баркиса носили совершенно своеобразный характер. Редко, бывало, промолвит он слово, большей же частью сидит все у камина, приблизительно в такой же позе, как сиживал и на своих козлах и, уставившись, смотрит на работающую против него Пиготти. Однажды вечером, повидимому пылая любовью, он схватил кусочек воска, которым Пиготти вощила свою нитку, положил его в жилетный карман и унес с собой. Потом ему всегда доставляло огромное удовольствие вытаскивать из кармана липкий кусочек полурастаявшего воска, подавать его Пиготти, а затем, когда та навощет нитку, снова, прятать его в карман. Казалось, он был в восторге от такого способа ухаживания, при котором всякие разговоры были излишни. Изредка гуляя с Пиготти по берегу, он далее здесь не находил нужным вести беседу, а ограничивался тем, что время от времени справлялся у своей спутницы, «довольно ли удобно» чувствует она себя. Помню, что иногда после его ухода Пиготти, закрыв лицо передником, по полчаса заливалась смехом.

Да вообще и всех нас более или менее забавляло это сватовство, за исключением бедной миссис Гуммидж, которой, по-видимому, оно напоминало давно прошедшее аналогичное ухаживание ее «старика».

Уже скоро должен был я уезжать, когда вдруг было объявлено, что мистер Баркис и Пиготти собираются предпринять увеселительную прогулку, в которой и мы с Эмми примем участие. Тревожно спал я перед этим, взволнованный предстоящим удовольствием провести с Эмми целый день. Все мы в это утро встали очень рано и, когда еще сидели за завтраком, увидели издали мистера Баркиса на козлах небольшой колымаги.

На Пиготти, как всегда, было чистенькое скромное траурное платье; Баркис же в своем новом синем сюртуке был великолепен. Видимо, портной не поскупился: обшлага на этом сюртуке отличались такой длиной, что перчатки в самую холодную погоду являлись излишними, воротник был так высок, что поднимал волосы почтенного извозчика до самой макушки, блестящие пуговицы поражали своей величиной. Костюм дополняли бархатный, цвета темной замши жилет и светло-коричневые панталоны. Мистер Баркис, облаченный по все это, казался мне образцом респектабельности.

Когда все мы столпились у крыльца, я заметил, что мистер Пиготти запасся старым башмаком, который надлежало на счастье бросить нам вслед. Выполнение этого обычая мистер Пиготти хотел поручить миссис Гуммидж.

— Нет, Дэниэль! Пусть кто-нибудь другой возьмет это на себя, — ноющим голосом сказала миссис Гуммидж. — Я одинокая, горемычная женщина, и все, напоминающее мне о том, что другим живется не так тяжело, как мне, еще хуже меня расстраивает.

— Полноте, старина! — закричал мистер Пиготти. — Нате, бросайте!

— Нет, нет, Дэниэль, — охая и покачивая головой, проговорила миссис Гуммидж, — я слишком остро чувствую свое положение. Вы — другое дело, Дэниэль, — вам ничего не делается наперекор, и потому лучше вы сами кидайте этот башмак.

Но тут Пиготти, которая, поспешно перецеловав всех, уже взгромозилась на колымагу (где мы сидели с Эмми на двух маленьких стульях), крикнула, что бросить башмак должна именно миссис Гуммидж. И она сделала то, что от нее требовали; но, к

сожалению, я не могу умолчать о том, что при этом миссис Гуммидж не преминула омрачить наше праздничное настроение: заливаясь слезами, она бросилась в объятия Хэма, вопя, что ей давно известно, каким бременем является она для всех, и что было бы всего лучше немедленно отправить ее в богадельню. Я, по правде сказать, нашел мысль эту очень основательной и полагал, что Хэму следовало бы привести ее в исполнение.

Как бы то ни было, мы отправились в нашу увеселительную экскурсию. Первую остановку мы сделали у церкви. Мистер Баркис, привязав лошадь к ограде, вошел с Пиготти в церковь, а нас они оставили в колыхаге. Я воспользовался этим, чтобы, обняв Эмми за талию, предложить ей, ввиду моего скорого отъезда, быть весь день сегодня как можно ласковее друг с другом и провести его как можно радостнее. Она согласилась на это и позволила даже себя поцеловать, а я, помнится, тут пришел в полнейший экстаз, стал уверять ее, что никогда не полюблю никого и готов пролить кровь каждого, кто только осмелится добиваться ее любви.

Как весело потешалась маленькая Эмми над всеми этими уверениями! С каким видом превосходства эта крошечная волшебница объявила мне, что я «глупый мальчик», а вслед за тем она так обворожительно рассмеялась, что, любуясь ею, я совсем позабыл об оскорблении.

Мистер Баркис и Пиготти, пробыв в церкви довольно долго, наконец вышли оттуда, и мы поехали дальше. Дорогой мистер Баркис повернулся ко мне и сказал, подмигивая (признаться, я не ожидал, что он способен подмигивать):

— А помните, какое имя написал я внутри повозки?

— Клара Пиготти, — ответил я.

— А какое имя смог бы я там написать теперь?

— Клара Пиготти, — ответил я.

— Клара Пиготти-Баркис! — объявил он, заливаясь хохотом, от которого затряслась вся его колыхага.

Словом, оказалось, что они обвенчались, — за этим они и заходили в церковь. Пиготти хотела, чтобы все произошло как можно тише, и потому на бракосочетании, кроме причетника, явившегося свидетелем, никто не присутствовал. Моя Пиготти несколько сконфузилась, когда мистер Баркис так внезапно объявил о их браке, и

начала меня крепко обнимать, как бы показывая этим, что любовь ее ко мне неизменна. Однако вскоре она стала сама собой и, судя по ее словам, была очень рада, что все теперь уже кончено.

Мы свернули на проселочную дорогу и подъехали к маленькому трактиру, где нас ждали. Мы здесь превосходно пообедали и прекрасно провели время. Если б Пиготти в течение последних десяти лет ежедневно выходила замуж, то и тогда не могла бы она держать себя более непринужденно. Она была совершенно такую же, как всегда. Так, перед чаем пошла она прогуляться со мной и Эмми, в то время как мистер Баркис философски покуривал свою трубку и, думаю, наслаждался созерцанием своего счастья. Повидимому, созерцание это возбудило у него аппетит, ибо, несмотря на то, что за обедом он съел большое количество свинины с овощами и едва ли не пару жареных цыплят, когда мы вернулись к чаю, он потребовал еще вареной холодной ветчины и преспокойно стал уписывать ее за обе щеки.

Вскоре после того, как стемнело, мы снова взобрались на нашу колымагу и, уютно усевшись, пустились в обратный путь, глядя на звезды и беседуя о них. Разумеется, главным руководителем в этих астрономических беседах был я и, надо признаться, в значительной степени просветил тут мистера Баркиса. Я выложил ему все свои познания, но, вздумай я ему рассказать какие угодно небылицы, не сомневаюсь, что он всему бы поверил, до того он был высокого мнения о моей учености. Он даже заявил своей жене, что я настоящее чудо — вундеркинд.

Когда тема о звездах истощилась, или вернее сказать, истощились умственные силы мистера Баркиса, мы с Эмми завернулись в старый плед и так просидели до конца нашего путешествия. Ах, как я любил ее!

Было уже довольно поздно, когда мы подъехали к старой барже. Мистер и миссис Баркис здесь попрощались с нами и спокойно поехали к себе домой. Тут только я впервые почувствовал, что потерял мою Пиготти. Не находишь я под одной кровлей с маленькой Эмми, конечно, у меня было бы очень тяжело на душе.

И мистер Пиготти и Хэм как нельзя лучше понимали, что должен был я переживать, и изо всех сил старались вкусным ужином и своим радушием развлечь меня. Эмми подошла ко мне и впервые за все мое

теперешнее пребывание села рядом со мной на ящике. Это явилось самым дивным заключением дивного дня.

Был ночной прилив, и вскоре после того, как мы легли в постель, мистер Пиготти и Хэм отправились на рыбную ловлю. Мысль, что в уединенном домике я единственный защитник Эмми и миссис Гуммидж, делала меня очень отважным. Помню, как жаждал я, чтобы на нас набросился лев или змей, или какое-либо другое злобное чудовище, дабы я смог поразить его и покрыть себя славой! Но так как ни одно из подобных чудовищ не бродило по ярмутскому побережью, то мне пришлось всю ночь довольствоваться только снами о драконах.

Утром появилась Пиготти. Она так же, как всегда это делала, окликнула меня в окошко. Можно было подумать, что извозчик Баркис был таким же сном, как и драконы. После завтрака она увела меня к себе, в свой собственный прекрасный домик. Из всей его мебели наибольшее впечатление на меня произвела старинная конторка из какого-то темного дерева, стоящая в гостиной. (Надо сказать, что гостиной этой пользовались в исключительных случаях, а обыкновенно проводили время на кухне с изразцовым полом). Крышка у заинтересовавшей меня конторки откидывалась, и получался письменный стол.

Этим утром, уходя от мистера Пиготти, я распрощался с ним, с Хэмом, с миссис Гуммидж и с маленькой Эмми. Целый день провел я у Пиготти и потом остался у нее ночевать. Уложила она меня в маленькой комнатке в мезонине. У изголовья кровати на полочке лежала книга о крокодилах. Помню, как здесь Пиготти сказала мне:

— Пока я жива и кров этот будет моим, вы, дорогой мой Дэви, всегда найдете эту комнатку в таком виде, словно я жду вас каждую минуту. Ежедневно я буду убирать ее, как бывало убирала вашу детскую, сокровище мое. И поезжайте вы хоть в Китай, это будет делаться все так же.

Всем сердцем чувствовал я, как искренне и верно любит меня моя старая няня. Я старался изо всех сил выразить ей свою благодарность, но особенно красноречивым я не мог быть, ибо Пиготти говорила все это, крепко-крепко обнимая и прижимая меня к себе; к тому же, в это самое утро мне надо было уезжать домой. И в это утро моя дорогая няня с мужем отвезли меня в повозке в Блондерстон. У ворот нашего дома они простились со мной, и

простились, видимо, с тяжелым сердцем. С каким ужасом смотрел я на эту отъезжавшую повозку! Она увозила с собой мою Пиготти и бросала меня одного под вязами, перед домом, откуда уж никто больше не выпянет ко мне не только с любовью, но даже с ласковой улыбкой...

По возвращении моем домой Мордстоны совершенно перестали обращать на меня внимание. Я был до того заброшен, что и сейчас не могу думать об этом без содрогания. То было полное одиночество, без дружеского участия, без товарищей моих лет, без всякого общества. По целым дням я был предоставлен своим унылым, безрадостным думам; кажется, даже и теперь, когда я пишу это, те думы отбрасывают на бумагу какую-то мрачную тень...

Помнится, в то время я отдал бы все на свете, лишь бы меня отослали в самую строгую из всех когда-либо существовавших школ! Лишь бы стали меня учить чему бы то ни было, как бы то ни было и где бы то ни было! Но на это, повидимому, не было никакой надежды. Мордстоны ненавидели меня и злобно, сурово и упорно пренебрегали мною. Повидимому, денежные дела мистера Мордстона в этот период были неважны, но не это играло тут роль. Он просто не переваривал меня и, отстраняя меня от себя, по всей вероятности, хотел избавиться от неприятной мысли, что у него существуют какие-то обязательства относительно меня, и это, должно быть, ему удавалось.

В сущности, физически меня не мучили — не били и не морили голодом, но я испытывал постоянную нравственную пытку. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем на меня абсолютно никто не обращал ни малейшего внимания. Я и теперь иногда с недоумением спрашиваю себя, что стали бы делать они, если бы в то время я вдруг заболел. Предоставили бы они мне лежать попрежнему одному в своей комнате или предприняли бы что-нибудь?

Когда мистер и мисс Мордстон бывали дома, я ел за их столом, а в их отсутствие — в одиночестве. Я мог, когда мне заблагорассудится, слоняться вокруг дома и по окрестностям. Против этого братец и сестрица ничего не имели; они запрещали только мне с кем-либо заводить знакомства, боясь, вероятно, что я стану жаловаться. Поэтому, хотя доктор Чиллип и часто звал меня к себе, мне редко удавалось провести вечерок в его кабинете при больнице. С каким наслаждением я набрасывался там на неизвестные мне книги, от

которых несло лекарствами, или толчок в ступке под наблюдением добряка-доктора какие-нибудь снадобья!

Вероятно, по тем же самым причинам, к которым еще присоединялась давнишняя неприязнь к Пиготти, мне редко позволяли бывать у моей бывшей няни. Верная своему обещанию, она раз в неделю приезжала ко мне, и всегда с каким-нибудь гостинцем. Виделись мы с ней или дома, или где-нибудь поблизости. Но в каком я бывал отчаянии, когда мне запрещали навестить мою Пиготти! Все-таки изредка мне удавалось вырваться к ней, и тут я мог убедиться в том, что мистер Баркис был скряга, или, как мягко выражалась о нем Пиготти, «скуповат». У него была куча денег, которые он держал в сундучке под кроватью, причем уверял, что там одни его старые панталоны да сюртуки. Достояние свое он так упорно скрывал от всех взоров, что для того, чтобы выманить хотя бы ничтожную долю его, надо было прибегать к хитрости. И вот каждую субботу бедной Пиготти приходилось ломать себе голову над тем, как ей добыть денег на недельные расходы.

Все время прекрасно сознавая, что, при моей заброшенности, из меня ровно ничего не может выйти, я, без сомнения, был бы самым несчастным существом на свете, но будь у меня старых моих друзей — книг. Они одни были моим утешением. И я так же был верен им, как они мне: я читал их и перечитывал без конца.

Однажды бродил я, погруженный в свои невеселые думы, не обращая внимания на все окружающее (привычка, развившаяся вследствие моего образа жизни), как вдруг, повернув на тропинку близ нашего дома, я натолкнулся на мистера Мордстона. Он прогуливался с каким-то джентльменом. Я смутился и хотел было пройти мимо, когда джентльмен этот окликнул меня:

— Кого я вижу! Эй, Брукс!

— Нет сэр, я Давид Копперфильд, — возразил я.

— Вздор! И не говорите мне этого! Вы Брукс из Шеффилда, — настаивал джентльмен, — это ваше имя.

Тут я стал внимательно всматриваться в этого джентльмена. Смех его мне показался знакомым, и я, в свою очередь, признал в нем мистера Квиньона, которого видел в Лоустофте, когда мы с мистером Мордстоном ездили туда еще до... но лучше не вспоминать, когда именно это было.

— Как вы поживаете, Брукс, и где учитесь? — спросил мистер Квиньон. При этом он положил мне на плечо руку и, повернув меня, заставил идти вместе с ними.

Не зная, что ответить, я нерешительно взглянул на мистера Мордстона.

— Он теперь дома, — ответил мой отчим за меня, нигде не учится. — Я, право, не знаю, что с ним и делать, трудный для воспитания субъект.

Говоря это, он на мгновение остановил на мне хорошо знакомый мне двуличный взгляд, затем в глазах его появилось что-то зловещее, и он, нахмутив брови, с явным отвращением отвернулся от меня.

— Гм... — промышчал мистер Квиньон, как мне показалось, внимательно вглядываясь в нас обоих. — А ведь погода очень недурна, — сказал он.

Наступило молчание. Я только начал обдумывать, как бы мне высвободить плечо из-под руки мистера Квиньона и поскорее унести свои ноги, когда он снова заговорил:

— Вы, наверно, попрежнему очень смышленный мальчуган, — ведь правда, Брукс?

— Да, смышленности у него хоть отбавляй, — раздраженным тоном заметил мистер Мордстон. — Послушайте, отпустите его, пусть себе идет своей дорогой, — он, наверно, не поблагодарит вас за эту остановку.

После этих слов мистер Квиньон выпустил мое плечо, и я побрел домой. Входя в палисадник, я обернулся и увидел, что мой отчим стоит, прислонившись к ограде кладбища, а мистер Квиньон что-то ему говорит. Оба они тут посмотрели мне вслед, и я почувствовал, что разговор шел именно обо мне.

Мистер Квиньон остался у нас ночевать. На следующее утро, кончив завтрак, я отодвинул свой стул, собираясь уйти из комнаты, когда мистер Мордстон остановил меня. Он с важным видом пересел к письменному столу, за которым уже что-то делала его сестра. Мистер Квиньон, засунув руки в карман, подошел к окну и принялся смотреть на улицу. А я стоял и глядел на всех.

— Давид, — начал мистер Мордстон, — когда человек молод, в этом мире нужно действовать, а не хандрить и бездельничать...

— Как делаете это вы, — добавила его сестрица.

— Джен Мордстон, пожалуйста, предоставьте мне говорить... Так вот, Давид, я сказал, что когда человек молод, надо действовать, а не хандрить и бить баклуши. Это особенно относится к мальчику с вашими наклонностями, так нуждающемуся в исправлении. Такому мальчику нельзя оказать большей услуги, как заставить его сообразоваться с условиями жизни трудящихся, — условиями, которые смогут согнуть и даже переломить его характер.

— Тут уж ваше упрямство не поможет, — опять вмешалась в разговор мисс Мордстон. — Надо сломить ваш характер, и он будет сломлен. Раз это признано необходимым, это будет сделано, — добавила она.

Бросив на сестру взгляд, в котором одновременно были и укоризна и одобрение, мистер Мордстон продолжал;

— Вероятно, Давид, вы знаете, что я человек небогатый. Во всяком случае, вам это известно теперь. Вы уже получили порядочное образование. Образование дорого стоит, но если б даже я и был в состоянии платить за вас, то и тогда, по моему глубокому убеждению, для вас не было бы выгодно учиться в школе. Вам в жизни предстоит борьба за существование, и чем раньше вы это начнете, тем будет лучше.

У меня, помнится, мелькнула тут мысль, что такая борьба до известной степени уже для меня началась.

— При вас, наверно, иногда упоминалось о конторе, — продолжал мистер Мордстон.

— О какой конторе, сэр? — спросил я.

— О конторе виноторговли «Мордстон и Гринби», — пояснил отчим.

На лице моем, верно, было недоумение, и он скороговоркой прибавил:

— Да, наверно, вы что-нибудь слышали о конторе, или о торговом деле, или о подвалах...

— Мне, действительно, кажется, что я что-то слышал о торговом деле, сэр, — сказал я, вспоминая то, что я смутно знал о его с сестрой доходах. — Но только я не знаю хорошенько, когда я это слышал.

— Это совершенно неважно, когда вы слышали, — возразил мистер Мордстон, — но знайте, что всем этим делом заведует мистер Квиньон.

Тот продолжал стоять и смотреть в окно, а я с большим почтением бросил взгляд на его фигуру.

— Мистер Квиньон говорит, что у него в деле работает несколько мальчиков ваших лет, и он не видит оснований, почему бы вы не могли работать там на таких же условиях, как они.

— Конечно, в том случае, Мордстон, если для него не предвидится ничего иного, — тихо заметил мистер Квиньон, несколько поворачиваясь к нам.

Сделав нетерпеливый жест, мистер Мордстон продолжал с некоторым даже раздражением:

— Условия службы там таковы, что вы будете достаточно зарабатывать для своего пропитания, и у вас даже будут оставаться карманные деньги. За ваше помещение (я уже позаботился о нем) буду платить я сам. Также я буду оплачивать и стирку вашего белья...

— Отпускать на это деньги буду уж я по своему усмотрению, — перебила его сестрица.

— Я буду также заботиться о вашей одежде, — продолжал мистер Мордстон, — так как пока вы еще не будете в состоянии делать это из своего заработка. Итак, Давид, вы теперь же отправитесь с мистером Квиньоном в Лондон и там начнете пробивать себе дорогу в жизнь.

— Словом, вы пристроены и извольте исполнять свой долг, — провозгласила мисс Мордстон.

Хотя я прекрасно сознавал, что здесь исключительно преследовалась цель избавиться от меня, но я не могу припомнить, обрадовало меня это сообщение или испугало. Вероятно, я так в этот момент взволновался, что мою душу одновременно охватили и радость и страх. Да к тому же, я не имел и времени углубляться в свои переживания, ибо мистер Квиньон уезжал на следующий день.

И вот наступило это завтра.

Как сейчас вижу я себя в момент отъезда, в сильно потрепанной белой шляпчонке с черным крепом в знак траура по матушке, в черной куртке и грубых, жестких вельветовых панталонах. (Мисс Мордстон, очевидно, считала, что в этих панталонах ноги мои будут наилучшим образом вооружены для предстоящей мне борьбы за существование). Вижу себя в таком одеянии, со всем своим имуществом, уложенным в маленький чемоданчик, одиноким, горемычным ребенком (выражаясь стилем миссис Гуммидж),

сидящим в почтовом экипаже, который увозит нас с мистером Квиньоном в Ярмут, на лондонский дилижанс.

Все уменьшаются вдали наш дом и церковь... Уже скрылась из виду могила под деревом... А вот наконец исчезает и самый шпиг церквы, вокруг которой когда-то играл я и резвился... Больше ничего не видно.

Небо пусто.

Глава XI

Я НАЧИНАЮ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ, И ЭТО ДОСТАВЛЯЕТ МНЕ МАЛО УДОВОЛЬСТВИЯ

Я достаточно теперь знаю свет, чтобы почти ничему не удивляться, но даже и сейчас до известной степени поражаюсь той легкости, с которой в таком раннем возрасте бросили меня на произвол судьбы. В самом деле, как могло это произойти, чтобы ни одна душа не приняла участия в мальчике, одаренном большими способностями, в высшей степени наблюдательном, быстро все схватывающем, живом, чутком и при этом далеко не крепкого здоровья! А между тем это было так: никто ради меня не шевельнул даже пальцем, и в десять лет я стал маленькой рабочей скотинкой фирмы «Мордстон и Гринби».

Помещение этой фирмы находилось на берегу Темзы, в Блекфрайерском квартале. Благодаря новейшим усовершенствованиям, теперь здесь все очень изменилось, но тогда дом, где помещалась фирма «Мордстон и Гринби», был последним в конце узенькой улицы, которая, изгибаясь, шла вниз, к реке.

Дом этот был старый, ветхий, и при нем была собственная пристань; во время прилива вода подходила к самому дому, а при отливе тут было болото, кишашщее крысами.

Комнаты этого дома, когда-то отделанные панелями, а теперь заросшие столетней грязью и копотью, полусгнившие полы и лестницы, возня и визг бегающих по подвалам старых серых крыс, царящие кругом грязь и сырость, — все это рисуется передо мной с такой же ясностью, как в тот злополучный час, когда я, дрожащий, вошел сюда, держась за руку мистера Квиньона.

Фирма «Мордстон и Гринби» имела много клиентов, но самыми крупными покупателями вин и спиртных напитков являлись корабли дальнего плавания. Я позабыл, куда именно совершали свои рейсы эти

корабли, но помнится, что некоторые из них ходили в Западную и Восточную Индию. Знаю, что одним из следствий этой торговли спиртными напитками было огромное количество пустых бутылок. Несколько взрослых рабочих и мальчиков были заняты тем, что, рассматривая эти самые бутылки на свет, браковали те, в которых оказывались трещины, а все остальные тщательно мыли и полоскали. Чистые бутылки наливали разными напитками, закупоривали их пробками, наклеивали на них этикетки и запаковывали в ящики. Вот на эту работу вместе с другими мальчиками я и был поставлен.

Нас было всего четверо, считая и меня в том числе. Для меня было отведено место в углу склада, где мистер Квиньон всегда мог видеть меня, стоило ему только встать на табурет в конторе и бросить взгляд в окно, находившееся над его письменным столом. В первое же утро моей самостоятельной жизни, начатой при таких счастливых предзнаменованиях, призван был старший из мальчиков, и ему поручили ознакомить меня с моей работой. Мальчика этого звали Мик Уокер. На нем был рваный передник и бумажный колпак. Он не замедлил сообщить мне, что отец его — лодочник и, ежегодно участвуя в процессии лорд-мэра^[24], всегда бывает при этом в черной бархатной шляпе. Мик также сказал мне, что главным нашим товарищем по работе будет еще другой мальчик, которого он представил мне под очень удивившим меня именем «Разваренной Картошки». Но вскоре я постиг, что это имя не было дано ему при крещении, а явилось прозвищем, придуманные для него на складе из-за цвета его лица, бледного, как картофель. Отец Разваренной Картошки был водовоз и одновременно нес обязанности пожарного в одном из больших театров, где сестрица Разваренной Картошки исполняла в пантомимах^[25] роль чертенка.

Нельзя выразить словами тоски, охватившей меня, когда я попал в эту компанию. Я мысленно сравнивал этих новых товарищей, с которыми мне отныне приходилось работать изо дня в день, с товарищами моего счастливого детства. Я уже не говорю о Стирфорте, Трэдльсе и других мальчиках, — вспоминая их, я просто приходил в отчаяние. Чувствовал я, что мои мечты стать образованным, видным человеком рушились. Нет слов, чтобы описать, до чего было ужасно сознавать, что больше нельзя даже ни о, чем мечтать. Как стыдился я своего положения, как угнетала меня мысль,

что с каждым днем я буду все больше и больше забывать то, что мне удалось выучить!

В это первое утро, каждый раз, когда Мика Уокера куда-нибудь усылали, я примешивал свои слезы к воде, которой мыл бутылки, и рыдал так, что, казалось, грудь моя готова была разорваться на части.

Часы в конторе показывали половину первого. Все собирались уже итти обедать, когда мистер Квиньон постучал в окно конторы и знаком поманил меня. Войдя в контору, я увидел довольно тучного человека средних лет, в коричневом сюртуке, в черных панталонах в обтяжку и черных башмаках. На его большущей лоснящейся голове было не больше волос, чем на яйце. Лицо, обращенное ко мне, казалось огромным. Костюм его был довольно-таки поношен, но белоснежный воротничек сорочки имел внушительный вид. В руке у него была тросточка, а на пуговице сюртука болтался лорнет^[26], как я потом узнал — для «шика», так как он никогда им не пользовался.

— Это он самый, — сказал мистер Квиньон, указывая на меня.

— Ах! Так вот это и есть мистер Копперфильд? Надеюсь, что вы в добром здоровье, сэр, — проговорил незнакомец снисходительным тоном, в котором в то же время слышалось нечто, трудно передаваемое словами, — чувствовалось, как будто он делает мне великую честь, вступая со мной в разговор. И это, по правде сказать, произвело на меня большое впечатление.

Я ответил ему, что совершенно здоров и надеюсь, что он также чувствует себя хорошо. На самом же деле я находился в самом печальном состоянии, но не в моем характере было жаловаться.

— Благодарение богу, я вполне в добром здоровье, — промолвил незнакомец. — Мною получено письмо от мистера Мордстона. В нем он просит принять вас к себе. У меня как раз свободна задняя комната, могущая служить, так сказать, спальней... для начинающего свой жизненный путь юнца, которого сейчас имею удовольствие...

Тут незнакомец, доверчиво улыбаясь, помахал рукой и погрузил свой подбородок в воротник сорочки.

— Это мистер Микобер, — представил мне знакомого мистера Квиньон.

— Гм... это, действительно, мое имя, — отозвался незнакомец.

— Мистер Мордстон знает давно мистера Микобера, — подтвердил мистер Квиньон, — он комиссионер и иногда доставляет

нашей фирме заказы. Мистер Мордстон писал ему по поводу вашего помещения, и мистер Микобер согласен взять вас к себе в жильцы.

— Мой адрес, — заявил мистер Микобер: — Виндзорская терраса, Сити-род^[27]... Словом, я... — добавил он тем же любезным, доверчивым тоном, — я живу там...

Я поклонился ему.

— Принимая во внимание, что вы не успели еще много постранствовать по этой столице, — продолжал мистер Микобер, — и что, пожалуй, вам будет нелегко, направляясь в Сити-род, разобраться в лабиринте этого современного Вавилона^[28], короче говоря, что вы можете заблудиться, — тут мистер Микобер снова доверчиво улыбнулся, — я сочту для себя удовольствием зайти за вами сегодня вечером и познакомить вас с ближайшей дорогой.

Я горячо поблагодарил его, ибо с его стороны было большой любезностью взять на себя этот труд.

— А в котором часу притти мне? — осведомился мистер Микобер.

— Около восьми, — ответил мистер Квиньон.

— Хорошо, — ответил мистер Микобер, — значит, около восьми. Разрешите проститься с вами! Не смею больше вас задерживать.

С этими словами он надел шляпу и, высоко держа голову, с тросточкой подмышкой, вышел. На улице он тотчас же начал напевать сквозь зубы какой-то мотив.

По уходе мистера Микобера мистер Квиньон уже официально сказал мне, что принимает меня на службу фирмы «Мордстон и Гринби», на какую я должен был работать верой и правдой, помнится, за шесть шиллингов в неделю. Впрочем, в этом я не уверен: быть может, это было и семь шиллингов. Тут же он уплатил мне за неделю вперед (думаю, что из собственного своего кармана). Из этих денег я сейчас же дал шесть пенсов Разваренной Картошке, прося его отнести вечером мой чемодан на Виндзорскую террасу; как ни мал был этот чемодан, а тащить мне его было не под силу. Еще шесть пенсов истратил я на свой обед. Он состоял из пирога с мясом и воды из соседней водокачки. Час, полагавшийся нам на обед, я употребил на прогулку по городским улицам.

В условленное время появился мистер Микобер. Я вымыл себе лицо и руки в честь его элегантности, и мы вместе пошли домой —

как, мне казалось, я мог уже называть квартиру мистера Микобера. Дорогой мистер Микобер старался запечатлеть в моей памяти названия улиц и наружный вид угловых домов, для того чтобы, идя на следующее утро в контору, я не заблудился.

Дом на Виндзорской террасе во многих отношениях напоминал самого мистера Микобера: такой же потрепанный, как и он, дом этот был с такой же претензией на представительность. Придя к себе, мистер Микобер представил меня миссис Микобер, худощавой поблекшей пожилой даме.

Миссис Микобер сидела внизу, в гостиной (второй этаж был абсолютно не меблирован; чтобы скрыть это от соседей, там всегда на окнах спущены были жалюзи^[29]), и кормили грудного ребенка. Это был один из близнецов. Кстати замечу, что за все время своего пребывания в этом доме я не помню момента, когда бы который-нибудь из близнецов не подкреплялся у материнской груди. Кроме этих младенцев, было еще двое детей: мистер Микобер-младший, лет четырех, и мисс Микобер, лет трех. Семейный круг дополнялся еще служанкой, смуглой девушкой, имевшей, как я потом убедился, обыкновение очень громко пыхтеть. Не прошло и получаса, как девушка эта поведала мне, что она круглая сирота и взята из соседнего работного дома св. Луки.

Предназначавшаяся мне комната находилась в мезонине и выходила во двор. Она была очень мала и скудно меблирована. На стенах виднелись какие-то украшения, напоминавшие мне, при моем пылком детском воображении, булочки.

— До замужества, когда я жила с папой и мамой, я не могла даже себе представить, что мне придется когда-нибудь иметь жильцов, — тяжело дыша, сказала мне миссис Микобер, опускаясь на стул в моей новой комнате, куда она, в сопровождении всего своего семейства, поднялась, чтобы водворить меня. — Но что делать? — продолжала она. — Раз дела мистера Микобера так запутались, надо отрешиться от своих личных воззрений.

— Конечно, мэм, — согласился я.

— Затруднения, обрушившиеся сейчас на мистера Микобера, так велики, что я, право, не знаю, удастся ли ему из них выпутаться, — прибавила моя хозяйка. — Когда я жила дома с папой и мамой, я

хорошенько даже не понимала, что такое затруднительное положение, но жизнь всему научит, как часто бывало говорил мой папа.

Не могу теперь хорошенько припомнить, она ли мне рассказала, что господин Микобер служил прежде во флоте, или это я сам почему-то вообразил, но и по сей день я убежден, что мистер Микобер был когда-то морским офицером. Теперь он состоял комиссионером нескольких торговых домов, но, к несчастью, повидимому, почти ничего на комиссионном деле не зарабатывал.

— Если кредиторы мистера Микобера не пожелают отсрочить ему, — продолжала рассказывать миссис Микобер, — им же самим от этого будет хуже. Чем скорее доведут они дело до развязки, тем для нас будет лучше. Из камня ведь крови не выжмешь. Так же точно ничего нельзя будет выжать и из мистера Микобера. Даже судебных издержек не получают с него кредиторы.

Я до сих пор не могу хорошенько понять, чем руководствовалась миссис Микобер, посвящая меня в денежные затруднения своего мужа. Быть может, ранняя моя самостоятельность заставила ее забыть мой детский возраст или, по пословице: «Что у кого болит, тот о том и говорит», она готова была делиться своими горестями чуть ли не с собственными близнецами.

Бедная миссис Микобер! Рассказала она мне, что пробовала и сама что-нибудь зарабатывать, и я нисколько не сомневаюсь в этом. Действительно, на середине входной двери была прибита большая медная доска, на которой было выгравировано: «Пансион миссис Микобер для молодых девиц»; но, однако, я не встречал ни одной девицы, которая приходила бы сюда учиться или обнаруживала бы малейшее желание поступить в пансион миссис Микобер. Не помню даже, чтобы делались какие-либо приготовления к приему этих девиц.

Единственными посетителями, которых мне случалось видеть или слышать, были кредиторы. Вот они приходили во всякое время, и некоторые из них были очень свирепы. Помню, одни из них, с грязной физиономией, — кажется, это был сапожник, — обыкновенно уже с семи часов утра забирался в прихожую и начинал кричать во все горло мистеру Микоберу, еще бывшему в спальне:

— Эй, выходите-ка сюда! Я знаю ведь, что вы дома... платите же мне! Не прячьтесь! Это ведь подло! Будь я на вашем месте, я никогда

так низко не поступал бы!.. Платите же, наконец! Отдайте ваш долг, говорят вам! Слышите!..

Видя, что все его красноречие не достигает цели, он в гневном доходе до таких слов, как «мошенник», «разбойник». Но так как и это не оказывало никакого действия, то он выбежал на другую сторону улицы и оттуда осыпал бранью окно третьего этажа, где, ему было известно, пребывал мистер Микобер. В подобные минуты мистер Микобер приходил в такое отчаяние, что порой хватался за бритву, желая перерезать себе горло; но через какие-нибудь полчаса он как ни в чем не бывало принимался самым тщательным образом чистить свои ботинки и с более чем когда-либо аристократическим видом уходил из дому, напевая какую-нибудь песенку.

Совершенно такой же эластичностью характера обладала и миссис Микобер. На моих глазах она падала в обморок при появлении сборщика податей в три часа, а в четыре уже преспокойно кушала баранью котлетку в сухарях и запивала теплым элем (все это было куплено на деньги, полученные от залога двух серебряных ложечек).

Однажды, вернувшись домой почему-то раньше обыкновенного, в шесть часов, я попал на опись имущества и застал миссис Микобер лежащей у камина в обмороке (конечно, с одним из близнецов на руках). Волосы у нее все распустились и покрыли ей лицо. Однако мне никогда не случалось видеть миссис Микобер более веселой и оживленной, чем в этот вечер, когда она, сидя у кухонного огня за телячьей котлеткой, безумолку рассказывала мне про своих папу и маму и общество, в котором она вращалась.

В этом доме и с этой семьей проводил я все свое свободное время. Сам я добывал себе завтрак, стоящий мне два пенса: на один пенс я покупал маленький хлебец, а на другой — молока. Другой хлебец и кусочек сыру я прятал в шкаф себе на ужин. Эти завтраки и ужины поглощали значительную часть моего заработка (шесть или семь шиллингов в неделю), а работая целый день на складе, я должен был всю неделю содержать себя на остаток этих денег. Да, я могу поклясться в том, что с утра понедельника до вечера субботы я не слышал ни от кого ни доброго совета, ни одобрения, ни утешения, ни помощи — никакой поддержки...

Предоставленный самому себе, будучи таким неопытным ребенком, я, конечно, делал много неблагоприятных вещей (да и как

могло бы это быть иначе!). Зачастую, идя на работу, я при виде вчерашних пирожных, выставленных на продажу за половинную цену у дверей кондитерской, не мог устоять против искушения, затрачивая на эти пирожные деньги, предназначенные на обед. В таких случаях я оставался совсем без обеда и покупал себе булочку или кусок пудинга. Хорошо помнятся мне две лавки, где продавались эти самые пудинги. Смотря по состоянию своих финансов, я заходил то в одну из них, то в другую. В одной лавке пудинг был чудесный, настоящий, с коринкой, «специальный» и дорогой; кусок стоил два пенса, в то время как в другой лавке такой же кусок простого пудинга можно было купить всего за один пенс. Пудинг этот был солидный, тяжелый, клейкий, с крупными изюминками, расположенными на почтительном расстоянии одна от другой. Этот пудинг бывал обыкновенно готов в обеденное время, и я часто им обедал.

Когда же мне удавалось обедать регулярно, и брал в соседней кухмистерской порцию сосисок и хлебец за один пенс или за четыре пенса требовал себе порцию кровавого ростбифа. Иногда вместо обеда я ел хлеб с сыром и запивал пивом в жалкой портерной, находившейся как раз против нашего склада.

Портерная эта, помнится, носила громкое название: «Лев».

Однажды, взяв подмышку хлебец, принесенный из дому и завернутый в бумагу, словно это была книга, я отважился зайти в известный модный трактир близ Дрэри-Лина и заказал себе там порцию бифштекса. Не знаю, что подумал официант при виде такого маленького посетителя, но только он стоял, вытаращив на меня глаза, а потом привел еще товарища, чтобы и тот полюбовался, как я обедаю. Я дал ему на-чай полпенни^[30] и, но правде сказать, искренно обрадовался бы, если б он отказался принять его от меня.

На чаепитие, кажется, нам полагалось полчаса. Когда у меня бывали деньги, то я покупал себе кружку кофе и бутерброд. Во время безденежья я обыкновенно или любовался колбасными изделиями на Флитстрит, или доходил до самого Конвентгарденского рынка и наслаждался там видом ананасов. Я любил бродить по Адельфи, мрачные арочные проезды которой казались мне загадочными. Помню, как однажды вечером я вынырнул из-под одной из таких арок к реке, где перед трактиром на самом берегу танцевали грузчики угля.

Я сел на скамью поглядеть на них. Воображаю, что они обо мне думали!

Я выглядел тогда таким ребенком, был так мал ростом, что, когда случалось заходить в незнакомый трактир и требовать стакан эля или портера, чтобы запить свой обед всухомятку, мне зачастую не решались отпускать эти напитки.

Помню один душный вечер. Зашел я в какой-то бар и, подойдя к прилавку, спросил;

— Скажите, что стоит стакан вашего лучшего, самого лучшего эля? (Это был какой-то особенный для меня день, чуть ли не день моего рождения.)

— Два с половиной, пенса стоит стакан лучшего, «сногшибательного» эля, — ответил хозяин.

Я тотчас же вынул из кармана деньги и, положив на прилавок, сказал:

— Будьте добры нацедить мне стакан этого самого «сногшибательного» эля, да только, пожалуйста, так, чтобы пены была целая шапка.

Хозяин со странной улыбкой оглядел меня из-за прилавка с ног до головы и, вместо того, чтобы цедить эль, заглянул за ширму и сказал что-то своей жене. Та сейчас же вышла с работой и руках, и вместе с мужем они уставились на меня. Как сейчас вижу нас всех троих: хозяин в одном жилете стоит, облокотился на окно, проделанное в решетчатой перегородке, жена показывается из полуоткрытой маленькой двери, а я не без смущения смотрю на них обоих. Они пустились расспрашивать меня, сколько мне лет, как меня зовут, где я живу, где работаю и как я попал к ним. Не желая ни на кого бросать тени, я, помнится, стал придумывать самые фантастические ответы. Затем они нацедили мне эля, но я подозреваю, что это не был тот «сногшибательный» эль. Жена хозяина вернула мне назад деньги и, видимо, одновременно и любуясь и жалея, поцеловала меня с чисто материнской лаской.

Несомненно, я не преувеличиваю даже бессознательно скудости своих средств и всей тяжести тогдашнего своего положения. Я прекрасно помню, что, когда мистер Квиньон давал мне иногда лишний шиллинг, я сейчас же тратил его на обед или на чай. Помню, как с утра до ночи я, жалкое дитя, работал с грубыми мужчинами и

мальчишками. Помню, как, полуголодный, бродил и по улицам. Совсем заброшенный, я при таких условиях только каким-то чудом не стал малолетним бродягой и грабителем.

И все-таки и фирме «Мордстон и Гринби» я был несколько на особом положении. Мистер Квиньон, беспечный и занятый человек, при всей ненормальности условий, в которых я находился, держал себя со мной несколько иначе, чем с другими рабочими. Я с своей стороны никогда не обмолвился ни единым словом о том, как попал сюда, и никогда не подавал виду, что мне что в тягость. Один я знал, до чего мне тяжело, но, страдая втихомолку, делал свое дело. С самого начала понял я, что если не буду работать, как все остальные, ко мне станут относиться с пренебрежением и насмешкой. Вскоре я приобрел известный навык, стал работать по меньшей мере так же хорошо, как любой из моих товарищей мальчиков. Я держал себя с ними запросто, но тем не менее разница в поведении и манерах между нами была так велика, что невольно выделила меня из их среды. Мальчики, да и взрослые рабочие звали меня «барчуком» или «маленьким суффолкнем». Старший упаковщик Грегори и другой взрослый рабочий, возчик Типп, ходивший в красной куртке, иногда звали меня Давидом. Помнится, они делали это из чувства благодарности за то, что я за работой старался развлечь их, рассказывая им что-либо из прочитанного прежде, — уже быстро испарявшегося из моей памяти. Однажды Разваренная Картошка вознегодовал и даже возмутился, что меня выделяют, но Мик Уокер немедленно же осадил его.

Хотя я не питал никаких надежд на то, что мне удастся выйти из этого положения, и даже мечтать об этом перестал, но все же ни на минуту не мирился со своей горькой долей. Чувствовал я себя страшно несчастным. Я вынашивал свои муки в глубине сердца и даже в письмах к Пиготти не признавался в них. Мы часто с нею переписывались, но я молчал — отчасти из любви к ней, не желая ее огорчать, а отчасти потому, что мне было стыдно за себя.

Денежные затруднения мистера Микобера еще усиливали мои душевные муки. Одиночество заставило меня искренне привязаться к этой семье. Помню, что во время прогулки меня обычно угнетала мысль о долгах мистера Микобера, и я, расхаживая, все обдумывал те средства и способы, с помощью которых миссис Микобер мечтала выйти из затруднения.

Суббота была для меня самым приятным днем: идя домой раньше обыкновенного, я ощущал в кармане шесть или семь шиллингов и, проходя мимо окон магазинов, прикидывал в уме, что мог бы я купить на эти деньги. Но и субботние вечера бывали отравлены раздирающими душу рассказами миссис Микобер о безвыходном положении мужа. Такие же разговоры заводила она и по воскресным утрам, в то время как я заваривал в жестяном стаканчике для бритья купленный накануне вечером чай или кофе, а потом долго сидел за своим скромным завтраком.

Случалось сплошь да рядом, что в начале нашей субботней беседы мистер Микобер плакал навзрыд, что нисколько не мешало ему в конце этой же беседы с увлечением распевать какой-нибудь веселый романс. Не раз видел я, как он возвращался домой к ужину в полном отчаянии и, заливаясь слезами, уверял, что ему не избежать долговой тюрьмы, а ложась спать, он уже мечтал о новых венецианских окнах в своей квартире, «если что-нибудь подвернется». (Это, надо сказать, было его любимым выражением.) А миссис Микобер была точно такая же.

Однажды вечером она удостоила меня своим полным доверием.

— Милый Копперфильд, — начала она, — я давно не считаю вас за чужого и поэтому прямо говорю вам, что дела мистера Микобера близки к критической развязке.

Мне было очень тяжело это слышать, и я с самым горячим участием смотрел в покрасневшие от слез глаза миссис Микобер.

— За исключением небольшой горбушки голландского сыра, совершенно непригодного для наших крошек, у нас ровно ничего нет в кладовой, — продолжала она. — Я привыкла в доме папы и мамы говорить «кладовая», а тут надо просто сказать, что в доме абсолютно нечего есть.

— Ай-ай! — воскликнул я, страшно огорченный.

В кармане у меня оставалось еще два-три шиллинга из моего недельного заработка, а дело было в среду. Я поспешно вытащил их и горячо стал упрашивать миссис Микобер взять у меня эту маленькую сумму займа. Но она и слышать не захотела об этом, поцеловала меня и заставила положить деньги обратно в карман.

— Нет, нет, дорогой мой Копперфильд, ни в коем случае не сделаю я этого, но вы умны не по летам и можете оказать мне услугу

в другом роде. Вот ее я приму с благодарностью.

Конечно, я попросил миссис Микобер сказать мне, в чем дело.

— Видите ли, — пояснила она, — я до сих пор сама закладывала наше серебро. В разное время я потихоньку снесла в заклад шесть чайных ложечек, две ложечки для соли и две пары щипцов для сахара. Теперь, с одной стороны меня очень связывают близнецы, а с другой — мне очень нелегко, помня свою жизнь у папы и мамы, заниматься таким делом. В доме остались еще кое-какие мелочи, с которыми можно было бы расстаться. Но у мужа нехватит духа понести их в заклад, а Кликкет (их прислуга, взятая из работного дома), если ей поручить такое деликатное дело, при своей невоспитанности, пожалуй, зазнается. И вот, милый Копперфильд, я хотела вас просить...

Я, конечно, прекрасно понял, чего хочет от меня миссис Микобер, и просил ее располагать мною, как только ей будет угодно.

В этот же вечер мне было поручено снести в заклад наиболее портативные вещи, и с тех пор редкое утро перед уходом на работу я не исполнял подобных поручений. Каждый раз, когда я приносил таким образом полученные деньги, миссис Микобер устраивала маленькую пирушку, и, помню, подаваемое угощение нам казалось особенно вкусным.

Наконец наступила роковая развязка. Однажды утром мистер Микобер был арестован и препровожден в долговую тюрьму «Королевская скамья». Выходя из дому, он заявил мне, что над ним теперь тяготеет десница господня, и я считал, что сердце его в самом деле разбито, да и мое тоже. Потом я узнал, что через несколько часов по прибытии в тюрьму он с большим воодушевлением играл со своими товарищами по заключению в кельи.

В первое же воскресенье после его ареста я должен был навестить его и даже с ним пообедать. Дороги в тюрьму я, конечно, не знал, и пришлось отыскивать ее, расспрашивая прохожих. Долго тащился я, а когда наконец увидел тюремщика, то пришел в такое волнение, что сердце застучало в груди, слезы выступили на глазах, и фигура тюремщика поплыла передо мной.

Мистер Микобер ждал меня у ворот и тотчас же повел в свою комнату, на предпоследнем этаже. Начал он с того, что горько заплакал и стал заклинять меня извлечь урок из его собственной

участи и никогда не забывать, что если человек получает в год двадцать фунтов стерлингов и затрачивает из них девятнадцать фунтов и девятнадцать с половиной шиллингов, то он будет счастлив, а вздумай он только истратить хотя бы полупенсом больше двадцати фунтов, он сделает себя навеки несчастным. Преподав мне это нравоучение, он взял у меня займы на портер один шиллинг и написал на эту сумму расписку, которую должна была оплатить его жена. Отложив в сторону носовой платок, которым он только что утирал слезы, мистер Микобер совсем развеселился.

Мы сидели с ним у камина, в котором мерцал небольшой огонек, ибо на заржавленную решетку было положено с двух сторон по кирпичу, чтобы сгорало поменьше угля. Тут в комнату вошел его сожитель, так же как и он, попавший сюда за долги. Он принес с собой на обед кусок бараньего филе, купленного на паях. В нашем обеде было что-то цыганское, но у меня осталось о нем приятное воспоминание. Вскоре после обеда я ушел домой, стремясь рассказами о своем посещении утешить миссис Микобер. Увидав меня, она упала в обморок, но потом приготовила в кружечке гоголь-моголь, чтобы утешить им нас обоих, когда мы будем расстроены нашим разговором.

Не знаю уж, право, каким образом и через кого удалось миссис Микобер продать, на благо своего семейства, всю обстановку квартиры. Я, во всяком случае, в этом не играл никакой роли. Проданная мебель тотчас же была увезена из дома на фургоне. Оставлены были только кровать, несколько стульев и кухонный стол. С этой мебелью мы расположились лагерем в двух гостиных опустевшего дома на Виндзорской террасе. Жили мы здесь — миссис Микобер с детьми, сиротка-прислуга и я — уж не помню сколько времени, но что-то довольно долго. Наконец миссис Микобер решила и сама с детьми переселиться в тюрьму, где ее мужу удалось получить отдельную комнату. Проводив все семейство, я запер дом и ключ отнес хозяину, который очень обрадовался, наконец получив его. Кровать была отвезена в тюрьму, а для меня была нанята крошечная комнатка совсем по соседству с тюрьмой, чему я был очень рад, так как до того подружился с Микоберами и так привык делить с ними их горе, что совсем расстаться с этой семьей мне было бы очень тяжело. Сироту также поместили неподалеку, в дешевой комнате. Мое

помещение представляло собой, в сущности, каморку под крышей, с покатым потолком, окно которой выходило на лесной склад. Но когда я очутился в ней и подумал о том, что в делах Микоберов наступил наконец перелом, то я нашел и эту комнатку настоящим раем.

Все это время я продолжал попрежнему работать в торговом доме «Мордстон и Гринби», только вид я теперь имел более запущенный и мог меньше беспокоиться о Микоберах, ибо какие-то родственники или друзья приняли в них участие, и в тюрьме им жилось так, как давно не жилось и на свободе.

Обыкновенно я завтракал с ними, не помню уж на каких условиях. Не помню также, когда открывались поутру тюремные ворота. Знаю только, что я вставал частенько в шесть часов утра и, в ожидании, пока откроются эти ворота, проводил время по большей части на старом Лондонском мосту, любуясь через перила на отражение солнца в воде. Вечером я опять приходил в тюрьму и здесь или прохаживался с мистером Микобером по двору, отведенному для прогулок заключенных, или играл в домино с миссис Микобер, выслушивая при этом бесконечные воспоминания о ее папе и маме.

Не могу сказать, знал ли мистер Мордстон, где я жил, как и с кем проводил время. Я никому, во всяком случае, не сообщал об этом в торговом доме «Мордстон и Гринби».

Дела мистера Микобера даже и после критической развязки все еще были чрезвычайно запутаны. Играл тут роль какой-то роковой документ, о котором мне часто приходилось слышать, что, однако, не мешало мне иметь о нем самое смутное представление. Наконец мистеру Микоберу как-то удалось избавиться от этого злополучного документа. Во всяком случае, он перестал быть для него камнем преткновения, и миссис Микобер сообщила мне, что ее родня уговорила мистера Микобера подать в суд прошение о признании его несостоятельным должником и она надеется, что недель через шесть его выпустят из тюрьмы.

— А тогда, — заметил мистер Микобер, присутствовавший также при этом разговоре, — я, с божьей помощью, начну новую жизнь, и она, конечно, пойдет у меня совсем иначе, если... если только что-нибудь подвернется...

Глава XII

ТАК КАК МНЕ ПОПРЕЖНЕМУ МАЛО УЛЫБАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, ТО Я ПРИНИМАЮ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Наконец, в свое время, прошение мистера Микобера было рассмотрено судом, и суд, признав, что в данном случае несостоятельность отнюдь не была злостной, а вызывалась тяжелыми обстоятельствами, к великой моей радости, постановил его освободить.

Его кредиторы не были неумолимы. Миссис Микобер рассказывала, что даже зловерный сапожник — и тот заявил на суде, что не имеет ничего против мистера Микобера, но что он только хотел бы получить с него свой долг. Такое желание, он полагал, свойственно человеческой природе.

Однако из суда мистер Микобер снова вернулся в тюрьму, — перед окончательным освобождением ему надо было еще выполнить некоторые формальности. Товарищи по заключению встретили его восторженно, и в честь его немедленно был устроен музыкальный вечер. Мы же с миссис Микобер, окруженные ее спящим семейством, в это время наслаждались жареным барашком, запивая его пуншем.

— Знаете, милый Копперфильд, — сказала мне миссис Микобер, — ради такого случая нам с вами надо еще выпить по рюмочке, в память о моих папе и маме.

— А разве они умерли, мэм? — поинтересовался я, выпив немного пунша.

— Мама моя покинула этот мир, — начала рассказывать миссис Микобер, — раньше, чем дела моего мужа запутались, или, лучше сказать, раньше, чем они пришли в окончательное расстройство. Папа еще жил, когда это произошло, и не раз, благодаря тому, что он брал мистера Микобера на поруки, тот избегал тюрьмы. Потом и папа

скончался, оплакиваемый многочисленными родственниками и друзьями.

Говоря это, миссис Микобер покачала головой и почтила память умерших родителей слезой, упавшей на одного из близнецов, бывшего у нее в эту минуту на руках.

Тут, считая, что вряд ли мне представится более благоприятный случай узнать от миссис Микобер о том, что меня чрезвычайно интересовало, я обратился к ней:

— Могу ли я, мэм, спросить вас, как вы с мистером Микобером предполагаете устроиться теперь, когда он выпутался из своего затруднительного положения и снова будет на свободе? Есть ли у вас что-нибудь в виду?

— Мои родственники, — ответила миссис Микобер, как всегда, произнося эти два слова торжественным тоном, — придерживаются того мнения, что мистеру Микоберу надо уехать из Лондона и применить свои способности в провинции. Ведь, милый Копперфильд, мистер Микобер — человек очень одаренный, с огромными способностями.

Я заметил, что несколько не сомневаюсь в этом.

— Да, он человек огромных способностей, — повторила миссис Микобер, — и мои родственники считают, что при некоторой поддержке, такой одаренный человек может быть устроен на службу в таможне. И так как у моих родственников имеются связи в Плимуте, то они желают, чтобы мистер Микобер устраивался именно там, и находят необходимым, чтобы он побывал в Плимуте лично...

— Вероятно, для того, чтобы он был наготове? — высказал я свое предположение.

— Вот именно, — подтвердила миссис Микобер, — чтобы он был наготове на тот случай, если что-нибудь подвернется.

— И вы также думаете ехать с ним, мэм?

События этого знаменательного дня, близнецы, а, быть может, и выпитый пунш — все это привело миссис Микобер в такое возбужденное состояние, что она, разрыдавшись, воскликнула:

— Я никогда не покину мистера Микобера! Правда, он первое время скрывал от меня свое тяжелое материальное положение, но это произошло потому, что, будучи такого сангвинического темперамента, он верил, что сам сможет справиться со всеми своими затруднениями.

Правда тоже, что ушли меньше чем за полцены жемчужное ожерелье и браслет, унаследованные мною от мамы, и почти даром спустил он коралловый убор, подаренный мне на свадьбу папой, но все-таки я никогда, никогда не покину мистера Микобера! Нет, нет! — истерически кричала она. — Напрасно и спрашивать меня об этом!

Чувствовал я себя ужасно неловко, — выходило так, как будто я и в самом деле спрашивал ее о чем-нибудь подобном, — и я с большим смущением смотрел на нее.

— У мистера Микобера есть, конечно, свои слабости, — продолжала миссис Микобер, — я не отрицаю, что он непредусмотрителен, не отрицаю я и того, что он скрывал от меня свои доходы, скрывал долги, но тем не менее я никогда не покину мистера Микобера!..

Тут ее речь перешла в настоящий крик, и я так перепугался, что опрометью бросился в тюремный клуб за мистером Микобером. Он сидел здесь в конце большого стола, председательствуя и дирижируя. Пели хором:

Вперед, Доббин,
Вперед, Доббин,
Вперед, Доббин,
Вперед, Доббин,
Веселей, веселей, веселе-е-ей!..

Когда я сообщил ему, что у миссис Микобер истерический припадок, он залился слезами и сейчас же побежал со мной, унося на своем жилете массу головок и хвостиков креветок, которыми только что наслаждался.

— Эмма, ангел мой, что с вами? — закричал он, вбегая в свою комнату.

— Я никогда не покину вас, Микобер! — крикнула она.

— Душа моя, я никогда в этом не сомневался, — заявил мистер Микобер, сжимая ее в своих объятиях.

— Он отец моих детей, отец моих близнецов, он муж мой, любимый... — вопила миссис Микобер, барахтаясь в объятиях своего супруга. — Нет, нет, я ни... ни... ког... да не покину мистера Микобера!..

Мистер Микобер до того был растроган этим доказательством любви своей супруги (я-то давно уж проливал слезы), что самым нежным образом склонился над нею и стал умолять ее успокоиться и взглянуть на него. Но чем усерднее просил он миссис Микобер посмотреть на него, тем упорнее взгляд ее бродил по сторонам, и чем больше молил он ее успокоиться, тем возбужденнее становилась она. Все это довело мистера Микобера до того, что и он стал рыдать, и его слезы смешались с нашими. Наконец мистер Микобер попросил меня выйти на лестницу и посидеть там, пока он будет укладывать в постель свою супругу. Я хотел было распрощаться с ними до завтрашнего дня, но мистер Микобер объявил, что не отпустит меня раньше звонка, служившего сигналом к уходу посетителей. Тогда, взяв с собой стул, я вышел и расположился у окна на лестнице. Вскоре, он появился с другим стулом и уселся подле меня.

— Как чувствует себя теперь миссис Микобер? — осведомился я.

— Очень плохо, — ответил он. Это реакция. Сегодня для нас был действительно ужасный день! Подумать только! Мы, совершенно одинокие на свете, лишились всего!

Мистер Микобер пожал мне руку, тяжело вздохнул и заплакал. Все это очень опечалило и вместе с тем разочаровало меня, — я-то ожидал, что мы будем особенно веселы в такой счастливый, долгожданный день. Но оба супруга до того, повидимому, привыкли к своим стесненным обстоятельствам, что теперь они чувствовали себя совсем выбитыми из колеи. Вся эластичность их характера вдруг сразу исчезла, — никогда не видел я их такими подавленными, как в этот вечер. Когда раздался звонок и мистер Микобер проводил меня до ворот, он казался до того глубоко несчастным, что мне положительно страшно было оставлять его одного.

Я так привык к Микоберам во время их горестей, так сдружился с ними, до того себя чувствовал без них одиноким, что мысль о необходимости приискивать себе помещение у чужих людей приводила меня просто и отчаяние. Мне казалось, что я снова брошен на произвол судьбы, в омут своей теперешней жизни; а мерзость ее я

успел тогда уже хорошо постигнуть. Все чувства, которые эта жизнь оскорбляла во мне, весь стыд и муки, таившиеся в моей душе, проснулись в ней с новой силой, и я решил, что такую жизнь выносить больше нельзя.

Я прекрасно сознавал, что никто, кроме меня самого, не может вывести меня из этого положения. Мне редко приходилось слышать о мисс Мордстон и никогда — о ее брате. Два или три раза были получены на имя мистера Квиньона для меня посылки с новым или починенным платьем. В каждой из таких посылок был обыкновенно лоскуток бумаги такого содержания: «Д. М. уверена, что Д. К. добросовестно работает и как следует исполняет свой долг». И никогда при этом ни малейшего намека на то, что я когда-либо смогу выйти из положения чернорабочего.

На следующий день, будучи еще очень взволнованным всем происшедшим, я убедился, что миссис Микобер имела основания говорить о своем отъезде. Они только на неделю сняли помещение в том доме, где я жил, а затем должны были уехать в Плимут. Мистер Микобер в тот же день после полудня побывал в конторе у мистера Квиньона и сообщил ему, что уезжает из Лондона и потому в день своего отъезда принужден будет расстаться со мной. При этом он отозвался обо мне с наивысшей похвалой (ее, мне кажется, я действительно заслужил). Мистер Квиньон сейчас же вызвал возчика Типпа, человека женатого и имевшего у себя свободную комнату, и уговорился с ним, чтобы он после отъезда Микоберов взял меня к себе на квартиру. Мистер Квиньон имел полное основание думать, что я лично ничего не имею против этого, ибо, хотя мое решение тогда уже было принято бесповоротно, я против сделки этой не возражал.

Пока мы жили с Микоберами под одной кровлей, я проводил с ними все вечера. Мне кажется, что по мере того, как приближались минуты расставания, мы все нежнее и нежнее относились друг к другу. В последнее воскресенье они пригласили меня к себе обедать. Была жареная свинина с яблочным соусом и пудинг. Я принес в виде прощального подарка маленькому Вилькинсу Микоберу деревянную лошадку, а его сестрице Эмми — куклу. Сиротке, которую увольняли, я дал на прощанье шиллинг.

Мы очень хорошо провели этот день, хотя и грустно было при мысли о предстоящей разлуке.

— Милый Копперфильд, — сказала мне миссис Микобер, никогда не смогу я думать о времени, когда дела мистера Микобера находились в таком печальном состоянии, не вспоминая о вас. У вас столько было всегда деликатности... Не квартирантом были вы, а другом.

— Дорогая моя, — обратился к жене мистер Микобер, — у Копперфильда (последнее время он стал называть меня по фамилии) есть сердце, чтобы сочувствовать беде своего ближнего, когда над ним нависли тучи. У Копперфильда есть на плечах голова, которая способна думать, и руки — золотые руки... короче говоря, громадные способности управляться с движимым имуществом, которое нужно спустить.

Я горячо поблагодарил его за такой отзыв и сказал, как мне грустно расставаться с ними.

— Дорогой мой юный друг, — снова заговорил мистер Микобер, — я старше вас, и у меня есть жизненный опыт и... вообще есть опыт тяжелых переживаний... В настоящую ми нуту и до тех пор, пока что-нибудь не подвернется мне, чего, надо сказать, ежечасно ожидаю, я могу только дать вам совет... и этот совет тем более ценен, что... одним словом, сам я никогда им не пользовался и потому... — тут мистер Микобер, до этого момента сияющий и улыбающийся, вдруг нахмурился и закончил: — стал тем жалким горемыкой, которого вы видите перед собой.

— Микобер, дорогой мой! — закричала его супруга.

— Да, стал тем жалким горемыкой, которого вы видите перед собой, — повторил мистер Микобер, уже забывшись и снова улыбаясь. — И вот мой совет вам, продолжал он: никогда не надо откладывать на завтра того, что можно сделать сегодня. Промедление — это вор, крадущий у вас время. Хватайте его за шиворот!

— Это было правилом моего покойного папы, — заметила миссис Микобер.

Для того чтобы его нравоучение оказало еще большее воздействие, мистер Микобер с наслаждением выпил стакан пунша и стал насвистывать народный плясовой мотив.

На следующее утро я застал все семейство Микоберов в конторе дилижансов и с отчаянием смотрел на то, как они занимают места наверху и сзади дилижанса.

— Да благословит вас господь, милый Копперфильд! — сказала мне миссис Микобер. — Никогда я не забуду всего этого, — вы понимаете, что я хочу сказать, — и даже не смогла бы забыть, если бы и захотела этого...

— Прощайте, Копперфильд, — проговорил мистер Микобер. — Желаю вам счастья и благополучия. Если в грядущие годы я услышу, что моя горестная судьба послужила вам предостережением, то буду знать, что я жил на свете не напрасно. Если же что-нибудь подвернется мне (в чем я почти уверен), для меня будет великой радостью улучшить ваше будущее.

Мне кажется, что, в то время как миссис Микобер со своими детьми сидела на задней скамейке дилижанса, а я, стоя на дороге, пристально смотрел на них, с глаз ее спала как бы туманная завеса, и она поняла вдруг, каким, в сущности, был я ребенком. Думаю я это потому, что она тут совершенно по-новому, по-матерински взглянула на меня. Знаком показала она мне, чтобы я поднялся к ней, и, обняв меня за шею, поцеловала так, как будто я был ее сыном. Едва успел я соскочить, как дилижанс тронулся, и теперь виднелись только платки, которыми они махали мне. Еще минута... и все исчезло. Некоторое время мы с сиротой простояли посреди дороги, рассеянно глядя один на другого, а потом, пожав друг другу руки, разошлись. Она, по всей вероятности, вернулась в рабочий дом св. Луки, а я пошел начинать свой тяжкий день в торговом доме «Мордстон и Гринби».

Но таких тяжелых дней я ни в коем случае не собирался проводить там много. Нет... Я решил бежать, уйти каким угодно способом в деревню, к единственной родственнице, какая только осталась у меня на свете, — к моей двоюродной бабушке, мисс Бетси, — и, разыскав ее, поведать ей все свои беды.

Сам не знаю, как такая отчаянная мысль пришла мне в голову. Но, придя в голову, она там крепко-накрепко засела. У меня далеко не было уверенности, что из этого плана выйдет что-нибудь хорошее, но тем не менее я твердо решил привести его в исполнение.

С той ночи, как эта мысль пришла мне в голову и не дала мне заснуть (после того как я узнал, что Микоберы уезжают из Лондона), я бесчисленное количество раз мысленно перебирал то, что рассказывала мне матушка об обстоятельствах, сопровождавших мое появление на свет. Бывало, я с наслаждением слушал этот матушкин

рассказ и даже заучил его на память. В нем бабушка являлась каким-то грозным существом, которое появилось совершенно неожиданно и исчезло бесследно. Но в рассказе этом была одна черточка, о которой я любил вспоминать, и она, вероятно, и пробудила во мне тень какой-то надежды на успех. Я никак не мог забыть, что матушке показалось, будто бабушка ласково погладила ее красивые волосы. Быть может, это ей только почудилось, но тем не менее я создал себе целую картину того, как грозная бабушка была тронута матушкиной юной красотой — красотой, которую я так живо помнил и так горячо любил. И вот именно эта черточка как бы смягчила все мои представления о грозной бабушке. Быть может, благодаря этому и зародилась в моем мозгу сначала мысль, а потом решимость обратиться к ней.

Так как я даже не знал, где обретается бабушка, то написал длинное письмо Пиготти и в нем, как бы между прочим, спрашивал ее, не помнит ли она, где обитает мисс Бетси, объяснив ей, почему меня это интересует: я-де недавно слышал, что какая-то Тротвуд живет там-то (я привёл какое-то название наобум), так не она ли уж это. Дальше в этом послании я написал моей няне, что мне очень, очень нужно полгинеи^[31] и, если она даст мне эти деньги взаймы, я буду чрезвычайно ей благодарен; тут я еще прибавил, что впоследствии расскажу ей, для чего именно так нужны мне эти деньги.

Пиготти не заставила меня долго ждать ответа, и как все ее письма, и это было полно любви и преданности ко мне. В письмо она вложила полгинеи (со страхом думал я, чего только стоило моей дорогой няне добыть ее из заветного сундука своего супруга!) и сообщила мне, что мисс Бетси живет где-то около Дувра, но сама она хорошенько не знает, в самом ли Дувре, или близ него, в Хайте, Сандгете или Фолькстоне. Один из наших рабочих, которого я спросил относительно этих деревень, уверил меня, что все они расположены по соседству одна от другой. Этого было с меня довольно, и я тут же решил убежать в конце недели.

Будучи очень честным мальчуганом и не желая оставлять по себе плохой памяти в торговом доме «Мордстон и Гринби», я считал, что обязан проработать до вечера субботы и денег не брать, ибо, поступая на работу, я получил плату за неделю вперед. Вот ввиду этого-то я и взял у Пиготти взаймы пол гинеи на дорожные расходы. Поэтому,

когда мы все собрались на складе, ожидая получки, и возчик, как всегда бывало, пошел в контору первым, я, пожав руку Мику Уокеру, просил его, когда он будет получать деньги, передать мистеру Квиньону, что я отправился перевозить свои вещи на новую квартиру, к Типпу. А затем, напоследок попрощавшись с Разваренной Картошкой, быстро скрылся.

Мой чемодан был еще на старой квартире, по ту сторону Темзы. Я заранее приготовил для него на оборотной стороне одного из ярлыков, которые мы наклеивали на винные ящики, такую надпись: «Дувр, контора дилижансов. Давиду Копперфильду. До востребования». Ярлык этот был у меня в кармане, и я собирался прикрепить его к чемодану, как только он будет вынесен из дома. Дорогой я все поглядывал по сторонам, разыскивая кого-нибудь, кто бы взялся доставить мой чемодан в контору дилижансов.

Неподалеку от обелиска^[32] на Блекфрайерс-стрит^[33] стояла крошечная тележка, запряженная ослом. Хозяин ее, молодой долговязый парень, повидимому, был очень недоволен тем, что, проходя мимо, я пристально взглянул на него, ибо он крикнул мне какую-то дерзость. Я остановился и сказал ему, что я отнюдь не желал его обидеть, а, напротив, обдумывал, не возьмется ли он за одно дельце.

— Какое такое дельце? — спросил долговязый парень.

— Свезти чемодан, — ответил я.

— А чей чемодан? — продолжал допрашивать парень.

Я объяснил ему, что чемодан этот мой и его надо взять там-то, в конце улицы, и отвезти в контору дуврских дилижансом, и за что я ему предлагаю шесть пенсов.

— Идет! — крикнул парень и тотчас же влез в свою тележку, в сущности представлявшую собой корыто на колесах, и так погнал осла, что я едва поспевал за ним.

У парня был вызывающий вид; не нравилась мне также его манера, разговаривая со мной, жевать какую-то соломинку; но что было делать! — мы уже с ним договорились. Привел я его наверх, в свою комнату. Вместе мы вынесли чемодан и положили его в тележку. Мне не хотелось здесь прикреплять на чемодан ярлык: я боялся, как бы кто из хозяев не проник в мои планы. Поэтому я сказал парню, чтобы он потрудился остановиться, когда подъедет к глухой стене

долговой тюрьмы. Не успел я это проговорить, как он громыхая, помчался вперед так, словно и он сам, и мой чемодан, и тележка, и осел — все были охвачены безумием. Я побежал за ним, крича, чтобы он ехал потише, но он не обращал на мои крики ни малейшего внимания, и я, совсем запыхавшись, добежал до условленного места.

Весь красный, взволнованный, я, вынимая из кармана ярлык, выронил мой полгинеи. Для большей безопасности я не нашел ничего лучшего, как положить эту золотую монету себе в рот. Едва успел я прикрепить дрожащими ручонками ярлык к чемодану, как длинноногий парень так ловко ударил меня под подбородок, что золотая монета прямо из моего рта попала в его руку.

— Вот оно что! — воскликнул долговязый с отвратительным смехом, хватая меня за ворот моей курточки. — Тут дело полицией пахнет. А вы улизнуть желаете, не так ли? Нет, нет, негодный воришка, идемте-ка в полицию, идемте!

— Пожалуйста, верните мне мои деньги, — проговорил я в страшном испуге, — и оставьте меня в покое.

— Идемте, идемте в полицию! — настаивал парень. — Там вы им докажете, что все это ваше.

— Отдайте же мне мой чемодан и деньги! — крикнул я, заливаясь слезами, а долговязый парень все продолжал повторять: «Идемте в полицию» и так энергично при этом тащил меня к ослу, словно между этим ослом и полицейским судьей была какая-то связь. Вдруг он сразу переменял свое намерение, вскочил в тележку, сел на мой чемодан, и крикнув мне, что едет прямо в полицию, погнал своего осла во всю прыть.

Я мчался за тележкой так быстро, как только мог. Задыхаясь, я не был в состоянии позвать кого-нибудь на помощь, да, пожалуй, и не осмелился бы это сделать. Так пробежал я с полмили, подвергаясь раз двадцать опасности попасть под лошадь и быть раздавленным. Иногда я совершенно терял из виду наглого пария, затем он снова мелькал перед моими глазами и снова исчезал. А я все мчался и мчался... То меня хлестнет какой-нибудь кучер своим кнутом, то свалюсь я где-нибудь в грязь и, вскочив на ноги, снова мчусь, натываясь на прохожих и налетая на столбы... Наконец, выбившись из сил и придя в такое нервное состояние, что мне стало казаться, будто пол-Лондона гонится за мной, я совсем отчаялся догнать долговязого грабителя и

предоставил ему увозить мой чемодан и деньги, куда только ему заблагорассудится. Сам же я повернул по направлению к Гриничу, через который, мне было известно, пролегает дорога на Дувр. Я еле дышал и заливался слезами, но все-таки бежал туда, где жила моя бабушка, мисс Бетси. И бежал я к ней, имея очень немногим больше того, с чем появился на свет в ту ночь, когда я своим рождением так оскорбил эту самую бабушку.

Глава XIII

ПОСЛЕДСТВИЯ МОЕЙ РЕШИМОСТИ

Когда я совсем отчаялся догнать долговязого парня с его ослом и тележкой, у меня, кажется, была дикая мысль бежать до самого Дувра. Но если даже такая мысль и мелькнула у меня, то, скоро опомнившись, я понял всю ее неосуществимость, ибо я совсем выбился из сил и принужден был остановиться на террасе у Кентской дороги. Перед этой террасой, помнится, был бассейн, а посередине его возвышалась какая-то дурацкая статуя, трубящая в раковину. Тут свалился я на крыльце какого-то дома, истомленный и измученный до того, что едва был в состоянии плакать о потере чемодана и полгиinei.

Между тем стемнело. Я слышал, как на часах пробило десять, но к счастью, ночь была летняя и погода стояла прекрасная. Когда я отдышался и горло мое перестало судорожно сжиматься, я поднялся и пошел дальше. Хотя я и был в отчаянном положении, но у меня даже не мелькало мысли вернуться назад. Думаю, что подобная мысль не пришла бы мне в голову даже в том случае, если бы Кентская дорога вдруг была завалена, как это бывает в Швейцарии, снежным обвалом. Но, конечно, меня все-таки не могло не смущать то обстоятельство, что у меня за душой было всего навсего три пенса, и те я не понимаю, как уцелели в моем кармане до вечера субботы. Я стал представлять себе, как через два-три дня появится в газетах известие о том, что меня нашли мертвым под каким-нибудь забором. Со страшным трудом, едва передвигая ноги, я продолжал тащиться вперед, пока не добрался до лавчонки, где на вывеске значилось, что здесь покупают мужское и дамское подержанное платье и дают наибольшую цену за тряпки, кости и битую посуду. Хозяин этой лавки сидел у дверей без сюртука и курил. Так как весь потолок лавчонки был увешан множеством сюртуков и панталон и все это еле-еле освещалось двумя сальными свечами, то мое пылкое воображение увидело в человеке, сидящем у порога, какое-то мстительное чудовище, которое перевешало своих врагов и теперь радуется этому.

Благодаря жизненному опыту, вынесенному мной из дружбы с Микоберами, эта лавчонка старьевщика навела меня на мысль, что она

может отодвинуть немного мою голодную смерть. Я сейчас же вошел в ближайший переулок, снял с себя жилет, аккуратно свернул его и, держа подмышкой, вернулся к двери лавчонки.

— Пожалуйста, сэр, — обратился я к хозяину, — я уступлю вам это за сходную цену.

Мистер Делобай (это имя, по крайней мере, было на вывеске) взял жилет, поставил свою трубку у косяка двери и вместе со мной вошел в лавку. Тут он пальцами снял нагар с обеих свечей, положил мой жилет на прилавок, тщательно осмотрел его там, затем стал рассматривать его на свет и, наконец, спросил меня:

— Что же вы хотите получить за этот жилетишко?

— Ну, уж вы, сэр, знаете это лучше моего, — скромно ответил я.

— Не могу же я быть одновременно и продавцом и покупателем! — возразил мистер Делобай. — Сами уж назначьте цену за эту вашу тряпицу.

— Как вы находите восемнадцать пенсов? — после некоторого колебания застенчиво проговорил я.

Мистер Делобай свернул жилет и, возвращая мне его, сказал:

— Я ограбил бы свою семью, если б дал вам даже девять пенсов.

Дело принимало неприятный оборот: выходило так, будто я, совершенно посторонний мальчик, вынуждаю мистера Делобая ради меня ограбить свое семейство. Однако я находился в таком затруднительном положении, что вынужден был предложить ему жилетку за девять пенсов.

Мистер Делобай поворчал немного, но все-таки дал мне девять пенсов. Пожелав ему покойной ночи, я вышел с этими девятью пенсами, но без жилетки. Что за беда! Надо только куртку свою застегнуть на все пуговицы — и ничего, сойдет. Правда, я предвидел, что за этой жилеткой последует и куртка и что большую часть пути до Дувра мне придется проделать в одной сорочке и панталонах, да еще при этом надо будет считать себя счастливым, если и в таком виде я доберусь до места.

Но я как-то гораздо меньше думал об этом, чем можно было бы предположить. Конечно, я знал, что до Дувра очень далеко, чувствовал, насколько жестоко поступил со мной долговязый парень с ослом, но, помнится, когда я выходил из лавочки Делобая с девятью

пенсами в кармане, меня не особенно смущали предстоящие в пути трудности.

Тут у меня в голове возник план относительно ночевки, и я решил сейчас же привести его в исполнение. План этот заключался в том, чтобы пробраться на двор Салемской школы и там расположиться между оградой и задней стеной школьного здания, в углу, где, помнится, всегда стоял стог сена. Мне казалось, что хотя мальчики, спящие в том самом дортуаре, где я, бывало, занимался своими повествованиями, и не узнают, что я лежу по соседству, но все-таки вблизи их, вблизи дортуара, который больше не мог приютить меня, я буду чувствовать себя менее одиноким.

День выдался далеко не из легких, и я, поднимаясь к Блекгису, едва волочил ноги. Не сразу удалось мне отыскать Салемскую школу, но вскоре я все-таки нашел ее, нашел и стог сена в углу. Предварительно обойдя все кругом и убедившись, что всюду темно, я забился в сено. Никогда не забуду, каким одиноким почувствовал я себя, впервые проводя ночь под открытым небом.

Но я заснул, как заснула в эту ночь масса бесприютных, от которых запирали двери в домах и на которых лаяли цепные собаки. И снилось мне, что я лежу на моей бывшей кровати в дортуаре и разговариваю с мальчиками. Вдруг я просыпаюсь в возбужденном состоянии, произнося имя Стирфорта, и чувствую, что сижу на сене, и дико озираясь, гляжу на ярко мерцающие надо мной звезды. Наконец, вспомнив, где я нахожусь в такой неурочной час, я, испугавшись сам не зная чего, вскакиваю и принимаюсь ходить взад и вперед. Но вот звезды бледнеют, занимается заря, и я, успокоенный приближением дня, страшно усталый, бросаюсь на сено и сейчас же засыпаю. Хотя во сне я и чувствую холод, но продолжаю спать до тех пор, пока меня не будят горячие лучи солнца и утренний звон школьного колокола. Если б я мог надеяться, что Стирфорт еще здесь, я непременно забился бы в какой-нибудь уголок и уллучил бы минуту, чтобы повидаться с ним наедине. Но я знал, что он давно должен был окончить школу. Трэдльс, может, и был еще здесь, но, очень ценя его сердечную доброту, я в то же время боялся, что он невольно может проговориться и выдать меня. И вот, в то время как ученики мистера Крикля стали подниматься со своих постелей, я потихоньку выбрался из школьной

усадыбы и поплелся по пыльной дороге, которая, как я узнал еще в школе, вела в Дувр.

Утро было воскресное, гудели колокола, и окрестные жители шли в церковь. Как мало это утро напоминало воскресные утра, проводимые мною когда-то в Ярмуте!..

В этот день я прошел по большой дороге целых двадцать три мили. Это было очень нелегко при моей непривычке к ходьбе. Как сейчас вижу себя поздно вечером, истомленным, с избитыми ногами, проходящим через Рочестерский мост. Едва волоча ноги, я на ходу ужинаю купленным ломтем хлеба. Соблазняли меня вывески на некоторых домиках: «Здесь имеется помещение для путешественников», но я боялся потратить на такой ночлег последние пенсы. С другой стороны, меня, пожалуй, еще больше пугали злобные взгляды бродяг, которых немало встречалось по дороге. Поэтому-то я искал не крова, а удобного местечка под небесным сводом. С трудом дотащившись до Четема (он ночью представлял собой какое-то фантастическое скопление выбеленных зданий, подъемных мостов, оснащенных судов, похожих на ноев ковчег и стоящих у тинистых берегов реки), я проскользнул на батарейный вал, поросший густой травой, и улегся здесь подле пушки. Наверху по дорожке ходил взад и вперед часовой. Радуюсь близости этого часового, который, конечно, так же мало, как и накануне мальчики в школе, подозревал о моем присутствии, я крепко заснул и проспал до утра.

Проснувшись, я почувствовал, что совершенно разбит и особенно ноют распухшие ноги. Когда я стал спускаться к длинной узкой улице, я совершенно растерялся от громкого барабанного боя и движения войск, — они, казалось, собирались оцепить меня со всех сторон. Чувствуя, что если я хочу приберечь силы, чтобы добраться до конца моего путешествия, то в этот день мне надо пройти очень немного, я решил первым делом заняться продажей своей куртки. Я сейчас же снял эту самую куртку, чтобы привыкнуть обходиться без нее, и неся ее подмышкой, стал разыскивать лавки старьевщиков.

Четем оказался местом очень благоприятным для продажи куртки, ибо он изобиловал лавками подержанных вещей. Торговцы большей частью стояли у дверей, высматривая клиента; но так как у большинства из них среди товара были офицерские мундиры, эполеты и тому подобное, то я, видя, что они торгуют такими ценными

вещами, долго бродил, не осмеливаясь предложить им свой товар. Скромность заставила меня искать старьевщика вроде мистера Делобая. Наконец я натолкнулся на такую лавчонку, помещавшуюся на углу грязного переулка, в конце которого было огороженное место, густо заросшее крапивой. На ограде развевалась, очевидно не вместились в лавчонке, поношенная матросская одежда. Тут же валялись морские койки, заржавленные ружья, клеенчатые шляпы, а на лотках навалено было столько всевозможных заржавленных ключей, что ими, казалось, можно было открыть все замки на свете.

Вот в эту-то лавчонку, низкую и маленькую, скорее затемненную, чем освещенную оконцем, завешенным старой одеждой, я и вошел с бьющимся сердцем, спустившись по нескольким ступенькам, Нельзя сказать, чтобы я почувствовал себя много лучше, когда из грязного логовища, находившегося позади лавчонки, выскочил безобразный старикашка со щетинистой седой бородой и вцепился мне в волосы. От этого страшного старика в грязной фланелевой фуфайке ужасно несло ромом.

— Что здесь вам нужно? — крикнул свирепым голосом старик. — О, глаза мои, кости мои! — начал он причитывать. Что же вам нужно? О, легкие мои, печенка моя! Что же вам нужно, чорт вас побори! О! Гр-р-р... гр-р-р...

Меня так смутили его бессвязные слова, а особенно страшные гортанные звуки, что я не в силах был отвечать.

Тут старик, продолжая держать меня за волосы, еще раз повторил все свои бессмыслицы и горловое клокотанье, проделывая все это с такой энергией, что, казалось, глаза его готовы были выскочить из орбит.

Наконец, собравшись с духом, но продолжая дрожать всем телом, я пробормотал:

— Я хотел спросить вас, сэ, не купите ли вы мою куртку?

— О! Покажите-ка эту куртку! — закричал старик. — Ох, сердце мое все в огне! Покажите же куртку, чорт вас побори! Подайте ее сюда!

Крича это, он выпустил мои волосы из своей костлявой руки, напоминающей когтистую лапу большой птицы, и напялил на свои воспаленные глаза безобразные очки.

Осмотрев куртку, он крикнул:

— А сколько хотите за нее? Гр-р-р... Сколько? Сколько?

— Полкроны, — ответил я, несколько приходя в себя.

— Ох, легкие мои, печенка моя! — закричал старикашка. — Нет! Ох, глаза мои! О, косточки мои! Нет! Восемнадцать пенсов. Гр-р-р-р... гр-р-р...

Каждый раз, когда он испускал эти клокочущие звуки, глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит.

— Ну, хорошо, — сказал я, желая закончить эту сделку, — я согласен на восемнадцать пенсов.

— Ох, печенка моя! — орал старик, бросая куртку к себе на полку. — Убирайтесь из лавки! Слышите, убирайтесь! Гр-р-р-р... Только денег не требуйте. Давайте-ка меняться.

Кажется, никогда в жизни ни до этого, ни потом я не был так перепуган; тем не менее я осмелился сказать старику, что мне необходимы деньги и ничего в обмен на свою куртку взять я не могу. Плату же, если ему угодно, я подожду на улице и торопить его не стану.

Сказав это, я вышел из лавчонки, уселся в уголок в тени и просидел здесь столько часов, что тень сменилась солнечными лучами, а те, в свою очередь, уступили место тени. Терпеливо сидел я, все ожидая, что мне заплатят.

Сомневаюсь, чтобы вообще среди старьевщиков нашелся другой такой сумасшедший пьяница. Я вскоре узнал, что старик этот был хорошо известен всему околотку и про него шла молва, будто он продал свою душу дьяволу. Я понял это из выкриков мальчишек, которые то и дело толкались вокруг лавчонки и, дразня старика, все требовали, чтобы он показал им золото, полученное от сатаны.

— Не прикидывайтесь, Чарли, бедняком! — вопили они. — Мы хорошо знаем, что вы всё врете. Тащите-ка сюда золото, Чарли! Нам ведь известно, что оно зашито у вас в тьюфяке. Распорите его и дайте нам хоть немножко этого дьявольского золота! Не дать ли вам кстати пенс? А?

Все это приводило старика в такое бешенство, что он время от времени бросался из лавчонки на мальчишек, а те моментально улепетывали от него. Несколько раз, ослепленный бешенством, он принимал меня за одного из этих мальчишек и так начинал орать, что, казалось, готов был разорвать меня в клочки. Но, во время заметив

свою ошибку, он уходил в лавчонку, повидимому, ложился в своем логовище и там начинал завывать что-то вроде песни о смерти Нельсона. К довершению всех моих бед, мальчишки, видя, как я, полураздетый, терпеливо сижу у дверей лавчонки, вообразили, что я поступил к Чарли в услужение, и потому стали швырять в меня камнями и всячески обижать.

В течение дня старик много раз пытался убедить меня пойти на мену. Он выносил мне из лавчонки то удочку, то скрипку, то треуголку, то флейту, но от всего этого я упорно отказывался и продолжал сидеть, в отчаянии умоляя старика при каждом его появлении, отдать мне деньги или куртку. Наконец он начал уплачивать мне, но делал это полупенсами, так что в течение двух часов мне удалось от него получить не больше одного шиллинга.

— Ох, глаза мои! Ох, кости! — снова начал выкрикивать ужасный старик, высовываясь из лавки после довольно продолжительного перерыва.

— Что, вы уберетесь, если я дам вам еще два пенса? — крикнул он.

— Не могу этого сделать, — ответил я, — ибо умру от голода.

— Ох, легкие мои! Ох, печенка моя!.. А провалитесь вы, получив три пенса? — снова кричал старик.

— Я и так ушел бы, если б это было возможно, — отвечал я, — но мне ужасно нужны деньги.

— О, гр-р-р-р... — проклокотал старик. — А что, с четырьмя уйдете?

Я был до того измучен, до того ослабел, что согласился на это предложение, и, взяв, дрожа, эти злополучные деньги из его костлявой лапы, я ушел от него незадолго до заката солнца. Мне так хотелось есть, так хотелось пить, как никогда в жизни. Истратив три пенса, я вскоре подкрепился настолько, что, прихрамывая, смог пройти в тот вечер еще семь миль.

Ночь эту я опять очень недурно провел под стогом сена. Перед тем как лечь, я вымыл в ручье покрытые волдырями ноги и обложил их свежими листьями. Выйдя на следующее утро на дорогу, я увидел, что она идет среди фруктовых садов и зарослей хмеля. Приближалась осень, и в садах ветви деревьев гнулись под тяжестью созревших яблок, в некоторых местах уже начали собирать хмель. Все кругом

мне очень нравилось, и я даже мечтал следующую ночь проспать в хмелевых зарослях: мне казалось, что среди жердей, грациозно увитых хмелем, я, словно в обществе товарищей, не буду чувствовать себя таким одиноким.

Встречные бродяги в этот день были как-то особенно неприятны и внушали мне такой страх, который я и до сих пор не в силах забыть. Некоторые из них были совсем зверского вида. Проходя мимо, они с изумлением пялили на меня глаза. Случалось даже, что кое-кто из них останавливался и кричал мне, чтобы я вернулся побеседовать с ним, а когда я от него удибал, то он бросал мне вслед камни. Особенно запомнился мне один молодой парень, должно быть — лудильщик, судя по жаровне, торчавшей из его дорожной сумки. Вместе с ним шла какая-то женщина. Внимательно осмотрев меня с ног до головы, лудильщик так заорал, чтобы я к нему подошел, что я остановился и стал оглядываться кругом.

— Да идите же сюда, раз вас зовут, — опять крикнул парень, — а не то я сейчас же распотрошу вам брюхо!

Я решил, что благоразумнее вернуться. Подходя со смиренным видом к лудильщику, — этим я думал умилоствить его, — я заметил, что у его спутницы подбит глаз.

— Куда идете? — спросил лудильщик, схватив меня закопченной своей рукой за ворот сорочки.

— Иду в Дувр, — пролепетал я.

— Откуда? — продолжал допрашивать лудильщик, еще крепче закручивая сорочку, для того чтобы я не смог от него вырваться.

— Из Лондона, — ответил я.

— Кто вы такой? Воришка, что-ли?

— Н-ет, — пробормотал я.

— Нет, чертенок?! Так знайте: начните только хвалиться своей честностью, я вас тут же убью на месте! — проговорил со свирепым видом лудильщик, грозя мне свободным кулаком и оглядывая меня с ног до головы. — Скажите, есть у вас деньги на полпинты пива? — спросил он, — Коли есть, так гоните сюда, пока я их сам не взял!

Тут я, конечно, отдал бы ему последние свои гроши, если бы не увидел, что женщина, глядя на меня, отрицательно качает головой и беззвучно, одними губами говорит: «Нет».

— Я очень беден, — сказал я, сиюсь улыбнуться, — у меня нет денег.

— А это что значит? — промолвил лудильщик, так свирепо смотря на меня, что я испугался, не видит ли он уж в моем кармане денег.

— Сэр... — пролепетал я.

— Это что значит? — повторил лудильщик. — На вас шелковый платок моего брата! Давайте-ка его сюда!

И он в один миг сорвал у меня с шеи платок и бросил его женщине. Та расхохоталась, как бы принимая это за шутку, и, бросив платок опять мне, снова кивнула головой и, беззвучно шевеля губами, сказала: «Уходите».

Не успел я последовать ее совету, как лудильщик с такой силой вырвал у меня платок, что я отлетел в сторону, словно перышко; затем, набросив этот платок себе на шею, он с бранью повернулся к женщине и кулаком сшиб ее с ног. Никогда не забуду я, как она свалилась навзничь и неподвижно лежала на каменистой дороге. Шляпка слетела с ее головы, а волосы стали серыми от пыли; не забуду, как, отойдя, я обернулся и увидел, что она сидит вблизи дороги на тропинке и обтирает концом шали кровь с лица, в то время как лудильщик преспокойно шествует своей дорогой.

Это приключение так напугало меня, что потом, когда мне попадался навстречу кто-нибудь из людей подобного рода, я, завидев его издали, сворачивал в сторону и ждал, пока подозрительный прохожий не пройдет подальше. Это случалось так часто, что даже замедляло мое продвижение к Дувру.

Наконец, на шестой день своих странствований я добрался до Дувра. Но удивительная вещь! Когда я, в своих изорванных ботинках, весь в пыли, загорелый, полуодетый очутился в том месте, куда так стремился, я почувствовал себя страшно беспомощным и очень удрученным.

Сперва я стал разузнавать о бабушке у лодочников и получал от них самые разнообразные ответы, Один сказал мне, что бабушка живет на маяке южного мыса и что там она по неосторожности опалила себе бакенбарды. Другой утверждал, что ее вывезли за рейд^[34] и прицепили к бакену^[35] у фарватера, где ее можно навещать только между приливом и отливом, Третий рассказывал, что она крада

детей и за это посажена в Медстонскую тюрьму. Четвертый же дошел до того, что уверял, будто во время последней бури бабушка села на метлу и умчалась по направлению к Кале. Легковые извозчики, у которых я затем стал спрашивать, оказались такими же шутниками и грубиянами. А лавочники даже и выслушать меня не желали (очевидно, принимая меня за нищего), а равнодушно говорили: «Ничего нет...»

Тут я почувствовал себя в еще более плачевном положении и более одиноким, чем во все время своих странствований. Все деньги у меня вышли, продавать больше было нечего. Меня мучили голод и жажда, я выбился совсем из сил, и мне казалось, что я был так же далек от своей цели, как если бы оставался в Лондоне. Все утро прошло в этих расспросах, и вот я сидел на крылечке какой-то пустой лавки близ рынка и ломал себе голову над тем, как мне добраться до других мест, о которых в своем письме также упоминала Пиготти, когда вдруг проезжавший мимо легкой извозчик уронил попону; я тотчас же подобрал ее и подал извозчику. Лицо его показалось мне настолько добродушным, что я решился спросить его, не может ли он мне сказать, где живет мисс Тротвуд.

— Тротвуд? — повторил он. — Подождите, фамилия эта мне как будто знакома... Старая леди, да?

— Да, — ответил я, — довольно старая.

— А держится она так прямо? — спросил извозчик, сам выпрямляясь на козлах.

— Да, — подтвердил я, — кажется, что так она держится.

— С нею еще всегда неразлучная большущая сумка, — продолжал описание извозчик, — а сама такая хмурая, и кажется, что вот-вот набросится на вас.

Сердце мое замерло, — я понял, что это была именно бабушка.

— Ну, так вот что я вам скажу, — начал извозчик: — ступайте вон туда, — при этом он бичом указал на холмы. — Идите все прямо и прямо, покуда не дойдете до тех домов, что стоят у самого моря. Там, мне кажется, вы услышите о ней. Навряд только она что-нибудь подаст вам. Вот возьмите хоть одно пенни.

Я с благодарностью принял этот дар и купил на него себе хлеба. Уписывая его за обе щеки, я пошел по направлению, указанному мне случайным другом. Мне пришлось пройти довольно много, прежде

чем я увидел дома, о которых он говорил. Подойдя поближе, я вошел в мелочную лавку и спросил, не могут ли мне сказать, где живет мисс Тротвуд. С этим вопросом я обратился к мужчине, который, стоя за прилавком, отвечивал рис какой-то молоденькой девушке. Девушка эта, вообразив, что я спрашиваю ее, быстро повернулась ко мне.

— Вы о моей хозяйке? — проговорила она. — А зачем она вам нужна, мальчик?

— Если позволите, я хотел бы поговорить с ней, — ответил я.

— Вы, верно, просить у нее что-нибудь хотите? — допрашивала меня девушка.

— Нет, право, нет, — сказал я. Но, вдруг вспомнив, что на самом деле я шел к бабушке именно за помощью, я в смущении замолчал и почувствовал, что страшно краснею.

Девушка, которая, судя по ее словам, служила у бабушки, положила рис в маленькую корзинку и вышла из лавки, сказав мне, что если я хочу знать, где живет мисс Тротвуд, то могу идти за ней. Мне этого не нужно было говорить дважды, хотя в это время я и был так смущен и взволнован, что еле держался на ногах. Я пошел за девушкой, и мы скоро подошли к хорошенькому домику с веселыми венецианскими окнами. Перед домиком был маленький, усыпанный гравием дворик, посреди которого виднелся прекрасный цветник. Запах от него шел чудесный, и содержался он в большом порядке.

— Вот это дом мисс Тротвуд, — промолвила девушка, — теперь вы знаете его, и это все, что я могу вам сказать.

С этими словами она вбежала в дом, как бы желая снять с себя всякую ответственность за мое появление. Я остался один у калитки сада и грустно глядел поверх нее на окно гостиной, где кисейная занавеска была немного раздвинута посредине. Большой круглый зеленый экран, прикрепленный к подоконнику, и маленький столик, перед которым стояло большое кресло, навели меня на мысль, что в эту самую минуту бабушка, быть может, грозно восседает именно в этом кресле.

Башмаки мои пришли в самое плачевное состояние: подметки совсем отвалились, а верх потрескался, так что они потеряли даже вид обуви. Шляпа моя, служившая мне в дороге ночным колпаком, до того измялась и погнулась, что самая изломанная кастрюля, валяющаяся в сорном ящике, конечно, не устыдилась бы соседства с ней. Мои

панталоны и сорочка, испачканные потом, росой, травой и кентской землей, на которой я ночевал, были, к тому же, так изодраны, что, стоя у калитки бабушкиного палисадника, я вполне мог изображать пугало для птиц. Волосы мои не знали ни гребня, ни щетки с тех пор, как я покинул Лондон. Лицо, руки и шея так загорели от непривычного постоянного пребывания на воздухе и солнце, что стали красно-коричневого цвета. С головы до ног я был покрыт белой известковой пылью, словно только что вылез из печи для обжига извести. И вот в таком виде, прекрасно сознавая то неблагоприятное впечатление, какое должен был я произвести на мою грозную бабушку, я собирался представиться ей.

Так как в гостиной царил полнейшая тишина, то я из этого заключил, что бабушки там не было, и через некоторое время поднял глаза к окну верхнего этажа. В нем я увидел седого, цветущего, очень приятного на вид джентльмена. Прищурился самым потешным образом один глаз, он быстро кивнул мне несколько раз головой, а затем, засмеявшись, отошел от окна. Я и до этого был очень растерян, а тут странное поведение старого джентльмена до того смутило меня, что я было совсем собрался удрать, чтобы обдумать, как мне быть дальше, когда из дома вышла леди в чепчике, поверх которого был повязан еще платок. На ней были садовые перчатки, а в руках она держала нечто, напоминающее сумку сборщика податей, и большущий садовый нож. Я сейчас же догадался, что это мисс Бетси, ибо, выйдя из дома, она так же величественно выступала, как тогда, когда, по рассказам матушки, шла через сад к нашему дому в «Грачах».

— Убирайтесь отсюда! — закричала она, тряся головой и помахая в воздухе ножом. — Прочь отсюда! Мальчишкам здесь не место!

Сердце мое рвалось наружу, когда я следил глазами за проходившей бабушкой. Она остановилась в углу и стала выкапывать какой-то корешок. А я, совсем упав духом, в полном отчаянии тихонько подошел к ней и слегка дотронулся до нее пальцем.

— Мэм, пожалуйста... — пролепетал я.

Она вздрогнула и посмотрела на меня снизу вверх.

— Пожалуйста, бабушка...

— Ого! — воскликнула мисс Бетси с невыразимым удивлением.

— Простите, бабушка, — я ваш внук.

— Господи ты боже мой! — воскликнула мисс Бетси да так и присела на дорожку.

— Я Давид Копперфильд из Блондерстона в Суффолке, где вы были в ту ночь, когда я родился, и видели мою дорогую мамочку. С тех пор как она умерла, я очень несчастлив. Меня совсем забросили, ничему не учили и отправили в Лондон. Я там жил совсем один и работал, но моя работа была совсем не по мне. Вот я и убежал к вам. В самом начале пути меня обокрали, я всю дорогу шел пешком и за время моего пути ни разу не ложился в постель.

Тут самообладание вдруг покинуло меня, и я, подняв руки, чтобы показать ей, какой я оборванный и сколько вынес, зарыдал навзрыд... Должно быть, слезы эти накопились у меня за целую неделю.

Все время, пока я рассказывал, бабушка, сидя на песке, с выражением какого угодно чувства, кроме удивления, совершенно не свойственного ей, смотрела на меня, но, когда я разрыдался, она поспешно поднялась, схватила меня за шиворот и потащила в гостиную. Здесь она начала с того, что открыла большой шкаф, достала оттуда несколько бутылок и понемногу стала вливать из каждой из них мне в рот. Думаю, что бутылки ли она хватала наугад, ибо мне живо помнится вкус анисовой воды, анчоусного соуса и подливки для салата, Заставив меня проглотить все эти «укрепляющие» средства, но видя, что тем не менее она не может справиться с моими истерическими рыданиями, бабушка уложила меня на диван, подложила мне под голову свою шаль, а под ноги, чтобы я не испачкал обивку, платок с своей головы. Затем сама она уселась о кресло и, закрывшись экраном, выпалила, словно стреляя из небольшого ружья, что-то вроде «господи, помилуй».

Через некоторое время бабушка позвонила.

— Дженет, — сказала она служанке, когда та появилась на ее звонок, поднимитесь наверх, передайте от меня привет мистеру Дику и скажите, что я хочу с ним поговорить.

Дженет, повидимому, удивилась, заметив, как неподвижно лежу я (боясь, что это будет неприятно бабушке, я не смел пошевелинуться), по сейчас же пошла исполнить данное ей приказание.

Бабушка, заложив руки за спину, принялась ходить взад и вперед по комнате, пока не появился, смеясь, тот самый старейший джентльмен,

который так потешно шурил глаза, глядя на меня из окна верхнего этажа.

— Ну, мистер Дик, — обратилась к нему бабушка, — не валяйте дурака. Все мы прекрасно знаем, что если вы только захотите, вы можете рассуждать очень умно. Так повторяю — не валяйте же дурака.

Мгновенно лицо джентльмена стало серьезным, и он взглянул на меня так, словно молил не проговориться относительно того, что он выделывал у окна.

— Мистер Дик, — продолжала бабушка, — вы слышали от меня, конечно, о Давиде Копперфильде?.. Не вздумайте говорить, что вы не помните, — ведь мы оба с вами знаем, что у вас прекрасная память.

— О Давиде Копперфильде? — повторил мистер Дик. (У него, мне показалось, не было особенно ясных воспоминаний на этот счет.) — О Давиде Копперфильде... Да, да, конечно, о Давиде...

— Ну, так вот это его мальчик — его сын, — промолвила бабушка. — Он был бы весь в отца, не будь он так похож на свою мать.

— Так это его сын? — опять переспросил мистер Дик. — Сын того самого Давида? Вот как!

— Да, — подтвердила бабушка. — И выкинул он ловкую штучку: взял, да и убежал. Конечно, его сестра Бетси Тротвуд никогда не убежала бы.

Тут бабушка энергично тряхнула головой, очевидно твердо уверенная и в характере и в прекрасном поведении никогда не рождавшейся на свет девочки.

— А-а! Так вы думаете, что она не убежала бы? — спросил мистер Дик.

— Господь с вами! — с возмущением воскликнула бабушка. — Что только вы несете! Да разве может быть даже малейшее сомнение в этом? Она жила бы со своей крестной, и жили бы мы с ней душа в душу. Ну, скажите ради бога, куда и к кому могла бы сбежать его сестра Бетси Тротвуд?

— Никуда, — согласился мистер Дик.

— То-то же! — продолжала бабушка, смягченная этим ответом. — Но зачем же, Дик, вы притворяетесь дурачком, когда ваш ум так же остер, как ланцет хирурга? Итак, вы видите теперь перед

собой юного Давида Копперфильда, и я спрашиваю вас, что мне с ним делать?

— Что с ним делать? — тихо переспросил мистер Дик, почесывая себе голову. — Что с ним делать?

— Да, — проговорила бабушка, с важным видом, подняв указательный палец. — Отвечайте, мистер Дик! Мне нужен хороший, основательный совет.

— Что же, будь я на вашем месте, я бы... — начал мистер Дик, задумчиво и вместе с тем как-то рассеянно глядя на меня; тут вид мой словно натолкнул его на какую-то мысль. — Я бы вымыл его, — докончил он.

— Дженет! — окликнула бабушка служанку, оборачиваясь к ней с выражением спокойного торжества на лице (тогда оно было для меня еще непонятно). — Мистер Дик разрешил все наши недоразумения: приготовьте ванну.

Как ни был я заинтересован этим разговором, но все-таки не мог в то же время не рассматривать бабушку, мистера Дика, Дженет и даже самую комнату. Бабушка была леди высокого роста, с резкими, но правильными чертами лица. В ее лице, голосе, походке, манере себя держать было столько непреклонности и непоколебимости, что этого было больше чем достаточно, чтобы в свое время угнетающим образом подействовать на такое кроткое существо, каким была матушка. Но, несмотря на эту непреклонность и суровость, лицо бабушки было скорее красиво, чем некрасиво. Особенно обратил я внимание на ее быстрые, ясные глаза. Седые ее волосы были расчесаны на пробор, и она носила чепец, который завязывался под подбородком. На ней было хорошо сшитое просторное платье синевато-серого цвета, напоминавшее костюм для верховой езды. У пояса бабушки висели на толстой золотой цепочке с брелоками золотые часы, судя по величине — мужские. Дополняли ее туалет воротничок и манжеты мужского фасона.

Мистер Дик, как я уже упоминал, был седой джентльмен с цветущим лицом. На этом, пожалуй, можно было бы закончить описание его внешности, не будь у него странной манеры держать голову опущенной; причем это вызывалось не старостью, а скорее напоминало мне кого-нибудь из учеников мистера Крикля после произведенной над ним экзекуции. Глаза у него были большие, серые,

навыкاته. Какой-то водянистый блеск этих глаз, неопределенность взгляда и его покорность бабушке, та детская радость, с которой он принимал ее похвалы, навели меня на мысль, что он не совсем в своем уме. Но если действительно было так, то спрашивается, почему же он здесь? Одет он был обыкновенно: на нем был широкий серый сюртук, такого же цвета жилет и белые панталоны. У него тоже были часы, а в карманах всегда водились деньги, которыми он имел обыкновение побрякивать, точно хвастаясь ими.

Дженет была прехорошенькой, цветущей, очень опрятной девушкой лет девятнадцати или двадцати. В первую минуту я ничего больше не заметил в ней, но в последствии узнал, что она была одной из многочисленных покровительствуемых бабушкой девушек, которых та брала к себе в дом в услужение, стремясь внушить им ненависть к мужскому полу. Но, увы, ее проповедь завершалась обыкновенно тем, что юная девица выходила замуж за какого-нибудь булочника.

Гостиная была так же опрятна, как сама бабушка и Дженет. Стоило мне сейчас, думая об этой комнате, положить перо, как на меня вдруг пахнуло морским воздухом, смешанным с чудесным запахом цветов. И вижу я перед собой старомодную мебель, так прекрасно вычищенную и отполированную, что на ней не найти и пылинки; у венецианского окна, возле зеленого экрана, стоят неприкосновенное бабушкино кресло и столик; вот ковер, устланный грубой дорожкой; вот кошка, две канарейки, чайник, старинный фарфор, чаша для пунша, полная сухих лепестков роз, большой шкаф, набитый всякими банками и бутылками. И среди всего этого вижу я себя, запыленного, лежащего на диване, удивительно не гармонирующего с окружающей обстановкой.

Дженет только что ушла готовить ванну, как бабушка, почти оцепенев от негодования, едва смогла прокричать: «Дженет, ослы!» Я, признаться, был очень этим перепуган.

Услышав бабушкин крик, Дженет стремглав, словно дом загорелся, бросилась по лестнице и, выскочив на зеленую лужайку у палисадника, отогнала оттуда двух верховых ослов. На них восседали леди, осмелившиеся осквернить копытами своих ослов свежую траву лужайки. Тем временем бабушка тоже выбежала из дому. Схватив за уздечку третьего осла, на котором сидел мальчуган, она вывела его за пределы священной лужайки и тут же выдрала за уши злосчастного

юнца-погонщика, отважившегося привести ослов на ее заповедную землю.

Я до сих пор не знаю, имела ли бабушка какие-нибудь законные права на эту самую лужайку, но она решила, что лужайка принадлежит ей, и этого было совершенно достаточно. Появление на ней ослов было для бабушки личной обидой, требующей немедленного возмездия. Чем бы она ни занималась, каким бы разговором она ни была увлечена, стоило появиться какому-нибудь ослу — и все в один миг забывалось, и она моментально набрасывалась на него. Кувшины с водой и полные лейки держались в потайных местах, чтобы немедленно окатить водой мальчишек-правонарушителей. За дверьми были спрятаны палки, пускаемые в ход во время вылазок на лужайку, повторявшихся ежечасно. Война эта с осликами и погонщиками продолжалась непрерывно. Очень может быть, что это доставляло развлечение мальчишкам-погонщикам, возможно также, что наиболее сметливые из ослов, поняв, в чем тут дело, находили известное удовлетворение в проявлении своего упрямства. Знаю только, что, пока поспела ванна, таких тревог было три. Во время последней, и самой отчаянной из них, бабушка вступила в бой с белокрысым малым лет пятнадцати, и только когда она стукнула его песочного цвета голову о свою калитку, мальчик сообразил, в чем дело. Тревоги эти были тем более потешны, что в это время бабушка кормила меня с ложки бульоном. Она была убеждена, что я умираю от голода и потому должен вначале принимать пищу в самых небольших дозах. И вот, я только открою рот, чтобы проглотить бульон, как она, швырнув ложку в мисочку, кричит: «Дженет, ослы!» — и бросается в бой.

Ванна для меня была большим благом, ибо благодаря ночевкам под открытым небом я начинал чувствовать острые боли во всем теле и был так переутомлен и подавлен, что меня все время неудержимо клонило ко сну. Когда я выкупался, бабушка с Дженет облекли меня в сорочку и панталоны мистера Дика и закутали в две или три большие шали. На что я был похож, уж, по правде сказать, не знаю, но тепло мне было чрезвычайно. Все так же чувствуя себя очень утомленным и сонным, я вскоре опять улегся на диван и заснул. Было ли это во сне, или наяву, но я проснулся под впечатлением того, что бабушка наклоняется надо мной, поправляет мне волосы, упавшие на лицо,

поудобнее укладывает мне голову, а потом стоит и смотрит на меня. Мне также почудилось, будто бабушка шепчет что-то вроде «хорошенький мальчик» или «бедный мальчик». Однако, когда я проснулся, ничто не подтверждало того, что слова эти бабушка произнесла наяву: она сидела у венецианского окна в своем кресле подле экрана, легко поворачивающегося на стержне, и глядела на море.

Вскоре после того, как я проснулся, мы пообедали, — была, помню, жареная курица и пудинг. Сидя за столом, я сам походил на какую-то связанную птицу и с трудом шевелил руками. Но так как бабушка сама закутала меня, то я уж не жаловался на неудобство. Все это время, помнится, меня чрезвычайно беспокоила мысль, что именно решила бабушка делать со мной; но она обедала в глубочайшем молчании, и только когда глаза ее случайно останавливались на мне, она произносила: «Господи, помилуй нас», что, конечно, отнюдь не могло успокоить меня.

После того как была убрана скатерть и появилась бутылка хереса^[36] (я тоже получил рюмочку), бабушка снова послала за мистером Диком. Он вскоре присоединился к нам, и, когда бабушка пригласила его выслушать рассказ о моих похождениях (часть их она уже знала от меня раньше), старик постарался, насколько был в силах, принять умный вид.

Пока я рассказывал, бабушка не сводила глаз с мистера Дика, — без этого, я уверен, он непременно заснул бы, — и каждый раз, когда он порывался улыбнуться, бабушка останавливала его недовольным движением бровей.

— Не могу понять, что заставило это бедное, злополучное дитя выкинуть такую штуку — вторично выйти замуж, — промолвила бабушка, когда я окончил свой рассказ.

— Быть может, она влюбилась в своего второго мужа, — сделал предположение мистер Дик.

— Влюбилась? — повторила бабушка. — Что вы хотите этим сказать? Какая ей была надобность влюбляться?

— А быть может, — подумав немного, сказал, глупо улыбаясь, мистер Дик, — это ей доставило удовольствие.

— Нечего сказать, удовольствие! — отозвалась бабушка. — Действительно, великое удовольствие для бедной девочки беззаветно

отдаться негодяю-мужчине, который неминуемо так или иначе должен был обижать ее. Хотела бы я знать, что могла она ждать от этого? Она раз уже была замужем и похоронила Давида Копперфильда, который чуть не с пеленок бегал за «восковыми куклами». У нее родился ребенок... Да, в ту ночь в пятницу, когда родился этот ребенок, который теперь сидит здесь, было, в сущности, двое детей... Спрашивается, чего еще ей было хотеть?

Тут мистер Дик украдкой кивнул мне, как бы желая сказать, что он не в состоянии на это ответить.

— Она даже не сумела родить ребенка такого, какого следовало бы, — продолжала бабушка. — Куда только девалась сестра этого мальчика, Бетси Тротвуд? Так она и не родилась... Ах, не говорите мне об этом!..

Мистер Дик, казалось, совсем перепугался.

— А этот маленький докторишка с головой набок, — Желинс или как там его звали, — продолжала бабушка, — он только и мог, воркуя, как реполов, все повторять: «Это мальчик, что мальчик». Ну и идиоты же все эти мужчины!

Энергия, с которой проговорила бабушка эту последнюю фразу, испугала не только мистера Дика, но, сказать по правде, и меня тоже.

— И как будто еще было мало, что она не дала появиться на свет сестре этого мальчика, Бетси Тротвуд, — прибавила бабушка, — так она, видите ли, еще второй раз выходит замуж, и за кого же?... за какого-то Мордера!..^[37] и этим совершенно отравляет жизнь своему сыну. И всякий, кроме такого младенца, каким была она, мог предвидеть, что мальчик ее сделается беспризорным бродягой и, не выросши, уже станет Каином^[38].

Мистер Дик пристально посмотрел на меня, как бы желая убедиться, действительно ли я похож на Каина.

— И у них там была еще женщина с языческим именем. Так вот эта самая Пиготтти, видите ли, также не находит ничего лучшего сделать, как, и свою очередь, выйти замуж, как будто у нее на глазах не было красноречивого примера, сколько зла получается всегда из-за замужества. Так нет же! Ей нужно было, как рассказывает мальчик, и самой сделать такую же глупость. Хочу надеяться, что ее супруг окажется одним из тех милых муженьков, которые колотят своих жен кочергой. О таких часто пишут в газетах.

Я не мог вынести, чтобы так говорили о моей любимой няне да, к тому же, еще делали на ее счет подобные пожелания, и потому я тут же стал уверять бабушку, что она совершенно заблуждается относительно Пиготти и что на свете нет лучше, искреннее, вернее, преданнее и самоотверженнее друга и слуги, чем моя бывшая няня. Я рассказав бабушке, как Пиготти всегда горячо любила нас с матушкой, как матушка перед смертью с благодарностью поцеловала ее и умерла у нее на руках. Я хотел еще прибавить, что смотрю на дом Пиготти, как на свой собственный, что все ее — мое и что я только потому не пошел к ней, что, зная ее материальное положение, боялся обременить собой... Но я не был в силах докончить того, что порывался сказать, и, закрыв лицо руками, опустил голову на стол.

— Ну, хорошо, — промолвила бабушка, — мальчик прав, что заступает за своих близких... Дженет! Ослы!..

Я совершенно уверен, что не будь этих злополучных ослов, мы с бабушкой тогда же сблизились бы, так как она положила свою руку на мое плечо, и я тут так расхрабрился, что мне захотелось броситься ей на шею и просить ее покровительства. И вот, эти ослы и бабушкино возбужденное состояние после схватки на лужайке на время отодвинули все нежные чувства. Бабушка до самого чая, не переставая, с негодованием говорила мистеру Дику о том, что намерена обратиться к отечественным законам и предъявить судебные иски ко всем дуврским владельцам ослов.

После чая мы сидели у окна, очевидно ожидая новых вражеских нападений, (так, по крайней мере, мне казалось по суровому выражению лица бабушки). С наступлением сумерек Дженет опустила шторы, зажгла свечи и поставила на стол доску для игры в трик-трак^[39].

— А теперь, мистер Дик, — проговорила бабушка с важным видом и с поднятым снова вверх указательным пальцем, — я хочу обратиться к вам еще за одним советом. Взгляните на этого ребенка.

— Сына Давида? — спросил мистер Дик, внимательно и вместе с тем с недоумением глядя на бабушку.

— Именно, — ответила она. — Скажите, что бы вы сделали теперь с ним?

— С сыном Давида? — переспросил мистер Дик.

— Да, с сыном Давида.

— Гм, — промычал мистер Дик, — что бы я... Да я уложил бы его в постель.

— Дженет! — закричала бабушка с таким же торжествующим видом, какой я уже заметил у нее и раньше. — Мистер Дик всегда советует нам то, что надо. Если постель для мальчика готова, отведите его спать.

Как только Дженет доложила, что постель готова, меня сейчас же повели укладывать спать. Повели ласково, но всетаки как пленника: бабушка шла впереди, и Дженет замыкала шествие. Одно только обстоятельство пробудило во мне некоторые надежды: бабушка, остановившись на лестнице, спросила Дженет, отчего это пахнет гарью. Та ей ответила, что, сжигая мою сорочку, она приготовила из нее трут. Но в моей комнате не оказалось иной одежды, кроме той груды вещей, какая была на мне после ванны. Меня оставили с маленьким огарком, который, по словам бабушки, мог гореть ровно пять минут, и заперли мою дверь на ключ. Обдумывая все это, я решил, что бабушка, совершенно не зная меня, могла заподозрить, что я вообще склонен к бегству, и потому на всякий случай приняла свои меры, чтобы удержать меня. Комната, где меня уложили, была в верхнем этаже, с видом на море, залитое в это время лунным светом. Помню, после того как огарок погас, я, прочитав вечерние молитвы, долго еще сидел и смотрел на освещенное луной море, словно стремясь прочесть в нем, как в волшебной книге, свою судьбу. Помню затем, с каким благодарным, спокойным чувством смотрел я на свою кровать с белым пологом и как это благодарное чувство еще усилилось, когда я улегся, словно в гнездышко, на мягкую перину и укрылся белоснежной простыней. Помню, как тут рисовались передо мной все уголки, где я дорогой ночевал под открытым небом. Помню, как я молил бога, чтобы никогда больше не быть бесприютным и самому никогда не забывать о таких же бездомных. Помню, как мне все казалось, что я уношусь по этому великолепному, светящемуся в море лунному пути в какой-то мир грез...

Глава XIV

БАБУШКА РЕШАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ СО МНОЙ

На следующее утро, спустившись вниз, я застал бабушку за завтраком. Она сидела у стола, облокотилась на поднос, и так глубоко задумалась, что только мое появление заставило ее обратить внимание на то, что она забыла закрыть кран в сосуде для кипятка и кипятков, переполнив чайник, заливал скатерть. Для меня было ясно, что так задумалась она обо мне, и я более чем когда-либо жаждал узнать, что решила она относительно меня, но, боясь рассердить ее, я не смел и заикнуться об этом.

Глаза же мои, которыми владел я меньше, чем языком, невольно во время завтрака часто останавливались на бабушке. Я украдкой поглядывал на нее и всякий раз замечал, что и она смотрит на меня, причем смотрит каким-то странным, отсутствующим взглядом, словно я был за тысячу миль, а не сидел тут же подле нее за круглым столиком.

Кончив завтрак, бабушка неторопливо откинулась на спинку кресла, нахмурила брови, скрестила на груди руки и стала смотреть на меня так пристально, что я совершенно смутился. Так как в это время я еще не кончил завтрака, то постарался скрыть свое смущение, занявшись едой, но, увы, мой нож цеплялся за вилку, а вилка захватывала нож; куски ветчины, которые я резал, вместо того чтобы очутиться у меня во рту, подскакивали вверх и разлетались в стороны, а чай попадал не туда, куда следует, и я захлебывался им. Наконец я совсем сплеховал, бросил есть и пить и, все более и более смущаясь под пристальным взглядом бабушки, сидел весь красный.

— Ну, так вот... — проговорила бабушка после длительного молчания.

Я почтительно взглянул на нее, и мои глаза встретились с ее пронизательными, ясными глазами.

— ... я написала ему, — dokonчила бабушка.

— Кому?

— Вашему отчиму, — пояснила она — Я послала ему письмо, на которое он должен будет обратить внимание, а не то мы с ним посчитаемся, он может быть уверен в этом.

— Бабушка, он знает, где я? — в ужасе спросил я.

— Да, я сообщила ему об этом, — кивнув головой, ответила бабушка.

— Неужели... неужели... меня... отдадут ему? — пробормотал я.

— Не знаю, — отозвалась бабушка, — посмотрим еще.

— Представить себе не могу, что я буду делать, если только мне придется вернуться к мистеру Мордстону! — с отчаянием вырвалось у меня.

— Ничего еще сама не знаю на этот счет, — повторила бабушка, качая головой, — ничего пока не могу сказать. Посмотрим.

Услышав это, я растерялся, пал духом; на душе стало страшно тяжело. Бабушка, казалось, не обращая на меня внимания, вынула из шкафа и надела парусиновый передник с нагрудником и стала собственноручно перемывать чашки. Кончив, она поставила на поднос чистую посуду, сняла скатерть, и, сложив ее, закрыла посуду, а затем позвонила Дженет, чтобы та все это убрала. После этого бабушка, надев перчатки, смела маленьким веничком все до единой крошки с ковра и стала вытирать пыль и убирать комнату, которая и без того, казалось мне, была в образцовом порядке. Наконец, найдя, что все приведено в должный вид, бабушка сняла с себя передник и перчатки и, спрятав их в тот самый угол шкафа, откуда она их вынула, взяла рабочий ящик, поставила его на свой столик и уселась у открытого окна; защитив себя от солнца зеленым экраном, она принялась за работу.

— Сходите-ка, пожалуйста, наверх, — сказала мне бабушка, вдевая нитку в иголку. — Передайте мистеру Дику мой привет и скажите ему, что я хочу знать, как подвигаются его мемуары.

Я вскочил, чтобы как можно скорее исполнить это поручение.

— Вам, наверно, кажется, что имя «мистер Дик» слишком уж коротко, — заметила бабушка, глядя на меня так же пристально, как перед этим на ушко иголки.

— В самом деле, — ответил я, — вчера это имя мне показалось слишком коротким!

— Не подумайте, что у него нет более длинного имени, — он только не желает пользоваться им, — проговорила с достоинством бабушка. — Баблей, мистер Ричард Баблей — вот настоящее его имя.

Боясь, что до сих пор я слишком фамильярно называл старика, я собирался было заявить, что отныне буду величать его полным именем, как бабушка сказала мне:

— Но, смотрите, никогда не называйте его так: он терпеть не может своего полного имени, такая уж у него странность. А в сущности, пожалуй, здесь даже и странности нет, ибо богу одному известно, сколько пришлось мистеру Дикуну вынести от одного из Баблей, и потому вполне естественно, что он смертельно возненавидел это имя. Теперь и здесь и всюду его зовут просто мистер Дик. Впрочем, он никогда и никуда не выходит из дому. Итак, малыш, помните, что вам никогда не следует его называть иначе, как только мистер Дик.

Я обещал это бабушке и направился наверх выполнить ее поручение. Поднимаясь, я думал, что если мистер Дик давно уже так усердно трудится над своими мемуарами, как я это видел, проходя только что мимо его открытых дверей, то, вероятно, он скоро должен их закончить. Я застал старика за тем же занятием: он усердно скрипел пером по бумаге, почти касаясь ее головой. Мистер Дик до того был погружен в свои мемуары, что прежде чем он заметил меня, я успел разглядеть большой бумажный змей в углу, груды рукописей в беспорядке, множество перьев и громадное количество чернил, — ими были полны дюжины бутылок.

— А, здравствуйте, Феб!^[40] — воскликнул мистер Дик, положив на стол перо. — Ну, что происходит на белом свете?.. Вот что скажу я вам, — прибавил он несколько тише, — не хотел бы я, чтобы это разглашалось, но, знаете, свет (он, наклонясь, стал шептать мне на ухо) совсем рехнулся: это, поверьте мне, мой мальчик, настоящий сумасшедший дом!

Тут мистер Дик понюхал табуку из круглой табакерки и залился веселым смехом.

Не осмеливаясь высказать своего мнения относительно такого глубокомысленного вопроса, я сообщил ему то, что велела передать бабушка.

— Я также шлю ей свой привет, — ответил мистер Дик, — и прошу сказать, что, мне кажется, начало уже сделано. Да, сделано, — повторил он, запуская руку в свои седые волосы и бросая далеко не уверенный взгляд на мемуары. — Были ли вы в школе? — вдруг спросил он.

— Да, был, — ответил я, — но недолго.

— А скажите, помните ли вы, в каком году отрубили голову Карлу Первому?^[41] — продолжал мистер Дик, пристально глядя на меня и беря в руки перо, чтобы записать мой ответ.

— Кажется, в тысяча шестьсот сорок девятом году, — ответил я.

— Ну да! Так говорят книги, — заметил мистер Дик, почесывая себе пером за ухом и в недоумении смотря на меня. — Но я совершенно не понимаю, как это может быть, ибо если все это действительно произошло так давно, то, спрашивается, каким же образом люди, окружавшие его, могли сделать подобную ошибку — взять, да и переложить кое-какие беспокойные мысли из его отсеченной головы в мою голову.

Я был чрезвычайно удивлен этим вопросом, но ничего не смог ему ответить.

— Это очень странно, — промолвил мистер Дик, уныло поглядывая на свое писание и принимаясь снова тереть волосы. — Понимаете, я никак не могу распутать этот вопрос, никак не могу выяснить его. Впрочем, это ничего не значит, — заговорил он весело, — времени у меня достаточно. Мой привет мисс Тротвуд, и скажите ей, что, в самом деле, работа моя прекрасно подвигается вперед.

Я собирался было уже уйти, когда мистер Дик обратил мое внимание на бумажный змей.

— Что думаете вы об этом змее? — спросил он.

Я ответил ему, что змей великолепен; он, действительно, был не меньше семи футов высотой.

— Это я его сделал, — объявил мистер Дик. — Мы как-нибудь запустим его. А вот взгляните-ка сюда...

И он показал мне, что весь змей был сделан из бумаги, исписанной красивым старательным почерком так четко, что я сразу в одном или двух местах разобрал, что речь идет об отсеченной голове Карла I.

— Бечевки тут много, — продолжал мистер Дик, — и, когда змей поднимается, он далеко в вышину уносит описанные мною происшествия. Это, видите ли, мой способ распространять их. Я сам не знаю, куда они могут попасть. Это, конечно, зависит от разных обстоятельств — направления ветра и тому подобного. Тут уж, знаете, я иду на риск.

В его лице, свежем и бодром, когда он все это говорил, было столько мягкости, так много милого, оно внушало такое уважение, что мне показалось, будто старик добродушно подшучивает надо мной; поэтому я рассмеялся, он тоже, и мы расстались наилучшими в свете друзьями.

— Ну что, малыш? — спросила меня бабушка, когда я спустился к ней. — Как поживает мистер Дик?

Я передал его привет и сообщил, что мемуары благополучно подвигаются вперед.

— Что вы о нем думаете? — спросила бабушка.

У меня мелькнула мысль уклониться от прямого ответа, сказав, что мне он кажется очень хорошим человеком, но отделаться от бабушки было не так-то легко. Она положила свою работу на колени и, сложив руки на ней, проговорила:

— Ну, уж ваша сестра, Бетси Тротвуд, сейчас же, без всяких уверток, высказала бы свое мнение о ком бы то ни было. Старайтесь как можно больше походить на нее и говорите прямо, что думаете.

— А правда, что он... правда, что мистер Дик, — я это спрашиваю, бабушка, потому, что не знаю, — не совсем в своем уме? — спросил я, заикаясь, чувствуя, что коснулся очень щекотливого вопроса.

— Ничуть не бывало, — ответила бабушка.

— В самом деле? — откликнулся я.

— Он ни в коем случае не сумасшедший, — решительно заявила бабушка.

— В самом деле? — только и смог я еще раз робко пробормотать.

— Надо сказать, его «считали» помешанным, — продолжала бабушка, — и мне особенно приятно, эгоистически приятно сказать, что его считали сумасшедшим, ибо не будь этого, мне не пришлось бы пользоваться его обществом и советами вот уже больше десяти лет, —

в сущности, с того самого времени, как ваша сестра Бетси Тротвуд обманула мои надежды.

— Так давно? — отозвался я.

— Хороши же были люди, которые посмели выдавать его за сумасшедшего! — с негодованием продолжала бабушка. — Видите ли, мистер Дик доводится мне дальним родственником, каким — это неважно. Одно только могу сказать, что если б не я, родной братец мистера Дика засадил бы его до конца его дней в сумасшедший дом. Вот такая история.

Боюсь, что тут я вел себя несколько лицемерно, ибо, заметив, в каком негодовании была бабушка, я сделал вид, что также возмущен.

— Заносчивый дурак! — с возмущением воскликнула бабушка. — Потому только, что у его брата были странности, — их было у него гораздо меньше, чем у множества людей, — он не пожелал держать его в своем доме, а отправил в какую-то частную лечебницу для психических больных. Между тем их отец, умирая, поручил этому дураку особенно заботиться о Дике, считая его почти идиотом. Нечего сказать, умный был, видно, этот папаша, раз мог думать подобное! Очевидно, сам он был не в своем уме.

Раз бабушка была убеждена в этом, я опять-таки сделал вид, что я и того же мнения.

— И вот я вмешалась в это дело, — продолжала рассказывать бабушка, — и предложила братцу следующее: «Ваш брат, — сказала я ему, — совершенно в своем уме, у него гораздо больше здравого смысла, чем у вас самих было, есть и будет. Пусть получает он свой маленький доход и живет у меня. Я то совершенно не боюсь его, нет во мне и гордости. Я готова заботиться о нем и, конечно, не стану так плохо обходиться с ним, как делали это некоторые люди, не говоря уже о служащих психиатрической больницы». После долгих препирательств мне наконец отдали мистера Дика, и он с тех пор живет у меня. Это самый милый, самый легкий для жизни человек на свете. А что касается его советов... Но никто, кроме меня, не знает, какой это умница.

При этом бабушка, разглаживая складку своего платья, так потряхнула головой, словно бросала вызов каждому, кто только усомнится в уме мистера Дика.

— У него была любимая сестра, — снова заговорила бабушка, — премилая девушка, которая была очень добра к нему, но она выкинула такую же штуку, как все они, — обзавелась мужем, а он, как все мужья, сделал ее несчастной. Это так подействовало на мистера Дика, что он заболел горячкой. Здесь свою роль сыграл также страх перед братом, который очень дурно обращался с ним. Но горячка — ведь еще не сумасшествие. Все это случилось с мистером Диком до его переезда ко мне, но и сейчас ему тяжело вспоминать об этом... А не говорил ли он вам, малыш, о короле Карле Первом?

— Говорил, бабушка.

— А-а, — протянула бабушка, потирая себе нос с таким видом, словно ей было не совсем приятно узнать об этом. — Видите ли, это не что иное, как аллегория^[42]. Мистеру Дику было очень тяжело во время горячки, о которой я вам только что говорила, и вот, вспоминая теперь о ней, он почему-то связывает это с образом казненного короля — Карла Первого. И отчего, спрашивается, этого не делать, если ему так нравится?

— Конечно, бабушка, — отозвался я.

— Я прекрасно знаю, — продолжала бабушка, — что ни в деловых кругах, ни в обществе к таким аллегориям обыкновенно не прибегают, и поэтому всегда настаиваю, чтобы о Карле Первом не упоминалось в его мемуарах.

— Скажите, бабушка, а в этих мемуарах мистер Дик описывает собственную жизнь? — спросил я.

— Да, малыш, — ответила бабушка, снова потирая себе нос. — Пока он работает над увековечением лорда-канцлера^[43] или какого-то другого лорда... Но не сегодня, так завтра он начал описывать собственную жизнь. До сих пор это не удавалось ему сделать, не упоминая о Карле. Но это не беда, — все-таки он занят.

Действительно, потом я узнал, что мистер Дик в продолжение более десяти лет постоянно пытался удалить из своих мемуаров Карла I, но не мог добиться этого и поныне казненный король все продолжает фигурировать в его мемуарах.

— Повторяю: никто, кроме меня, не знает, как умен мистер Дик, — рассказывала бабушка, — какой это милый и славный человек. А если иногда ему вздумается пустить бумажный змей, — ну так что ж из этого! Франклин^[44] тоже пускал змей. Он же, если не

ошибаюсь, был квакером^[45] или что-то в этом роде, а квакер, пускающий змей, по-моему, гораздо смешнее всякого другого человека.

Надо сказать, что то великодушие, с которым бабушка брала на себя заботы о бедном, безобидном мистере Дике не только зародило в моей душе кое-какие эгоистические надежды, но и пробудило во мне бескорыстное, теплое чувство к бабушке. Мне кажется, что уже тогда я начал сознавать, что, несмотря на всю ее эксцентричность и странные выходки, в ней было что-то, внушающее уважение и доверие. И вот, несмотря на то, что в этот день она была так же резка, как и накануне, так же вела почти непрерывную ожесточенную войну с ослами да, к тому же, пришла в страшное негодование, когда какой-то молодой парень, проходивший мимо ее домика, подмигнул Дженет, стоявшей в окна (по мнению бабушки, это было для нее лично величайшим оскорблением), — я все-таки, продолжая не меньше прежнего бояться бабушки, чувствовал к ней гораздо больше уважения.

С мучительным беспокойством ждал я ответа мистера Мордстона на письмо бабушки, по всеми силами старался скрыть это и быть как можно приятнее и бабушке и мистеру Дику. Мы с ним, конечно, не раз уж пустили бы большой бумажный змей, будь у меня другая одежда, кроме той удивительной, в которую вырядили меня в первые день моего появления. Это одеяние приковывало меня по целым дням к дому, и только вечером бабушка, из гигиенических соображений, заставляла меня перед сном прогуливаться в течение часа по крутому морскому берегу.

Наконец, пришел ответ от мистера Мордстона, и бабушка объявила, к моему величайшему ужасу, что завтра он сам придет сюда для переговоров с нею.

На другой день, все так же закутанный в мое удивительное одеяние, сидел я в ужасно возбужденном состоянии, то надеясь, то падая духом, и с трепетом ожидал, что вот-вот сейчас увижу мрачное лицо моего отчима.

Бабушка была лишь немного величественнее и суровее обыкновенного, а вообще я не замечал в ней никаких признаков волнения в ожидании гостя, наводившего на меня такой ужас. Она сидела у окна за работой, а я подле нее, перебирая в мозгу все

возможные и невозможные последствия посещения мистера Мордстона. Так просидели мы почти до вечера. Обед все откладывали и откладывали на неопределенное время. Наконец бабушка, видя, что становится совсем темно, велела подавать на стол, как вдруг она забила тревогу по поводу появления ослов, а я, к своему величайшему удивлению и ужасу, увидел на седле мисс Мордстон: она, как ни в чем не бывало, въехав на своем осле на заветную зеленую лужайку, остановилась перед домом и стала оглядываться кругом.

— Прочь отсюда! — закричала бабушка, высунувшись из окна и грозя кулаком. — Вам тут нечего делать! Как смеете вы здесь ездить? Прочь, говорят вам! Вот какая наглая женщина!

Бабушка до того была возмущена хладнокровием, с каким мисс Мордстон взирала вокруг себя, что, по-моему, в эту минуту она совсем оцепенела и даже не в силах была произвести свою обычную вылазку против врага. Я воспользовался этой минутой, чтобы сообщить ей кто была приезжая, а также, что джентльмен, подходивший к обидчице, был сам мистер Мордстон. (Дорога сюда шла круто в гору, и он, очевидно, отстал от сестрицы.)

— Мне все равно, кто бы он ни был! — кричала бабушка, трясая головой и делая в окне отнюдь не гостеприимные жесты руками. — Я не позволю нарушать свои права собственности. Слышите! Убирайтесь, вон! Дженет, гоните прочь осла!

Я смотрел из-за бабушкиной спины на бой, неожиданно разгоревшийся на лужайке: осел, расставив ноги в разные стороны, оказывал сильное сопротивление, Дженет тащила его назад за поводья, мистер Мордстон толкал его вперед, мисс Мордстон колотила Дженет зонтиком, а соседние мальчишки, сбегавшиеся на это зрелище, выражали свой восторг громкими криками. Тут бабушка, заметив среди этих мальчишек юного злодея, погонщика ослов (несмотря на то, что ему едва минуло тринадцать лет, он был одним из самых закоренелых ее обидчиков), устермилась на поле битвы, бросилась на своего недруга, сшибла его с ног и, уцепившись за куртку, покрывшую ему голову, поволокла в сад, оставляя за собой борозды от его каблуков.

Притащив своего пленника в сад, где ему, казалось, были отрезаны все пути к бегству, бабушка стала кричать Дженет, чтобы она немедленно бежала за констеблем^[46], который должен был тут же

на месте произнести над преступником суд и расправу. Но подобное положение длилось недолго: ловкий мальчишка убежал с гиканьем, запечатлев на клумбах следы подбитых гвоздями сапог. Юный злодей мигом вскочил на своего осла и с торжествующим видом ускакал на нем.

В конце боя мисс Мордстон спустилась с седла и вместе со своим братцем ждала у крыльца коттеджа, когда наконец хозяйка дома удосужится принять их.

Бабушка, платье и волосы которой в пылу боя пришли в некоторый беспорядок, тем не менее очень величественно проследовала в дом. Она не обратила ни малейшего внимания на прибывших до тех пор, пока Дженет не доложила о них.

— Не уйти ли мне, бабушка? — весь дрожа, спросил я.

— Нет, сэр, — ответила она, — конечно, нет.

Говоря это, бабушка толкнула меня в угол подле себя и там загородила стулом. Я очутился словно в тюрьме или за решеткой в зале суда. В этом загороженном углу просидел я в продолжение всего свидания бабушки с Мордстонами; отсюда мне было видно, как они оба вошли в гостиную.

— Вначале я не знала, с кем имею удовольствие столкнуться, — начала бабушка. — Но я никому не позволяю ездить по лужайке. Ни для кого не делаю исключения, решительно ни для кого!

— Однако правила ваши довольно-таки неудобны для незнакомцев, — заметила мисс Мордстон.

— Вы так думаете?! — воскликнула бабушка.

Тут мистер Мордстон, очевидно опасаясь возобновления враждебных действий, вмешался в разговор.

— Мисс Тротвуд... — начал он.

— Прошу извинить меня, сэр, — прервала его бабушка, бросая на него пронзительный взгляд, — не вы ли будете тем самым Мордстоном, который женился на вдове моего покойного племянника Давида Копперфильда из блондерстоновских «Грачей»?... Хотя, признаться, не понимаю, почему эта усадьба называется «Грачами».

— Тот самый, — промолвил мистер Мордстон.

— Извините, сэр, если я скажу вам, что вы поступили бы гораздо лучше, оставив в покое бедную девочку: без вас она была бы гораздо счастливее.

Тут бабушка позвонила и, когда на звонок появилась Дженет, сказала ей:

— Передайте мой привет мистеру Дику и попросите его сюда.

До его появления бабушка, выпрямившись, сидела неподвижно и, хмуро смотря в стенку, сурово молчала. Когда пришел мистер Дик, бабушка представила его своим посетителям: «Мистер Дик, мой старый, задушевный друг, с мнением которого я очень считаюсь». Вторую половину фразы бабушка произнесла с особым ударением, повидимому, желая предостеречь старика от дурачества: он вошел в гостиную, глупо улыбаясь и покусывая указательный палец.

Бабушкино предостережение возымело действие: мистер Дик вынул палец изо рта и с важным, сосредоточенным видом присоединился к обществу. Бабушка кивнула мистеру Мордстону головой, и он снова заговорил:

— Мисс Тротвуд, получив ваше письмо, я счел, что долг справедливости к самому себе и уважения к вам...

— Благодарю вас, — перебила его бабушка, все еще пристально смотря на него, — обо мне вы можете не беспокоиться.

— Так вот, этот долг заставил меня предпочесть личное свидание письменному ответу, несмотря на все неудобства, связанные с таким путешествием, — продолжал мистер Мордстон. — Этот несчастный мальчик, убежавший от своих друзей и занятий...

— И один вид которого до крайности гадок и неприличен, — вставила мисс Мордстон, обращая внимание на меня и мое странное одеяние.

— Джен Мордстон, — обратился к ней брат, — будьте добры не прерывать меня... Этот несчастный мальчик, мисс Тротвуд, был причиной многих семейных неприятностей и огорчений как при жизни моей покойной дорогой жены, так и после ее кончины. Он угрюмого, строптивного нрава, необуздан и упрям. Оба мы с сестрой пытались исправить в нем эти пороки, но безуспешно, и потому я, или, лучше сказать, мы оба с сестрой, ибо мы с ней вполне солидарны, сочли нужным сообщить вам лично этот строго взвешенный нами и беспристрастный отзыв о мальчике.

— Мне, в сущности, излишне подтверждать то, что сказал мой брат, — вмешалась мисс Мордстон, — но все-таки прошу вас

отметить, что я считаю этого мальчика самым негодным из всех мальчиков на свете.

— Сильно сказано! — заметила бабушка.

— Слабо по сравнению с фактами, — возразила мисс Мордстон.

— Вот как! — промолвила бабушка. — Продолжайте, сэр.

— У меня существует собственный взгляд на то, как надо воспитывать этого мальчика, — проговорил мистер Мордстон, лицо которого делалось все более и более мрачным, по мере того, как они с бабушкой все внимательнее всматривались друг в друга.

— Взгляд этот, — продолжал он, — отчасти зиждется на знании его характера, а отчасти зависит от состояния моих дел и величины доходов. Здесь я ответствен только перед самим собою. Я поступаю так, как считаю нужным, и об этом больше говорить излишне. Довольно того, что я устроил этого мальчика в почтенной торговой фирме под надзором своего друга. Но это ему пришлось не по вкусу: он убежал, бродяжничал и, наконец, в лохмотьях явился к вам, мисс Тротвуд, просить у вас помощи и защиты. А теперь я хотел бы почтительно указать вам на те последствия, к которым, по моему мнению, должно неминуемо принести ваше участие в нем...

— Но сначала давайте поговорим о почтенной торговой фирме, — прервала его бабушка. — Скажите, если бы этот мальчик был вашим родным сыном, поместили бы вы его также в эту почтенную фирму?

— Если бы он был родным сыном моего брата, то я уверена, что у него был бы совершенно иной характер, — вмещалась опять мисс Мордстон.

— А интересно знать, если б бедная девочка, мать этого мальчика, была в живых, он все-таки был бы определен в эту почтенную фирму? — продолжала допрашивать бабушка.

— Думаю, — ответил мистер Мордстон, утвердительно кивнув головой, — что Клара не противилась бы тому, что мы с сестрой сочли бы за благо.

Мисс Мордстон подтвердила это шопотом.

— Гм... несчастная девочка! — заметила бабушка.

Тут мистер Дик, не перестававший все время брэнчать деньгами в кармане, так загремел ими, что бабушка принуждена была взглядом остановить его.

— Скажите, — снова обратилась она к мистеру Мордстону, — пожизненная рента бедной девочки прекратилась с ее смертью?

— Прекратилась, — ответил он.

— А маленькая усадьба, дом с садиком... как это она называлась?.. да, «Грачи» — без единого грача... разве не перешла к ее сыну?

— Это все безоговорочно было оставлено ей первым ее мужем... — начал было пояснять мистер Мордстон, но бабушка не дала ему говорить, раздраженно воскликнув:

— Боже милосердный! Это ни с чем несообразно! Оставить ей усадьбу безоговорочно! Узнаю тут Давида Копперфильда! Но, когда она опять вышла замуж, когда сделала этот пагубный шаг, соединив свою жизнь с вашей, неужели не нашлось никого, кто замолвил хотя бы слово за мальчика?

— Моя покойная жена любила своего второго мужа и всецело доверяла ему, — заявил мистер Мордстон.

— Ваша покойная жена, сэр, была самым неопытным и несчастным младенцем на свете, — промолвила бабушка, потрянув сердито головой. — Вот что она собой представляла. Ну, а теперь, сэр, что же еще вам угодно сообщить мне?

— Только то, мисс Тротвуд, — сказал он, — что я явился сюда взять с собой Давида, и взять его от вас без всяких условий, имея в виду поступить с ним так, как я найду это нужным. Здесь я отнюдь не для того, чтобы давать кому бы то ни было обещания или обязательства относительно этого мальчика. Вы, мисс Тротвуд, повидимому, склонны относиться снисходительно к его побегу и сочувственно выслушивать его жалобы. Закключаю это из вашей далеко не благожелательной манеры держать себя с нами. Теперь я должен предостеречь вас, что если вы берете на себя покровительство ему, так это дело не шуточное. Раз вы становитесь между мной и им, то этим самым берете на себя всю ответственность за него. Я не шучу и не позволю, чтобы надо мной шутили. Я здесь в первый и последний раз, чтобы взять с собой Давида. Если он готов следовать за мной, — прекрасно. Если же он не склонен к этому под каким бы то ни было предлогом, то двери моего дома навсегда закрыты для него, а ваши, значит, насколько я понимаю, будут открыты ему.

Бабушка выслушала эту речь с величайшим вниманием, сидя совершенно прямо, обхватив колено руками и свирепо глядя на оратора. Когда он кончил, бабушка, не меняя позы, перевела глаза на мисс Мордстон.

— Ну, а вы, мэм, имеете ли вы что-нибудь сказать? — спросила она.

— Нет, не имею, мисс Тротвуд, — сказала сестрица. — Все, что я могла бы сказать, так хорошо уже высказано моим братом, и все, что мне известно, так обстоятельно изложено им, что мне остается только поблагодарить вас за оказанный нам любезный прием, да, истинно любезный прием, — повторила она с иронией, которая подействовала на бабушку не больше, чем могла бы подействовать на ту пушку, под которой я ночевал в Четеми.

— А что скажет мальчик? — промолвила бабушка. — Хотите вы ехать с ними, Давид?

Я ответил, что ехать не хочу, и стал молить бабушку не отдавать меня. Сказал ей, что мистер и мисс Мордстон никогда не любили меня и никогда не были добры ко мне; сказал, что своим обращением со мной они всегда терзали мою мать, нежно меня любившую, и что известно это не только мне, но и Пиготти. Я признался бабушке, что был у Мордстонов до того несчастлив, что даже удивительно, как мог быть так несчастлив такой маленький мальчик. Тут я стал просить и молить бабушку, уж не помню в каких трогательных выражениях, в память моего отца взять меня под свое покровительство и быть мне другом.

— Мистер Дик, — обратилась к нему бабушка, — что мне делать с этим ребенком?

Мистер Дик призадумался, замаялся немного, затем лицо его просияло, и он ответил:

— Велите сейчас же снять с него мерку для нового костюма.

— Мистер Дик, — с торжествующим видом произнесла бабушка, — дайте мне вашу руку! Ваш здравый смысл превышает всех похвал!

Дружески пожав руку мистеру Дику, бабушка вытащила меня из моего угла и, прижав к себе, сказала мистеру Мордстону:

— Можете уходить, когда вам это заблагорассудится. Я рискну взять мальчика, если он даже таков, каким вы его изобразили. Во

всяком случае, я сделаю для него не меньше вашего. Впрочем, я не верю ни единому вашему слову.

— Мисс Тротвуд, — проговорил мистер Мордстон, поднимаясь и пожимая плечами, — будь вы мужчина...

— Все это пустяки и вздор! — оборвала его бабушка. — Избавьте меня от ваших разглагольствований!

— Вот так вежливо! Нечего сказать, — воскликнула мисс Мордстон, также вставая. — Действительно, это уж слишком!

— Неужели вы думаете, что я не знаю, — проговорила бабушка, пропустив мимо ушей восклицание сестрицы и продолжая говорить с братом, необыкновенно выразительно кивая головой, — не знаю, какую жизнь вы создали для бедной, несчастной, сбитой с пути девочки? Неужели вы думаете, что я не знаю, каким роковым был для этого маленького нежного созданища день, когда вы впервые встретились с ней? Я уверена, что вы самодовольно улыбались, бросали красноречивые взгляды, притворялись добряком, не способным обидеть и мухи.

— Никогда не слышала более изысканной речи, — язвительно заметила мисс Мордстон.

— Неужели вы думаете, — продолжала бабушка, — что теперь, когда я вижу и слышу вас... а это, по правде сказать, далеко не доставляет мне удовольствия... я не представляю себе, как вели вы себя по отношению к несчастной девочке? Ну, конечно, кто мог быть более кроток и мягок, чем на первых порах мистер Мордстон! Наивная, ни в чем не разбирающаяся бедняжка была уверена, что другого подобного человека она в жизни и не встречала. Он ведь был сама нежность: поклонялся ей, обожал ее, обожал мальчика, — да, положительно обожал его. Он будет, понятно, для него настоящим отцом, и все они втроем заживут среди роз в каком-то райском саду... Уф! Чтоб вам!.. — вырвалось у бабушки.

— Никогда в жизни не встречала подобной особы! — воскликнула мисс Мордстон.

— А когда вы совсем обошли эту маленькую дурочку, — продолжала бабушка, — да простит меня бог за то, что я так называю ту, которая теперь там, где вы не спешите соединиться с ней, — то вы, как будто и без того уж сделав довольно зла ей самой и ее близким,

еще начинаете муштровывать ее, как попавшуюся в клетку птичку. Вы хотите заставить ее петь по-своему.

— Она или пьяна, или с ума сошла, — прошипела мисс Мордстон. Ее приводило в отчаяние, что она была не в силах направить на себя поток бабушкиных слов. — Скорее, должно быть, пьяна, — добавила она.

Не обращая абсолютно никакого внимания на это замечание, мисс Бетси, попрежнему глядя на мистера Мордстона и грозя ему пальцем, проговорила:

— Да, вы были тираном этой наивной девочки, вы разбили ее сердце. У этой бедняжки оно было любящее, — я ведь узнала ее за много лет до того, как вы увидели ее, — и вы стали наносить раны в самое нежное место ее сердца, от этого она и умерла. Вот вам вся правда. Я не знаю, нравится ли она вам, или нет. Можете использовать ее сами, и пусть используют ее те, которые были орудием в ваших руках.

— Позвольте спросить вас, мисс Тротвуд, — вмешалась мисс Мордстон, — кого имеете вы в виду, говоря об орудии в руках моего брата?

Мисс Бетси, оставаясь глухой и равнодушной к этому голосу, продолжала свою речь:

— Было совершенно ясно за целые годы до того, как вы увидели ее (и почему только нужно было этому случиться!), что такое нежное созданище когда-нибудь и за кого-нибудь должно еще раз выйти замуж, но все-таки я не ожидала такой беды. Встретились мы с ней как раз, когда она родила сына, вот этого самого бедного мальчика, которым потом вы пользовались для того, чтобы мучить ее. Это, конечно, воспоминания не из приятных, и я понимаю, что теперь самый вид мальчугана для вас ненавистен. Да, да, вы можете не дергаться, я и без того знаю, что это так.

Все время, пока бабушка говорила, мистер Мордстон стоял, улыбаясь, у дверей, хотя его густые черные брови и были сильно нахмурены. Но вдруг я заметил, что, продолжая улыбаясь, он страшно побледнел и стал задыхаться, словно от быстрого бега.

— Прощайте, прощайте, сэр! — сказала бабушка. — И вы также прощайте, мэм! — прибавила она, неожиданно поворачиваясь к мисс Мордстон. — Помните только: если когда-нибудь вы снова проедете

на осле по моей лужайке, то, так же верно, как то, что у вас на плечах голова, я собью с этой головы шляпку и растопчу ее ногами!

Только художник, да еще талантливый, смог бы изобразить лицо бабушки, когда она выпалила это милое предупреждение, и лицо мисс Мордстон, когда та выслушала его. Бабушкина речь пылала таким гневом, что мисс Мордстон, ни слова не говоря, сочла за благо взять брага под руку и величественно выйти с ним из дома. Бабушка из окна наблюдала за ними, без сомнения готовясь, если только осел осмелился бы вступить на лужайку, немедленно привести в исполнение свою угрозу. Но так как со стороны Мордстонов никакого вызова не последовало, то лицо бабушки мало-помалу смягчилось и сделалось таким милым, что я, набравшись смелости, стал благодарить и горячо целовать ее, обняв за шею обеими руками. Потом я подал руку мистеру Дик, и он несколько разжал мне ее, а потом принимался весело хохотать, очевидно приветствуя счастливое окончание переговоров.

— Мистер Дик, — обратилась к нему бабушка, — слышите, вы будете вместе со мной опекуном этого ребенка.

— С восторгом буду опекуном сына Давида, — ответил мистер Дик.

— Прекрасно, — отозвалась бабушка. — Значит, это дело решенное. Знаете, мистер Дик, о чем я думала: не дать ли ему фамилию Тротвуд?

— Конечно, конечно, — согласился мистер Дик, — можно дать ему фамилию Тродвуд. Тротвуд, сын Давида.

— Вы, значит, желаете, чтобы его фамилия была двойная — Тротвуд Копперфильд? — спросила бабушка.

— Да, разумеется: Тротвуд-Копперфильд, — несколько смущенно проговорил мистер Дик.

Бабушке так понравилась эта мысль, что на всем белье, купленном для меня в этот день, она собственноручно написала несмываемыми чернилами: «Тротвуд-Копперфильд».

Так начал я новую жизнь, с новым именем, среди совершенно новой для меня обстановки.

Глава XV

Я НАЧИНАЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Мы с мистером Диком вскоре стали самыми закадычными друзьями. Часто бывало, после того как он заканчивал свою дневную работу, мы с ним отправлялись пускать его большой змей. Не было дня, когда бы мистер Дик не просиживал по многу часов, усиленно работая над своими мемуарами, но от этого они, увы, ничуть не двигались вперед, ибо в них неизбежно, рано или поздно, вкрадывался Карл I. Написанное отбрасывалось в сторону, и все опять начиналось снова. Терпение и мужество, с которыми старик неумоимо все снова и снова брался за свою работу, производили на меня глубокое впечатление. Не знаю, что предполагал делать со своими мемуарами мистер Дик в том случае, если бы они были когда-нибудь закончены. Думаю, что и сам он этого не ведал. Да и зачем ему было беспокоиться об этом, раз ничего не могло быть более верного под солнцем, чем то, что его мемуары никогда не будут закончены.

Особенно трогательное впечатление производил на меня мистер Дик, когда он бывало плядел на свой бумажный змей, высоко парящий в воздухе. Быть может, его рассказ о том, как змей, склеенный из листков его мемуаров, разносит вести о происшествиях, описанных в них, и был лишь плодом воображения, но когда старик следил глазами за своим змеем, парящим в воздухе, и чувствовал, как тот тянет у него из рук бечевку, он, несомненно, твердо верил в это. Никогда не видел я его с таким спокойным, радостным лицом, как в эти минуты. Когда же потом он сматывал бечевку, и змей, спускаясь все ниже и ниже, из лучезарного небосвода, наконец падал на землю и лежал на ней распростертый, как мертвый, — бедный мистер Дик словно просыпался от волшебного сна. Помню, с каким унылым видом поднимал старик этот змей и плядел на него так, как будто они оба с ним только что упали с облаков, и мне всем сердцем становилось жаль его.

Дружась и сближаясь все больше и больше с мистером Диком, я одновременно завоевывал и расположение его стойкого друга — моей бабушки. В течение нескольких недель она так привязалась ко мне,

что мое новое имя Тротвуд стала заменять ласкательным «Трот» и как-то даже порадовала меня, сказав, что если я буду продолжать, как начал, то, пожалуй, смогу занять в ее сердце такое же место, как и моя сестра Бетси Тротвуд.

— Трот, — обратилась ко мне бабушка однажды вечером, когда перед нею и мистером Диком была по обыкновению поставлена доска для игры в трик-трак, — нам не надо забывать о вашем образовании.

Мысль об учении одна только и беспокоила меня, а потому я был в восторге, что бабушка наконец заговорила об этом.

— Хотели бы вы поступить в школу в Кентербери? — спросила она.

Я ответил, что очень желал бы именно в Кентербери, так как это очень близко от нее.

— Прекрасно! — воскликнула бабушка. — А хотите завтра же отправиться туда?

Зная быстроту, с какой бабушка всегда приводила в исполнение свои намерения, я несколько не удивился внезапности такого предложения и, не задумываясь, ответил утвердительно.

— Прекрасно! — еще раз отозвалась бабушка. — Дженет! Закажите на завтра к десяти часам утра кабриолет с серым пони да уложите с вечера вещи мистера Тротвуда.

Услыхав это бабушкино приказание, я ног под собой не чувствовал от радости и гордости, но потом, заметив, какое впечатление произвело оно на мистера Дика, я устыдился своею эгоизма. Старик до того был удручен предстоящей со мной разлукой, что стал играть из рук вон плохо. Бабушка несколько раз, в виде предостережения, ударила его по пальцам и наконец, потеряв всякое терпение, закрыла ящик и объявила, что больше играть с ним не намерена. Но когда мистер Дик узнал от бабушки, что я иногда буду приезжать домой по субботам и сам он сможет время от времени навещать меня по средам, он опять воспрянул духом и торжественно обещал к моему приезду соорудить змей гораздо больше прежнего.

Утром старик опять был в удрученном состоянии и, чтобы сколько-нибудь утешить себя, порывался отдать мне все имеющиеся у него золотые и серебряные деньги. Но бабушка восстала против этого и разрешила ему дать мне не более пяти шиллингов. Эта сумма благодаря его горячей мольбе была увеличена до десяти шиллингов.

Мы простились с мистером Диком очень нежно у садовой калитки, и он продолжал стоять там до тех пор, пока мог еще следить за нами глазами.

Бабушка, совершенно равнодушная к общественному мнению, проезжая через Дувр, сама правила серым пони и, надо сказать, правила им мастерски. Она сидела прямо и неподвижно, как заправский кучер, и, внимательно следя за каждым движением пони, не давала ему своевольничать. Выехав за город, она предоставила лошадке более свободы и, взглянув на меня сверху вниз, спросила, доволен ли я.

— Очень, очень доволен, бабушка, благодарю вас! — ответил я, утопая в нагроможденных подушках.

Мой ответ доставил ей большое удовольствие, и, так как обе руки ее были заняты, она погладила меня по голове рукояткой кнута.

— Что, это большая школа, бабушка? — спросил я.

— Я сама еще не знаю. Мы сперва заедем к мистеру Уикфильду.

— Это директор школы? — снова спросил я.

— Нет, Трот, он заведует не школой, а конторой.

Так как бабушка ничего больше не прибавила, то я прекратил свои расспросы относительно мистера Уикфильда, и мы, разговаривая о другом, доехали до Кентербери.

День был базарный, и бабушке представился прекрасный случай показать себя хорошим кучером, лавируя между телегами, бочками, корзинами с овощами и ларьками с разным мелочным товаром.

Мастерски преодолевая узкие проходы и делая крутые повороты в людных местах, бабушка вызывала у зрителей много разнообразных замечаний по своему адресу, не всегда, однако, лестных; но она пробиралась вперед с полнейшим хладнокровием, и думаю, что она сумела бы с таким же спокойствием пробить себе дорогу не только через базар, но даже через целую вражескую страну.

Наконец мы остановились перед старинным домом. Его небольшие узкие решетчатые окна, а также балки с выточенными на концах головами как-то выпячивались наружу. Вот, верно, поэтому у меня и создалось впечатление, что дом этот будто нагнулся, стремясь увидеть тех, кто проходит внизу, по узкому тротуару. Весь дом блистал необыкновенной чистотой. Старинный медный молоток, употреблявшийся вместо звонка, блестел, как звезда, над низенькой,

сверху овальной входной дверью, украшенной резными гирляндами из плодов и цветов. Две каменные ступеньки, спускавшиеся к этой двери, были так белы, что казалось, будто их обтянули полотном. Все углы и закоулки, резные украшения, необычного вида стеклышки в окнах и сами старомодные маленькие окна — все это могло конкурировать в возрасте с соседними холмами и было так же чисто, как снег, выпадающий на эти самые холмы.

Когда наш кабриолет остановился у дверей, я начал напряженно всматриваться в дом и увидел в окне нижнего этажа небольшой круглой башни, сбоку дома, чье-то мертвенно бледное лицо; оно на миг появилось и скрылось. Низкая входная дверь отворилась, и снова появилось то же лицо. Оно было так же мертвенно бледно, как мне показалось в окне, хотя и было испещрено веснушками, свойственными рыжим. Обладателем этой физиономии был действительно рыжий пятнадцатилетний юноша (это мне известно теперь), но тогда он произвел на меня впечатление гораздо старше своих лет. Рыжие его волосы были обстрижены под гребенку. Бровей у него почти не было. Коричневые, с каким-то красноватым оттенком, глаза были лишены ресниц, и, помнится, у меня мелькнула мысль, как это он может спать с такими незащищенными глазами. Это был костлявый малый с приподнятыми плечами, в приличном, застегнутом на все пуговицы черном костюме, в белом, чуть видневшемся галстуке. Когда, взяв под уздцы пони и глядя на нас, он поглаживал себе подбородок, мне особенно бросились в глаза его длинные худые руки. Они положительно производили впечатление конечностей скелета.

— Что, мистер Уикфильд дома, Уриа Гипп? — спросила бабушка.

— Мистер Уикфильд дома, мэм, пожалуйста, — ответил Уриа Гипп.

Мы вышли из кабриолета и, оставив пони на попечение малого, вошли в длинную низкую комнату, окна которой выходили на улицу. Здесь был громадный камин, напротив которого висело два портрета. На одном из них был изображен седовласый, но совсем еще не старый господин с черными бровями и взором, устремленным на какие-то бумаги, перевязанные красной лентой; на другом — дама с очень кротким, милым лицом; она как будто смотрела на меня.

Помнится, я оглянулся, разыскивая еще портрет Уриа Гиппа, когда дверь в глубине комнаты отворилась и вошел джентльмен, при виде которого я невольно оглянулся на портрет, желая убедиться, не вышел ли он каким-либо образом из своей рамы. Но нет: портрет оказался на своем месте, а когда джентльмен подошел ближе, я заметил, что он был несколькими годами старше своего портрета.

— Милости просим, мисс Тротвуд, — обратился джентльмен к бабушке. — Извините меня: когда вы приехали, я был занят. Вы знаете мою жизнь и знаете, в чем заключается смысл этой жизни.

Бабушка поблагодарила его, и мы вошли в его кабинет, очень напоминавший контору: он был завален книгами, бумагами и прочими конторскими принадлежностями. Окна выходили в сад, а в стену был вделан несгораемый шкаф.

— Ну, мисс Тротвуд, каким же ветром занесло вас в наши края? Надеюсь, благоприятным? — сказал мистер Уикфильд.

Я догадался, что это был именно он, а вскоре я также узнал, что мистер Уикфильд — адвокат и управляет имениями какого-то местного богача.

— Да, благоприятный ветер занес меня сюда, — ответила бабушка, — я приехала к вам не по судебным делам.

— Вы правы, мэм, — заметил мистер Уикфильд: — несомненно лучше приезжать по каким угодно делам, кроме судебных.

Волосы мистера Уикфильда были уже совершенно белые, хотя брови оставались попрежнему черными. У него было очень приятное и, по-моему, красивое лицо с таким ярким румянцем, который основываясь на словах Пиготти, я давно привык считать доказательством того, что человек употребляет много портвейна. Этим же я объяснил тембр его голоса и его излишнюю полноту. Одет он был очень тщательно: на нем был синий сюртук, полосатый жилет и нанковые панталоны. Сорочка его с мелкими складками на груди и батистовый галстук выглядели такими необыкновенно нежными и белыми, что моему пылкому воображению они казались перышками на груди лебедя.

— Это мой внук, — представила меня ему бабушка.

— Никогда не подозревал я, что у вас есть внук, — сказал мистер Уикфильд.

— То есть, вернее сказать, двоюродный внук, — пояснила бабушка.

— Даю вам слово, что и о двоюродном внуке я ничего не ведал.

— Я усыновила его, — проговорила бабушка с таким жестом, точно ей все равно, знал или не знал это мистер Уикфильд, — и привезла его сюда для того, чтобы поместить в такую школу, где его будут хорошо учить и как следует обращаться с ним.

— Так вам нужна самая лучшая школа? — задумчиво спросил мистер Уикфильд.

Бабушка утвердительно кивнула головой.

— В настоящее время вашего внука нельзя поместить пансионером в нашу лучшую школу, — сказал мистер Уикфильд после некоторого размышления.

— Но, вероятно, он может иметь квартиру и стол где-нибудь в другом месте? — проговорила бабушка.

Мистер Уикфильд согласился, что это возможно, и, проговорив еще некоторое время с бабушкой, предложил провести ее сначала в школу, чтобы она, осмотрев ее, имела возможность составить о ней свое собственное мнение, потом — в два-три дома, куда можно было попытаться поместить меня пансионером.

Бабушка с благодарностью приняла его предложение, и мы втроем выходили уже из дома, когда мистер Уикфильд, остановившись, сказал:

— Не лучше ли было бы нашему юному другу остаться здесь?

Бабушка, видимо, хотела протестовать, но я заявил, что если они желают, я охотно подожду здесь их возвращения, и, сейчас же вернувшись в кабинет мистера Уикфильда, уселся на тот самый стул, где сидел раньше.

Стул этот стоял как раз против узенького коридора, в конце которого была та самая круглая комнатка, в окне которой я впервые увидел выпянувшее оттуда бледное лицо Уриа Гиппа. Он отвел нашего пони в конюшню и работал теперь в этой комнатке за конторкой, наверху которой была приделана медная рамка, где подвешивались бумаги, которые он переписывал. Несмотря на то, что Уриа сидел лицом ко мне, я думал сперва, что висящий на рамке документ мешает ему видеть меня; но, вглядываясь пристальнее, я вдруг почувствовал себя очень не по себе, ибо заметил, что в

промежутке между нижним краем документа и верхним краем конторки время от времени показываются его красные, как два солнца, глаза и украдкой смотрят на меня, в то время, как перо его продолжает бегать по бумаге. Я всячески пытался избавиться от этого устремленного на меня взгляда: уж я и взбирался на стул у противоположной стены комнаты, и рассматривал висевшую там географическую карту, и углублялся в чтение «Кентских ведомостей», — но, как только я поворачивался к нему, его два красных солнца сейчас же всходили или заходили.

Наконец, после довольно-таки продолжительного отсутствия, к моему большому удовольствию, бабушка и мистер Уикфильд вернулись.хлопоты их увенчались меньшим успехом, чем мне этого хотелось бы. Правда, школой бабушка осталась очень довольна, но ей не понравился ни один из тех домов, где мне могли предоставить квартиру и стол.

— Очень не посчастливилось, — сказала бабушка. — Не знаю, Трот, что и делать.

— Нам с вами действительно не повезло, подтвердил мистер Уикфильд. — Но из этого положения есть выход, мисс Тротвуд.

— Какой же? — поинтересовалась бабушка.

— Оставьте пока вашего внука у меня. Он мальчик смирный и меня нисколько не стеснит. А дом мой как бы создан для ученья, — он тих, как монастырь, и почти так же обширен. Оставьте его у нас.

Повидимому, предложение это очень понравилось бабушке, но она стеснялась его принять. То же самое чувствовал и я.

— Ну, решайтесь же, мисс Тротвуд, — промолвил мистер Уикфильд, — поверьте, это выход из затруднительного положения. Притом ведь это только на время. Если почему-нибудь мы не вполне будем довольны друг другом, ваш внук всегда сможет уйти, и для него будет найдено что-нибудь более подходящее. Право, оставьте его пока здесь.

— Я вам очень благодарна, — ответила бабушка, — вижу, что и мальчику это очень по душе, но...

— Ну, мисс Тротвуд! — воскликнул мистер Уикфильд. — Знаю, что вас смущает: вам неприятно, чтобы ваш внук жил у нас бесплатно. Так платите, если вам этого хочется. Наши условия, конечно, не будут тяжелыми, но, повторяю, если вам угодно, — платите.

— На этих условиях, хотя они, конечно, нисколько не умаляют ту услугу которую вы мне оказываете, я с большой радостью оставлю вам внука, — ответила бабушка.

— Тогда идемте и переговорим с моей маленькой домоправительницей, — предложил мистер Уикфильд.

Мы поднялись на второй этаж по диковинной старинной лестнице, у которой перила были так широки, что и по ним, пожалуй, можно было бы подняться, как по лестнице, и вошли в большую старинную гостиную. В ней царил полумрак, несмотря на три или четыре окна оригинальной формы, на которые я еще на улице обратил внимание. Старинная мебель, казалось, была сделана из тех самых дубов, которые пошли на блестящий пол и потолочные балки. Вообще гостиная эта была очень хорошо меблирована: стояли тут и рояль, и хорошенькие мягкие диваны, и кресла, обитые пестрой, красной с зеленым, материей, и много цветов. Вся комната состояла из уголков и закоулков, и в каждом стоял такой оригинальный столик, шкафчик, этажерка или кресло, что, заглядывая в один из этих уголков, я решил, что едва ли здесь найдется более уютное местечко, но стоило перевести глаза на следующий уголок, чтобы убедиться, что и этот не хуже, если еще не лучше. На всем лежал тот отпечаток мирного уединения и чистоты, которым отличался дом и снаружи.

Мистер Уикфильд постучал в дверь в углу гостиной. Оттуда выбежала девочка приблизительно моих лет и поцеловала его. На лице этой девочки я тотчас же уловил то спокойное, милое выражение, какое заметил я на портрете женщины, висевшем внизу. Моему пылкому воображению представилось, что портрет каким-то образом возмужал и сделался женщиной, а оригинал остался ребенком. Несмотря на то, что лицо девочки сияло весельем и счастьем, в нем было какое-то особенное, безмятежное, чудесное спокойствие, которого я с тех пор не забывал и никогда не забуду.

— Моя дочь и моя маленькая домоправительница Агнесса, — представил нам ее мистер Уикфильд.

Когда я услышал, как он сказал это, и увидел, как он нежно взял ее ручку, я понял тут, в чем были цель и смысл его жизни.

У маленькой хозяйки на поясе сбоку висела корзиночка с ключами, и вообще она казалась достойной домоправительницей этого старинного жилища. Приветливо выслушав сообщение отца о

том, что я буду жить у них, она тотчас же предложила бабушке подняться вверх и посмотреть мою будущую комнату. Мы все туда отправились по той же лестнице с широчайшими перилами, причем молодая хозяйка шла впереди. Она привела нас в великолепную комнату, тоже в старинном стиле, с такими же дубовыми потолочными балками и такими же окнами из граненого стекла и узорчатыми переплетами, как и в гостиной.

Мы с бабушкой были в восторге от того, как я устроился, и очень довольные, с благодарным чувством вернулись в гостиную. Бабушка и слышать не хотела о том, чтобы остаться обедать, ибо боялась, что в таком случае до темноты ей не добраться на своем сером пони до дому. Мистер Уикфильд, по-видимому, слишком хорошо знал бабушкин характер и потому не пытался ее удерживать. Для нее был приготовлен завтрак, после которого Агнесса вернулась к своей гувернантке, а мистер Уикфильд отправился в свою контору. Таким образом, мы с бабушкой могли проститься без посторонних свидетелей.

Бабушка сообщила мне, что мистер Уикфильд сделает для меня все, что потребуется, и что я ни в чем не буду нуждаться. Говорила она со мной с большой нежностью, давая прекрасные советы. Расставаясь, она сказала мне:

— Трот, ведите себя так, чтобы своим поведением делать честь себе самому, мне и мистеру Дику. Да благословит вас небо!

Я был до того растроган, что мог только еще и еще благодарить ее и просить передать мистеру Дику мой сердечный привет.

— Никогда не делайте низостей, Трот, не лицемерьте и не будьте жестоки, — прибавила еще бабушка. — Избегайте этих трех пороков, и я всегда буду спокойна за вас.

Я горячо обещал никогда не забывать ее наставлений.

— Пони уже у крыльца, — промолвила бабушка — я еду, но вы не провожайте меня.

С этими словами она поспешно поцеловала меня и вышла из комнаты, захлопнув за собой дверь. Сначала я был удивлен поспешностью ее отъезда, и у меня даже мелькнула было мысль, не рассердил ли я ее чем-нибудь; но, когда я выпянул на улицу и увидел, с каким убитым видом садилась она в кабриолет, не решаясь даже

взглянуть наверх, я лучше понял характер бабушки, понял, как я был несправедлив к ней, заподозрив, что она на меня сердится.

К пяти часам, ко времени обеда мистера Уикфильда, я несколько уже успокоился и готов был работать ножом и вилкой. Обед был накрыт только для хозяина дома и меня, но Агнесса ждала отца в гостиной и, спустившись с ним в столовую, села за стол против него. Сомневаюсь, мог ли мистер Уикфильд обедать без своей дочки. После обеда мы снова поднялись в гостиную. Здесь, в одном из уютных ее уголков, Агнесса поставила для отца на столике графин с портвейном и стакан. Я подумал тут, что этот портвейн утратил бы для него свой «букет», будь он подан ему другими руками.

За портвейном мистер Уикфильд просидел часа два и выпил его немало. Агнесса в это время играла на рояле, занималась рукоделием и беседовала то с ним, то со мной. Вообще мистер Уикфильд был весел и разговорчив с нами, но по временам глаза его останавливались на девочке, и он умолкал, впадая в какое-то мрачное раздумье. Мне казалось, что Агнесса моментально замечала в нем эту перемену и сейчас же старалась рассеять грустные думы отца своей лаской или каким-нибудь вопросом. Тогда мистер Уикфильд выходил из своей задумчивости и еще больше налегал на портвейн.

Агнесса заварила чай и принялась хозяйничать. Время после чая, до тех пор, пока маленькая хозяйка не пошла спать, мы провели так же, как и после обеда. После ее ухода мистер Уикфильд приказал зажечь свечи в своем кабинете, а я также ушел к себе.

Позднее, вечером, я проскользнул к двери и вышел на улицу. Мне хотелось еще раз поглядеть на старинные дома и на собор из серого камня, хотелось воскресить в памяти то время, когда я, бежав из Лондона, проходил по улицам этого старинного города мимо того самого дома, где я теперь живу. Тогда, конечно, я был далек от мысли, что это когда-нибудь может быть. Возвращаясь домой, я увидел, что Уриа Гипп собирается запирать контору. Находясь в том настроении, когда вы к каждому относитесь доброжелательно, я вошел в контору, поговорил с Уриа Гиппом и на прощанье подал ему руку. Какой липкой и холодной была его рука! И наружным видом и наощупь она так походила на руку мертвеца. Я, помнится, потом долго тер свою собственную руку, чтобы согреть ее и стереть его прикосновение. Рукопожатие Уриа Гиппа произвела на меня такое тяжелое

впечатление, что, даже придя в свою комнату, я все еще никак не мог отделаться от ощущения чего-то влажного и противного.

Глава XVI

Я СТАНОВЛЮСЬ ВО МНОГИХ ОТНОШЕНИЯХ ИНЫМ МАЛЬЧИКОМ

На следующее утро после завтрака снова началась для меня школьная жизнь. Мистер Уикфильд проводил меня к месту моих будущих занятий — это было здание внушительного вида, стоящее во дворе. Ученая атмосфера этого дома, повидимому, очень была по вкусу грачам и галкам, которые, спустившись с соборных башен, с важным видом расхаживали тут же по лужайке.

Мистер Уикфильд представил меня моему новому начальнику — доктору Стронгу. Он показался мне таким же заржавленным, как железная решетка перед домом, и таким же тяжелым и неподвижным, как большие каменные урны, подвышавшиеся на одинаковом расстоянии друг от друга на красной кирпичной ограде. Урны эти напоминали величественные кегли, которыми будет играть Время. Доктора Стронга мы застали в его библиотеке. Платье его было не особенно хорошо вычищено, волосы не особенно хорошо причесаны, панталоны у колен и длинные черные гетры не были застегнуты пряжками, а башмаки его стояли на ковре у камина и зияли, словно две пещеры. Доктор Стронг повернул ко мне свои тусклые глаза (они напомнили мне давно забытую старую слепую лошадь, которая когда-то паслась на блондерстонском кладбище, спотыкаясь о могилы) и подал мне руку, с которой я не знал что делать, ибо она сама оставалась совершенно пассивной.

Неподалеку от доктора Стронга сидела за работой очень хорошенькая молоденькая особа, — он звал ее Анни, и я принял ее за его дочь. Она-то и вывела меня из затруднительного положения, став на колени перед доктором Стронгом, чтобы надеть на него башмаки и застегнуть гетры. Все это проделала она очень быстро, с очень веселым видом. Когда доктор таким образом был приведен в порядок и мы все направились в классную комнату, я был очень удивлен, услышав, что мистер Уикфильд, поздоровавшись с молодой особой, назвал ее миссис Стронг. Я был в полном недоумении, не зная, жена

ли она сына доктора Стронга или его самого, когда доктор Стронг случайно разрешил мои сомнения.

— Кстати, Уикфильд, — сказал он, остановившись в коридоре и положив свою руку мне на плечо, — вы еще не приискали подходящего места для кузена моей жены?

— Нет, пока нет, — ответил тот.

— Мне бы хотелось, Уикфильд, чтобы это было сделано как можно скорее, — проговорил доктор Стронг, — ибо Джек Мэлдон очутился теперь и без средств и без работы, а из этих двух печальных обстоятельств порой проистекают еще более печальные. Вы знаете, что, на этот счет сказал доктор Уатс, — прибавил он, глядя на меня: — «Дьявол всегда найдет работу для незанятых рук».

— Уверяю вас, доктор, — ответил мистер Уикфильд, — если бы доктор Уатс знал действительно людей, он мог бы с таким же правом написать: «Дьявол всегда найдет работу для занятых рук». Можете быть уверены, что занятые люди усердно выполняют работу, данную им сатаной, и преисправно делают свою долю зла на свете. Скажите, разве мало сделали зла за последние два столетия наиболее деловые люди в погоне за наживой и властью?

— Джек Мэлдон не гонится ни за тем, ни за другим, — проговорил доктор Стронг, задумчиво почесывая себе подбородок.

— Быть может, и так, — согласился мистер Уикфильд, — но я отвлекся от темы нашего разговора, прошу извинить меня. Да, до сих пор я не смог найти места Джеку Мэлдону. Мне кажется, — как-то нерешительно продолжал мистер Уикфильд, — что я понял, чего вы хотите, и вот именно это и делает более трудной мою миссию.

— Чего я хочу? — повторил доктор. — До того, чтобы пристроить подходящим образом кузена и товарища детства Анни.

— Да, я знаю это. Но весь вопрос в том, где хотите вы его устроить — здесь или за границей?

— Здесь или за границей, — сказал доктор, видимо удивленный тем, что его собеседник делает ударение на словах: «здесь или за границей».

— Видите, вы сами говорите: «или за границей», — настаивал мистер Уикфильд.

— Конечно, здесь или там.

— Значит, насколько я понимаю, вам безразлично, здесь или там? — допрашивал мистер Уикфильд.

— Безразлично.

— Безразлично? — с удивлением повторил мистер Уикфильд.

— Совершенно безразлично.

— И нет никакого основания желать устроить его за границей, а не здесь?

— Нет ни малейшего!

— Я обязан вам верить, доктор, и, конечно, верю. Знай я это раньше, моя миссия была бы очень упрощена, а, признаться, я думал иначе.

Доктор Стронг бросил на него изумленный взгляд, который почти мгновенно сменился улыбкой, пробудившей во мне самые радужные надежды. В улыбке этой засветилось столько милого, ласкового, и в ней, как и во всей его манере себя держать, сквозь холодок учености и важности проглядывала такая задушевная простота, что все это не могло не подействовать ободряюще на такого юного школьника, как я. Все повторяя: «нет» и «ни малейшего основания», доктор Стронг шел впереди нас каким-то странным, неровным шагом. Мы следовали за ним, и мистер Уикфильд, глубоко о чем-то задумавшись, несколько раз озабоченно покачал головой, — он, видимо, не подозревал, что я смотрю на него.

Классная была красивая большая комната в самой спокойной части дома. Окна ее выходили во двор, а дальше, в промежутках между теми величественными каменными урнами, о которых я только что упоминал, виднелся старый, принадлежавший доктору сад, где вдоль южной солнечной стены зрели персики. Когда мы вошли в класс, около двадцати пяти мальчиков, усердно сидевших за книгой, поднялись, чтобы приветствовать директора; увидев мистера Уикфильда и меня, они продолжали стоять.

— Вот вам новый товарищ, юные джентльмены, — Тротвуд-Копперфильд, — сказал директор.

Старший ученик Адамс подошел ко мне и радушно приветствовал меня. В своем белом галстуке он походил на молодого пастора, что не мешало ему быть очень веселым и приветливым. Адамс указал мне мое место в классе и представил меня учителям. Все это было сделано

им так по-джентльменски, что должно было бы совершенно успокоить мое душевное волнение, если бы вообще это было возможно.

Но мне казалось, что я бесконечно давно не был в обществе подобных мальчиков и вообще в среде своих сверстников, кроме Мика Уокера и Разваренной Картошки, и я чувствовал себя среди них более неловко, чем когда-либо в жизни. Я прекрасно сознавал, что пережил много такого, о чем мои новые товарищи не могли иметь ни малейшего представления, что обладаю жизненным опытом, который совершенно не соответствует ни моему возрасту, ни внешнему виду, ни положению ученика. Мне казалось почти обманом вступать в общество новых товарищей заурядным маленьким школьником. За время, проведенное в торговом доме «Мордстон и Гринби», я так отвык от всяких школьных игр и спорта, что потерял всякую сноровку и ловкость в них. Точно так же все знания, приобретенные мною в школе мистера Крикля, совершенно испарились из моей головы под ежедневным гнетом самого грязного физического труда из-за куса насущного хлеба. Когда меня начали экзаменовывать, оказалось, что я ровно ничего не знаю, и я попал в самый младший класс. Как ни был я опечален тем, что так отстал от своих товарищей и в науках и в играх, меня еще гораздо больше мучила мысль, что я настолько опередил их в жизненном опыте. Я все спрашивал себя, что подумали бы обо мне эти новые товарищи, узнав, например, о моем коротком знакомстве с лондонской долговой тюрьмой? А что, если выплывет как-нибудь наружу мое житье-бытье у Микоберов — все эти заклады, продажи, ужины? А что, если кто-нибудь из здешних мальчиков видел, как я, усталый, в лохмотьях, плелся по кентерберийским улицам и теперь узнает меня? Что бы сказали они, так мало знающие цену деньгам, проведая, с каким трудом копил я свои несчастные полупенни, чтобы добыть себе немного колбасы, пива или кусок пудинга? Что бы подумали они, совершенно не имеющие никакого представления ни о лондонских улицах, ни о жизни этих улиц, если бы им кто-нибудь сказал, насколько я, к великому своему стыду, знаком с самыми грязными явлениями лондонской жизни?

Все эти мысли не переставали роиться в моей голове в продолжение всего первого дня в школе доктора Стронга. Я боялся выдать себя каким-нибудь словом, каким-нибудь движением и замыкался в самом себе, как только подходил ко мне кто-нибудь из

новых товарищей. Когда кончились занятия, я моментально убежал, чтобы нечаянно как-нибудь не скомпрометировать себя неловким ответом на вопрос или на дружеское участие.

Повидимому, старинный дом Уикфильда оказывал на меня такое благотворное влияние, что когда я, с новыми учебниками под мышкой, постучал в его дверь, мое мучительное чувство стало рассеиваться. Поднимаясь в свою просторную старомодную комнату по широчайшей лестнице, я словно чувствовал, как в её полумраке исчезают мои сомнения и страхи, заволакивается мое прошлое...

Занятия в школе кончились в три часа; до самого обеда я просидел в своей комнате, усердно трудясь над заданными уроками. Помнится, я спустился вниз с надеждой, что из меня может еще выйти неплохой мальчик.

Агнесса была в гостиной в ожидании отца, которого кто-то задержал в конторе. Она встретила меня своей милой улыбкой и спросила, понравилась ли мне школа. Я ответил, что со временем, наверное, она мне будет очень нравиться, но пока я чувствовал там себя как бы не в своей тарелке.

— А вы когда-нибудь учились в школе? — спросил я.

— О да! Я учусь каждый день.

— Но вы хотите сказать, что учитесь здесь, дома?

— Папа никак не может обходиться без меня, — промолвила она, улыбаясь и покачивая головкой. — Ведь, знаете, домоправительница его всегда должна быть дома.

— Я уверен, что он очень вас любит, — заметил я.

Она утвердительно кивнула головкой и подошла к двери послушать, не идет ли отец, чтобы встретить его на лестнице. Но его еще не было, и она вернулась ко мне.

— Моя мама умерла при моем рождении, — проговорила она с присущим ей спокойствием, — я знаю ее только по портрету, который висит внизу. Вчера я заметила, что вы смотрели на него. Догадались ли вы, чей это портрет?

Я ответил, что догадался по огромному сходству с ней.

— Папа тоже это находит, — промолвила девочка с довольным видом. — Ну вот, наконец, и он сам!

Ее спокойное, веселое личико сияло радостью, когда она пошла навстречу отцу и вернулась, держа его за руку.

Мистер Уикфильд дружески поздоровался со мной и сказал, что мне, наверное, будет очень хорошо у доктора Стронга, добрейшего человека на свете.

— Быть может, есть люди, злоупотребляющие его добротой, — добавил он, — но вы, Тротвуд, никогда не будете в числе их. Доктор Стронг — самое доверчивое существо на свете. Не знаю уж, достоинство ли это его, или его недостаток, но, имея с ним какое-либо дело, большое или малое, надо всегда помнить об этом.

Мне показалось, что говорил он это, будучи чем-то расстроен или раздосадован, но я скоро перестал думать об этом, так как нас сейчас же позвали обедать, и мы пошли вниз, в столовую, где разместились за столом совершенно так же, как накануне.

Не успели мы сесть, как Уриа Гипп, просунув в дверь свою рыжую голову и тощую руку, доложил:

— Мистер Мэлдон, сэр, просит позволения сказать вам несколько слов.

— Да ведь я только что расстался с мистером Мэлдоном, — ответил хозяин дома.

— Точно так, сэр, но мистер Мэлдон вернулся и просит разрешения сказать вам несколько слов.

Приоткрыв дверь рукой, Уриа глядел на меня, Агнессу, тарелки, блюда, казалось, мне, на все решительно в комнате, делая в то же время вид, что не сводит своих красных глаз с хозяина.

— Извините меня, мистер Уикфильд, — раздался из-за спины Уриа чей-то голос.

Тут голова Уриа исчезла, и на ее месте появилась другая голова.

— Прошу извинения, что решаюсь еще побеспокоить вас, — продолжал пошедший. — Обдумав, я решил, что для меня нет иного выхода, и потому чем скорее я уеду за границу, тем лучше. Правда, кухня Анни, когда мы говорили с нею о моих делах, сказала, что ей приятнее было бы иметь своих друзей поближе, а не в изгнании, и старый доктор...

— Вы хотите сказать — доктор Стронг? — с достоинством перебил его мистер Уикфильд.

— Разумеется, я имею в виду доктора Строит, — подтвердил его собеседник, — я обыкновенно зову его старым доктором. Какое это имеет значение? Не все ли равно?

— Не думаю, — проговорил мистер Уикфильд.

— Ну, пусть будет доктор Стронг... Так вот, и доктор Стронг был, повидимому, того же мнения. По теперь, судя по вашим словам, он изменил свой взгляд. Значит, говорить больше не о чем, и чем скорее я уеду, тем будет лучше. Поэтому я и решил вернуться, чтобы сказать вам это. Уж если нужно бросаться в воду, так нечего томиться на берегу.

— Уж будьте уверены, мистер Мэлдон, вас не заставят долго томиться на берегу, — успокоил его мистер Уикфильд.

— Благодарю вас, премного обязан, — ответил мистер Мэлдон. — Знаете, дареному коню в зубы не смотрят. Это как-то неловко, а то кузина Анни могла бы совсем иначе устроить мою судьбу. Мне кажется, стоило ей одно слово сказать старому доктору...

— То есть, вы хотите сказать, что стоило миссис Стронг только поговорить с супругом, — так я вас понял? — перебил его мистер Уикфильд.

— Совершенно верно, — подтвердил мистер Мэлдон. — Стоит ей только высказать то или иное желание, чтобы оно, само собой разумеется, было немедленно выполнено.

— А почему вы думаете, мистер Мэлдон, что это само собой разумеется? — спросил хозяин дома, снова спокойно принимаясь за свой обед.

— Да потому, — смеясь ответил Мэлдон, — что Анни — очаровательная девочка, а старый доктор, — то есть доктор Стронг, — далеко не очаровательный мальчик. Поверьте, я не имею в виду никого оскорбить. Я только хочу сказать, мистер Уикфильд, что при таких браках должна быть, по крайней мере, какая-нибудь компенсация^[47].

— Компенсация для леди, сэр? — серьезным тоном осведомился мистер Уикфильд.

— Да, сэр, для леди, — смеясь, ответил Джек Мэлдон.

Заметив, что хозяин дома невозмутимо, без малейшей тени улыбки продолжает свой обед, Мэлдон прибавил:

— Теперь я высказал вам все, ради чего вернулся. Я еще раз извиняюсь за беспокойство и удаляюсь.

— Вы обедали? — спросил мистер Уикфильд, делая пригласительный жест рукой.

— Благодарю вас, — ответил мистер Мэлдон, — я сейчас иду обедать к своей кузине Анни. До свиданья!

Мистер Уикфильд, не вставая, задумчиво посмотрел вслед уходившему молодому человеку. Со своим красивым лицом, самоуверенным, дерзким видом, находчивостью в разговоре, мистер Мэлдон произвел на меня впечатление пустого малого. Такова была наша первая встреча.

Пообедав, мы снова поднялись в гостиную, где провели время совершенно так же, как накануне. Агнесса поставила графин портвейна и стакан в тот самый уголок, а мистер Уикфильд, сидя там, так же уседно тянул портвейн. Агнесса играла ему на рояле, а потом, присев к отцу с работой, болтала с ним и наконец сыграла со мной несколько партий в домино. В обычное время она напоила нас чаем, а потом, когда я сходил за своими учебниками, она стала просматривать их и делиться со мной тем, что знала сама. Это был для меня лучший способ понять заданные уроки и усвоить их. Тут я убедился, что у нее гораздо больше знаний, чем, по скромности, она приписывала себе. И теперь, когда пишу я эти строки, мне кажется, что я вижу ее такой, какой она была тогда, — скромной, аккуратной девочкой, окруженной атмосферой какого-то особенного спокойствия, слышу ее чудесный, мелодичный голосок. Уже тогда начал я чувствовать то благотворное влияние, которое впоследствии оказывала она на меня. Помню, что в это время я любил Эмми и не любил Агнессу. Да, я совсем, совсем не любил ее так, как ту, но чувствовал, что там, где Агнесса, добро, мир и правда.

Когда для Агнессы наступило время спать и она ушла, я также протянул руку мистеру Уикфильду, собираясь подняться к себе, но он остановил меня.

— Хотели бы вы, Тротвуд, остаться у нас или предпочитаете устроиться где-нибудь в другом месте? — спросил он.

— Нет, я хочу остаться у вас, — поспешил ответить я.

— Вы уверены в этом?

— Если только вы позволите, если бы я мог...

— Видите ли, мой мальчик, я боюсь, что наша жизнь слишком скучна для вас, — пояснил мистер Уикфильд.

— Раз, сударь, она не скучна для Агнессы, она не будет скучна и для меня, — возразил я. — Вовсе не скучна.

— Не скучна для Агнессы... — повторил как бы про себя мистер Уикфильд, медленно подходя к большому камину и прислоняясь к нему. — Да... не скучна для Агнессы?..

Мистер Уикфильд в этот вечер пил так много портвейна, — или мне это только показалось, — что глаза его налились кровью.

— Не надоел ли я моей Агнессе? — бормотал он. — Она-то никогда не может надоест мне, но ведь это иное дело... да, совсем иное...

Так как он говорил сам с собой, то я ничего ему на это не возражал.

— Дом мой стар и скучен, — продолжал он бормотать, — и жизнь такая однообразная... Но моя девочка мне необходима, она должна быть подле меня... Когда мне в голову приходит мысль, что я могу умереть и покинуть мою любимую девочку или что она, мое сокровище, может умереть и я останусь без нее, — мысль эта, как страшный призрак, отравляет мне жизнь, и я могу ее только потопить в...

Он не договорил, в чем именно может потопить свои мрачные мысли, но медленно подошел к тому месту, где раньше сидел, машинально взял пустой графин, попытался налить из него еще вина, но убедившись, что в нем ничего нет, снова вернулся к камину.

— Если мне так тяжело бывает в ее присутствии, то что же было бы без нее? Нет, нет, нет... жить в разлуке с нею для меня невыносимо...

Тут он снова прислонился к камину и погрузился в такое продолжительное раздумье, что я уж не знал, на что мне и решиться, — рискнуть ли, не потревожив его, уйти потихоньку, или ждать, пока он выйдет из своей задумчивости. Наконец он как бы очнулся и, осмотревшись кругом, остановил свой взгляд на мне.

— Так вы остаетесь у нас, Тротвуд, — ведь да? — спросил он меня обычным своим тоном, как бы продолжая разговор со мной. — Я очень рад этому. Вы будете товарищем нам обоим. Ваше присутствие здесь будет полезно и для меня и для Агнессы, а быть может, и для всех нас.

— Для меня-то во всяком случае, сэр. Я так рад, что остаюсь здесь! — воскликнул я.

— Вы славный мальчик, Тротвуд, — проговорил мистер Уикфильд. — Живите здесь, пока вам захочется.

Затем он пожал мне руку, похлопал меня по спине и сказал, что если мне надо будет заниматься после того, как Агнесса уйдет спать, или если я захочу почитать для собственного удовольствия, то я могу всегда притти к нему в кабинет и сидеть там с ним. Я поблагодарил его, и так как вскоре он спустился к себе, то я, не желая еще спать также, направился было в кабинет, чтобы, пользуясь его разрешением, почитать там с полчаса. Но, увидев в конторе свет, я почувствовал, что меня инстинктивно тянет к Уриа Гиппу, и, вместо того чтобы итти в кабинет, вошел к нему.

Я застал Уриа за большой засаленной книгой; он читал ее с напряженным вниманием, водя своим костлявым указательным пальцем вдоль каждой строчки, причем казалось, что от его пальца остается влажный след, как после улитки.

— Вы, Уриа, нынче что-то поздно засиделись за работой, — сказал я ему.

— Да, мистер Копперфильд, — отозвался он.

Сев напротив Уриа, чтобы удобнее было говорить с ним, я обратил внимание на то, что улыбки на лице у него, собственно, не было, а вместо того, чтобы улыбаться, он раскрывал рот, и в это время на обеих его щеках появлялись глубокие впадины.

— Я, мистер Копперфильд, занимаюсь теперь не конторскими делами, — заявил он.

— А какая же у вас работа? — поинтересовался я.

— Я, мистер Копперфильд, пополняю свои юридические познания. Сейчас я изучаю судопроизводство мистера Тидда. Что это за писатель, мистер Копперфильд!

Мой высокий табурет представлял собой как бы сторожевую башню. Сидя на нем, в то время как Уриа после своих восторженных восклицаний погрузился снова в чтение и стал еще прилежнее водить указательным пальцем по строкам, я сделал еще одно наблюдение; тонкие угловатые его ноздри как-то странно и неприятно сжимались и расширялись; казалось, что эти ноздри моргают вместо неморгающих глаз.

— Мне кажется, вы должны быть прекрасным юристик, мистер Гипп, — заявил я, поглядев на него некоторое время.

— Я, мистер Копперфильд? О нет! Я человек маленький.

Говоря это, он потирал свои ладони одна о другую, как бы стремясь их согреть и высушить, и тут же украдкой вытирал их носовым платком.

— Я прекрасно сознаю, что я самый маленький из людей, — скромно продолжал Уриа Гипп. — Где мне тягаться с другими! Мать моя тоже человек маленький. Живем мы в маленькой лачужке, но и за это должны благодарить бога. Отец мой тоже был человеком маленьким — могильщиком.

— А теперь что он делает? — спросил я.

— Теперь он вкушает благодать на небесах, мистер Копперфильд. Но, повторяю, мы за многое должны быть благодарны господу, хотя бы за то, что я служу у мистера Уикфильда.

Я спросил его, давно ли он служит в конторе мистера Уикфильда.

— Четвертый уж год, мистер Копперфильд, — ответил Уриа, закрывая книгу, предварительно отметив в ней место, где он остановился. — Я поступил сюда через год после того, как скончался мой батюшка. Как должен я быть благодарен мистеру Уикфильду за то, что он дал мне возможность бесплатно пройти у него курс юридических наук! Иначе это была бы совершенно для меня невыносимо при наших с матушкой маленьких средствах.

— Значит, когда срок вашего учения в конторе кончится, вы будете, наверно, настоящим адвокатом? — спросил я.

— Надеюсь, по милости провидения, быть таковым.

— А может быть, когда-нибудь вы еще станете и компаньоном мистера Уикфильда, — прибавил я, желая сказать ему что-нибудь приятное. — И будет «Уикфильд и Гипп» или «Гипп, бывший Уикфильд».

— О нет, мистер Копперфильд! — воскликнул Уриа, качая головой. — Я человек слишком маленький. А какой прекраснейший человек мистер Уикфильд! Впрочем, если вы давно с ним знакомы, то сами, конечно, должны знать это лучше моего.

Я ответил ему, что в достоинствах мистера Уикфильда я вполне уверен, но, хотя он и старый друг моей бабушки, я сан только недавно с ним познакомился.

— Вот как, мистер Копперфильд! Ну, уж бабушка ваша — премилая дама!

Когда Урла приходил в восторженное состояние, то он начинал как-то уродливо корчиться, и в данную минуту я больше обратил внимание на змееобразные движения его горла и туловища, чем на его дифирамбы бабушке.

— Да, мистер Копперфильд, премилая дама ваша бабушка, — снова с увлечением повторил Уриа. — Она, мне кажется, в восторге от мисс Агнессы, не правда ли?

Я храбро ответил «да», по правде сказать, совершенно не зная, так ли это. Да простит меня бог!

— Надеюсь, что и вы тоже в восторге от мисс Агнессы? — продолжал допрашивать Уриа. — Уверен, что так.

— Думаю, что все должны быть от нее в восторге, — заявил я.

— О! Благодарю вас за эти слова, мистер Копперфильд! Как это верно сказано! Хотя я и очень маленький человечек, а знаю, что это так и есть! О, благодарю вас, благодарю, мистер Копперфильд!

Корчась и ежась от восторга, он сполз с табурета и, очутившись на ногах, стал собираться домой.

— Матушка уже ждет меня, — промолвил он, глядя на свои бледные, с тусклым циферблатом часы, — и, пожалуй, еще начнет беспокоиться. Мы хотя и маленькие людишки, мистер Копперфильд, но очень привязаны друг к другу. Если бы когда-нибудь вечером вы пожаловали в нашу убогую лачужку и откушали с нами чаю, мы с матушкой сочли бы это за великую честь.

Я ответил, что как-нибудь с удовольствием навещу их.

— Благодарю вас, мистер Копперфильд, — ответил Уриа, ставя свою книгу на полку. — Вероятно, вы, мистер Копперфильд, пробудете здесь еще некоторое время?

Я объяснил ему, что предполагаю жить у мистера Уикфильда все время, пока буду учиться в школе.

— Ах, вот как! — воскликнул Уриа. — А в конце концов, я думаю, вы сделаетесь и компаньоном нашей фирмы.

Я стал уверять Уриа, что у меня вовсе нет таких намерений и, насколько мне известно, вообще никто не строит подобных планов; но Урна стоял на своем и, несмотря на мои возражения, мягко, но упорно все повторял:

— Нет, нет, мистер Копперфильд, я уверен, что так будет, — или:
— Что что будет так, я уверен, мистер Копперфильд.

Наконец, совсем собравшись уходить, он спросил меня, не буду ли я против того, чтобы он затушил свечу, и тут же, с моего согласия, задул ее. Затем, пожав мне руку, — в темноте показалось, что я дотронулся до рыбы, Уриа Гипп слегка приоткрыл дверь и, выскользнув на улицу, захлопнул ее за собой. Он предоставил мне в полном мраке добираться до моей комнаты, что, признаться, было делом далеко не легким, и я даже упал, наткнувшись на его табурет.

На другой день, придя в школу, я почувствовал себя уже лучше, в следующие дни еще лучше, и не прошло и двух недель, как там, среди своих новых товарищей, я был совсем как дома, счастлив и доволен. Правда, я был не особенно ловок в их играх, отставал от них в науках, но надеялся, что со временем сравняюсь с товарищами и в том и в другом. И я действительно старался изо всех сил и заслужил общее одобрение. Вскоре моя жизнь в торговом доме «Мордстон и Гринби» так далеко отошла от меня, что я почти не верил, была ли она вообще когда-либо, и вместе с тем мне казалось, что я давным-давно наслаждаюсь теперешней чудесной жизнью.

Школа доктора Стронга была прекрасным учебным заведением и так же отличалась от школы мистера Крикля, как добро от зла. В ней парил порядок, дело велось серьезно, благопристойно. В основе была здоровая система доверия к добросовестности и чувству чести учеников, и что делало просто чудеса. Мы сознавали, что все мы принимаем участие в управлении школой и что нашим долгом является поддерживать ее добрую славу. Благодаря всему этому мы очень скоро привязывались к нашей школе. Я это не только испытал на себе, но убедился за все время своего пребывания, что ни один ученик иначе как с любовью не относился к ней. Учились мы с большим усердием, желая этим создать нашей школе хорошую репутацию. В рекреационное время мы, пользуясь полной свободой увлекались разными играми, но, помнится, и в этом отношении о нас в городе шла добрая слава: мы и тут старались не уронить репутации учеников школы доктора Стронга.

Некоторые из старших учеников были полными пансионерами. От них-то я узнал некоторые подробности жизни доктора Стронга. Я узнал, например, что менее года тому назад он по любви женился на

молодой красавице, которую я видел тогда в первый день, в его кабинете; что у красавицы этой не было ни гроша за душой, но зато имелась целая стая родственников, которые, по словам товарищей, готовы были пустить по миру доктора Стронга. Обычную глубокую задумчивость нашего директора пансионеры объясняли тем, что он постоянно занят отыскиванием греческих корней. Вначале, по своей наивности и невежеству, я было вообразил, что он отыскивает корни каких-то особенных растений, благо он, гуляя, всегда смотрел в землю, и только впоследствии я узнал, что это были корни греческих слов для словаря, который он собирался выпустить. Наш староста Адамс, обладавший большими математическими способностями, занялся вычислением, когда этот словарь, при темпах работы шестидесятилетнего доктора Стронга, может быть закончен, и оказалось, что для этого потребуется не больше, не меньше как тысяча шестьсот сорок девять лет!

Что касается самого доктора Стронга, то его обожала вся школа, да и как могло быть иначе: он был добрейшим человеком на свете. Его мягкость и доверчивость могли, кажется, растрогать даже каменные урны на нашей кирпичной ограде. Когда, бывало, он прогуливался по двору, у дома, и грачи и галки, склонив голову, лукаво посматривали на него, гордясь тем, что они гораздо больше смыслят в житейских делах, чем он, то стоило тут подойти к нему какому-нибудь бродяге и сочинить самую неправдоподобную историю о своем бедственном положении, как наш добрейший и доверчивый директор немедленно раскошелывался, и жизнь бродяги по крайней мере дня на два была обеспечена. Мягкосердечие директора было так хорошо всем известно, что учителя и старшие ученики при виде подобного мародера, выпрыгнув из окна, старались не допустить его к директору. Подобные сцены часто происходили в нескольких шагах от доктора Стронга, а он, погруженный в свои греческие корни, расхаживал взад и вперед, совершенно не замечая того, что творится у него под носом.

Но вне своих владений, лишенный защиты, доктор Стронг был настоящей овцой, которую каждый мог стричь, сколько ему было угодно. С него, кажется, можно было снять даже сорочку. У нас в школе ходил забавный рассказ о том, как однажды зимой какая-то нищенка выпросила у него его гетры.

Завернув в них своего хорошенького ребенка, она ходила из дома в дом, прося милостыню. Инцидент этот наделал много шума, ибо докторские гетры пользовались такой же известностью в городе, как и Кентерберийский собор^[48]. Один доктор, говорят, не узнал своих гетр, и когда они несколько дней спустя висели у старьевщика с дурной репутацией, который менял старье на водку, то наш директор, проходя мимо, остановился у этих гетр и с интересом осматривал и ощупывал их, находя их лучше собственных.

Приятно было смотреть на доктора, когда он бывал со своей юной красавицей-женой. В его любви к ней чувствовалось столько отеческой нежности, что уж это одно говорило о том, что он прекрасный человек. Я часто видел их гуляющими вместе в саду, где зрели персики, и не раз случалось мне наблюдать за ними еще ближе, в кабинете или зале. На меня всегда производило впечатление, что миссис Стронг очень заботится о своем муже и очень любит его, тем не менее мне не верилось, чтобы юная красавица могла быть особенно увлечена греческим словарем. Отрывки его доктор всегда носил или в кармане, или в подкладке своей шляпы и, повидимому, во время прогулок знакомил жену с их содержанием.

Я часто видел миссис Стронг. Во-первых, я имел счастье сразу понравиться ей в то самое утро, когда мистер Уикфильд привел меня к ее мужу, и она с тех пор всегда была добра и внимательна ко мне, а во-вторых, она очень любила Агнессу и часто бывала у нас. В ее отношениях с мистером Уикфильдом все время чувствовалась какая-то натянутость; мне даже казалось, что она побаивается его. Бывая у нас вечером, она никогда не хотела, чтобы мистер Уикфильд провожал ее, а всегда убегала со мной. Подчас, бывало, мы весело несемся через пустынный соборный двор, и вдруг неожиданно натыкаемся на Джека Мэлдона. Помнится, что, встретив нас, он всегда бывал удивлен.

Мать миссис Стронг была дамой, приводившей меня в восторг. Имя ее было миссис Марклегем, но у нас в школе прозвали ее «Старым Полководцем» — за искусство, с которым она водила на доктора Стронга полчища своих родичей. Это была маленькая женщина с пронзительными глазами. В торжественных случаях она неизменно появлялась в чепце, украшенном цветами и двумя бабочками, как бы порхающими над этими цветами. Уверяли, что этот чепец был привезен из Франции, так как он мог быть творением

только этой изобретательной нации. Но я знал лишь одно, что знаменитый этот чепец фигурирует на всех вечерах, где появляется миссис Марклегем, куда она обыкновенно приносит его с собой в корзиночке индусской работы; знал я также, что бабочки на этом чепце обладают способностью непрестанно колыхаться и что они, как трудолюбивые пчелки, увиваются вокруг доктора Стронга, словно около цветка, с которого они обильно собирают мед и воск. Мне самому пришлось однажды вечером наблюдать, с каким искусством Старый Полководец производил свои операции.

У доктора Стронга была маленькая пирушка по случаю отъезда в Индию Джека Мэлдона. Мистеру Уикфильду удалось-таки пристроить его. Случайно это совпало с днем рождения директора. Мы в этот день были освобождены от занятий. Утром мы преподнесли доктору Стронгу подарки, наш старшина произнес от имени всех учеников поздравительную речь, а потом мы кричали нашему директору «ура», пока сами мы не охрипли, а он не расчувствовался до слез. И вот вечером мы втроем — мистер Уикфильд, Агнесса и я — как личные его друзья, отправились к нему на чашку чая.

Мы уже застали там Джека Мэлдона. Миссис Стронг в белом платье с алыми лентами играла на рояле, а Мэлдон, склонившись к ней, переворачивал ноты. Когда миссис Стронг обернулась, чтобы приветствовать нас, мне показалось, что ее чудесный цвет лица не так ослепителен, как всегда, но хороша она была поразительно.

Когда все мы уселись, матушка миссис Стронг, обращаясь к своему зятю, сказала:

— Я как-то до сих пор позабыла поздравить вас, дорогой доктор. Примите же теперь мои искренние поздравления по поводу дня вашего рождения и горячие мои пожелания, чтобы вы еще много, много раз праздновали этот день.

— Благодарю вас, мэм, — ответил доктор.

— Да, желаю вам еще много, много счастливых лет, — повторил Старый Полководец, — и желаю это не только для вас самих, но также ради Ании, ради Джека Мэлдона, ради многих других... Знаете, Джек, мне кажется, будто все это было вчера: вы совсем маленький мальчуган, на голову ниже Копперфильда, по-детски влюблены в Анни и объясняетесь ей в любви — в огороде, за кустом крыжовника...

— Мама, милая, право, не стоит теперь об этом вспоминать, — взмолилась миссис Стронг.

— Что за вздор, Анни! — ответила мать. — Если вы теперь, будучи старой замужней женщиной, краснеете, слыша о своем детском романе, то когда же не будете вы краснеть из-за этого?

— Анни — старая! — воскликнул Мэлдон. — Да что вы!

— Да, Джек, старая, не по годам, конечно, — могла ли бы я когда-нибудь сказать это относительно двадцатилетней женщины! — Но старая по своему положению, как жена доктора. И ваше счастье, Джек, что ваша кузина — жена доктора. Вы нашли в нем доброго, влиятельного друга, который, предсказываю вам, будет еще добрее, если вы заслужите это. У меня лично нет ложного самолюбия, и я всегда, не колебась, откровенно говорю, что некоторые члены нашей семьи нуждаются в друге и покровителе. Вы сами, Джек, из их числа.

Тут доктор Стронг, по своей доброте душевной, замахал рукой, как бы показывая, что об этом не стоит говорить и что он хочет избавить Джека Мэлдона от дальнейших воспоминаний об оказанных ему благодеяниях. Но миссис Марклегем, пересев на стул рядом с доктором и кокетливо опустив свой веер на рукав его сюртука, продолжала:

— Нет, нет, дорогой доктор, вы уж простите меня, если я так распространяюсь на этот счет, но это потому, что я умею глубоко чувствовать. У меня это просто навязчивая идея, — я считаю, что вы являетесь для нас положительно благословением, ниспосланным небом. Да! Ваш брак с Анни — величайшее наше счастье!

— Чепуха! Чепуха! — заметил доктор.

— Нет, извините, вовсе не чепуха, — настаивал Старый Полководец. — Здесь мы все свои люди: ведь мистер Уикфильд наш такой дорогой, верный друг. И вы меня не заставите молчать. А то, знаете, я воспользуюсь своими правами тещи и хорошенько проберу вас. Человек я прямой и откровенный. То, что я говорю в настоящую минуту, я сказала вам и тогда, когда вы так ошеломили меня. Помните, до чего я была удивлена, услышав, что вы делаете Анни предложение? В сущности, тут ничего не было необыкновенного, даже смешно говорить об этом. Вы были приятелем ее бедного отца, знали Анни шестимесячным, грудным ребенком, и я просто не думала о вас как о женихе. Видите, этим и объясняется мое удивление.

— Да, да, — добродушно заметил доктор. — Этого, право, не стоит вспоминать.

— Но я не забываю этого, — проговорил Старый Полководец, кокетливо закрывая своим веером рот доктора Стронга. — Ничего я не забываю. Я нарочно припоминаю все это для того, чтобы вы могли меня опровергнуть, если я ошибаюсь. Но вот тут я и переговорила с Анни, сказала ей: «Дорогая моя, у меня был доктор Стронг, он любит вас и предлагает вам выйти за него замуж». Оказала ли я при этом какое-либо давление? Нет! Я только спросила дочку: «Сейчас же скажите мне истинную правду, свободно ли ваше сердце?» — «Мама, — ответила она мне плача, — я так молода, что сама не знаю, имеется ли вообще у меня сердце». — «Ну, значит, вы можете быть уверены, что сердце ваше свободно, — ответила я ей. — Во всяком случае, дорогая моя, доктор Стронг волнуется, и ему надо что-нибудь ответить. Нельзя оставлять его в неизвестности». — «Мама, — продолжая плакать, спросила меня Анни, — неужели он без меня не может быть счастлив? Если это так, то я настолько уважаю и ценю его, что кажется, готова дать свое согласие». Вот так это и уладилось. И только тогда, заметьте, — не раньше, я сказала: «Анни, доктор Стронг будет не только вашим мужем, но и заменит вам покойного отца. Он станет главой всей нашей семьи. Умом его мы будем жить, он даст нам положение, средства, — словом, он будет для нас благословением небес».

В продолжение всей этой речи ее дочь сидела молча и неподвижно, опустив глаза в землю. Мэлдон, также потупив взоры, стоял подле нее. Когда Старый Полководец наконец остановился, дочь тихо, дрожащим голосом спросила:

— Надеюсь, мама, вы кончили?

— Нет, дорогая Анни, — ответил Старый Полководец, — я не совсем кончила. Раз вы меня спрашиваете, дорогая моя, я и говорю нет, не кончила. Мне надо еще пожаловаться на ваше несколько холодное отношение к своему собственному семейству, а так как жаловаться на вас вам же самой совершенно бесполезно, то я жалуясь вашему супругу. Теперь, дорогой доктор, посмотрите-ка на свою глупенькую женушку...

Когда доктор Стронг с простодушной, милой улыбкой повернул свое доброе лицо к жене, голова ее опустилась еще ниже. Я обратил

внимание на то, что мистер Уикфильд также посмотрел на нее, и посмотрел очень пристально.

— Когда, как-то на днях, я сказала этой гадкой девочке, — шутливым тоном продолжала маменька, кивая головой и указывая на дочь веером, — что ей надо было бы, или, вернее сказать, она обязана была бы сообщить вам об одном нашем семейном деле, то она отказалась наотрез, ссылаясь на то, что сообщить вам об этом деле было бы равносильно просьбе, а просить ей у вас, при вашем великодушии, значит всегда получить.

— Нехорошо, нехорошо, Анни, дорогая, вы этим лишили меня удовольствия, — заметил доктор Стронг.

— Представьте, я говорю ей почти то же! — воскликнула маменька. — А теперь, дорогой доктор, зная, как она на это смотрит, я, когда понадобится, сама к вам буду обращаться.

— И доставите мне этим удовольствие!

— Правда?

— Ну, конечно!

— Тогда принимаю это к сведению — уговор дороже денег, — заявил Старый Полководец.

Добившись того, чего она, видимо, домогалась, мамонька похлопала своим веером несколько раз по руке доктора (предварительно поцеловав этот веер) и с торжествующим видом отретировалась на свои прежние позиции.

Вскоре стали собираться гости. В числе их были два учителя нашей школы и Адамс. Разговор сделался общим. Естественно, заговорили о Джеке Мэлдоне, о его путешествии, о стране, куда он отправляется, о его планах и видах на будущее.

Мэлдону предстояло этим же вечером после ужина ехать на почтовых лошадях в Грэвсенд, где стоял на якоре корабль, который должен был на следующего же утро уйти в Индию. Мэлдону предстояло пробыть там, не помню уж хорошенько, сколько лет, и только болезнь или отпуск могли временно позволить ему вернуться. Помнится, что после долгих обсуждений пришли к заключению, что Индия незаслуженно пользуется дурной репутацией; ее же можно упрекнуть только в том, что там имеется пара тигров, да еще порой, около полудня, бывает немного жарко. Что касается меня, я видел в Джеке Мэлдоне современного Синдбада^[49] и уже воображал, как он,

став загадочным другом всех индийских раджей^[50], будет восседать под балдахин, покуривая литую золотую трубку, которая, если ее вытянуть, будет в миллю длиной...

Миссис Стронг прекрасно пела. Я это знал, так как мне часто приходилось ее слышать, когда она пела для себя. В этот же вечер, не знаю почему, смутило ли ее большое общество, или она была не в голосе, только ничего у нее не клеилось. Пробовала она было спеть дуэт с Мэлдоном, но не в силах была даже взять первой ноты. Потом она пыталась петь одна и даже мило начала, но сейчас же голос у нее сорвался, и она, совсем убитая, склонила голову над клавишами. Добрейший доктор заявил, что у его жены нервы не в порядке, и, чтобы вывести ее из затруднительного положения, предложил гостям сыграть в карты, хотя сам он в этом смыслил не более, чем в игре на тромбоне^[51]. Я заметил, что Старый Полководец сейчас же стал опекать зятя: она назначила его своим партнером и немедленно отобрала в свое ведение все имеющиеся в докторском кармане серебряные деньги. Игра наша шла очень весело, и этому немало способствовали промахи доктора, — он играл плохо, несмотря на бдительность бабочек, все время в смятении порхавших над головой Старого Полководца.

Миссис Стронг отказалась играть в карты, сославшись на нездоровье. Ее кузен Мэлдон тоже уклонился от этого, ибо, по его словам, ему надо было еще укладываться. Однако он недолго занимался этим; вскоре он вернулся в зал, сел на диван подле своей кухни, и они принялись разговаривать. Время от времени миссис Стронг поднималась с дивана, подходила к мужу, заглядывала в его карты и давала ему советы, как играть. Наклоняясь к мужу, она была очень бледна, и мне показалось, что когда она указывает на карты, пальцы ее дрожат. Но если это и было так на самом деле, то доктор, ошарашенный ее вниманием, ничего не замечал.

За ужином нам было далеко не так весело. Очевидно, каждый чувствовал, что подобное расставание — вещь нешуточная, и чем ближе приближалась эта минута, тем становилось тяжелее. Мэлдон пытался было болтать, но это ему что-то плохо удавалось, и общее настроение еще более понизилось. Не развеселили, по-моему, общество и старания Старого Полководца, продолжавшего делиться воспоминаниями из ранней юности Мэлдона.

Один доктор, повидимому чувствовавший, что он всех способен осчастливить, был в прекрасном настроении духа и глубоко убежден, что все кругом наверху блаженства.

— Анни, дорогая моя, — проговорил он, смотря на часы и наливая себе в бокал вина, — вашему кузену пора ехать, и мы не должны его удерживать, ибо время и прилив (а тут они оба налицо) никого не ждут. Мистер Мэддон, вам предстоит длинное путешествие, а затем жизнь на чужой стороне. Но со многими это случалось и со многими еще будет случаться до скончания веков. Ветры, которым выверяете себя, несли тысячи тысяч людей к их счастью, и тысячи тысяч людей благополучно вернулись на родину.

— Ну, однако, как на это ни смотрите, — заговорила миссис Марклегем, — все же нельзя равнодушно видеть, как прекрасный юноша, который вырос у вас на глазах, отправляется на край света, покидая здесь все знакомое и не ведая, что ждет его впереди. И юноша, приносящий такие жертвы, действительно заслуживает постоянной поддержки и покровительства, — добавила маменька, многозначительно глядя на зятя.

— Время быстро будет итти для вас, мистер Мэддон, — снова заговорил доктор, — быстро итти будет оно и для нас всех. Кое-кто из нас, в силу естественного порядка вещей, вряд ли может рассчитывать приветствовать вас по возвращении. На это можно только надеяться, и я надеюсь. Не буду докучать вам добрыми советами и наставлениями. Долго у вас перед глазами был хороший пример — ваша кузина Анни. Старайтесь, насколько сможете, подражать ей.

Тут миссис Марклегем закивала головой и стала усиленно обмахиваться веером.

— Прощайте, мистер Джек, — закончил, поднимаясь со своего места, доктор. (Мы также все встали). — Желаю вам счастливого пути, блестящей карьеры за морем и благополучного возвращения на родину.

Все мы присоединились к этому тосту, опорожнили свои бокалы и пожали руку мистеру Джеку Мэддону. Наскоро простившись с дамами, он поспешно вышел, и, когда садился у крыльца в почтовый экипаж, наши школьники, нарочно по этому случаю собравшиеся на лужайке, громогласно прокричали ему «ура». Выбежав на лужайку, чтобы примкнуть к товарищам, я очутился возле самого экипажа в тот

момент, когда он тронулся. Несмотря на шум и поднятую пыль, я ясно видел, до чего взволнованно было лицо Мэлдона. Заметил я также, что в руке он держал какую-то небольшую вещь алого цвета.

Ученики, прокричав еще «ура» в честь своего директора и его жены, разошлись, а я вернулся в дом, где в зале застал всех гостей, столпившихся вокруг доктора Стронга. Они говорили об отъезде Мэлдона, о том, как он держал себя в момент расставания, что должен был он почувствовать при этом, и т. п. Миссис Марклегем прервала эти разговоры, крикнув:

— А где же Анни?

Анни нигде не было, и, когда стали ее звать, Анни не откликнулась. Все бросились ее искать и нашла лежащей без чувств на полу в передней. Сначала страшно перепугались, пока не выяснилось, что это только обморок и она уже начинает приходить и себя при помощи обычных в таких случаях средств. Тут доктор положил голову жены к себе на колени и, нежно отбросив ее локоны, проговорил:

— Бедная Анни! У нее такое верное, нежное сердце! Все что наделала разлука с ее любимым кузенком — товарищем и другом ее детских лет. Как жаль, что ему пришлось уехать! Очень мне это грустно!

Когда миссис Стронг открыла глаза и увидела, что она и передней и мы все стоим вокруг нее, она, отвернув лицо, поднялась с посторонней помощью и положила голову на плечо мужа, быть может, для того, чтобы скрыть от нас свое лицо.

Мы оставили ее с мужем и матерью, а сами ушли в гостиную; но вскоре, повидимому, она уверила своих, что ей гораздо лучше, чем было с самого утра, а потому она хотела бы вернуться к гостям, и те привели ее и посадили на диван. Мне она показалась очень бледной и ослабевшей.

— Анни, дорогая, — сказала маменька, оправляя на ней платье, — взгляните, вы где-то потеряли свои бант. Быть может, кто-нибудь будет так добр и поищет его: бант алого цвета.

Это был тот самый бант, который я видел в течение всего вечера на груди миссис Стронг. Мы все искали его, не было места, куда бы я сам не заглянул, но его нигде не оказалось.

— Не помните ли, Анни, где вы видели этот бант в последний раз? — приставала маменька.

Дочь ответила, что, кажется, совсем еще недавно он был на ней, но вообще не стоит больше его искать. Говоря это, она так покраснела, что я, глядя на нее, с удивлением подумал, как мог я только что находить ее бледной.

Несмотря на это, мы снова принялись за поиски, и снова безрезультатно. Миссис Стронг умоляла нас забыть о банте, но тем не менее, пока ей не стало совсем хорошо и мы не распрощались, все еще делались кое-какие попытки найти этот бант.

Помню, мистер Уикфильд, Агнесса и я — мы очень медленно шли домой. Оба мы с Агнессой любовались луной, а мистер Уикфильд почти не поднимал глаз с земли. У самого дома Агнесса заметила, что забыла свою сумочку у Стронгов. В восторге, что могу оказать ей услугу, я помчался обратно.

В столовой, где Агнесса оставила сумочку, было темно и пусто. Дверь в кабинет была открыта, там виднелся свет, и я вошел, чтобы объяснить, почему я вернулся, и попросить свечу.

Доктор сидел в своем кресле у горящего камина, а жена — на скамеечке у его ног. Он с благодушной улыбкой читал ей что-то из своего нескончаемого греческого словаря, а она, не отрывая глаз, смотрела на мужа, и смотрела с таким лицом, какого никогда раньше я не видывал у нее. Лицо это, как всегда прекрасное, было так мертвенно бледно, так рассеянно, неподвижно, такой непомерный, кошмарный ужас написан был на нем. Она была похожа на лунатика: глаза были широко открыты, а чудесные каштановые волосы двумя роскошными волнами спадали на ее плечи и белое платье, на котором недоставало потерянного алого банта. Ясно припоминаю я ее взгляд, но мне трудно даже и теперь решить, что именно выражал он. Кажется мне, что тут было и раскаяние, и унижение, и стыд, и гордость, и любовь, и доверие, а из-за всего этого еще проглядывал ужас перед чем-то, для меня непонятным.

Мой приход как-бы пробудил ее, а также изменил направление мыслей доктора, ибо когда я вернулся, чтобы поставить на место взятую на столе свечу, он отечески гладил жену по голове и упрекал себя в бессердечности за то, что позволил ей соблазнить себя

предложением почитать отрывок из своего труда, в то время как женошке давным-давно надо было лечь в постель.

Но она начала скороговоркой настойчиво упрашивать мужа позволить остаться, дать почувствовать, что он попрежнему доверяет ей. Бросив на меня беглый взгляд в тот момент, когда я выходил из комнаты, миссис Стронг снова повернулась к мужу, скрестила свои руки на его коленях и стала снова так же глядеть на него. Пожалуй, лицо ее показалось мне все же несколько спокойнее. А доктор опять принялся за чтение своей рукописи... Сцена эта произвела на меня сильнейшее впечатление, и я долго не мог забыть о ней.

Глава XVII

КОЕ-КТО ПОЯВЛЯЕТСЯ

Со времени моего бегства из Лондона мне ни разу здесь не приходилось упомянуть о Пиготти, но, разумеется, я не мог не написать ей, как только меня приютили в Дувре, а затем, когда бабушка формально взяла меня под свое покровительство, я послал ей самое подробное письмо. Поступив в школу, я написал своей няне о том, как мне хорошо живется и какое прекрасное будущее открывается теперь передо мной. Те полгинеи, которые при отъезде моем в школу подарил мне мистер Дик, я вложил в это письмо в уплату моего долга. И смело могу сказать, что это доставило мне наибольшее удовольствие, какое только мог доставить мне подарок моего старого друга. В этом же письме впервые рассказал я Пиготти о том, как ограбил меня длинноногий парень с ослом. На все мои послания няня отвечала если не так же обстоятельно, то, во всяком случае, так же аккуратно, как какой-нибудь исправный конторщик торгового дома. В эпистолярном искусстве она, конечно, не была очень-то сильна, но тут превзошла себя, пытаясь выразить то, что перечувствовала, узнав подробности моих тягостных странствий. И все-таки четырех страниц недоконченных, бессвязных, полных восклицаний фраз, чередовавшихся с кляксами, было, повидимому, недостаточно, чтобы облегчить ее взволнованную душу. Мне же кляксы сказали больше самых красноречивых слов, — ведь это были слезы, которые моя дорогая няня проливали, трудясь над своими каракулями, — чего же больше мог я еще желать? Я без труда догадывался, что моя Пиготти пока еще не в силах особенно хорошо относиться к бабушке. Она слишком долго смотрела на нее с предубеждением, чтобы теперь сразу изменить свое отношение к ней.

«Видно, и вправду нелегко узнать человека, — писала она. — Подумать только! Ведь мисс Бетси совсем другая, чем она казалась нам. Это даже нравоучительно». Но, несомненно, Пиготти все еще побаивалась бабушки; это можно было заключить по той робости, с какой посылала она ей низкие поклоны. Очевидно, моя няня не была совсем спокойна относительно меня: она боялась, что я снова

способен убежать. Не раз в своих письмах намекала она мне, что я всегда смогу получить от нее необходимые на проезд в Ярмут деньги.

В одном из своих посланий Пиготти сообщила мне новость, очень удручившую меня. Она писала, что вся мебель в нашем старом доме в Блондерстоне продана, мистер Мордстон с сестрой куда-то уехали, а дом заперт, и не то он будет отдан внаймы, не то продан. Тяжело мне было думать, что дорогой мне по воспоминаниям старый дом теперь в совершенном запустении, что сад зарос высокими сорными травами, а дорожки густо усыпаны сырыми опавшими листьями. Мне так живо представилось, как зимний ветер завывает вокруг покинутого дома, как холодный дождь бьет в стекла его окон, как луна населяет пустые комнаты тенями, привидениями, этими отныне единственными хранителями нашего старого гнезда. Тут живо вспомнилась мне могила под деревом на блондерстонском кладбище, и вдруг мне показалось, что дом наш также умер и вместе с ним исчезло все, что напоминало о моем отце и матери.

Других новостей в письмах Пиготти не было. Писала она о том, что мистер Баркис прекраснейший муж, хотя немного и прижимист, и тут же прибавляла: «У всех есть недостатки, и у меня самой их немало» (я, признаться, до сих пор не знаю, в чем они заключались); передавала мне поклоны от Баркиса; говорила, что моя комната всегда ждет меня; сообщала о том, что мистер Пиготти здоров и Хэм здоров, а миссис Гуммидж неважно себя чувствует, маленькая же Эмми не хочет сама посылать мне поклонов и предоставляет делать это за нее своей тете Пиготти. Все эти сведения я считал своим долгом сообщить бабушке; умалчивал я только об Эмми, инстинктивно чувствуя, что та не может быть в её вкусе.

Первое время после моего поступления в школу доктора Стронга бабушка довольно часто приезжала в Кентербери проведать меня, и всегда в самое неожиданное время, вероятно, желая застигнуть меня врасплох. Убедившись же, что я учусь прилежно, веду себя хорошо, что в школе вообще довольны мною, она вскоре перестала появляться. Виделся я с нею через две-три недели по субботам, когда приезжал к ней в Дувр, в отпуск. Мистер Дик навещал меня в две недели раз, по средам, и оставался в Кентербери до следующего утра. В эти поездки он всегда брал с собой кожаный портфель со своими мемуарами и необходимыми письменными принадлежностями. Ему уже начало

приходить в голову, что с этими мемуарами, пожалуй, надо торопиться и скорей кончать их.

Мистер Дик был большой любитель пряников. Для того чтобы сделать его поездки ко мне еще более приятными, бабушка уполномочила меня открыть ему кредит в местной кондитерской, впрочем, в размере не свыше одного шиллинга в день. Ограниченность этого кредита и то, что его маленькие счета из гостиницы, где он проводил ночь в Кентербери, посылались бабушке, как будто говорили мне о том, что мистеру Дику предоставлялось побрякивать деньгами в кармане, но не тратить их. Впоследствии я убедился в этом. У них с бабушкой было условлено, что он будет отдавать ей отчет во всех своих расходах. Так как мистеру Дику никогда не приходило в голову обманывать бабушку и он всячески стремился угодить ей, то, естественно, он старался бережно обращаться с деньгами. Милый старик был убежден, что в расходовании денег, как, впрочем, вообще во всех решительно отношениях, моя бабушка была мудрейшей, замечательнейшей женщиной на свете. Не раз сообщал он мне это по секрету, и притом всегда шопотом.

Как-то, в одну из сред, поделившись со мною своим мнением о бабушкиных талантах, он с таинственным видом спросил меня:

— А не знаете ли вы, Тротвуд, что это за человек, который прячется подле нашего дома и пугает ее?

— Пугает бабушку, сэр? — спросил я. Мистер Дик утвердительно кивнул головой.

— Я думаю, — продолжал он, — что ничто не может испугать ее, ибо она... — тут он шопотом добавил: — только никому не говорите об этом... самая умная и самая удивительная женщина на свете.

Сообщив мне это, он откинулся назад, чтобы лучше видеть, какое впечатление произвел на меня его отзыв.

— Впервые, когда он появился, — начал рассказывать мистер Дик, — погодите-ка, я сейчас припомню, в каком году это было... Королю Карлу Первому голову отрубили в тысяча шестьсот сорок девятом. Так ведь, кажется, вы мне говорили?

— Да, сэр.

— Как это может быть? — с грустным недоумением проговорил мистер Дик, качая головой. — Да неужели я так стар?

— А разве человек появился в том самом году, сударь? — спросил я.

— Да, Тротвуд, действительно, совсем непонятно, как это могло случиться в том году, — проговорил мистер Дик. — А этот год, скажите, указан в истории?

— Да, сэр.

— А история ведь, мне кажется, никогда не лжет? — с проблеском надежды осведомился мистер Дик.

— О, конечно, она не лжет, сэр! — решительно ответил я. Тогда я был молод, наивен и сам еще глупоко верил в это.

— В таком случае, я решительно ничего не понимаю, — заявил мой собеседник, качая головой. — Тут что-нибудь да не так. Но, во всяком случае, человек этот появился вскоре после того, как, по какой-то странной ошибке, часть мыслей, мучивших Карла Первого, из его головы была переложена в мою. Помнится, мы с мисс Тротвуд гуляли в сумерки после чая, как вдруг увидели «его» возле нашего дома.

— Что же, он прогуливался? — спросил я.

— Прогуливался, — повторил мистер Дик. — Постойте, дайте мне припомнить... Нет, нет, «он» не прогуливался...

Желая поскорее выяснить этот вопрос, я спросил, что же, наконец, делал этот человек.

— Представьте себе, «его» вовсе не было, пока «он» не появился сзади нее и не стал ей что-то шептать на ухо, — продолжал рассказывать мистер Дик. — Тут она повернулась и упала без чувств. Я остановился, как вкопанный, и принялся смотреть на «него», а «он» повернулся и ушел. Но самое удивительное в этом то, что с тех пор «он» все время прячется — уж не знаю, под землей или где-нибудь в другом месте.

— Так-таки все время и прячется? — поинтересовался я.

— Разумеется, прячется, — подтвердил мистер Дик, с серьезным видом кивнув головой. — «Он» с тех пор ни разу не показывался вплоть до вчерашней ночи. А вчера мы прогуливались с мисс Тротвуд, и «он» опять вырос позади нее, словно из земли, — я сейчас же узнал «его».

— Скажите, он опять перепугал бабушку?

— Да еще как! Вся она задрожала вот так (мистер Дик при этом защелкал зубами), ухватилась за ограду, рыдала... Но, Тротвуд... сюда,

поближе ко мне... — зашептал он, притягивая меня к себе, — скажите мне, почему она при лунном свете дала ему денег?

— Быть может, то был нищий? — высказал я свое предположение.

Мистер Дик покачивал головой, желая этим показать, что он совершенно несогласен с моим предположением, и несколько раз очень уверенно повторил:

— Нет, сэръ, нет: это не нищий, не нищий, не нищий!

Затем он рассказал мне, что поздно ночью он видел из своего окна, как бабушка вышла из дома, подошла к садовой решетке и дала «ему» денег, — ярко светила луна, и он это ясно видел. Тут человек, по его мнению, опять, должно быть, провалился сквозь землю, его и след простыл, а бабушка поспешно украдкой вернулась в дом и еще сегодня утром была сама не своя. Все это очень тревожило мистера Дика.

Слушая этот рассказ, я ни минуты не сомневался в том, что незнакомец был таким же плодом воображения мистера Дика, как и злосчастный король, причинявший бедному старику столько тревог. Но после некоторого размышления у меня явилась мысль — не могли ли это быть покушения вырвать мистера Дика из-под бабушкиного покровительства. А зная от нее самой, как привязана она к мистеру Дику, можно было допустить, что ради его мира и спокойствия она решилась откупиться. Так как в это время я уже очень был привязан к старику и принимал близко к сердцу его благополучие, то, естественно, я стал за него беспокоиться. Долго, помню, с тревогой думал я, появится ли он в очередную среду на козлах дилижанса. Но он неизменно появлялся, счастливый, весело кивая своей седой головой и блаженно улыбаясь. С тех пор он ни разу не упоминал о человеке, который смог испугать мою бабушку.

Эти среды были счастливейшими днями в жизни мистера Дика да и для меня они были не менее счастливыми. Вскоре в нашей школе не было ни одного мальчика, который не знал бы моего старика, и хотя он сам не принимал участия в наших играх, за исключением пускания бумажного змея, но играми этими интересовался не менее каждого из нас. Не раз видел я, с каким огромным интересом засматривался он на нашу игру в шарики или на запускание наших волчков, как в критические моменты он от волнения едва переводил дух. Как часто

бывало взбирался он на пригорок и, с увлечением следя за игрой в зайца и гончих, воодушевлял нас своими бодрими выкриками и в восторге махал шляпой. Очевидно, в эти минуты он совершенно забывал про злополучную голову Карла I и все, что в его мозгу было связано с этой головой. В летнюю пору часы на крокетной площадке казались ему минутами. А сколько раз наблюдал я за ним в зимние дни, в снег и ветер, когда он, с носом, посиневшим от холода, не сводил глаз с катающихся на коньках школьников. Как сейчас вижу, с каким восторгом хлопает он победителям руками в шерстяных вязаных перчатках.

Мистер Дик стал в школе общим любимцем. Он был удивительный мастер почти из ничего делать презанятные вещи: вырезывал из апельсиновых корок такие причудливые штучки, какие нам и во сне не снились; лодочку он мог сделать из чего угодно, даже из деревянной шпильки, шахматные фигурки — из костей, римские колесницы с колесами — из катушек от ниток и из старых игральных карт, клетки для птиц — из старой проволоки! Но наибольшим искусством отличался он в изделиях из бечевки и соломы: уж тут мы, школьники, были уверены, что он может сделать все, что только в силах произвести рука человеческая.

Вскоре слава о мистере Дике вышла за пределы круга школьников. После нескольких его приездов сам доктор Стронг как-то начал меня спрашивать о моем старом приятеле, и я рассказал ему все, что знал о нем со слов бабушки. Наш директор так заинтересовался мистером Диком, что просил меня познакомить его с ним в следующий же приезд. Конечно, я с удовольствием это сделал. При первом же знакомстве с мистером Диком наш директор сказал ему, что если когда-нибудь я не смогу встретить его в конторе дилижансов, пусть он прямо идет в школу и отдыхает там, пока не кончатся мои утренние уроки. Занятия по средам часто затягивались, и поэтому являться в школу и прогуливаться по двору в ожидании меня вошло в привычку моего седовласого приятеля. Здесь мистер Дик познакомился с юной красавицей — женой директора. Она выглядела теперь как-то бледнее, повидимому реже бывала в обществе, менее была весела, но все же очаровательна. Мало-помалу мистер Дик стал в школе своим человеком и прямо заходил ко мне в классную комнату. Обыкновенно он садился здесь в определенном

углу, где облюбовал себе один из стульев, который у нас так и звался «Дик», и, склонив свою седую голову, просиживал на нем целыми часами, с благоговейным вниманием слушая слова учителя. Старик питал огромное уважение к науке, постичь которую ему не было дано.

Свое благоговение к науке мистер Дик распространил и на доктора Стронга, — он считал его самым тонким, самым мудрым философом всех времен и народов. Долгое время он ее решался говорить с нашим директором иначе, как сняв шляпу. Даже когда, подружившись с доктором Стронгом, они прогуливались целыми часами по так называемой «докторской аллее», и тогда мистер Дик время от времени снимал свою шляпу в знак уважения к его мудрости и знанию. Уже не ведаю, право, как это случилось, что доктор Стронг во время этих совместных прогулок стал читать выдержки из своего знаменитого греческого словаря. Быть может, наш директор, не обращая внимания на своего компаньона, просто читал их для себя. Как бы то ни было, это вошло в привычку, и мистер Дик, слушая с сияющим от радости и гордости лицом абсолютно непонятную для него премудрость, проникся убеждением, что на свете не существует более восхитительной книги, чем греческий словарь.

Так ясно рисуются перед моими глазами эти двое, прогуливающиеся перед окнами нашей классной комнаты: доктор Стронг читает выдержки из своей рукописи, добродушно улыбаясь или с серьезным видом покачивая головой, а мистер Дик с величайшим интересом слушает каждое его слово, в то время как его мысли витают неизвестно где. И вот, когда я вспоминаю их во время такой прогулки, мне кажется, что это одна из самых мирных и милых сцен, виденных мною в жизни.

Агнесса также очень скоро подружилась с мистером Диком, и он, бывая у них в доме, познакомился с Уриа. Наша же дружба с милым стариком все укреплялась, принимая странный характер: приезжая как бы наблюдать за мной, в роли опекуна, он во всем решительно советовался со мной и неизменно следовал моим указаниям. Делал он это, по его словам, не только из большого уважения к моей природной проницательности, но еще считая, что я много унаследовал от моей, единственной в своем роде, бабушки.

Однажды, в один из четвергов, когда я утром, перед школой, собирался провожать мистера Дика из его гостиницы в контору

дилижансов, я встретил на улице Уриа, и он напомнил мне о моем обещании притти как-нибудь к ним с матушкой на чай.

— Впрочем, — сейчас же прибавил он со своей змеиной манерой извиваться, — я мало надеюсь на это, мистер Копперфильд: уж слишком мы маленькие люди.

В то время я еще не умел отдать себе хорошенько отчет в том, нравится ли мне Уриа или я питаю к нему отвращение, и, обуреваемый этими сомнениями, я стоял и смотрел ему в лицо. Но тут меня испугала мысль, что, пожалуй, я могу прослыть гордецом, и я поспешил сказать ему, что помню его приглашение и только жду, когда он назначит день.

— Ах, если только в этом дело, мистер Копперфильд, — воскликнул Уриа, — а не в том, что мы люди маленькие, то пожалуйста к нам сегодня же вечером!

Я ответил ему, что скажу мистеру Уикфильду о его приглашении, и если он, в чем я уверен, ничего не будет иметь против, то с удовольствием побываю у них.

И вот в шесть часов (занятия в этот день в конторе кончились раньше обыкновенного) я сказал Уриа, что могу итти с ним.

— Матушка будет очень горда вашим посещением, — заявил мне Уриа, когда мы шли с ним по улице. — Или, вернее сказать, мистер Копперфильд, она возгордилась бы этим, не будь это грешно.

— Но надеюсь, что сегодня утром вы не заподозрили меня в гордости, — сказал я.

— Помилуйте, мистер Копперфильд, нет, нет! Такая мысль, конечно, не приходила мне в голову. И найди вы нас даже слишком маленькими людьми для знакомства с нами, я, поверьте, нисколько не счел бы это гордостью с вашей стороны: мы ведь с матушкой действительно маленькие людишки!

— А скажите, много ли в последнее время вы работали над вашими законами? — спросил я его, чтобы переменить разговор.

— Что вы, мистер Копперфильд! — униженно ответил он. — Да разве можно так громко называть мои скромные занятия, когда время от времени часок-другой провожу я над «Судопроизводством» мистера Тидда!

— Должно быть, вещь не легкая, ведь правда? — спросил я.

— Как для кого, — ответил Уриа. — Для способного человека, быть может, и легко, а для меня порой бывает очень трудно.

Принявшись тут выбивать у себя на подбородке, словно на барабане, дробь своими костлявыми, как у скелета, пальцами, он добавил:

— Видите ли, мистер Копперфильд, в книге Тидда встречаются затруднительные места для человека с такими ничтожными познаниями, как мои, например латинские слова, разные там термины^[52].

— А хотели бы вы учиться по-латыни? — спросил я. — Я с удовольствием преподавал бы вам ее, ведь я изучаю этот язык.

— О, благодарю вас, мистер Копперфильд! — ответил он, качая головой. — Вы очень добры, предлагая учить меня, но я слишком маленький человек, чтобы воспользоваться этим.

— Что за глупости, Уриа!

— Простите меня, мистер Копперфильд! Я очень вам признателен и, уверяю вас, ничего не желал бы так, как этого, но я слишком маленький человек. И без того немало людей, готовых втоптать меня в грязь — что же будет, когда я, став ученым, выведу их из себя? Нет, такие знания не для меня. Всяк сверчок знай свой шесток. Такому человеку, как я, не надо заноситься. Если он хочет подвигаться по жизненному пути, то, поверьте, мистер Копперфильд, он должен смиренно идти своей дорогой.

Никогда не видел я его рот так широко открытым, не видел таких глубоких ямок на его щеках, как в эту минуту, когда он высказывал мне свои сокровенные чувства и мысли. При этом он поминутно потряхивал головой и смиренно корчился и извивался по-змеиному.

— Мне кажется, Уриа, вы тут ошибаетесь, — заметил я, — и если б вы захотели, я смог бы учить вас не только латыни, но и многому другому.

— О, я в этом не сомневаюсь, мистер Копперфильд, — ответил он, — несколько не сомневаюсь, но, видите ли, вы, в своем положении, не в состоянии стать на мое место маленького человека, а я прекрасно знаю, что не должен раздражать людей, стоящих выше меня, тем, что стану ученеe, чем мне это подобает. Нет, нет, благодарю вас!.. А вот, мистер Копперфильд; и моя убогая лачуга, — добавил он.

Мы вошли прямо с улицы в низкую комнату, где все говорило о старине. Здесь нас встретила миссис Гипп. Они с сыном, как две капли воды, походили друг на друга, только мать была невелика ростом. Приветствовала она меня в высшей степени подобострастно и принялась извиняться в том, что в моем присутствии осмеливается поцеловать сына, прибавив, что хотя они люди и очень маленькие, но, естественно, любят друг друга, и это, надо надеяться, никому показаться обидным не может. Комната их отнюдь не могла быть названа лачугой, — она была вполне прилична и представляла собой полугостиную, полукухню, но уютной все же не была. На столе стоял чайный прибор, а в камине в котелке кипела вода. Здесь был комод, на котором стояла конторка — как мне объяснили — для вечерних занятий Уриа. Тут же лежал его синий портфель, туго набитый бумагами, и кучка его книг, среди которых мне бросилось в глаза «Практическое судопроизводство» мистера Тидда. В углу помещался буфет, а по стенам стояла остальная необходимая мебель. Ни одна вещь в отдельности не имела жалкого вида, но почему-то вся обстановка комнаты в целом говорила о нужде.

Быть может, из того же чувства приниженности миссис Гипп до сих пор носила траур по мужу, давным-давно умершему.

— Ну, дорогой мой Уриа, — сказала она, приготавливая чай, — день посещения мистера Копперфильда навсегда останется для нас памятным.

— Я уже говорил об этом мистеру Копперфильду, — отозвался сынок.

— Очень жаль, что отец наш не дожил до сегодняшнего дня: как бы он поразился такому гостю! — продолжала миссис Гипп.

Все эти комплименты несколько смущали меня, но в то же время я был польщен, чувствуя себя таким почетным гостем, и сама миссис Гипп показалась мне приятной особой.

— Мой Уриа давно мечтал о такой чести, сэр, — не унималась миссис Гипп, — он только боялся, что наше низкое положение не позволит вам притти к нам. И я сама, по правде сказать, опасалась того же: мы ведь были, есть и будем такими маленькими, ничтожными людишками.

— Я убежден, что это вовсе не так, мэм; вам почему-то хочется подобным образом смотреть на себя, — заметил я.

— Благодарю вас, сэр, — ответила миссис Гипп. — Мы знаем себе цену и в нашем ничтожестве умеем быть благодарны и за то, что имеем.

Я заметил, что во время этих разговоров миссис Гипп постепенно со своим стулом все ближе и ближе подвигалась ко мне, а Уриа отодвигался, так что скоро очутился против меня. Они оба попеременно упрашивали меня кушать, предлагая самое вкусное из того, что стояло на столе. Правда, никаких особых лакомств там не было, но мне довольно было их горячего желания угостить меня. Очень был я тронут их вниманием. Сначала заговорили вообще о бабушках, и я тут принялся рассказывать о своей; затем они свели речь на отцов и матерей, и я им рассказал о своих родителях; наконец, затронули они вопрос об отчимах, и я начал было рассказывать о своем, как вдруг остановился, вспомнив, что бабушка наказывала мне совсем не упоминать о нем. Но вообще я, конечно, мог устоять против выпытываний Уриа и его маменьки столько же, сколько молодой зуб против щипцов зубного врача. Они делали со мной все, что хотели, и узнали от меня такие вещи, о которых я вовсе не хотел говорить. Я еще и теперь краснею, вспоминая, как со своей детской откровенностью все им выболтал, чуть ли не ставя себе в заслугу эту откровенность, и чувствовал себя настоящим покровителем своих почтенных собеседников.

Для меня было несомненно, что мать и сын очень любили друг друга, и это, как вещь естественная, действовало на меня. Но их умение попадать друг другу в тон и выпытывать из человека все, что им было нужно, — это уж было своего рода искусство, против которого я еще меньше мог устоять. Когда эта милая парочка выведала обо мне все, что только могла (тем не менее я умолчал о своем пребывании в торговом доме «Мордстон и Гринби» и бегстве из Лондона) они завели речь о мистере Уикфильде и Агнессе. Тут маменька и сынок стали с еще большей ловкостью перекидываться темами, словно мячами. Говорили то о самом мистере Уикфильде, то об Агнессе, то о высоких качествах мистера Уикфильда, то о моем восхищении его дочерью, и вдруг разговор касался дел и доходов мистера Уикфильда, а затем перелетал на то, как в его доме проводится послеобеденное время, какое вино пьет мистер Уикфильд, почему он пьет это вино и как жаль, что он пьет его так много...

Все время, пока разговор таким образом перескакивал с одного предмета на другой, я как будто принимал в нем очень небольшое участие, а между тем я сам замечал, что говорю то, чего не следовало бы говорить, и даже видел, как каждый раз при этом радостно подергивались подвижные ноздри Уриа.

Я начал уже чувствовать себя несколько не в своей тарелке и стал подумывать об уходе, когда мимо двери — она из-за теплой погоды была настежь открыта — промелькнула фигура какого-то человека. Пройдя мимо, человек этот вернулся назад, остановился, начал вглядываться и с громким криком: «Копперфильд! Возможно ли это?» вбежал в комнату.

Это был мистер Микобер! С той же лорнеткой, тросточкой, накрахмаленным воротничком, внушительным видом и снисходительной, благосклонной интонацией голоса, — словом, весь целиком мистер Микобер!

— Дорогой мой Копперфильд, вот уж, можно сказать, кого никак не ожидал здесь встретить! — радостно воскликнул мистер Микобер. — Знаете, такой необыкновенный случай, как эта наша встреча с вами, красноречиво говорит о непрочности и несостоятельности всех человеческих предположений. Идя сейчас по улице, я думал, что вдруг что-нибудь может мне подвернуться, и вдруг подворачивается юный, высоко ценимый мною друг, связанный с самым богатым событием периода моей жизни, можно сказать, с поворотным моментом ее. Копперфильд, дорогой мой, ну, как же вы поживаете?

Не могу сказать, чтобы мне была особенно приятна встреча с мистером Микобером именно у Гиппов, но вообще я был очень рад видеть его. Я горячо пожал ему руку и осведомился, как поживает миссис Микобер.

— Благодарю вас, — ответил мистер Микобер, делая рукой свой обычный жест и пряча подбородок в воротничок сорочки, — она очень недурно поправилась. Близнецы уже перестали черпать из источников, которые временно открывает для них мать-природа, короче говоря — они отняты от груди, и миссис Микобер теперь путешествует со мною. Она, поверьте, будет рада возобновить знакомство с тем, кто показал себя во всех отношениях достойным священнослужителем у священного алтаря дружбы.

Я сказал, что буду в восторге увидеться с миссис Микобер.

— Вы очень добры, — ответил мистер Микобер.

Тут он улыбнулся, снова спрятал свой подбородок в воротничок и, оглядываясь кругом, проговорил, не обращаясь ни к кому из присутствующих в частности:

— Я нашел своего друга Копперфильда не в одиночестве, но за дружеской трапезой в обществе вдовствующей дамы и, повидимому, ее отпрыска, словом — ее родного сына. И я сочту за честь быть им представленным.

После этого мне ничего не оставалось, как познакомить мистера Микобера с Уриа Гиппом и его матерью, что я сейчас же и сделал. Мать и сын, по своему обыкновению, начали подобострастно пресмыкаться перед ним, а мистер Микобер, сев на стул, подбадривал их с присущими ему любезными жестами.

— Друг моего друга Копперфильда имеет также права и на мою дружбу, — провозгласил мистер Микобер.

— Мы с сыном слишком маленькие людишки, сэр, чтобы быть друзьями мистера Копперфильда, — заявила мамаша. — Мистер Копперфильд были так добры, что откушали у нас чашку чая. Мы очень благодарны мистеру Копперфильду за оказанную нам честь, а вам, сэр, за ваше внимание.

— Вы очень любезны, мэм, — с поклоном ответил мистер Микобер и затем, обращаясь ко мне, спросил: — Что же вы подельваете, Копперфильд? Попрежнему работаете в виноторговле?

Мне очень не терпелось поскорее увести мистера Микобера от Гиппов, и я, взяв в руки шляпу, ответил ему, конечно при этом покраснев до ушей, что учусь в школе доктора Стронга.

— Учитесь? — переспросил мистер Микобер, удивленно подняв брови. — Чрезвычайно рад слышать это, хотя такой ум, как у моего друга Копперфильда, — прибавил он, обращаясь к Уриа и его матери, — в сущности, и не нуждается в обработке, которая была бы нужна ему, не имея он своего богатого жизненного опыта. Во всяком случае ум его представляет тучную почву, сулящую обильный урожай. Словом, я хочу сказать, — проговорил он с доверчивой улыбкой, — что ум Копперфильда способен постичь всю глубину классического образования.

Тут Уриа Гипп, медленно потирая свои длинные руки, весь ужасно изогнулся, как бы выражая этим свое полное согласие с такой лестной оценкой моего ума.

— Не отправимся ли мы к миссис Микобер? — предложил я, думая таким образом наконец увести его.

— Если вы соблаговолите оказать ей эту честь, — ответил, вставая, мистер Микобер. — У меня нет ложного самолюбия, — продолжал он, — и я прямо скажу в присутствии наших друзей, что мне пришлось в течение нескольких лет вести ожесточенную борьбу с финансовыми затруднениями... (я так и знал, что он скажет что-нибудь в этом роде, — ведь он всегда хвастался своими финансовыми затруднениями) — и вот, в самые тяжелые минуты моей жизни ничто не давало мне такого удовлетворения, как возможность излить перед моим другом Копперфильдом все свои горести.

Воздав мне эту дань, мистер Микобер проговорил: «До свиданья, мистер Гипп! Мэм, ваш покорный слуга!» — и вышел со мною на улицу с величественным видом истого барина напевая модную песенку.

Мистер Микобер остановился в плохонькой гостинице, где занимал маленький номер. Повидимому, комната была расположена над кухней, ибо сквозь щели пола несло запахом кушаний, а на стенах виднелись серые пятна. Запах спиртных напитков и звон стаканов также постоянно напоминали о близком соседстве с буфетом. В этой-то обстановке застал я миссис Микобер. Она лежала на небольшом диване, над которым висело изображение скаковой лошади.

Мистер Микобер вошел к себе в номер первым со словами:

— Дорогая моя, позвольте вам представить ученика доктора Стронга.

Миссис Микобер была чрезвычайно удивлена, но вместе с тем очень обрадовалась мне. Я тоже был очень рад этой встрече. Мы с ней нежно поздоровались, и я сел подле нее на диване.

— Дорогая моя, — сказал мистер Микобер, — я не сомневаюсь в том, что Копперфильду очень интересно узнать о нашем настоящем положении. Так вот, вы ему обо всем этом расскажите, а я пока схожу посмотреть газеты, не подвернется ли в объявлениях что-нибудь, для нас подходящее.

— А я думал, мэм, что вы в Плимуте, — начал я как только мистер Микобер вышел из комнаты.

— Да, мы туда и направились, дорогой мой мистер Копперфильд, — ответила она.

— Чтобы там быть наготове, не правда ли? — намекнул я.

— Именно, «чтобы быть наготове», — согласилась миссис Микобер. — Но, по правде сказать, таланты не нужны в таможенном ведомстве, и влияние моих родственников не оказалось настолько сильным, чтобы устроить в это ведомство человека с такими способностями, как мистер Микобер. Там даже предпочитают не иметь подобного человека, присутствие которого могло как бы подчеркнуть ничтожество его сослуживцев. Не стану также скрывать от вас, дорогой мой мистер Копперфильд, что когда мои плимутские родичи узнали, что мистер Микобер появился со мной, маленьким Вилькинсом, его сестрицей и близнецами, они встретили его далеко не так радушно, как он вправе был ожидать, только что освободившись из долговой тюрьмы. Словом, между нами будь сказано, — добавила миссис Микобер, понизив голос, — нас приняли холодно.

— Боже мой! — печально воскликнул я.

— Да, как ни прискорбно, мистер Копперфильд, показывать вам людей с дурной их стороны, но я должна признаться, что нас приняли чрезвычайно холодно. В этом нет ни малейшего сомнения. Подумайте, мы не успели прожить в Плимуте и недели, как тамошние родичи уже начали наносить мистеру Микоберу просто личные оскорбления.

— Это не делает им чести, — с убеждением заметил я.

— Ну, так вот каково было положение вещей, — продолжала свое повествование миссис Микобер. — При подобных обстоятельствах что мог предпринять человек с таким характером, как у мистера Микобера? Единственно — взять займы у этих же самых родичей и во что бы то ни стало вернуться обратно в Лондон.

— И вы всей семьей туда снова вернулись? — спросил я.

— Да, мы все туда снова вернулись, — ответила миссис Микобер, — и тут я стала советоваться с другими родственниками относительно того, что, по их мнению, мог бы предпринять мистер Микобер. Ведь в конце концов должен же он что-нибудь

предпринять, — убежденным тоном прибавила она. — Всякий может понять, что семья из шести человек, не считая прислуги, не может быть сыта воздухом...

— Конечно, — согласился я.

— И лондонские родственники нашли, что мистер Микобер должен немедленно заняться каменным углем.

— Чем, мэм? — переспросил я.

— Каменным углем, то есть, собственно говоря, торговлей каменным углем. Наведя справки, мистер Микобер узнал, что в Мидвее в одной угольной компании, по всей вероятности, может открыться поприще для такого талантливом человека, как он. Тут, как совершенно верно решил мистер Микобер, первое, что надо было предпринять, — это съездить в Мидвей и собственными глазами все увидеть. И мы поехали и все смотрели. Я говорю мы, ибо я, дорогой мистер Копперфильд, никогда, никогда не покину мистера Микобера! — закончила миссис Микобер с большим чувством.

Я пробормотал что-то в знак своего одобрения и восхищения.

— Мы отправились в Мидвей и осмотрели его, — продолжала миссис Микобер, — и вот мое убеждение таково: дело этой угольной компании, может, и нуждается в талантливом человеке, но прежде всего, конечно, ему требуется капитал. Ну, и что же: таланты и способности у мистера Микобера имеются, а капитала, как вам известно, у него нет. Находясь так близко от Кентербери, мистер Микобер полагал, что было бы просто безрассудством упустить случай осмотреть здешний собор. Во-первых, собор этот стоит того, чтобы его посмотреть: мы его никогда не видали, а во-вторых, в таком городе, где есть знаменитый собор, много шансов на то, что нам может что-нибудь подвернуться. Но мы здесь уже три дня, и до сих пор ничего еще не подвернулось. А теперь, — вас, дорогой мистер Копперфильд, это не может удивить, как удивило бы постороннего человека, — мы ждем денег из Лондона, чтобы расплатиться по счетам в этой гостинице. До присылки же этих денег я, как видите, отрезана и от дома (то есть, я хочу сказать — от своей квартиры в Пентонвильском квартале), и от сына, и от дочери, и от близнецов, — докончила совсем опечаленная миссис Микобер.

Я очень сочувствовал бедственному положению старых друзей и сказал об этом вошедшему в комнату мистеру Микоберу, прибавив,

что единственно, чего бы я желал, это иметь возможность ссудить их нужными деньгами.

Отчет мистера Микобера свидетельствовал, в каком угнетенном состоянии духа он находился. Горячо пожимая мне руку, он проговорил:

— Спасибо, дорогой Копперфильд, я знаю, что вы верный друг. Скажу вам только одно: когда человеку приходится уж очень круто, то у него всегда найдется друг, у которого имеется бритва.

При этом страшном намеке миссис Микобер бросилась на мимо своему супругу и стала умолять его успокоиться! Он зарыдал, но почти тотчас же утер слезы и, позвонив лакею, заказал ему к следующему дню на завтрак блюдо креветок и горячий пудинг из почек.

Перед моим уходом оба — и муж и жена — так настоятельно просили меня притти к ним пообедать до их отъезда, что я не в силах был отказаться. Я знал, что завтра вечером у меня будет много уроков, и потому сказал, что в этот день быть у них не смогу. На это мистер Микобер ответил, что завтра утром зайдет ко мне в школу, и мы тогда окончательно условимся относительно обеда на следующий день. Тут же он сказал мне о своем предчувствии, что ожидаемые деньги должны получиться утренней же почтой. Действительно, на другой день меня вызвали из класса, и в приемной я нашел мистера Микобера. Он сказал мне, чтобы я непременно приходил к ним пообедать, как было условлено, на следующий день. Когда я его спросил, получены ли деньги, он молча пожал мне руку и ушел.

В тот же вечер, выпянув в окно своей комнаты, я был удивлен и неприятно поражен, видя, что по нашей улице идут дружески, под руку, мистер Микобер и Уриа Гипп. У Уриа был вид человека, смиренно сознающего честь, которую ему оказывают, а тот, видимо, наслаждался сознанием, что может покровительствовать своему новому приятелю. Но еще в большое изумление пришел я, когда, явившись на следующий день на обед к ним в гостиницу, узнал от мистера Микобера, что накануне он ходил с Уриа к нему домой, где миссис Гипп угощала его коньяком.

— Вот что скажу я вам, дорогой мой Копперфильд, — начал мистер Микобер, — наш друг Гипп мог бы быть гениальным прокурором. Знай я этого молодого человека раньше, в критическое

для меня время, то с моими кредиторами было бы покончено совсем иначе.

Я, в сущности, не понимал, как еще иначе могло быть покончено с кредиторами, раз они так и не получили от мистера Микобера ни гроша, но мне не хотелось спрашивать его об этом.

Также не решился я расспрашивать его и о том, много ли они говорили обо мне с Уриа и не был ли он вообще слишком откровенен с ним. Я боялся такими расспросами обидеть мистера Микобера, а особенно его жену, зная ее нервность и чувствительность. Но все время у них мне было как-то не по себе, да и потом мысль эта не раз беспокоила меня.

Обед был великолепный: сначала нам подали превосходную рыбу, потом кусок жареной телятины с почкой, поджаренные сосиски, куропатку и, наконец, пудинг. Было вино и крепкий эль. После обеда миссис Микобер собственноручно приготовила нам горячий пунш.

Мистер Микобер все время был очень весел и оживлен. Я никогда и не видывал его в таком чудесном настроении. Он так усердно прикладывался к чаше с пуншем, что лицо его начало сиять, словно покрытое лаком. Придя в сентиментально-веселое настроение, он провозгласил тост за город Кентербери, говоря, что им обоим с миссис Микобер было в нем уютно и удобно и он никогда не забудет проведенных здесь приятных часов. Вслед за этим мистер Микобер предложил тост за мое здоровье. Тут мы все втроем стали припоминать разные случаи из нашей совместной жизни: большинство этих случаев были разного рода продажи их имущества.

Затем я предложил тост за здоровье миссис Микобер, то есть, вернее сказать, я скромно обратился к ней со следующей фразой:

— Если вы разрешите мне, миссис Микобер, я с удовольствием выпью за ваше, мэм, здоровье.

Воспользовавшись этим, мистер Микобер произнес хвалебное слово своей супруге. Он заявил, что она всегда была его руководительницей, мудрой утешительницей, другом, и горячо советовал мне, когда придет пора жениться, остановить свой выбор именно на такой женщине, как она, если вообще подобная может еще найтись на свете.

По мере того как количество пунша уменьшалось, мистер Микобер делался все более и более веселым и общительным.

Миссис Микобер также пришла в восторженное состояние, и мы все трое затянули народную песню. Когда мы дошли до слон: «Дай мне руку, верный друг», то взялись за руки, а фраза: «Ступай прямым путем», нас совсем растрогала. Слоном, я никогда в жизни не видел никого в более веселом настроении, чем был в этот вечер мистер Микобер. Уходя, я горячо простился с ним и его женой, поэтому я совершенно не был подготовлен к получению на следующий день в семь часов утра письма, написанного, как было в нем помечено, накануне, в половине десятого вечера, то есть ровно через четверть часа после того, как я ушел от них.

«Мой дорогой юный друг!

Жребий брошен — все кончено. Скрывая терзавшие меня муки под маской болезненного веселья, я не сообщил вам, что всякая надежда на получение денег потеряна. Унизительные обстоятельства, о которых мне тяжело вспоминать, тяжело переживать и тяжело писать вам, заставили меня погасить свой долг хозяину этой гостиницы векселем, который я обязан уплатить через две недели по моему местожительству в Лондоне. Когда наступит срок, вексель этот не сможет быть оплачен. В итоге — полное разорение. Топор занесен, и дерево неминуемо будет срублено...

Пусть, дорогой Копперфильд, ужасная участь человека, пишущему нам эти строки, будет для вас сигналом предостережения на жизненном пути. Именно надеясь на это, и пишет нам автор этого письма. И если бы он знал, что хотя таким образом будет полезен вам, то слабый луч света, пожалуй, мог бы еще проникнуть в тюремный мрак предстоящего ему существования, продолжительность которого, между нами будь сказано, очень сомнительна.

Это последняя весть, какую вы, дорогой мой Копперфильд, получите от жалкого отброса человечества, Вилькинса Микобера».

Это душераздирающее письмо словно громом поразило меня, и я стремглав помчался в маленькую гостиницу, где остановились Микоберы, рассчитывая уже оттуда пойти в школу. Мне хотелось попытаться хоть сколько-нибудь утешить несчастного мистера Микобера. Но на полпути я встретил лондонский дилижанс, на империале которого величественно восседала злосчастная чета. Мистер Микобер — олицетворение веселья, спокойствия, — улыбаясь, прислушивался к тому, что ему говорила миссис Микобер, и грыз

грецкие орехи, которые вынимал из бумажного мешочка. Бутылка вина торчала из бокового кармана его пальто. Так как они меня не заметили, то и я счел за благо не привлекать их внимания и с облегченным сердцем свернул в переулок, которым был кратчайшей дорогой в школу. В общем, когда Микоберы уехали, я почувствовал, что у меня точно камень свалился с души, хотя я попрежнему прекрасно относился к ним.

Глава XVIII

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Школьные дни мои! Мирно текли вы, скользя незаметно, и, сам не сознавая того, из мальчика превращался я в юношу. Оглядываясь назад, на этот многоводный жизненный поток, от которого осталось только сухое русло, усыпанное опавшими листьями, я постараюсь по некоторым сохранившимся вехам припомнить его течение...

Я уже не последний ученик в школе. За несколько месяцев успел я перегнать не одного товарища. Но первый ученик Адамс все еще кажется мне каким-то могучим существом, стоящим особо, на недостижимой высоте. Напрасно Агнесса, когда я доказываю ей, какую бездну премудрости преодолело это дивное существо, уверяет меня, что со временем и я, ничтожный невежда, смогу занять в нашей школе такое же почетное место. Адамс не дружит со мной, он не мой, всеми признанный покровитель, каким был Стирфорт, но я чувствую к нему глубочайшее уважение. Особенно меня интересует вопрос, кем будет Адамс, по окончании нашей школы и найдется ли кто-нибудь, кто дерзнул бы на жизненном пути не уступить ему места.

По какой еще образ мелькает предо мною? Это мисс Шеферд, в которую я влюблен.

Мисс Шеферд — ученица пансиона Петтингтон. Я ее обожаю, Это девочка в вязанном спенсере^[53], с круглым личиком и белокурыми кудрями. По воскресеньям ученицы этого пансиона, как и мы, ходят в собор к обедне. И я не заглядываю даже в свой молитвенник, ибо не в силах оторвать глаз от мисс Шеферд. Когда поет хор, я слышу голос мисс Шеферд; когда молятся за королевскую фамилию, я мысленно включаю в число августейших особ имя мисс Шеферд. Дома, в своей комнате мне порой так и хочется крикнуть в порыве любви: «О, мисс Шеферд!»

Вначале я не был уверен в чувствах ко мне мисс Шеферд, но судьба благоприятствует мне, и мы встречаемся с ней в школе танцев. Я танцую в одной паре с мисс Шеферд. Я дотрагиваюсь до перчатки мисс Шеферд и чувствую, как дрожь пробегает по всей моей правой руке и до самых корней волос. Я не объясняюсь в любви мисс

Шеферд, но мы понимаем друг друга, и мисс Шеферд и я живем для того, чтобы когда-нибудь соединиться навеки.

Сам не понимаю теперь, почему решил я украдкой преподнести мисс Шеферд именно дюжину американских орехов. Служить выражением моих нежных чувств они ни в коем случае не могли; их даже невозможно было уложить так, чтобы пакет имел изящную форму; отличались они такой твердостью, что их трудно было расколоть, зацемя даже в дверях, и, наконец расколотые, они были слишком жирны. А вот, подите же: почему-то я был убежден, что это самый подходящий дар для мисс Шеферд. Я также задаривал мисс Шеферд пахучими мягкими бисквитами и бесчисленным количеством апельсинов. Однажды мне удалось в раздевальной поцеловать мисс Шеферд. Что за блаженство! Но каково же было мое негодование и отчаяние, когда на следующий день стали носиться слухи о том, что мисс Неттингон наказала мисс Шеферд за то, что она, когда ходит, держит носки внутрь!

Мисс Шеферд являлась главным интересом, главной мечтой моей жизни. Каким же образом мог я порвать с ней? Сам не понимаю. Но вот, несомненно, какой-то холодок пробегает между мной и мисс Шеферд. Мне тихонько передают, что мисс Шеферд вовсе не желает, чтобы я пялил на нее глаза, и что ей гораздо больше нравится мистер Джон. Подумать только, что такое представляет собой этот самый мальчишка Джон! Пропать между мной и мисс Шеферд все растет... Наконец однажды встречаю я пансион Неттингон на прогулке. Мисс Шеферд, проходя мимо меня, строит презрительную гримасу и что-то, смеясь, говорит своей подруге. Все кончено! Любовь, которая, казалось мне, должна была пылать всю жизнь, умерла... В соборе мисс Шеферд больше не мешает мне слушать обедню, и в молении о королевской фамилии имя ее отсутствует...

Еще вижу себя: я делаю успехи, и никто больше не смущает моего покоя. Я далеко не любезен с ученицами Неттингенского пансиона, и, будь их вдвое больше и будь они в двадцать раз красивее, я и не подумал бы влюбиться в кого-нибудь из них. Уроки танцев кажутся мне прескучным занятием, и я не понимаю, почему девчонки не могут оставить нас в покое и танцевать друг с другом. Я силен в латинских стихах и забываю зашнуровывать ботинки. Доктор Стронг открыто говорит обо мне как об ученике, подающем большие

надежды. Мистер Дик не помнит себя от радости, а бабушка с первой же почтой присылает мне целую гинею.

Тут, как видение, встает передо мною образ молодого мясника. Кто он, этот мясник? Он наводит ужас на все юное поколение Кентербери. Ходят смутные слухи, что говяжий жир, которым этот парень мажет себе волосы, придает ему сверхъестественную силу, благодаря чему он может потягаться с любым взрослым мужчиной. Это широколицый малый с толстой, бычачьей шеей, красными, грубыми щеками, злобный и дерзкий. Больше всех других задирает он учеников нашей школы. «Пусть только сунутся — всех проучу!» кричит во всеуслышание этот наглец. Он хвастает, что если ему привяжут руку за спину, он одной рукой справится с каждым из нас, в том числе и со мной. Бессовестный парень подкарауливает наших младших товарищей и их, беззащитных, избивает. Мне лично он не раз на улице бросает вызов. И вот наконец, потеряв терпение, я решаюсь выйти на бой с этим наглецом.

Летний вечер. В зеленой лощинке у стены назначена встреча с нахалом-мясником. Моими секундантами являются лучшие ученики нашей школы. Мой противник приходит с двумя товарищами-мясниками, молодым трактирщиком и трубочистом. Наши секунданты договариваются между собой об условиях боя, и вот мы с мясником стоим друг против друга, лицом к лицу...

Вдруг мясник, хватив меня выше левой брови, словно зажигает в моем глазу десять тысяч свечей; еще момент — и я утрачиваю представление, где стена, где я сам, где вообще все. Я едва сознаю, где кончается мое я и начинается мясник, до того мы тесно сцепились и тузим друг друга на измятой траве. Порой передо мною мелькает лицо мясника; он весь в крови, но не сдается; порой я ничего не вижу и, еле дыша, прислоняюсь к колену одного из моих секундантов. Передохнув, я снова с бешенством бросаюсь на мясника и чуть не в кровь разбиваю себе кулаки о его физиономию, но это, видимо, не смущает его. В конце концов я словно пробуждаюсь от какого-то головокружительного сна со странным ощущением в голове и вижу, как мясник, натягивая сюртук, уходит, а два других мясника, трактирщик и трубочист поздравляют его.

Из этого я заключаю, что победа осталась за ним.

В очень печальном виде доставляют меня домой. Здесь прикладывают мне к глазам сырое мясо и растирают меня водкой с уксусом. Верхняя моя губа страшно распухла, и на ней появляется большущий белый пузырь. Мой невозможный вид заставляет меня три-четыре дня высидеть дома. Конечно, мне было бы ужасно тоскливо, не будь со мной Агнессы, и она, словно настоящая сестра, утешает меня, читает мне, и благодаря ей это время протекает для меня незаметно и приятно. Агнесса всегда пользуется моим полным доверием. Я и теперь рассказываю ей все подробности наших столкновений с мясником, говорю ей обо всех оскорблениях, нанесенных им мне.

И Агнесса считает, что я не мог поступить иначе: я должен был вызвать на бой мясника, хотя в то же время она и содрогается при мысли о бывшем с ним поединке.

Время незаметно и неудержимо идет вперед. Адамс уже не первый ученик нашей школы. Он так давно ушел от нас, что когда является в школу, чтобы повидаться с доктором Стронгом, уже мало кто из учеников, кроме меня, знает его. Адамс в недалеком будущем станет адвокатом и будет носить парик^[54]. Я с удивлением вижу, что он более добродушный человек, чем когда-то казался мне. Не нахожу я также в нем его прежнего величия. До сих пор он еще не потряс земного шара, ибо жизнь на нем (насколько я могу судить) протекает совершенно так же, как и до выступления на жизненную арену Адамса.

И вот я сам — первый ученик школы. С высоты своего величия смотрю я на ряды своих товарищей, со снисходительным интересом отношусь к тем из малышей, которые напоминают мне того мальчугана, каким был я, поступая в нашу школу. Но этот мальчуган уже как-то чужд мне. Я вспоминаю о нем, как о чем-то, оставшемся позади меня на жизненном пути, словно это был кто-то встреченный мною, а не я сам.

А та маленькая девчурка, которую я увидел, войдя в первый раз в дом мистера Уикфильда? Ее тоже нет. Вместо нее теперь хозяйничает в доме двойник портрета, висящего внизу, в кабинете. И Агнесса — моя милая сестрица, как мысленно зову я ее, лучший мой друг и советник, Агнесса — ангел-хранитель всех, кто попадает в сферу ее

доброе, спокойное, самоотверженное влияния, — стала уже совсем взрослой.

Но какие же еще перемены произошли со мной за это время, кроме того, что я вырос, изменился с лица, приобрел знания? Я ношу золотые часы с цепочкой, кольцо на мизинце, сюртук с длинными фалдами. Сильно помажу голову медвежьим жиром. И этот самый медвежий жир в связи с кольцом на мизинце что-то подозрителен. Неужели я опять влюблен? Да, влюблен, и безумно влюблен в старшую мисс Ларкинс...

Старшая мисс Ларкинс уже не девочка. Это высокая, смуглая, черноглазая, хорошо сложенная девушка. Старшая мисс Ларкинс давно перестала быть ребенком, ибо даже самая юная из ее сестер, года на три-четыре моложе ее, и та уже забывает о детстве. Моей мисс Ларкинс под тридцать. Нет слов выразить, какая страсть пылает к ней в моей груди!

У старшей мисс Ларкинс много знакомых офицеров, и это для меня ужасно. Я вижу, как они разговаривают с нею на улице, как, издали завидя ее шляпку (а они у нее удивительно изящны) рядом со шляпкой ее сестры, они сейчас же устремляются ей навстречу. Это, видимо, ей нравится — она смеется и болтает с ними. Много свободного времени трачу я на хождение по улицам, стремясь встретиться с предметом моей любви, и если только мне удастся хоть раз в день поклониться ей, то я и тем уж счастлив. Если на свете только существует справедливость, то судьба, несомненно, должна вознаградить меня за те адские муки, которые вытерпел я в ночь бала местного бегового общества, зная, что старшая мисс Ларкинс до упаду танцует там с офицерами.

Любовь лишает меня аппетита и заставляет носить ежедневно мой самый новый шелковый галстук. Мне делается несколько легче, когда я одеваюсь в свой лучший костюм и заставляю без конца чистить свои ботинки. В таком виде, мне кажется, я более достоин приблизиться к моей богине. Все, что близко старшей мисс Ларкинс, все, что имеет какое-нибудь отношение к ней, для меня уже драгоценно: мне дорог мистер Ларкинс — ворчливый старик с двойным подбородком и неподвижным глазом, и, когда я не имею никакой надежды увидеть его дочь, я ищу встречи с ним.

Пожимая ему руку, я говорю: «Как поживаете вы, мистер Ларкинс? Как чувствуют себя ваши барышни и вся ваша семья?» И в этих вопросах, мне кажется, так сквозит моя любовь, что я тут всегда страшно краснею.

Я не перестаю думать о своих годах. Правда, мне всего семнадцать лет, правда, что я как будто слишком молод для старшей мисс Ларкинс, ко что за беда! Не успею оглянуться, как мне будет и двадцать один год.

Каждый вечер регулярно я прогуливаюсь у дома мистера Ларкинса, хотя для меня нож в сердце — видеть, как к ним входят офицеры, и слышать голоса в гостиной, в то время как старшая мисс Ларкинс играет на арфе... Помню даже, как два-три раза по ночам, когда вся семья Ларкинсов уже спала крепким сном, я, измученный, до глупости влюбленный, бродил вокруг их дома, все стараясь угадать, где именно комната моего кумира. Как жаждал я, чтобы их дом загорелся! Мне рисовалось, как кругом в страхе толпится народ, и я пробиваюсь сквозь толпу с лестницей, подставляю ее к окну моей любимой выхватываю ее из пылающей комнаты и, прижав к груди, спускаю на землю; потом снова поднимаюсь в горящий дом за какой-то забытой ею вещью и... погибаю в пламени.

Вообще любовь моя необыкновенно бескорыстна. Мне довольно уже проявить себя героем на глазах мисс Ларкинс и затем — умереть...

Впрочем, не всегда я бываю в мечтах своих так самоотвержен; порой в воображении моем проносятся картины и более радужные. Так, например, когда я одевался (в течение двух часов) перед большим балом у Ларкинсов, которого я с трепетом ждал целых три недели, я размышлял о том, что, собравшись с духом, наконец признаюсь старшей мисс Ларкинс в своей пылкой любви. Я представлял себе, как мисс Ларкинс, склонив свою голову на мое плечо, шепчет мне: «О мистер Копперфильд, верить ли мне своим ушам?..» Рисуеться мне также, как на следующее утро является ко мне мистер Ларкинс и говорит: «Дорогой Копперфильд, дочь рассказала мне все. Молодость — не порок. Вот вам двадцать тысяч фунтов стерлингов. Будьте счастливы». Тут же вижу я и бабушку ока приходит в умиление и благословляет нас. Мистер Дик и доктор Стронг присутствуют на нашей свадьбе...

Но вот я вхожу в очарованный дом: сверкают огни, масса цветов, слышится веселый говор, гремит музыка, всюду — увы! — снуют офицеры, и среди всего этого царит и затмевает всех и всё чудо красоты — старшая мисс Ларкинс.

Она вся в голубом, с голубыми незабудками в волосах, — подумаешь, ей ли нужны незабудки! Я впервые на настоящем балу взрослых и чувствую себя здесь несколько не в своей тарелке. Никому нет до меня никакого дела, никто не разговаривает со мной, и только один мистер Ларкинс начинает расспрашивать меня о школьных товарищах. Уж лучше бы он не делал этого: не для того же явился я сюда, чтобы мне наносили оскорбления!

Я стою у дверей и упиваюсь видом своей богини, когда вдруг она, сама она, старшая мисс Ларкинс, подходит ко мне и своим чарующим голосом спрашивает меня, танцую ли я. Я кланяюсь и бормочу:

— Только с вами, мисс Ларкинс.

— И ни с кем другим? — с улыбкой осведомляется моя богиня.

— Танцевать с другими мне не доставило бы ни малейшего удовольствия, — заявляю я.

Мисс Ларкинс смеется и краснеет, но, быть может, это мне только кажется.

— С удовольствием потанцую с вами, но не этот, а следующий танец, — говорит она.

Блаженная минута наступает. Музыка играет вальс. Я подхожу к мисс Ларкинс.

— Это, кажется, вальс? — говорит она нерешительно, — А вы танцуете его? Если нет, то капитан Бейли...

К счастью я вальсирую, и совсем недурно. С грозным видом увожу я мисс Ларкинс от капитана Бейли. Не сомневаюсь, как он убит этим. Но что мне за дело до него! Мало ли я сам страдал. Я уношусь с моей богиней в вихре вальса. Я совершенно не сознаю, сколько времени мы вальсируем, где мы, кто вокруг нас... Знаю только, что я витаю в блаженном экстазе^[55], держа в своих объятиях голубого ангела... Очнулся я в маленькой комнате, сидя с нею наедине на диванчике. Она восхищается цветком в моей петлице (розовая японская камелия, стоит полкроны). Я подаю ей цветок и говорю:

— Только знайте, мисс Ларкинс, я потребую за него невероятную цену.

— В самом деле! Что же вы хотите за него? — спрашивает мисс Ларкинс.

— Один из ваших цветов... и я буду дрожать над ним, как скупец над золотом.

— Смелый же вы мальчуган! — говорит мисс, Ларкинс. — Извольте!

Она подает мне цветок, видимо совсем не сердясь на мою смелость. Я целую его и прячу на груди. Тут мисс Ларкинс, смеясь, берет меня под руку.

— Ну, теперь отведите меня к капитану Бейли, — приказывает она.

Я еще погружен в сладкое воспоминание о пережитом блаженстве, когда мисс Ларкинс снова подходит ко мне под руку с пожилым, простоватого вида джентльменом, весь вечер игравшим в вист.

— Вот он, мой смелый друг! — говорит моя богиня. — Мистер Чесль хочет познакомиться с вами, мистер Копперфильд.

Я сейчас же почувствовал, что этот господин — друг их семьи, и очень обрадовался.

— Восхищаюсь вашим вкусом, сэръ. Он делает вам честь, — говорит мне мистер Чесль. — Не думаю, чтобы вы особенно интересовались хмелем, — сам я довольно крупный хмелевод, — но, если когда-нибудь вам случится быть в наших местах, неподалеку от Эшфорда, и вы заедете к нам в имение, мы будем рады, если вы погостите у нас подольше.

Я горячо благодарю мистера Чесля и жму ему руку. Мне кажется, что я вижу наяву какой-то чудный сон...

Еще раз уношусь я в вальсе с мисс Ларкинс, — она находит, что я так прекрасно вальсирую! Я ухожу домой в состоянии невыразимого блаженства и всю ночь воображаю, что продолжаю вальсировать, держа в своих объятиях мое голубое божество...

Несколько дней проходит в упоительных мечтах. Но я нигде не вижу ее — ни на улице, ни у нее дома, когда захожу к ним. Слабым, по все же недостаточным утешением служит для меня увядший цветок, этот священный залог...

— Тротвуд, — как-то раз после обеда обратилась ко мне Агнесса, — угадайте, кто завтра выходит замуж? Кто-то, кем вы восхищаетесь.

— Надеюсь, не вы, Агнесса?

— Не я!.. Слышите, папа, что он говорит? — промолвила Агнесса, поднимая свое смеющееся личико от нот, которые она переписывала. — Нет, не я, а старшая мисс Ларкинс.

— За капитана Бейли? — едва нашел я в себе силы спросить.

— Нет, за мистера Чесля, хмелевода.

Неделю или две я страшно удручен, не ношу кольца на мизинце, хожу в самом старом костюме, не помажу волос медвежьим жиром и часто горюю над засохшим цветком той, которая была мисс Ларкинс. Но подобный образ жизни начинает тяготить меня, а тут еще как раз я получаю новый вызов от наглого мясника, и я выбрасываю засохший цветок, выхожу на бой и одерживаю блестящую победу над своим противником.

Вот все, что я могу припомнить о своих семнадцати годах.

Глава XIX

Я ОГЛЯДЫВАЮСЬ ВОКРУГ И ДЕЛАЮ ОТКРЫТИЕ

Я, в сущности, не знаю хорошенько, был ли я рад или опечален, когда кончились мои школьные дни и настало время покинуть учебное заведение доктора Стронга. Я был очень счастлив в этой школе, очень привязался к ее директору; к тому же, я был персоной в нашем маленьком мирке. Вот в силу всех этих причин мне грустно было расставаться со школой; но были и другие основания, впрочем, не особенно существенные, заставлявшие меня радоваться окончанию курса. Туманные, неясные мысли манят меня вдаль. Мне кажется, что переступив порог школы, я сразу делаюсь самостоятельным молодым человеком; мне рисуется, что этот самый восхитительный молодой человек, появляясь в свете, где он видит массу поразительных вещей, производит на всех потрясающее впечатление, совершает удивительные подвиги... И все эти мальчишеские мечты так охватили меня, что, мне думается, я покинул школу без сожалений, которые были бы так естественны. Расставание со всем, с чем я так сжился, не произвело на меня того впечатления, какое обыкновенно производила разлука. Я тщетно стараюсь припомнить свои тогдашние переживания и сопровождающие их обстоятельства. Очевидно, это событие не сыграло большой роли в моей жизни. Мне кажется, что открывающиеся предо мною перспективы просто затуманили мне голову. Жизнь рисовалась мне какой-то длинной чудесной сказкой, которую мне предстояло сейчас вот начать читать...

Мы с бабушкой не раз обсуждали мою будущую деятельность.

Давно уже бабушка допытывалась у меня, кем желаю я быть. Больше года я, несмотря на все свое желание, не мог дать ей на это ответа. У меня не было ясно выраженной к чему-нибудь склонности.

Конечно, осени меня вдруг чудесным образом знание морского дела, я был бы совсем непрочь стать во главе экспедиции, отправляющейся на каком-нибудь быстроходном судне вокруг света в поисках великих открытий. Но раз такой фантастический проект не

мог быть осуществлен, я хотел, по крайней мере, взяться за что-нибудь такое, где потребовалось бы как можно меньше денежных затрат со стороны бабушки, и добросовестно исполнять свои обязанности, каковы бы они ни были.

Мистер Дик всегда присутствовал на наших с бабушкой совещаниях, и всегда при этом вид у него бывал задумчивый и многозначительный. За все время, помнится, он единственный раз высказался, вдруг предложив для меня карьеру медника (уж, право, не знаю, почему это пришло ему в голову), но бабушка так неодобрительно встретила это его предложение, что он больше уж не решался открыть рот, а только побрякивал в кармане своими монетами и не сводил глаз с бабушки, когда та высказывала какую-нибудь свою мысль.

— Знаете, дорогой мой Трот, что я вам скажу? — обратилась ко мне однажды на святках бабушка, вскоре после того, как я окончил школу. — Так как до сих пор мы с вами никак не могли решить этот сложный вопрос, а надо насколько возможно постараться не сделать ошибки, будет лучше всего, если мы повременим с этим. А тем временем вам надо будет взглянуть на этот интересующий нас вопрос с иной точки зрения, не как школьнику.

— Буду стараться, бабушка.

— Мне пришло вот что в голову, — продолжала бабушка: — иногда переменить обстановку и попасть в новые условия жизни, даже на короткое время, бывает очень полезно. Что, если бы вы попутешествовали немного, ну, предположим, проехали бы к себе на родину и погостили у этой странной женщины с самым диким на свете именем, — закончила бабушка; она, видимо, до сих пор не могла простить Пиготти ее имени.

— Бабушка, да ничто на свете, кажется, не могло бы мне быть более по душе! — воскликнул и.

— Прекрасно, — отозвалась бабушка, — это очень удачно, так как эта самая мысль и мне улыбается. С вашей стороны вполне естественно и разумно желать побывать в своих родных местах, и я вообще уверена, Трот, то все, что вы когда-нибудь предпримете, будет всегда и естественно и разумно.

— Надеюсь, бабушка.

— Сестра ваша, Бетси Тротвуд, была бы самой милой, благоразумной девушкой из всех, когда-либо живших на земле, и вы, Трот, будете достойны ее, не правда ли? — проговорила бабушка.

— Надеюсь, что я буду достоин вас, бабушка, и этого будет с меня довольно, — ответил я.

— Настоящая милость божья, что вашей мамы, этой бедной детки, нет в живых, — продолжала бабушка, бросая на меня восторженный взгляд. — Теперь бы она так возгордилась своим мальчиком, что в ее нежной головке, пожалуй, все бы перевернулось вверх дном.

Бабушка имела обыкновение всякую свою слабость по отношению ко мне всегда сваливать таким вот образом на покойную мою матушку.

— Господи! До чего, Тротвуд, вы напоминаете мне ее!

— Надеюсь, что это не худо, — промолвил я.

— До чего он похож на нее, Дик! — обратилась к нему бабушка торжественным тоном. — Мне кажется, я вижу ее такой вот, какой она была в тот вечер, перед тем как начались у нее боли. Боже мой! Да, он похож на нее, как две капли воды!

— В самом деле, он так похож? — заинтересовался мистер Дик.

— А вместе с тем он очень похож и на Давида, — решительным тоном объявила бабушка.

— Он очень похож на Давида, — повторил мистер Дик.

— Я хочу, Трот, — продолжала бабушка, — чтобы вы были не только физически, но и морально сильным, здоровым человеком. Физической силой и здоровьем бог вас не обидел, но вы должны быть у меня вообще молодцом: решительным, с твердой волей, — прибавила она, кивая своей головой в чепце и сжимая руки в кулак, — человеком с сильным характером, самостоятельным, который без основательной причины не подчиняется никому и ничему! Вот каким хочу я вас видеть, Трот! Таким, какими должны были бы быть ваши отец и мать, и тогда судьба их была бы совсем иная.

— Надеюсь, бабушка, осуществить ваши желания, — промолвил я.

— И вот для того, чтобы вы мало-помалу приучились быть самостоятельным и решительным, — добавила бабушка, — я и хочу вас отправить путешествовать одного. Сначала я думала было, что вы

поедете с мистером Диком, но потом решила, что пусть лучше он остается дома и заботится обо мне.

В первую минуту мистер Дик, повидимому, огорчился, но, сейчас же сообразив, что ему оказывается великая честь заботиться о самой замечательной женщине на свете, снова просиял.

— К тому же, — заметила бабушка, — его мемуары...

— Да, конечно, Тротвуд, — торопясь, перебил бабушку мистер Дик, — я хочу их как можно скорее дописать; они действительно должны быть закончены. После чего, как вы знаете, они будут представлены куда следует, и тогда... — тут он остановился и довольно долго молчал, — заварится хорошая каша!.. — закончил он.

Бабушка не любила ничего откладывать в долгий ящик, и не успел я оглянуться, как она, снабдив меня туго набитым кошельком и чемоданом, отправила в путь-дорогу. Давая мне на прощанье кучу добрых советов и без конца целуя меня, бабушка сказала, что раз она видит цель моей поездки в том, чтобы я посмотрел на свет божий и расширил свой кругозор, мне необходимо по дороге в Суффолк или на обратном пути остановиться в Лондоне. Словом, в течение трех недель или даже целого месяца мне представлялась полнейшая свобода. Единственно, что от меня требовалось, — это внимательно осматриваться вокруг себя, размышлять о виденном да еще три раза в неделю правдиво писать о себе.

Я начал свое путешествие с того, что отправился в Кентербери, чтобы проститься с добрейшим доктором Стронгом, Агнессой и мистер Ункфильдом. Моя комната у них все еще оставалась за мной. Агнесса очень обрадовалась мне и заявила, что после моего отъезда их дом стал не похож на себя.

— Представьте, Агнесса, я тоже с тех пор, как уехал от вас, стал не похож на самого себя, — проговорил я. — Лишившись вас, я словно потерял правую руку... Но, впрочем, это неудачное сравнение, ибо правая рука ее в силах заменить ни головы, ни сердца. А каждый, кто имеет счастье знать вас, Агнесса, советуется с вами и слушает вас.

— А мне кажется, — улыбаясь ответила она, — что каждый, кто меня знает, балует меня и портит.

— Нет, нет! Все откосятся к вам так потому, что вы единственная в своем роде. Вы не похожи на других девушек. Вы такая добрая, такая кроткая, такого чудесного характера, и, к тому же, вы всегда правы.

— Вы превозносите меня так, точно я бывшая мисс Ларкинс, — мило расхохотавшись, проговорила Агнесса, берясь за работу.

— Ну, позвольте, Агнесса, это не хорошо так злоупотреблять моей откровенностью, — ответил я, краснея при воспоминании о моей голубой поработительнице. — Но я все-таки всегда по-прежнему буду с вами откровенен. Видно уж, с этой привычкой мне никогда не расстаться. И если вы позволите, то случится ли со мной горе, влюблюсь ли я, сейчас же скажу вам, — даже, когда всерьез влюблюсь.

— Да мне кажется, вы всегда всерьез влюбляетесь, — опять рассмеявшись, сказала Агнесса.

— Положим, тогда я был мальчишкой, школьником, — ответил я также со смехом, но вместе с тем немного смущенный. — Времена меняются, и не сегодня, так завтра, чувствую, я могу полюбить по-настоящему, всерьез. А вот меня удивляет, что вы до сих пор всерьез никого не полюбите.

Агнесса снова рассмеялась и покачала головой.

— О, я знаю, что вы не влюблены! — воскликнул я. — Вы, конечно, сказали бы мне об этом... или, — прибавил я, заметив, что она покраснела, — во всяком случае, дали бы мне возможность самому догадаться. Но, Агнесса, я не знаю пока никого, кто был достоин вашей любви. Предупреждаю: согласие свое я дам только в том случае, если встретится человек более благородного характера и вообще более достойный, чем все те, кого я здесь вижу. С сегодняшнего дня, Агнесса, я не спускаю глаз с ваших поклонников и, знайте, буду очень требователен к тому из них, кто завоеует ваше сердце.

И так мы продолжали болтать в полушутливом, полусерьезном тоне, столь привычном для нас при нашей долголетней дружбе, как вдруг Агнесса, подняв на меня глаза, заговорила совсем иным, серьезным тоном:

— Знаете, Тротвуд, я хочу спросить вас о том, о чем, быть может, не скоро еще представится случай поговорить с вами. Ни с кем другим я не решилась бы заговорить об этом. Не бросилось ли вам в глаза, что с моим папой за это время произошла какая-то перемена?

Я-то давно обратил на это внимание и не раз задавал себе вопрос, замечает ли эту перемену Агнесса. Видимо, она теперь прочла это на

моем лице, так как опустила глаза, и на них заблестели слезы.

— Скажите мне, что это такое? — тихо проговорила она.

— Думаю... — начал я. — Но могу ли я говорить совершенно откровенно? Вы ведь знаете, Агнесса, как я его люблю.

— Да, говорите.

— Так вот, я думаю, что ему далеко не полезна та склонность, которую я заметил в нем еще давно, при моем появлении в вашем доме. С тех пор склонность эта значительно усилилась. Ваш папа часто бывает в очень нервном состоянии... или, быть может, это моя фантазия?

— Нет, не фантазия, — проговорила Агнесса, покачивая головой.

— Руки его дрожат, — продолжал я, — язык заплетается, взгляд растерянный. А обратили ли вы внимание, Агнесса, на то, что когда он бывает в наихудшем состоянии, к нему непременно являются по делу?

— Уриа? — спросила Агнесса.

— Да, именно. И вот сознание того, что в эту минуту он не способен заниматься делами и что это замечают посторонние люди, так угнетает вашего папу, что на следующий день он чувствует себя хуже, а там еще хуже: вид у него унылый, глаза какие-то блуждающие. Я не хочу вас тревожить, Агнесса, но все-таки принужден сказать вам, что однажды вечером, совсем недавно, я видел вашего папу именно в таком состоянии: он припал к своей конторке и плакал, как ребенок...

Не успел я договорить последней фразы, как она тихонько зажала мне рот рукой и бросилась к двери; встретив там отца, она прижалась к его плечу. Когда я увидел их вместе, меня до глубины души поразило лицо Агнессы. Оно выражало столько печали, нежности, благодарности к отцу, и вместе с тем в нем читалась такая немая мольба, чтобы я был снисходителен к его слабостям, столько доверия ко мне... самые красноречивые слова не смогли бы больше сказать мне, больше тронуть меня.

Мы в этот вечер должны были пить чай у доктора Стронга. Придя к ним в обычное время, мы застали в кабинете у камина самого хозяина, его молодую жену и ее маменьку.

Доктор Стронг, в глазах которого моя поездка была чем-то вроде путешествия в Китай, встретил меня, как почетного гостя, и велел даже подбросить в камин дров, желая при ярком пламени лучше разглядеть лицо своего бывшего ученика.

— Знаете, Уикфильд, я не собираюсь иметь много новых учеников, — заговорил доктор, грея руки у огня. — Что-то я разленился, хочется покоя. Месяцев через шесть думаю отказаться от моих юнцов и начать вести более спокойную жизнь.

— Я не раз уже за последние десять лет слышал это от вас, доктор, — заметил мистер Уикфильд.

— Но теперь я на самом деле решил так поступить, — возразил доктор. — Я передаю свое дело старшему преподавателю, так что в недалеком будущем вам придется заняться нашим контрактом и в нем предусмотреть все так, словно мы оба с моим заместителем настоящие плуты.

— И позаботиться о том, чтобы вас не нагрели, — добавил мистер Уикфильд, — что неминуемо случилось бы, доктор, если бы вы сами вздумали составить такой контракт. Поэтому я с особенным удовольствием займусь этим делом. Да, в моей конторе проходили дела и похуже этого.

— Прекрасно. Значит, я могу об этом не думать, а только заниматься своим словарем да еще особой, с которой я ведь тоже связан контрактом, — моей Анни.

Миссис Стронг сидела за чайным столом рядом с Агнессой. Когда при этих словах доктора мистер Уикфильд взглянул на нее, мне показалось, что она старается избежать его взгляда и почему-то необычайно смущена. Это, видимо, возбудило в старом адвокате какие-то подозрения.

— Кажется, получена почта из Индии? — спросил мистер Уикфильд после некоторого молчания.

— Да, да. Кстати, есть письма от Джека Мэлдона, — заявил доктор.

— Вот как!

— Бедный, милый Джек, — начала миссис Марклегем, качая головой, — какой ужасный климат в Индии! Говорят, что там живут словно на куче песку под зажигательным стеклом. Вот подите же, бедняга Джек казался на вид таким здоровым, а на деле вышло совсем иное. Когда он так смело решился на это опаснейшее предприятие, то, очевидно, дорогой мой доктор, он рассчитывал больше на бодрость своего духа, чем на свои физические силы. Анни, дорогая, я уверена, вы должны прекрасно помнить, что ваш кузен никогда не отличался

особенным здоровьем, не был крепышом, как говорится, еще в те времена, когда вы с ним детьми по целым дням прогуливались под ручку.

Анни ничего не ответила.

— Могу ли я заключить из ваших слов, мэм, что мистер Мэлдон болен? — обратился к маменьке мистер Уикфильд.

— Болен? — повторил Старый Полководец. — Как вам сказать?.. Да у него всё, что хотите.

— То есть, вы желаете сказать — всё, за исключением здоровья? — заметил мистер Уикфильд.

— Да, действительно, за исключением здоровья, — подтвердил Старый Полководец. — Чего только у него не было! Конечно, и солнечные удары, и лихорадки, и болотные и перемежающиеся, а что касается страдания печени, то, уезжая в Индию, Джек еще тогда примирился с мыслью, что придется ему умереть от этой болезни.

— И обо всем этом он пишет в своих посланиях? — поинтересовался мистер Уикфильд.

— Он чтобы стал писать об этом! — воскликнула миссис Марклегем, качая головой и обмахиваясь веером. — Вы, сударь, видно, мало знаете моего бедного Джека Мэлдона, раз задаете такой вопрос. Чтобы он мог это сказать!.. Никогда! Он скорее даст привязать себя к хвостам четырех диких коней и разорвать себя на части...

— Маменька... — попробовала остановить ее миссис Стронг.

— Анни, дорогая моя, — оборвала ее мать, — прошу вас раз навсегда не вмешиваться в то, что я говорю, кроме тех случаев, когда вы собираетесь подтвердить мои слова. Вам известно так же хорошо, как и мне самой, что ваш кузен Мэлдон готов скорей быть разодранным на куски не только четырьмя конями, как почему-то сорвалось у меня с языка, а любым количеством диких коней, чем пойти против планов доктора Стронга.

— Вернее сказать, планов Уикфильда, — заметил доктор, поглаживая себе лицо и с покаянным видом поглядывая на своего советника. — Собственно говоря, планы эти наши общие с ним. Я лично высказал только ту мысль, что место для Мэлдона нужно приискать «здесь или за границей».

— А я, — прибавил с серьезным видом мистер Уикфильд, — сказал, что лучше «за границей». И беру на себя ответственность за

это.

— О, зачем говорить об ответственности! — воскликнул Старый Полководец. — Все было сделано с наилучшими намерениями, дорогой мистер Уикфильд. Да, с наилучшими, — мы все это прекрасно знаем. Но если бедняжка не может там жить, то, повторяю, он скорее умрет, чем пойдет против планов доктора. Я знаю Джека, — тихо проговорил Старый Полководец пророческим тоном, в котором сквозила печаль.

— Ну что ж, мэ, — с веселым видом заговорил доктор, — я вовсе не такой уж фанатик своих планов и сам могу менять их. Если мистер Джек Мэлдон приедет по болезни домой, то мы не позволим ему вернуться снова в Индию и постараемся отыскать для него более подходящую службу на родине.

На Старого Полководца великодушные слова доктора произвели такое сильное впечатление (о, конечно, он их ее ждал и не добивался!), что он смог только произнести: «Подобное великодушие похоже именно на вас». Тут она начала целовать ручку веера и кокетливо похлопывать им по руке своего добрейшего зятя. Вслед за этим маменька принялась нежно журить свою дочку Анни за то, что она не проявляет чувства благодарности к своему мужу за доброту, оказанную им, — конечно, ради нее, — товарищу ее детских лет. Кончил Старый Полководец тем, что сообщил нам некоторые подробности о других членах своего семейства, которые, видимо, также были достойны поддержки.

Все время, пока она ораторствовала, ее дочь Анни сидела молча, потупив глаза в землю. Мистер Уикфильд не сводил с нее глаз. Мне кажется, ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может следить и за ним самим, до того он был поглощен своими собственными наблюдениями и мыслями, связанными с ними. Но когда миссис Марклегем наконец замолчала, он спросил ее, что именно пишет мистер Джек Мэлдон о себе и кому он пишет.

— Да вот оно, это самое письмо, — промолвила маменька, беря его через голову доктора с камина. — Тут он, милый, жалуется и самому доктору... Где же это место?.. Нашла. «К сожалению, должен сообщить вам, что здоровье мое в очень плохом состоянии, и я боюсь, что буду принужден временно вернуться на родину. Это единственная надежда поправить свое здоровье». Ясно, что для бедняги это,

конечно, единственная надежда поправиться. Но в письме к Анни это еще яснее сказано... Анни, покажите-ка мне еще ваше письмо.

— Не сейчас, маменька, — вполголоса взмолилась та.

— Дорогая моя, вы в некоторых отношениях самый странный человек на свете, и до чего только вы равнодушны к горестям вашей собственной семьи! Я уверена, что мы так никогда ничего и не узнали бы об этом письме, не потребууй я его от вас. Неужели, душа моя, вы думаете, что этим вы оказываете доверие своему мужу? Удивляюсь! Вы не так должны были бы поступать.

Анни неохотно достала письмо, и когда я передавал ею миссис Марклегем, то видел, как дрожит рука ее дочери.

— Теперь отыщем это место, — проговорил Старый Полководец, надевая очки. — «Воспоминание о былых днях, любимая моя Анни...» и так далее. Нет, не то... «Милейший старый проктор...» Кто бы это мог быть?.. До чего неразборчив почерк у вашего кузена, Анни!.. Ах я, старая дура! Да ведь это не «проктор», а «доктор»! «Милейший»! Да какой еще милейший!

Тут маменька снова с помощью своего веера послала воздушный поцелуй доктору, а тот плядел на нас, безмятежный и довольный.

— Ах, вот наконец это место! — объявил Старый Полководец. — «Вы не будете удивлены, Анни, когда скажу вам, что, выстрадав столько здесь, я решил во что бы то ни стало уехать отсюда. Если будет возможно, возьму отпуск по болезни; если не добьюсь этого, совсем выйду в отставку. То, что я вытерпел в здешних местах и продолжаю терпеть, просто невыносимо...» А не будь великодушного порыва этого лучшего из людей, — закончила маменька, снова посылая доктору воздушный поцелуи своим веером, — невыносимо было бы и мне думать о муках бедного Джека.

Мистер Уикфильд не проронил ни слова, хотя Старый Полководец и бросал на него взгляды, как бы приглашая высказаться по поводу полученных вестей; но адвокат сурово молчал, устремив глаза в землю. Разговор давно уже перешел на другие темы, а мистер Уикфильд все продолжал сидеть также безмолвно и только время от времени задумчиво поглядывал то на доктора, то на его жену.

Доктор Стронг был большой любитель музыки, а Агнесса и миссис Стронг — обе пели прекрасно и с большим выражением. В этот вечер они исполняли дуэты, играли на рояле в четыре руки, —

словом, получился настоящий маленький концерт. Но в этот вечер мне бросились в глаза две вещи: во-первых, что между миссис Стронг (хотя к ней скоро и вернулось самообладание) и старым адвокатом чувствовалось какая-то неловкость, совершенно отдалявшая их друг от друга, а во-вторых, мистеру Уикфильду, видимо, была не по душе близость между его Агнессой и женой доктора. Тут, должен признаться, я впервые, вспомнив все происходившее тогда, при отъезде Мэлдона, посмотрел на это другими глазами, и беспокойное чувство закралось в мою душу. Красота миссис Стронг мне уже не казалась такой невинной, и я с каким-то предубеждением стал относиться к ее прирожденной грации и прелестной манере себя держать. Когда я видел рядом с ней нашу чудесную, чистую Агнессу, мне начала приходить в голову мысль, что дружба эта для нее совсем неподходящая.

Однако обе подруги черпали в этой дружбе столько радости и веселья, что благодаря этому вечер наш пролетел совсем незаметно. В конце вечера произошел инцидент, который врезался в мою память. Агнесса, прощаясь с Анни, только что собиралась обнять и поцеловать ее, как мистер Уикфильд, будто случайно очутившись между ними, быстро отвел дочь от подруги. Тут на лице миссис Стронг я увидел то самое выражение, которое ужаснуло меня тогда, в час отъезда в Индию ее кузена.

На следующее утро я должен был покинуть старый дом, где царил Агнесса. Естественно, я не мог думать ни о чем другом. «Конечно, — утешал я себя, — скоро я опять вернусь сюда и не раз, быть может, буду еще ночевать в своей бывшей комнате», но тем не менее я чувствовал, что прожитое в этом доме время ушло безвозвратно. Когда я укладывал свои книги и вещи для отправки их в Дувр, я делал над собою большое усилие, чтобы не показать Уриа Гиппу, до чего мне тяжело. А он так лез из кожи, помогая мне, что у меня невольно мелькнула мысль: «Как он рад моему отъезду!»

Простился я с Агнессой и ее отцом, притворяясь равнодушным и твердым, как и подобает быть мужчине, и занял в почтовой карсте иное место рядом с кучером. Помню, проезжая городом, я до того был растроган, так полон всепрощения, что едва не поклонился своему старинному врагу мяснику и не бросил ему на водку пять шиллингов. Но у него был такой свирепый вид, когда он, стоя у себя в лавке,

скоблил какой-то большой чурбан, и вообще вся его наружность так мало выиграла от потери выбитого мною переднего зуба, что я все-таки решил не делать первого шага к примирению.

Помню, что все помыслы мои, когда мы покатали по большой дороге, были направлены на то, чтобы казаться кучеру как можно старше, и я, считая, что самым характерным признаком взрослого мужчины служит бас, изо всех сил старался басить.

— Вы, сэр, едете в Лондон? — осведомился кучер.

— Да, Вильям, — ответил я снисходительным тоном (я его знал), — сначала я еду в Лондон, а оттуда с Суффолк.

— Едете охотиться, сэр? — продолжал спрашивать кучер.

Он знал не хуже меня, что охотиться в это время года так же возможно, как, например, отправиться в Суффолк на ловлю китов, но тем не менее, вопрос его польстил мне.

— Не знаю еще, буду ли я там охотиться, — ответил я таким тоном, как будто действительно еще не решил этого.

— Говорят, что дичь там очень напугана, — заявил Вильям.

— Я тоже об этом слышал, — согласился я.

— А вы сами родом из Суффолка, сэр?

— Да, — ответил я с важностью, — Суффолк — моя родина.

— Слышал, что там у вас необыкновенно вкусные яблоки, запеченные в тесте, — не унимался кучер.

Я, по правде сказать, ничего не знал об этом, но, считая, что я должен поддержать честь своего родного края, утвердительно кивнул головой, как бы говоря: «Да еще какие!»

— А суффолкские рабочие лошади — вот это, скажу я вам, — скот! — воскликнул Вильям. — Хорошему тамошнему коню и цены нет... А вам, сэр, не приходилось ли самим выращивать суффолкских лошадок?

— Н... нет, — ответил я, — не случилось.

— А вот сзади меня сидит джентльмен, так он, бьюсь об заклад, выращивал их целыми табунами, — объявил Вильям.

Джентльмен, о котором шла речь, малопривлекательно косил одним глазом и обладал сильно выдающимся вперед подбородком. На нем была высокая белая шляпа с полями, панталоны темного цвета, в обтяжку, с бесчисленным количеством пуговиц (они, кажется, шли по боковому шву вдоль всей ноги). Подбородок его торчал над плечом

кучера так низко от меня, что его дыхание щекотало мне затылок, а когда я обернулся, то заметил, что он своим некосящим глазом поглядывает на наших лошадей с видом знатока.

— Правду ведь я говорю? — обратился к нему Вильям.

— А в чем дело? — спросил сядящий за нами джентльмен.

— Да я говорю, что вы целыми табунами выращивали суффолкских лошадок.

— Еще бы! — сказал джентльмен. — Вообще нет таких пород лошадей и собак, каких бы я не выращивал. Есть люди, для которых лошади и собаки — прихоть, а для меня они еда и питье, и дом, и жена, и дети... чтение, и письмо, и арифметика, табак и сон.

— Ну, подумайте, подобает ли такому человеку сидеть за козлами? — шепнул мне на ухо Вильям, подбирая вожжи.

Я понял из этих слов, что кучер хотел бы на мое место посадить специалиста по лошадям и собакам, и потому, покраснев до ушей, сказал ему, что готов уступить свое место.

— Если вам все равно, сэр, — ответил Вильям, — то, кажется, так будет приличнее.

Случай этот я всегда рассматривал как первую неудачу на своем жизненном поприще. Когда я заказывал себе билет а конторе дилижансов, я, помнится, настоял, чтобы против моего имени было написано: «Место на козлах», и за это я даже дал конторщику целых полкроны. Нарочно облекся я в новое пальто, захватил с собой плед, чтобы не ударить лицом в грязь на таком почетном месте, и, сидя на нем, признаться, был очень горд тем впечатлением, которое должен был производить. И вдруг на первых же порах меня вытесняет с моего места какой-то косоглазый оборванец, все достоинства которого заключаются в том, что от него несет конюшней и он в состоянии в то время, когда лошади идут крупной рысью, с легкостью мухи перелезть через меня. Напрасно уже стараюсь я говорить басом, выдавливая звуки чуть ли не из самого желудка, — я чувствую себя совсем уничтоженным и ужасно юным.

А все-таки занятно было и приятно сознавать себя хорошо образованным, прилично одетым молодым человеком с туго набитым кошельком. Мимо проносились места, где когда-то я ночевал в дни моих мучительных странствований... Много было пищи для моих размышлений. Глядя сверху вниз на обгоняемых нами пешеходов, я во

многих из них узнаю знакомый мне тип бродяги и так живо представляю себе, как почерневшая рука лудильщика хватается меня за шиворот... Вот дилижанс мчится по узким четемским улицам, и я вижу переулок, где жило старое чудовище, купившее у меня куртку. Я стремительно высовываю голову, чтобы взглянуть на то место, где пришлось мне сидеть то в тени, то на солнце, ожидая, пока сумасшедший старьевщик наконец соблаговолит заплатить мне деньги.

Неподалеку от Лондона мы проезжаем мимо Салемской школы, где когда-то так свирепствовала тяжелая рука мистера Крикля, В этот момент я, кажется, отдал бы все на свете за законное право войти в школу, хорошенько отколотить этого изверга и, как воробьев из клеток, выпустить оттуда, на волю злосчастных мальчиков.

Когда мы добрались до Лондона, дилижанс подвез нас к далеко не важной, пахнувшей плесенью гостинице «Золотой крест». Находилась она в густо населенной части города — Чарингкроссе. Лакей проводил меня в общий зал, а горничная вскоре свела в мой номер, маленькую комнату с запахом конюшни, тесную и душную, как семейный склеп. В этой гостинице я снова с горечью почувствовал, как я ужасно молод; никто здесь и в грош меня не ставил: горничная не обращала ни малейшего внимания на мои замечания, а лакей позволял себе самым фамильярным тоном подавать мне непрошенные советы.

— Ну-с, что же вы хотите на обед? — развязно спросил он меня. — Молодые джентльмены вообще любят птицу, закажите курицу.

Я ответил ему насколько мог величественно, что курицы не желаю.

— Вот как! — с изумлением воскликнул лакей. — Молодым джентльменам, я знаю, не нравится говядина и баранина, ну, так закажите себе отбивную телячью котлету.

Не будучи в состоянии придумать что-либо другое, я согласился на телячью котлету.

— Любите ли вы шампиньоны? — с вкрадчивой улыбкой, склонив голову набок, продолжал лакей. — Обыкновенно молодые джентльмены обедают шампиньонами.

На это я приказал ему самым густым басом, на который только был способен, подать мне отбивную телячью котлету с картофелем, а также все, что полагается к ней, и тут же велел ему справиться, нет ли писем на имя мистера Тротвуда-Копперфильда. Я прекрасно знал, что никаких писем для меня нет и быть не может, но сказал это так, для пущей важности, зная, что взрослые мужчины обыкновенно получают деловые письма.

Вскоре лакей вернулся и сообщил мне, что писем на мое имя не имеется (я не преминул, конечно, выразить при этом удивление), и принялся накрывать для меня столик у камина. В то же время он спросил, какого вина подать мне к обеду.

— Полбутылки хереса, — потребовал я.

Тут я боюсь, что лакей нашел наиболее подходящим составить эту полбутылку из вина, оставшегося на дне нескольких бутылок. Кажется это мне потому, что, читая газету, я видел, как он за своей низенькой перегородкой переливает что-то из нескольких бутылок в одну, напоминая при этом химика или аптекаря, приготавливающего лекарство. Когда наконец вино это появилось на моем столике, я нашел его очень безвкусным, и в нем, несомненно, имелось больше крошек английского хлеба, чем можно было ожидать в заграничном вине; но я был так застенчив, что не говоря ни слова наглому лакею, выпил всю эту гадость.

Придя в хорошее настроение (из чего я вывел заключение, что не всегда эта отравка — алкоголь — бывает неприятна), и решил пойти в театр. Выбор свой я остановил на Конвентгарденском театре, и здесь, сидя на одном из задних стульев в ложе против сцены, я наслаждался «Юлием Цезарем»^[56] и какой-то новой пантомимой. Видеть, как перед вами расхаживают и говорят те самые благородные римляне, речи которых вас заставляли зубрить в школе, было для меня чем-то новым и восхитительным. Когда-то бывшее, а теперь окруженное на сцене таинственностью, чарующее влияние самых поэтических образов, освещение, музыка, публика, поразительно плавно сменяющиеся роскошные декорации — все это привели меня в восторженное состояние. Выйдя в полночь из театра и попав под дождь, я почувствовал себя так, словно из заоблачных пространств, из мира сказочной поэзии я вдруг свалился на жалкую, грязную шумную землю, где тускло горят фонари, шлепают калоши, сбились в кучу

извозчичьи экипажи, идет борьба с зонтиками, стремящимися выколоть глаза прохожим...

Некоторое время простоял я на улице в растерянном состоянии, как бы чувствуя себя действительно чужим в этом мире, но бесцеремонные толчки прохожих скоро привели меня в себя и заставили направиться в свою гостиницу. Дорогой не переставали проноситься передо мной лучезарные видения, и я все еще был во власти их, когда, съев устриц и запив их портером, сидел в общей зале, устремив глаза в пылающий камин...

Пробило уже час, а я так был погружен в свои театральные впечатления, так почему-то нахлынули на меня, словно сквозь сияющую их дымку, воспоминания прошлого, что я не сразу обратил внимание на присутствие в зале красивого, хорошо сложенного молодого человека, одетого со вкусом, но с какой-то знакомой мне своеобразной небрежностью. Помню, что глядя в камин, все еще во власти своих грез, я хотя и не заметил, когда он вошел, но как-то почувствовал его присутствие.

Наконец я поднялся, чтобы идти спать, к великой радости сонного лакея, который давно уже в своем чуланчике топтался с ноги на ногу, ожидая, когда мы уйдем к себе. Направляясь к двери, я прошел мимо красивого молодого человека и тут только рассмотрел его. Я сейчас же повернулся, пошел обратно и снова взглянул на него. Молодой человек, видимо, не узнавал меня, я же признал его сразу.

В другое время у меня, пожалуй, нехватило бы самоуверенности и решимости заговорить с ним. Я отложил бы разговор до утра и мог бы с ним не встретиться. Но в эту минуту я был в таком восторженном состоянии, так был еще захвачен впечатлениями, вынесенными от «Юлия Цезаря», что в сердце моем вдруг воскресли с новой силой и благодарность к этому молодому человеку, так много сделавшему мне добра в мои детские годы, и моя прежняя любовь. Сердце усиленно забилося, и я бросился к нему...

— Стирфорт, неужели вы не узнаете меня? — воскликнул я.

Он посмотрел на меня таким знакомым мне взглядом, но было ясно, что он все еще не узнает меня.

— Боюсь, что вы совсем забыли меня, — проговорил я.

— Бог мой! — вдруг воскликнул он. — Да это малыш Копперфильд!

Я крепко схватил его за обе руки и не выпускал их из своих. Если б не стыд и не боязнь, что ему это может не понравиться, я бросился бы ему на шею и заплакал бы от радости.

— Никогда, никогда в жизни, кажется, я не был так рад, дорогой мой Стирфорт! — воскликнул я — Я просто в восторге, что вижу вас!

— Я также чрезвычайно рад встрече с вами, — ответил Стирфорт, с силой пожимая мне руки. — Но зачем же так волноваться, старый дружище? — прибавил он.

Что бы он там ни говорил, а от меня не укрылось, до чего ему приятно было видеть, в какой восторг привела меня встреча с ним.

Я смахнул слезы, которые, сколько я ни крепился, все-таки выступили у меня на глазах, и смущенно засмеялся. Затем мы со Стирфортом сели рядышком.

— Какими судьбами попали вы сюда? — спросил Стирфорт, дружески похлопывая меня по плечу.

— Я сегодня приехал дилижансом из Кентербери. В предместье этого города живет моя бабушка. Она меня усыновила и дала образование Я кончил одну из кентерберийских школ. А вы, Стирфорт, как очутились здесь?

— Видите ли, я так называемый оксфордец. Время от времени меня совершенно заедает тоска в этом университете, и сейчас я как раз еду оттуда, направляясь домой, к матушке... Однако вы чертовски красивый мальчик, Копперфильд! Как посмотрю я на вас, вы совершенно такой же, как были, совсем не изменились.

— Вас-то я сразу узнал, — заметил я. — Но, впрочем, не немудрено: вас легче запомнить.

Стирфорт, запустив пальцы в свои густые кудри, рассмеялся и весело сказал:

— Так вот, видите, я при исполнении сыновнего долга. Матушка живет здесь, неподалеку от города. Но дороги сейчас в отвратительном состоянии, а скука у нас дома адская, и я, вместо того чтобы прямо ехать туда, решил переночевать в гостинице. Я в Лондоне всего каких-нибудь несколько часов и убил их крайне непроизводительно — продремал и проворчал в театре.

— Я тоже был сегодня в театре, в Ковентгарденском, — заметил я. — Какая великолепная, восхитительная игра, Стирфорт!

Стирфорт расхохотался.

— Дорогой мой, юный Дези^[57], - проговорил он, снова похлопывая меня по плечу, — знаете, вы настоящая маргаритка. И полевая маргаритка, сверкающая росой при восходе солнца, не может быть чище, невиннее вас. Я тоже, дорогой мой, был в Ковентгарденском театре и могу сказать, что хуже спектакля никогда не приходилось видеть... Алло, сэр!

Последние слова относились к лакею, который издали с большим вниманием наблюдал за сценой нашей встречи со Стирфортом и теперь с очень почтительным видом подошел к нам. — Скажите, куда поместили вы моего друга, мистера Копперфильда? — спросил Стирфорт.

— Простите, сэр...

— Слышите? Где ему приготовлена постель? Какой номер вы ему отвели?

— Видите ли, сэр, — проговорил лакей извиняющимся тоном, — пока мы поместили мистера Копперфильда в сорок четвертый номер...

— Как же вы смели, чорт вас побери, упрятать мистера Копперфильда на какой-то чердак над конюшней?

— Извольте видеть, сэр, мы не знали, что мистер Копперфильд в некотором роде особа, — таким же извиняющимся тоном продолжал лакей. — Если мистеру Копперфильду будет угодно, ему можно дать семьдесят второй номер, — это рядом с вами, сэр.

— Конечно, мистеру Копперфильду будет угодно... и сделать это немедленно! — скомандовал Стирфорт.

Лакей сейчас же ушел, чтобы перевести меня в новый номер. Тут Стирфорт весело засмеялся, — ему было так смешно, что меня поместили в этот ужасный сорок четвертый номер, — снова потрепал меня по плечу и пригласил к себе завтракать на следующее утро к десяти часам, чем я, конечно, был очень горд и счастлив. Время было довольно позднее, и мы, взяв наши подсвечники, пошли к себе наверх. Сердечно простившись со Стирфортом у его двери, я вошел в свою новую комнату. Она оказалась несравненно лучше прежней. Здесь не пахло гнилью и стояла грандиозная кровать, представляющая собой чуть не целое поместье. Я расположился на ней среди такого количества подушек, которого свободно хватило бы для шестерых, и блаженно уснул, видя во сне древний Рим, Стирфорта, дружбу...

Когда же на заре загромыхали дилижансы, выезжая из-под ворот нашей гостиницы, мне пригрезился сам Юпитер^[58] и подвластные ему громы небесные.

Глава XX

В ДОМЕ СТИРФОРТОВ

Когда на следующее утро в восемь часов в мой номер постучала горничная и сказала, что принесла мне горячей воды для бритья, помнится, я очень огорчился, что мне — увы! — совершенно нет надобности в этом, и даже покраснел в своей постели. Все время, пока я одевался, меня не переставала мучить мысль о том, что горничная просто поиздевалась надо мною, и это так смутило меня, что когда потом я проходил мимо нее по лестнице, направляясь завтракать, я чувствовал, что у меня самый жалкий, виноватый вид. Я до того был подавлен своей несносной молодостью, что долго перед этим не решался показаться на глаза насмешнице и, слыша, что она возится в коридоре с половой щеткой, все стоял у своего окна и глядел на конную статую короля Карла. Окутанный бурым туманом, под морозящим дождем, со сбившимися вокруг него в кучу извозчичьими экипажами, король имел далеко не величественный вид.

Из этого затруднительного положения меня вывел лакей, явившийся доложить, что мистер Стирфорт изволит ожидать меня.

Я нашел Стирфорта не в общей зале, а в хорошеньком отдельном кабинете с красными драпировками и турецким ковром. В камине, весело потрескивая, ярко горел огонь, а на столе, накрытом белоснежной скатертью, стоял изысканный горячий завтрак. В небольшом круглом зеркале, вделанном в буфет, отражались в миниатюре комната, пылающий огонь, стол с сервированным на нем завтраком и сам Стирфорт.

Сначала я чувствовал себя не совсем ловко. Уж очень Стирфорт умел владеть собой, был так изящен и вообще превосходил меня во всех отношениях, не говоря уж о летах; но вскоре его милая покровительственная манера так ободрила меня, что я почувствовал себя совсем как дома. Я не мог надивиться тому, как все сказочно изменилось для меня в «Золотом кресте» с появлением моего старого друга. Вчера — заброшенность, тоскливое одиночество, и вдруг сегодня — комфорт и роскошь. Фамилярности лакея как не бывало: он

прислуживал нам со смирением кающегося грешника, как бы во власянице, с посыпанной пеплом главой.

— Ну, Копперфильд, — обратился ко мне Стирфорт, когда мы остались вдвоем, — теперь я хочу подробно узнать, что вы поделяваете, куда едете, вообще все о вас. Представьте, почему-то мне кажется, что вы моя неотъемлемая собственность.

Сияя от восторга, что друг мой продолжает попрежнему так интересоваться мной, я рассказал ему, как и почему бабушка задумала это мое маленькое путешествие и куда, собственно, я направляюсь.

— Раз вы не спешите, — сказал Стирфорт, — так едьте к нам в Хайгейт, погостите у нас денек-другой. Матушка моя, я думаю, вам понравится. Она, правда, может надоесть своими восхвалениями любимого сыночка, но вы уж простите ей эту слабость, а сами вы, наверно, придетесь ей по вкусу.

— Очень хотел бы, чтобы это было так, — смеясь, ответил я.

— О, не сомневаюсь! Каждый, кто любит меня, уже этим самым приобретает права на ее расположение.

— Ну, тогда, значит, я буду ее любимцем! — воскликнул я.

— В добрый час, — ответил Стирфорт. — Ну, едьте же к нам и докажите это. Но сперва мы с вами отправимся и зверинец, посмотрим там часок-другой львов, а львам тоже небезынтересно будет посмотреть на такого свежего юнца, как вы, затем сядем в дилижанс и поедem в Хайгейт.

Мне все не верилось, что это не сон. Казалось, что вот-вот я проснусь в сорок четвертом номере, спущусь в общий зал, где буду пить кофе и слушать фамильярную болтовню лакея...

Я тут же написал бабушке, рассказал ей о счастливой встрече со своим обожаемым товарищем по школе, о том, что он пригласил меня погостить к себе и я еду к нему денька на два. Когда я кончил письмо, мы сели на извозчика и отправились осматривать столицу. Побывали мы в Панораме, в музее и осмотрели еще некоторые другие достопримечательные места. Здесь я мог убедиться, какими разнообразными сведениями обладает мой друг и как мало сам он придает этому значения.

— Вы, Стирфорт, — заметил я, — наверно, отличитесь в университете, если уже не отличились там. Вами, конечно, должны гордиться.

— Чтобы я отличился! Нет, только уж не я, дорогая моя Маргаритка. Вы не обижаетесь, что я так вас зову — Маргариткой?

— Нисколько, — ответил я.

— Славный вы малыш! — смеясь, проговорил Стирфорт, — Нет, моя дорогая Маргаритка, у меня не имеется ни малейшего желания отличиться на научном поприще. Я и так уже перегрузился науками — порой сам себе кажусь скучным.

— А слава... — начал я.

— Ах вы, моя романтическая Маргаритка! — перебил меня Стирфорт, заливаясь еще более веселым смехом. — Подумайте, сюит ли мне из колеи лезть для того, чтобы тупоголовая толпа разевала рты и воздевала руки к небесам! Нет, пусть уж другой кто-нибудь наслаждается этим: честь и место ему!

Я был смущен сделанным промахом и жаждал переменить тему разговора. К счастью, сделать это было нетрудно, ибо Стирфорт вообще был склонен с необыкновенной легкостью и беззаботностью перелетать с предмета на предмет.

Кончив наш осмотр лондонских достопримечательностей и вторично позавтракав, мы пустились в путь. Короткий зимний день пролетел так быстро, что уже начало смеркаться, когда наша почтовая карета остановилась в Хайгейте, у старинного кирпичного дома на вершине холма. В дверях нас встретила пожилая, но еще не старая дама с красивым липом и гордой осанкой. Она бросилась к Стирфорту и, обнимая его, называла «своим любимым Джемсом». Мой друг представил меня ей, называя ее при этом матушкой, и она приветствовала меня величественным поклоном.

Это был старинный барский дом, уединенный и тихий. В нем царил образцовый порядок. Из окна моей комнаты виден был весь Лондон. Он расстилался перед моими глазами, словно огромное туманное пятно, сквозь которое там и сям мерцали огоньки. Отведенная мне комната была уставлена массивной мебелью, на стенах висели вышитые шелком картины в рамах и портреты пастелью каких-то знатных дам в напудренных париках и фижмах^[59], которые то появлялись, то вновь исчезали на стенах под влиянием пламени только что растопленного камина. Но на все это я, переодеваясь, имел время взглянуть только мельком, ибо меня позвали обедать.

В столовой, кроме хозяйки дома, была еще одна особа женского пола — маленькая, тонкая и смуглая. Несмотря на правильные черты, лицо ее не было привлекательно. Я тотчас же обратил на нее внимание, уж сам не знаю почему, — потому ли, что я совершенно не ожидал ее увидеть, потому ли, что она за столом сидела против меня, или, наконец по той причине, что в ней действительно было что-то, достойное внимания, Волосы у нее были черные, глаза тоже черные и какие-то пронзительные. Была она худа, и на ее верхней губе виднелся шрам, вероятно давний, так как он мало выделялся. Повидимому, когда-то шрам этот проходил и через весь подбородок, но теперь ясно виднелась только та его часть, которая была над верхней губой и несколько даже изменила ее форму. Я решил, что особе этой под тридцать и она жаждет выйти замуж. Хотя она, как я упоминал уже, была и недурна собой, но походила на заброшенный дом, стоящий много лет без квартирантов. Худоба ее, казалось, была следствием какого-то пожирающего ее внутреннего огня, который светился в ее мрачных глазах. Когда нас представили друг другу, я узнал, что имя ее мисс Дартль; Стирфорт же и его мать — оба знали ее просто Розой. Потом мне стало известно, что она уже много лет живет у них в доме в качестве компаньонки миссис Стирфорт. На меня произвело впечатление, что она никогда не говорит прямо, а только намеками, причем засыпает собеседника вопросами. Так, когда миссис Стирфорт, скорее шутя, чем серьезно, сказала, что боится, как бы ее сынок, не вел в Оксфорде довольно-таки рассеянную жизнь, миссис Дартль вмешалась в разговор таким образом:

— Вы действительно это думаете? Я, как вы знаете, совсем невежественна в таких делах и хотела бы, чтобы меня просветили. Но, скажите, разве это не всегда так? Разве не всем известно, что студенческая жизнь...

— Вы хотите сказать, Роза, что студенческая жизнь prepares к серьезной деятельности, не так ли? — холодно остановила ее миссис Стирфорт.

— О, конечно, да! — воскликнула мисс Дартль. — Но мне все-таки хотелось бы выяснить вопрос относительно кутежей, — быть может, я и ошибаюсь, действительно ли правда это?

— Что правда?

— Но вы ведь утверждаете, что этого нет, — не отвечая миссис Стирфорт, продолжала мисс Дартль. — Ну, и прекрасно! Рада очень это слышать. Вот как полезно задавать вопросы! Теперь уж никому не позволю говорить в моем присутствии о распутстве и кутежах студентов.

— И прекрасно сделаете, — промолвила миссис Стирфорт. — Наставник Джемса очень добросовестный джентльмен, и, не доверяя я даже своему сыну, я могла бы вполне положиться на него.

— Вы, значит, вполне доверяете этому наставнику? Чудесно! Так он действительно такой добросовестный?

— Да, я убеждена в этом, — заявила миссис Стирфорт.

— Как чудесно! — воскликнула мисс Дартль. — Какая для вас отрада! Так он действительно так добросовестен? Значит, он не... Ну, конечно, это немыслимо, раз он добросовестен. Я в восторге, что отныне могу быть о нем прекрасного мнения. Вы не можете себе представить, до чего этот наставник вырос в моих глазах с тех пор, как я знаю наверно, что он добросовестен!

Вот подобным образом мисс Дартль подходила ко всякому вопросу, который затрагивался в разговоре, и, должен признаться, ловко выходила из положения даже в тех случаях, когда она вступала в спор со Стирфортом.

До конца обеда мне пришлось еще раз наблюдать это.

Миссис Стирфорт в разговоре коснулась моего путешествия в Суффолк, и тут у меня вырвалось, что я был бы рад, если бы Стирфорт отправился туда со мной; я объяснил ему, что еду навестить свою старую няню и ее брата, мистера Пиготти, — того самого рыбака, который когда-то навещал меня о Салемской школе.

— О, помню! Толстый такой малый, и с ним был его сын, не так ли? — отозвался Стирфорт.

— Нет, это был его племянник, он только усыновил его. У него также есть прехорошенькая племянница. Словом, его дом, или, вернее сказать, баржа, ибо он живет в ней на суше, полон благодетельствованными им людьми. Я уверен, Стирфорт, вы пришли бы в восторг от этого семейства.

— Пришел бы в восторг? — повторил Стирфорт. — Пожалуй, что и так. Надо об этом подумать. Быть может, стоит поехать, чтобы видеть жизнь этого сорта людей и даже самому немного пожить их

жизнью, не говоря уж об удовольствии попутешествовать с вами, Маргаритка.

Сердце мое запрыгало от радости при мысли о новом предстоящем мне удовольствии. Но тут мисс Дартль, не спуская с нас своих сверкающих глаз, придравшись к тону, каким было сказано «этого сорта людей», опять вмешалась в разговор:

— Ах, правда? Вы говорите, они действительно такие?

— Какие «такие»? И о ком, в сущности, вы говорите? — осведомился Стирфорт.

— О людях «этого сорта». Разве действительно они такие скоты и олухи, — словом, какой-то особой породы? Мне так хочется это знать!

— Несомненно, между нами и ими существует большая разница, — равнодушным тоном ответил Стирфорт. — Нельзя, конечно, ожидать, чтобы они были так же впечатлительны, как мы. Их не так легко задеть, как нас. Они удивительно добродетельны, по крайней мере так уверяют, и я ничуть не желаю это опровергать, но они грубоваты и должны быть благодарны небу за то, что их чувства так же нелегко оскорбить, как и поранить их толстую, грубую кожу.

— Вот как! Скажите на милость! Редко что-либо может доставить мне больше удовольствия, чем ваше пояснение, мистер Стирфорт! Ах! Я в таком восторге узнать, что эти люди, когда страдают, не чувствуют этого! Порой я печалилась о таких людях, но теперь перестану даже думать о них. Сомнений как не бывало!.. Вот уж правда: «Век живи — век учись». Да, расспрашивая — многое узнаешь!

Я решил, что Стирфорт все это говорил шутя или желая подразнить мисс Дартль, и, когда она ушла и мы с моим другом остались вдвоем у камина, я ожидал, что он признается мне в этом. Но он ограничился тем, что спросил, какое впечатление произвела на меня мисс Дартль.

— Мне кажется, она очень умна, не правда ли?

— Умна? — повторил он. — Все, что ей попадет на язычок, она оттачивает, словно на точильном камне, совершенно так же, как все эти последние годы она оттачивала и собственное свое лицо и фигуру. Теперь она — настоящее лезвие.

— А какой удивительный шрам у нее на губе! — заметил я.

Лицо Стирфорта омрачилось, и он некоторое время молчал.

— Знаете, этот шрам — мое дело, — наконец проговорил он.

— Какой-нибудь несчастный случай? — поинтересовался я.

— Нет, это случилось, когда еще я был мальчиком. Она вывела меня из себя, и я швырнул в нее молотком. Представляете себе, каким я был многообещающим ангелочком?

Я страшно был огорчен, что невольно затронул такую неприятную для моего друга тему, но тут уж ничего нельзя было поделать.

— Как видите, с тех пор у нее этот шрам, — продолжал Стирфорт, — и будет он до самой ее могилы, если только она когда-нибудь успокоится в могиле, — мне же вообще как-то не верится, чтобы она могла где-нибудь найти себе покой. Роза — дочь отдаленного родственника моего отца, Сначала лишилась она матери, а потом умер и отец. Матушка в это время уже овдовела и взяла ее к себе в качестве компаньонки. У Розы имеется собственный капитал — тысячи две фунтов стерлингов. Она никогда не тратит процентов, и таким образом капитал этот у нее все увеличивается. Вот вам и вся история мисс Розы Дартль.

— Конечно, она любит вас, как брата? — проговорил я впростельным тоном.

— Гм.. - промычал Стирфорт, пристально глядя на огонь. — Бывает, что сестры недолюбливают братцев, а бывает так, что любят... Однако, Копперфильд налейте-ка себе винца! Давайте, выпьем сначала в честь вас за все полевые маргаритки, а затем в честь мою — за полевые лилии, которые не сеют и не жнут... Да будет мне стыдно!

После эту веселого тоста грусть исчезла с его лица, и он снова стал самим собой — очаровательным Стирфортом с душой нараспашку.

Когда мы пришли пить чай, я не мог удержаться, чтобы не посмотреть с болью в сердце на шрам мисс Дартль. Вскоре я убедился, что это было самое чувствительное место на ее лице стоило ей побледнеть, как шрам становился свинцового цвета и выделялся даже на подбородке, где обыкновенно он был незаметен. Когда они со Стирфортом сели играть в триктрак и повздорили по поводу какого-то хода, я видел, как вдруг она пришла в бешенство, и сейчас же обозначился шрам, словно огненные слова на пиру Валтасара.

Меня, конечно, не могло удивить то обожание, которым миссис Стирфорт окружала сына. Казалось, ни о чем другом она не в состоянии была ни думать, ни говорить. Она показала мне сперва медальон с портретом сына-крошки, тут же были и его волосики; потом — другой портрет, где Стирфорт был изображен приблизительно в том возрасте, когда мы с ним познакомились; и, наконец, у нее на груди был еще один его портрет, такой, каким он был теперь. Все письма, полученные от сына, миссис Стирфорт хранила в маленьком бюро, стоящем неподалеку от камина, возле ее кресла. Она собиралась было прочесть мне некоторые из них, что, конечно, доставило бы мне огромное удовольствие, но Стирфорт восстал против этого и ласково отговорил ее.

— Я слышала от сына, что вы с ним познакомились в школе мистера Крикля, — сказала мне миссис Стирфорт, когда мы с ней беседовали у одного из столиков, в то время как те двое за другим играли в триктрак. — Теперь я вспоминаю, что он мне тогда рассказывал об одном маленьком товарище, которого очень полюбил, но с тех пор прошло столько времени, что, согласитесь, немудрено было мне забыть вашу фамилию.

— В те времена, поверьте, мэм, он вел себя по отношению ко мне очень великодушно и благородно, — сказал я, — а я тогда так нуждался в подобном друге! Без него я совсем бы пропал.

— Сын мой всегда великодушен и благороден, — с гордостью проговорила миссис Стирфорт.

— О, можно ли в этом сомневаться, мэм! — воскликнул от всего сердца.

Миссис Стирфорт, очевидно, почувствовал, что я был искренен, и стала гораздо проще и ласковее со мной; только говоря о сыне, она снова принимала величественный вид.

— Салемская школа, вообще говоря, не была подходящим учебным заведением для моего сына, — продолжала миссис Стирфорт — но тут сыграли роль особенные обстоятельства. При выдающемся уме Джемса было необходимо найти такую школу, где директор сознавал бы превосходство его способностей и был готов преклониться перед ними. Такого директора мы и нашли в лице мистера Крикля. При своем самостоятельном характере Джемс не смог бы подчиняться дисциплине, а в этой школе, почувствовав себя

полным властелином, он решил быть достойным этого высокого положения. Это было совершенно в его духе. Там мой сын без всякого принуждения начал с увлечением заниматься науками и стал первым в той школе, как и всегда будет первым всюду, где только этого пожелает. Сын говорил мне, мистер Копперфильд, как вы привязаны к нему и как вчера при встрече вы до слез ему обрадовались. Не буду притворяться и прямо скажу вам: меня нисколько не удивляет, что Джемс может внушать людям такие чувства, но в то же время я не могу быть равнодушной к тому, кто умеет так ценить моего сына, и я чрезвычайно рада видеть вас у себя. Будьте уверены, что сын пишет к вам необычайную дружбу и вы всегда можете рассчитывать на его покровительство.

Мисс Дартль играла в триктрак с огромным увлечением. Поводимому, она относилась горячо ко всему, за что только ни бралась. Если бы я за этой игрой увидел ее сейчас же после нашего знакомства, мне, пожалуй, пришло бы в голову, что именно страсть к этой игре так иссушила ее. Тем не менее я нисколько не сомневаюсь в том, что в пылу своего увлечения игрой мисс Дартль не проронила ни единого слова из нашей беседы с миссис Стирфорт, ни единого моего взгляда, когда, польщенный доверием матери моего друга, я, развесил уши, с наслаждением слушал ее речи и чувствовал себя гораздо более взрослым, чем при своем отъезде из Кентербери.

В конце вечера, когда был принесен поднос с винами и стаканами, Стирфорт, сидя у камина и потягивая вино, обещал серьезно подумать о поездке со мной в Суффолк.

— Спешить вам нечего, проведите здесь с нами недельку, — сказал он мне, а его матушка радушно поддержала это приглашение.

Говоря со мной, Стирфорт несколько раз назвал меня Маргариткой, что снова подало повод мисс Дартль вмешаться в наш разговор.

— Скажите, мистер Копперфильд, так это действительно ваше прозвище? Почему именно зовет он вас Маргариткой? Не потому ли, что считает вас таким юным и невинным? Я, знаете, очень глупа в этих делах, ничего не смыслю...

— Но в данном случае, мне кажется, ваше предположение верно, — сказал я, покраснев.

— О! Какая прелесть! — воскликнула мисс Дартль. — Значит, он считает вас юным и невинным и потому именно подружился с вами? Да это просто восхитительно!

Вскоре она ушла к себе, так же как и хозяйка дома. Мы со Стирфортом еще с полчаса замешкались у камина в разговорах о Трэдльсе и других наших товарищах по Салемской школе, а затем тоже пошли наверх.

Комната Стирфорта находилась рядом с моей, и я зашел взглянуть на нее. Это был воплощенный комфорт. Кресла, диванные подушки, скамейки для ног — все это было вышито собственными руками миссис Стирфорт. Во всем была видна любящая, заботливая рука. И в довершение всего с портрета на стене глядело на сыночка красивое лицо его матери. Казалось, что миссис Стирфорт нарочно поместила сюда свое изображение, чтобы по крайней мере оно могло наблюдать за сном ее обожаемого детища.

В моей комнате горел камин; спущенные и на окнах и у кровати занавеси придавали уют. Я уселся в большое кресло у огня, чтобы хорошенько отжаться своему счастью. Так просидел я, наслаждаясь, некоторое время, как вдруг заметил на камине портрет мисс Дартль, и мне почудилось, что она глядит на меня своими пронзительными, жгучими глазами.

Сходство с оригиналом было удивительное, потому-то и взгляд глаз был так пронзителен. Художник не изобразил шрама, но мысленно я дополнил это упущение, и мне казалось, что он то почти исчезает, то снова явственно вырисовывается.

Соседство это отнюдь не было мне приятно, и я с досадой подумал, что нужно же было, в самом деле, эту особу поместить именно в моей комнате! Чтобы поскорее избавиться от нее, я быстро разделся, задул свечу и лег в постель. Но и засыпая, я не мог отделаться от ее пронизывающих глаз, а в ушах раздавались ее: «В самом деле так?..», «Мне хотелось бы знать...» И снилось мне в эту ночь, что сам я кого-то все спрашиваю: «В самом деле так?..», «Мне хотелось бы знать...», сам не зная, что мне хотелось бы знать.

Глава XXI

МАЛЕНЬКАЯ ЭММИ

В доме Стирфортов был слуга, который, как я понял, состоял при моем друге со времени его поступления в университет. Слуга этот был образцом респектабельности^[60]. Мне кажется, что никогда не существовало человека в этой должности с более респектабельным видом. Он был чрезвычайно спокоен, почтительно молчалив, двигался неслышно, был наблюдателен, всегда под рукой, когда был нужен, всегда отсутствовал, когда не был нужен. Но главным его достоинством был его внушительный вид. Низкопоклонства в нем не чувствовалось и следа, — он вовсе не любил гнуть свою шею, на которой с достоинством сидела его коротко остриженная голова с так же коротко подстриженными бакенбардами. У него был мягкий говор с каким-то пришепетыванием. Вообще все, что ни делал этот человек, казалось респектабельным. Кажется, повернись его нос ноздрями вверх, и это вышло бы у него респектабельно. Он как-то умел окружить себя атмосферой респектабельности, в которой двигался спокойно и уверенно. Обвинить его в чем-нибудь дурном было бы почти невысказано, до того был он благопристроен. Возможно ли было его респектабельность облечь в лакейскую ливрею или унижить ее какой-нибудь неблагопристойной работой! Я заметил, что все служанки в доме прекрасно сознавали это и беспрекословно делали за него всякую черную работу, в то время как он, преспокойно сидя в людской у камина, читал газету.

Никогда в жизни не видывал я такого сдержанного человека, и это, кажется, еще больше делало его респектабельным, как и то, что в доме никто не знал его имени, а все звали по фамилии — Литтимер. Это словно выделяло его: какой-нибудь Питер мог быть повешен, Том — сослан на каторгу, но Литтимер был выше всяких подозрений.

Вот в присутствии этого, человека я чувствовал себя особенно юным. Каких лет был он сам, я не мог угадать. По его лицу, преисполненному собственного достоинства, с таким же успехом можно было дать ему тридцать лет, как и пятьдесят.

На утро Литтимер появился в моей комнате, когда я еще был в постели. Он принес все ту же мучительную для меня горячую воду для бритья и принялся выкладывать мои вещи из чемодана. Отдернув занавеси у кровати, я увидел, что Литтимер благопристроен, как всегда. На его благопристойность нисколько не повлиял ледяной январский ветер, и он аккуратно расставляет в первую танцевальную позицию мои сапоги и сдувает последние пылинки с моего фрака с такой осторожностью, словно это ребенок. Я поздоровался с ним и спросил, который теперь час. Вынув из кармана благопристойнейшие охотничьи часы и придерживая крышку, чтобы она под напором пружины не отскочила до конца, Литтимер заглянул и полуоткрытые часы, похожие на устрицу, потом закрыл их и наконец доложил мне:

— С вашего позволения, сэр, теперь половина девятого. Мистеру Стирфорту будет приятно знать, сэр, как вы изволили почивать.

— Благодарю вас: я очень хорошо выспался. А как чувствует себя мистер Стирфорт?

— Благодарю вас, сэр, мистер Стирфорт чувствует себя довольно хорошо, — сказал Литтимер, очевидно не любивший употреблять превосходную степень и предпочитавший всегда и во всем золотую середину. — Не могу ли, сэр, иметь честь еще чем-нибудь, услужить вам? — спросил он и тут же прибавил: — Первый звон колокола раздается в девять часов, а все семейство изволит завтракать в половине десятого.

— Благодарю вас, мне больше ничего не надо, — сказал я.

— Я благодарю вас, сэр, — проговорил он и, проходя мимо меня, слегка наклонил голову, словно извиняясь, что позволил себе сделать мне это маленькое замечание; с этими словами он вышел, притворив дверь с такой осторожностью, будто я только что сладко уснул и от этого сна зависит моя жизнь.

И каждое утро мы вели с ним буквально подобную же беседу, никогда ни словом больше, ни словом меньше. В присутствии этого в высшей степени респектабельного человека я всегда неизменно чувствовал себя настоящим мальчишкой, хотя накануне, благодаря обществу моего друга, доверию, которое оказывала мне миссис Стирфорт, и беседе с мисс Дартль, я и казался себе гораздо более взрослым. Литтимер достал нам лошадей, и Стирфорт, знающий все на свете, учил меня верховой езде. Литтимер раздобыл нам

рапиры^[61], специальные перчатки, и Стирфорт начал давать мне уроки фехтования^[62]. Он же стал совершенствовать меня и в боксе. Помню, меня несколько не огорчало, когда Стирфорт находил меня не на высоте в этого рода упражнениях, по для меня было невыносимо обнаруживать свою неловкость в присутствии уважаемого Литтимера. Я так много говорю об этом человеке не только потому, что тогда он произвел на меня большое впечатление, но еще и потому, что ему в будущем моем повествовании придется играть большую роль.

Неделя в Хайгете прошла самым чудесным образом. Можно себе представить, как быстро пронеслась она для такого восторженного юнца, каким был я тогда. Но вместе с тем за эту неделю я настолько ближе узнал Стирфорта, открыл в нем столько новых, восхитивших меня качеств, что мне казалось, будто я гораздо дольше пробыл с ним. Его шутливая манера обращаться со мной, как со своей игрушкой, очень нравилась мне. Это напоминало мне о нашем прежнем знакомстве и говорило о том, что старый мой друг не изменился ко мне. К тому же, он только со мной одним был так прост, ласков, мил, и мне хотелось верить, что подобно тому, как он выделял меня в школе из всех товарищей, он и в жизни отведет для меня в своем сердце особенное место. Мне казалось, что я ему ближе всех его друзей, и мое сердце разгоралось еще большей любовью к нему.

Стирфорт решил-таки ехать со мной, и вот настал день нашего отъезда. Сначала он хотел было взять с собой Литтимера, но потом передумал. Этот уважаемый человек, всегда довольный своей участью, какова бы она ни была, так необыкновенно тщательно уложил наши чемоданы в легонькую колясочку, которая должна была отвезти нас в Лондон, как будто нам предстояла ехать в ней целые века, а затем с олимпийским^[63] спокойствием принял мой, скромно предложенный ему дар.

Мы простились с миссис Стирфорт и мисс Дартль. Я горячо поблагодарил мать своего друга за ее гостеприимство, а она выказала мне много доброты и сердечности. Последнее, что я увидел при отъезде, был устремленный на меня невозмутимый взгляд Литтимера, сказавший мне, до чего я на самом деле еще «ужасно» юн.

Не пытаюсь даже описать того, что чувствовал я, счастливый юноша, возвращаясь в родные места. Ехали мы в почтовой карете.

Помню, я так был озабочен тем, какое впечатление Ярмут произведет на Стирфорта, что когда мы подъезжали по темным его улицам к гостинице и мой друг сказал, что, повидимому, это курьезная, из ряда вон выходящая трущоба, я и от этого был в восторге. По приезде в гостиницу мы сейчас же пошли спать. Проходя мимо знакомого мне номера с дельфином на дверях, я обратил внимание на пару грязных сапог с гетрами. На следующее утро мы завтракали довольно поздно. Стирфорт, бывший в прекраснейшем настроении, успел еще до моего пробуждения побывать на берегу и, по его словам, познакомиться с доброй половиной местных рыбаков. Кроме того, он рассказал мне, что, повидимому, наткнулся на жилище мистера Пигогги — баржу, стоящую на берегу, из трубы которой шел дым. При этом он прибавил, что его очень соблазняла мысль войти в эту самую баржу и выдать себя за меня, уверяя, что время так изменило меня, прежнего мальчугана.

— А когда же, Маргаритка, вы предполагаете повести меня туда? — спросил он. — Я готов; М=можете располагать мною.

— Думаю, Стирфорт, — ответил я, — что лучше всего нам будет отправиться к ним вечером, когда они все в сборе сидят у огонька. Знаете, я хотел бы показать вам товар лицом. Вот увидите, какое это курьезное место.

— Ладно, тогда сегодня вечером, — отозвался мой друг.

— Уж конечно, мы не предупредим их о нашем появлении. Надо застать их врасплох! — проговорил я в восторге.

— Разумеется, — поддержал меня Стирфорт, — иначе мы испортили бы себе все удовольствие захватить их в обычной обстановке.

— А ведь это тот самый «особый сорт людей», о которых вы помните, тогда говорили, — заметил я.

— Вот как! Вы, значит, не забываете моих схваток с Розой! — воскликнул он, бросая на меня быстрый взгляд. — Чорт ее побери. Признаться, я немного побаиваюсь этой особы. Она кажется мне чем-то вроде ведьмы. Право, не стоит о ней и вспоминать. Лучше скажите, что собираетесь вы сейчас делать? Верно, пойдете к своей няне?

— Конечно, — ответил я, — прежде всего надо повидаться с моей Пигогги.

— Ну и прекрасно, — одобрил Стирфорт, смотря на свои часы. — Как вы думаете, если я дам вам два часа на радостные слезы, этого вам будет достаточно?

Смеясь, я ответил, что, пожалуй, нам с Пиготти этого времени хватит, и прибавил:

— А знаете, вы тоже приходите к ней. Вы убедитесь, что ваша слава опередила вас и там вас считают почти таким же великим человеком, как и меня самого.

— Я готов итти всюду, куда вы пожелаете, и делать все, что вам будет угодно, — заявил Стирфорт. — Скажите только, куда мне притти, и через два часа я появлюсь и по вашему усмотрению сыграю роль или сентиментальную, или комическую.

Я тотчас же подробно объяснил ему, как найти дом мистера Баркиса, извозчика, ездившего в Блондерстон, а затем один вышел на улицу. Ветер дул холодный, бодрящий, земля подмерзла. Море было прозрачное, с легкой рябью. Солнце хотя и не грело, но заливало все своим ослепительным светом. Кругом все было как-то молодо и весело. И сам я был так молод, так весел, в таком восторге от пребывания здесь, что готов был останавливать на улице прохожих и горячо жать им руки.

Улицы только показались мне более узкими, но, впрочем, это всегда бывает, когда вы возвращаетесь в те места, которые знавали ребенком. Но тем не менее я совершенно не забыл их расположения и не нашел в них никаких перемен, пока не дошел до магазина мистера Омера. На нем теперь была вывеска «Омер и Джорам» вместо прежней «Омер». Но говорила она попрежнему о том, что в этом месте торгуют сукном, траурными вещами и прочим. Когда я прочел эту вывеску, мои ноги сами как-то перешли на другую сторону улицы, и я заглянул в магазин. Там я увидел хорошенькую женщину, подбрасывающую вверх грудного ребенка, в то время как другой малыш, постарше, сам держался за ее передник. Мне нетрудно было догадаться, что это Минни со своими крошками. Застекленная дверь из магазина в заднюю комнату была закрыта, но из мастерской, находящейся по ту сторону двора, доносилась знакомая мелодия молотка, словно я и не выходил отсюда.

— Дома ли мистер Омер? — спросил я входя.

— Да, сэр, он дома, — ответила Минни. — В такую погоду, при его астме^[64], ему никак нельзя выходить... Джо, позовите дедушку.

Тут малыш, державшийся за ее передник, так громко кликнул дедушку, что сам застыдиллся и спрятал свою рожицу, к восторгу мамы, в ее юбку. Послышалось тяжкое пыхтение, и вскоре я увидел перед собой мистера Омера. Одышка его была гораздо сильнее, чем раньше, но вообще он почти не постарел.

— К вашим услугам, сэр, — проговорил мистер Омер. — Чем могу быть полезен?

— Прежде всего, мистер Омер, давайте поздороваемся, — сказал я, протягивая ему руку. — Вы когда-то были очень добры ко мне, а я, боюсь, не проявил к вам должной благодарности.

— Не ошибаетесь ли вы, сэр? — ответил старый гробовщик. — Мне, конечно, приятно слышать о себе лестный отзыв, ко мне что-то не помнится, сэр, чтобы мы с вами встречались. Уверены ли вы, что это был именно я?

— Вполне уверен.

— Тогда значит, память мне так же изменяет, как и мое дыхание, — проговорил мистер Омер, глядя на меня и покачивая головой. — Положительно, сэр, я не могу припомнить вас.

— Неужели вы не помните, как я приехал с лондонским дилижансом и вы встречали меня, как вы привели меня к себе, угощали завтраком, как мы все поехали в Блондерстон: вы, я, миссис Джорам, а также мистер Джорам, — тогда он еще не был ее мужем.

— Господи боже мой! — воскликнул мистер Омер, придя в себя после приступа кашля, вызванного удивлением. — Да не может же быть! Минни, дорогая моя, вы помните? Да, да, мы тогда работали на одну даму...

— Это была моя мать, — сказал я.

— Ну, так и есть, — продолжал мистер Омер, дотрагиваясь пальцем до моего жилета. — Там был еще крошечный ребенок. Работали мы на двоих, их еще положили вместе в могилу на блондерстонском кладбище. Конечно, теперь припоминаю. Господи боже мой! А вы, сэр, как поживали все эти годы?

— Благодарю вас, прекрасно, — ответил я. — Надеюсь, что и вы так же?

— Не могу пожаловаться, сэр. Дышать-то стало труднее, конечно, ну, да редко с годами становится легче. Я уже не ропщу, а мирюсь со своей долей. Это всего благоразумнее, не так ли?

Мистер Омер засмеялся, что опять вызвало у него припадок кашля. Дочь, как только могла, старалась облегчить его, а когда наконец кашель старика затих, она принялась подбрасывать над прилавком свою крошку.

— Да, да, конечно, было два заказа, — снова стал вспоминать мистер Омер. — И, знаете, поездка эта в Блондерстон для нас очень памятна: я как раз тогда назначил день свадьбы Минни с Джорамом. Как теперь слышу, Джорам говорит мне: «Пожалуйста, сэр, назначьте день», и Минни тут его поддержала: «Да, папочка, уж сделайте это». И вот теперь Джорам — мой компаньон, а это их младшенький. Взгляните, какой молодец!

И дедушка вложил свой толстый палец в ручонку малыша, которого подбрасывала над прилавком Минни; она радостно засмеялась, кокетливо пригладивая свои волосы.

— Да, конечно, так оно и было: два заказа сразу, — продолжал старый гробовщик, покачивая головой. — Совершенно верно. А сейчас Джорам как раз опять работает над заказом для ребенка... Серая бархатная обивка с серебряными гвоздиками. Гробик на два дюйма короче, чем вот для такого малыша, — прибавил он, указывая на младшего внука. — А не хотите ли закусить, сэр?

Я поблагодарил его, но отказался.

— Пойдите, — снова заговорил мистер Омер. — Жена извозчика Баркиса, сестра рыбака Пиготти, мне кажется, имела какое-то отношение к вашей семье, она чуть ли не была у вас в услужении?

Услыхав от меня, что его предположение верно, старик очень обрадовался.

— Вижу, — сказал он, — память моя не так уж плоха. Чего доброго, в один прекрасный день и дыхание мое улучшится. Видите ли, сэр, у нас как раз в ученье одна ее молоденькая родственница. Большой вкус у девушки. Прямо скажу вам, в этом отношении она заткнет за пояс любую английскую герцогиню.

— Не маленькая ли это Эмми? — невольно вырвалось у меня.

— Да, имя ее Эмилия, — сказал мистер Омер, — и ростом она маленькая. Но у нее такое личико, сэр, что, верите ли, половина

здешних женщин ненавидит ее.

— Полноте вздор молоть, батюшка! — воскликнула Минни.

— Дорогая моя, я вовсе не имею в виду вас, — заметил отец, подмигивая мне одним глазом. — Я говорю только, что добрая половина ярмутских женщин, да, пожалуй, и на пять миль кругом ненавидит эту девушку.

— В таком случае, батюшка, она должна была бы помнить свое место, — сказала Минни, — и вести себя так, чтобы не давать повода к обидным толкам.

— Так вы думаете, Минни, что для злословия нужны поводы? — возразил ей отец. — Нечего говорить! Хорошо знаете вы жизнь! Да будет вам известно: ничто не может удержать язык женщины, когда дело идет о другой женщине да еще красивой.

Тут я подумал, что эта ехидная шутка будет последней в жизни бедного мистера Омера. Он до того закашлялся и так начал задыхаться, что казалось — вот-вот голова его запрокинется на прилавок и он начнет в предсмертных судорогах дрыгать своими ножками в коротких панталонах, схваченных у колен потертыми атласными лентами. Но ему все-таки в конце концов удалось справиться с припадком астмы, хотя он еще долго не мог отдышаться и так устал, что принужден был сесть на табурет у конторки.

— Видите ли, — снова начал он, вытирая потный лоб и все еще с трудом переводя дух, — Эмилия держится как-то в стороне у нее нет ни подруг, ни друзей, не говоря уж об ухаживателях. И вот поэтому стала ходить молва, что, дескать, Эмилия мечтает стать знатной леди. Мне лично кажется, что весь сыр-бор загорелся из-за того, что еще в школе она не раз говаривала: «Вот будь я знатной леди, я и то и другое сделала бы для своего дядюшки».

— Уверяю вас, мистер Омер, — с жаром сказал я, — что когда мы с нею были малыми детьми, она то же самое говорила и мне.

Старик кивнул головой и почесал себе подбородок.

— Вот-вот, — проговорил он. — А кроме этого, знаете, наша Эмилия из ничего, можно сказать, мастерит себе наряды несравненно более красивые и изящные, чем те, за которые другие платят большие деньги. Это, понятно, тоже не может нравиться. К тому же, надо сказать, что девочка таки-своевольна... То есть, быть может, я не совсем верно выражаюсь, Я хочу сказать, что она часто сама не знает

хорошенько, чего хочет, — словом, ее дома маленько избаловали. Вот и все. А больше против нее ни слова не скажешь, не правда ли, Минни?

— Совершенно верно, батюшка, — согласилась миссис Джорам.

— Сначала было она поступила компаньонкой к одной капризной старой леди, — продолжал мистер Омер, — но они с ней не сошлись характерами, и Эмилия скоро от нее ушла. Тут она поступила к нам в ученье на три года. Прошло с тех пор почти уже два года, и, кроме самого хорошего, сказать о ней ничего не можем. И правда, лучшую девушку трудно найти на свете. Она одна стоит шестерых. Не правда ли, Минни, она стоит шестерых?

— Действительно, батюшка, нельзя этого отнять у нее.

— Вот и прекрасно! Вижу, что вы справедливы, — похвалил ее отец. — А теперь, молодой джентльмен, — обратился он ко мне, почесывая подбородок, — на этом можно и закончить разговор об Эмилии, а то, пожалуй, вы еще найдете, что у меня слишком длинный язык для человека с таким коротким дыханием.

Так как оба они, и отец и дочь, все время говорили об Эмилии вполголоса, я из этого заключил, что она должна была быть где-то поблизости. На мой вопрос, так ли это, мистер Омер утвердительно кивнул головой и вторым кивком указал мне на дверь в соседнюю комнату. Я сейчас же спросил у него, можно ли заглянуть туда. Получив разрешение, я подошел к застекленной двери и увидел Эмилию, сидящую за работой. Она стала настоящей красавицей. Миниатюрная, с чудными ясными голубыми глазами, когда-то пронзившими мое детское сердечко, она в эту минуту, улыбаясь, глядела на игравшего подле нее старшего ребенка Минни. В ее веселом личике, и правда, было что-то своевольное; в нем также проглядывало ее прежнее капризное жеманство. Но в общем вся ее прелестная внешность говорила только о возможности счастья и прекрасной жизни. А со двора все время неслась та же — увы! никогда не смолкающая мелодия...

— Быть может, вы хотите войти и поговорить с ней? — предложил мне мистер Омер. — Пожалуйста, сэр, не стесняйтесь, будьте как дома.

Но я был слишком застенчив, чтобы решиться на это: боялся сконфузить ее и сам сконфузиться. Я только справился, когда Эмилия

кончает работу, чтобы сообразно с этим явиться к ним, а затем, простившись с мистером Омером, его красивой дочкой и ее малышами, я отправился к моей дорогой Пиготти.

Она была в своей кухне с изразцовым полом, где готовила обед. Когда я постучал, она тотчас же открыла дверь и спросила, что мне угодно. Я, улыбаясь, посмотрел на нее, но она не ответила мне улыбкой. Все это время, правда, мы не переставали переписываться с ней, но не виделись-то мы ведь целых семь лет.

— Дома ли мистер Баркис, мэм? — спросил я нарочно грубым голосом.

— Он дома, сэр, но в постели, — очень страдает от ревматизма.

— Что, ездит ли он теперь в Блондерстон? — спросил я.

— Да, ездит, когда здоровье позволяет, — ответила Пиготти.

— А сами вы, миссис Баркис, бываете там?

Она тут взглянула на меня более внимательно, и мне показалось, что едва не всплеснула руками.

— Видите ли, — продолжал я, — я хотел было справиться относительно одной усадьбы там... Подождите, как ее зовут?.. Да, «Грачи»...

Она отступила на шаг, в испуге протянула руки, как бы собираясь оттолкнуть меня.

— Пиготти! — закричал я.

— Мальчик мой любимый! — крикнула она, и мы со слезами бросились на шею друг другу...

Я даже не в силах рассказать, что только не проделывала в своем восторге моя няня, как она смеялась и одновременно плакала, как она не могла нарадоваться на меня, как гордилась мною и в то же время сокрушалась о том, что та, чьей радостью и гордостью я мог бы быть, никогда уж более не обнимет меня, не прижмет к своей материнской груди. Помню, что, горячо отвечая на ласки моей няни, я далек был от мысли, что могу показаться при этом слишком юным. И кажется мне, что никогда в жизни я так от души не плакал и не смеялся, как в это утро.

— Баркис так рад будет вас видеть, — это, я знаю, должно принести ему гораздо больше пользы, чем целая бутылка его лекарства, — сказала Пиготти, утирая глаза передником. — Можно

пойти ему сказать, что вы здесь? Ведь вы же зайдем к нему, дорогой мой?

— Конечно, зайду, — ответил я...

Однако уйти от меня Пиготти было не так-то легко. Она несколько раз доходила до дверей, но, оглянувшись, каждый раз возвращалась и, припав к моему плечу, снова и снова начинала плакать и смеяться. Наконец я догадался сам подняться с нею наверх и, подождав минутку, пока Пиготти подготавливала своего мужа к свиданию со мной, вошел к больному.

Мистер Баркис принял меня просто с восторгом. Так как из-за ревматизма я не мог пожать его руку, то он попросил меня вместо этого пожать хотя бы кисточку его ночного колпака, что я очень охотно исполнил. Когда я сел подле него, мистер Баркис сказал, что это доставляет ему огромное удовольствие, ибо ему кажется, что он снова везет меня по блондерстонской дороге.

Лежа в своей кровати на спине, лицом вверх, и укутанный так, что, кроме лица, ничего не было видно, он представлял собой самое странное существо, когда-либо встреченное мной в жизни.

— А какое имя, сэр, я тогда написал на моей повозке? — спросил он меня с едва заметной страдальческой улыбкой.

— А, мистер Баркис! Мы еще тогда с вами вели по этому поводу серьезные разговоры... помните?

— Я ведь и в то время уж давно был согласен, не так ли сэр? — промолвил мистер Баркис.

— Да, да, — отозвался я.

— И не жалею об этом, — продолжал больной. — А помните ли, как вы мне рассказывали о том, какие она делает чудесные яблочные пирожки и вообще как она хорошо все умеет готовить?

— Прекрасно помню, — ответил я.

— И вы, сэр, тогда сказали сущую правду: это так же верно, как дважды два — четыре, — заявил мистер Баркис, кивая своим ночным колпаком; это был единственный, оставшийся в его распоряжении способ усиливать выразительность речи. — Да, сэр, это так же верно, как налоги, — уж вернее их ничего нет.

Мистер Баркис при этом взглянул на меня, словно ища сочувствия, и я сейчас же согласился с ним.

— Ничего нет вернее, как то, что надо платить налоги, — повторил он. — Это как нельзя лучше сознает такой бедняк, как я, прикованный к кровати. Ведь я, сэр, человек очень бедный.

— Мне очень грустно это слышать, мистер Баркис.

— В самом деле, я очень беден, — настаивал мистер Баркис.

Тут он с невероятным трудом высвободил из-под одеяла правую руку и после нескольких тщетных усилий, захватив палку, лежащую у его изголовья, стал ею шарить под кроватью. Сначала лицо его было озабоченно, но, когда палка наконец наткнулась на угол сундучка, который я давно заметил, больной, видимо, успокоился.

— Старое платье, — пояснил мистер Баркис.

— Вот как! — отозвался я.

— Хорошо бы, сэр, если бы это были деньги, — проговорил мистер Баркис.

— Мне тоже очень бы хотелось этого ради вас, — заметил я.

— Но, на беду, это не так, — сказал мистер Баркис, раскрывая как можно шире глаза.

Я поспешил заявить, что глубоко уверен в этом, и тогда мистер Баркис посмотрел более ласково на жену и провозгласил:

— Клара Пиготти-Баркис — самая полезная и лучшая из всех женщин на свете. Клара Пиготти-Баркис заслуживает самых горячих похвал и даже более того. А теперь, дорогая моя вам надо позаботиться об обеде для гостя, чтобы ему было что и поесть и попить, не так ли?

Я хотел было отказаться от такого чествования, но, видя, что Пиготти, стоявшая по другую сторону кровати, хочет, чтобы я остался, я воздержался и промолчал.

— Дорогая моя, — обратился мистер Баркис к жене, — у меня здесь где-то есть немного денег, но я маленько устал. Если вы с мистером Давидом дадите мое чуточку соснуть, то я, проснувшись, попробую разыскать их.

Мы, разумеется, вышли, и Пиготти сейчас же рассказала мне, что мистер Баркис за последнее время стал еще прижимистее и что к такой хитрости он всегда прибегает, когда надо вынуть хотя бы одну монетку из его хранилища. Бедняга испытывает невыразимые мучения, вылезая без посторонней помощи из кровати и доставая деньги из этого злополучного сундучка.

Вскоре, действительно, послышались из его комнаты подавленные мучительные стоны. И хотя в глазах Пиготти было видно бесконечное сострадание, она сказала мне, что, без сомнения, этот порыв великодушия и щедрости принесет ее мужу пользу и поэтому не надо его удерживать.

Мистер Баркис продолжал стонать и охать и выносил, несомненно, настоящую пытку, пока наконец снова не взобрался на свою кровать. Тогда он позвал нас к себе и, уверяя, что хорошо выспался, вынул из-под подушки золотую монету. Радость, что ему удалось провести нас и сохранить свою тайну, казалось, совершенно вознаградила его за перенесенные муки.

Я предупредил Пиготти, что вскоре должен был прийти к нам Стирфорт, и он действительно не замедлил появиться. Моя няня, несомненно, приняла его с таким же благодарным чувством, так же почтительно, как если бы он был ее благодетелем, а не только моим другом. А тут еще его милая, простая манера держать себя, врожденная веселость, красота, дар находить общий язык со всяким и очаровывать того, кому хотелось ему понравится, все это в несколько минут завоевало ему сердце моей дорогой няни. Уж одна наша дружба со Стирфортом давала ему, конечно, право на ее расположение, а тут к этому присоединилось еще его личное обаяние, и к моменту нашего ухода моя Пиготти просто обожала его.

Няня пригласила его остаться у них пообедать, и он принял ее приглашение не только охотно, но положительно с радостью. Он побывал и в комнате мистера Баркиса, и, казалось, принес туда с собой и свет и воздух. Все, что делал Стирфорт, он делал спокойно, бесшумно, все у него выходило как-то само собой. В его манере держать себя было столько прелести, простоты, естественности, что даже теперь, вспоминая его таким, каким он был в то время, я не могу не чувствовать его очарования.

Мы весело болтали в маленькой гостиной, где я нашел «Жизнеописание мучеников» — книгу, которую после меня никто не открывал все эти годы. Перелистывая ее страшные картинки, где были изображены самые ужасные пытки, я думал о том, с каким ужасом смотрел я на них когда-то и как теперь они не производят на меня ровно никакого впечатления.

Когда Пиготти заговорила о так называемой «моей комнате» и о том, что, так же как все эти годы, она и сегодня готова для меня, то не успел я бросить на Стирфорта нерешительный взгляд, как он, уже поняв, чем дело, заявил:

— Да, уж конечно, все время, пока мы в Ярмуте вы будете ночевать здесь, а я в гостинице.

— Но, Стирфорт, — возразил я, — мне кажется, это совсем не товарищески: завезти вас в такую даль, да взять и бросить.

— Ну, что вы! Пустяки! Само собой разумеется, вы должны быть здесь, — решительно настаивал Стирфорт, и с этим вопросом было покончено.

Стирфорт продолжал быть таким же очаровательным до самого нашего ухода в восемь часов; даже можно сказать, что с каждым часом он становился все более очаровательным. Мне казалось тогда и кажется теперь, что сознание, что он покоряет тех, кого хочет, делало его еще более чутким к ним и как бы облегчало дальнейшую над ними победу. Если б тогда кто-нибудь сказал мне, что все это только искусная игра, легкомысленно разыгранная ям из желания убедиться в своей силе покорять, причем разыгранная над людьми, не представляющими для него ровно никакого интереса, которые через какую-нибудь минуту перестанут для него существовать, — если б кто-нибудь, говорю я, в тот вечер осмелился сказать мне что-нибудь подобное, я даже не представляю себе, до чего дошло бы мое негодование. Эта наглая клевета, я уверен, могла бы только усилить (если вообще это было еще возможно) мое романтически-восторженное чувство к Стирфорту, когда в тот холодный зимний вечер я шел рядом с ним по песчаному берегу, направляясь к старой барже. Ветер завывал вокруг нас еще более заунывно, чем в ту ночь, когда я впервые ступил на порог гостеприимного дома мистера Пиготти.

— Довольно-таки пустынное место, не правда ли, Стирфорт? — проговорил я.

— Оно даже кажется каким-то зловещим среди мрака, отозвался мой друг, — а море так ревет, словно хочет проглотить нас... Но вот огонек. Не та ли это самая баржа?

— Она и, есть, — ответил я.

— А знаете, это та, которую я видел сегодня утром: как-то инстинктивно, должно быть, я прямо направился к ней.

Мы уже приближались к месту, где мерцал огонек, а потому замолчали и тихонько подошли к двери. Осторожно взявшись за ручку дверей и шепнув Стирфорту, чтобы он не отставал от меня, я вошел.

Еще у входа мы слышали гул голосов, а в тот момент, когда вошли, кто-то усиленно захлопал в ладоши, и, к моему великому удивлению, оказалось, что таким образом свой восторг проявляет обычно неутешная миссис Гуммидж! Но не она одна была в таком необыкновенно возбужденном состоянии. Лицо мистера Пиготти сияло необычайной радостью, он хохотал, во все горло и, протянув вперед грубые руки, как бы звал в свои объятия маленькую Эмми. Хэм с выражением восхищения и ликования застенчиво (что очень шло к нему) держал за руку маленькую Эмми, словно представляя ее мистеру Пиготти. Сама Эмми была вся красная от смущения, но в ее сверкающих весельем глазах можно было прочесть, как наслаждается она радостью своего дяди. Девушка первая заметила нас и остановилась в то самое мгновение, когда, вырываясь от Хэма, она хотела было спрятать свое личико на груди любимого дяди. Вот та картина, которая представилась нашим взорам, когда мы с холода и темноты вошли в светлую натопленную комнату. А на фоне этой картины, как сумасшедшая, хлопала в ладоши миссис Гуммидж.

При нашем появлении все так молниеносно изменилось, что просто не верилось, будто все это вот сейчас, только было. Я уже стоял среди пораженной семьи, лицом к лицу с мистером Пиготти, протягивая ему руку, как вдруг Хэм закричал: — Мистер Дэви! Да ведь это наш мистер Дэви!

Еще мгновение — и мы крепко жмем друг другу руки, говорим все вместе, справляемся о здоровье друг друга, выражаем свою радость по поводу нашей неожиданной встречи. Мистер Пиготти был до того горд, до того восхищен нашим появлением, что просто не знал, о чем ему говорить и что ему делать. Уж он пожимал то одному, то другому из нас руки, ерошил на своей косматой голове волосы, заливаясь при этом таким веселым, ликующим смехом, что любо было и слышать и видеть его.

— Ну, знаете, — начал мистер Пиготти, — мне прямо кажется невероятным, чтобы эти два молодых, но совершенно уже взрослых

джентльмена явились к нам именно в такой вечер, как сегодня, — ведь это всем вечерам вечер. Эмми, любимая моя, идите же сюда! Скорее, маленькая моя колдунья! Это, дорогая моя, друг мистера Дэви. Тот самый джентльмен, о котором вы, Эмми, так много слышали. И вот они с мистером Дэви пришли навестить нас в самый радостный вечер во всей жизни вашего дяди. Ура! Ура! И еще раз ура!

Произнеся эту речь одним духом, с необыкновенно радостным подъемом, мистер Пиготти, стиснул здоровенными своими ручищами личико племянницы, поцеловал его с десяток раз, затем, с гордостью и любовью прижав ее к своей богатырской груди, стал гладить с материнской нежностью. Когда же он отпустил ее и она, смущенная, убежала в маленькую комнатку, которую когда-то занимал я, счастливый дядюшка, весь красный, тяжело дыша, посмотрел на нас с чувством великого удовлетворения.

— Если вы, двое молодых джентльменов, уже взрослых, да еще таких джентльменов... — начал мистер Пиготти, но его перебил Хэм:

— Верно, верно сказано! Они действительно таковы... А наш мистер Дэви и вправду взрослый!

— Ну, так вот, — продолжал мистер Пиготти, — если вы, уже взрослые джентльмены, узнав, в чем тут дело, не будете снисходительны ко мне, видя, что я сам не свой, то я готов просить у вас прощения!.. Эмми, дорогая моя!.. Ага, плутовка знает, что я собираюсь сказать, и потому сбежала, — прибавил он, снова радостно хохоча. — Матушка, — обратился он к миссис Гуммидж, — будьте такая добренькая, взгляните, куда она запропастилась.

Миссис Гуммидж кивнула головой и скрылась.

— Да, не сознавай я, что это лучший вечер в моей жизни, — снова начал старый рыбак, усаживаясь у огня, — я был бы настоящей ракушкой, да к тому же, еще и вареной, и больше ничем. Маленькая Эмми, сэр, — обратился он, понизив голос, к Стирфорту, — это та, что на ваших глазах вся покраснелась.

Стирфорт молча кивнул головой, но в его глазах мистер Пиготти прочел такой интерес и столько сочувствия к себе, что понял его без слов.

— Вижу, сэр, что вы оценили ее. Она, конечно, такая и есть. Благодарю вас, сэр.

Хэм одобрительно несколько раз кивнул мне головой, как бы подтверждая слова дяди.

— Так вот, наша маленькая Эмми, — продолжал мистер Пиготти, — была в нашем доме чем могла быть только такая чудесная ясноглазая девчурка, как она. Она не дочь мне, сэр, у меня никогда не было детей, но я и родную дочь не мог бы любить больше. Понимаете, сэр? Не мог бы!

— Прекрасно понимаю, — отозвался Стирфорт.

— Чувствую, сэр, чувствую и еще раз благодарю вас. Мистер Дэви — тот помнит, какую была она девочкой, а вы можете судить сами, какой она стала теперь. Но ни один из вас не может представить себе, чем она была, есть и будет для меня, обожающего ее. Я, сэр, грубый, неотесанный человек, вроде, так сказать, морского дикобраза, но никто, кроме, пожалуй, женщины, не в состоянии представить себе, что для меня моя маленькая Эмми. И между нами будь сказано, — прибавил он, понижая голос, — женщина, способная понять меня, отнюдь не миссис Гуммидж, хотя вообще достоинств у нее без конца.

Тут мистер Пиготти опять обеими руками взьерошил себе волосы, как бы приготавливаясь к новым излияниям, и, положив руки на колени, заговорил.

— Есть человек, который знает нашу Эмми с тех пор, как утонул ее отец. Она выросла, так сказать, у него на глазах и из грудного ребенка превратилась сначала в девочку, а затем во взрослую девушку. Сам этот человек ничего особенного собой не представляет, он вроде меня — грубоват, словом, такой же морской волк, но парень он честный, и сердце у него на месте.

Никогда не видывал я, чтобы Хэм так радостно ухмылялся, как в эту минуту.

— Что же, думаете вы, выкидывает этот самый морской волк? — продолжает мистер Пиготти с сияющим от удовольствия лицом. — Он возьми да и отдай свое сердце нашей маленькой Эмми. Ходит парень по ее пятам, словно поступил к ней в услужение, есть почти перестал и наконец дал мне понять, что с ним стряслось... А мне, понимаете, самому хочется как следует выдать замуж нашу маленькую Эмми, чтобы у нее был, так сказать, законный защитник. Ведь не ведаю я, сколько мне еще жить суждено на свете и когда смерть моя придет за

мною. Одно знаю: что если когда-нибудь мою лодку шквал перевернет вверх дном у наших берегов и я не буду в состоянии справиться с волнами, а поверх их в последний раз увижу наши городские огоньки, то я пойду ко дну гораздо спокойнее, зная, что на берегу остается еще человек, верный моей девочке, и что никакая беда не коснется ее, пока жив этот самый человек.

Говоря это, мистер Пиготти в своей простодушной горячности стал махать правой рукой, словно посылая последний привет ярмутским огонькам, затем, кивнув Хэму, с которым он обменялся взглядом, продолжал:

— Ну так вот, посоветовал я ему переговорить с Эмми. Но он хоть и верзила порядочный, а застенчив хуже малого ребенка, никак не мог на это решиться, — пришлось, мне за это взяться. «Как! За него?! — закричала Эмилия. — Выходить замуж за него, которого я всю жизнь знала и люблю, как брата? О дядя! я никак не могу за него выйти — он такой славный!..» Тут я поцеловал ее и говорю: «Дорогая моя, это уж ваше дело — решайте и выбирайте сами: вы свободны, как пташка». Потом я пошел к нему и сказал: «Знаете, мне бы самому хотелось, чтобы вышло по-вашему, да что делать, не выходит. Одно скажу вам: будьте настоящим мужчиной, и пусть все у вас с нею будет попржнему». И он пожал мне крепко руку и сказал: «Буду». И правда, с тех пор прошло два года, а он честно и мужественно держал свое слово, и мы жили здесь все это время попржнему.

Выражение лица мистера Пиготти, пока он говорил, менялось в зависимости от его повествования. Оно снова засияло ликующей радостью, когда старик, предварительно вытерев руки о куртку и положив их одну ко мне на колено, а другую на колено Стирфорту, проговорил, обращаясь к нам обоим:

— И вдруг однажды вечером, ну, пусть будет сегодня вечером, Эмми возвращается с работы, и он с ней. Вы скажете — здесь нет ничего удивительного. И правда, ведь он заботится о ней, как брат, и когда темно, и когда светло, и вообще всегда. Но, понимаете ли, этот самый морской волк держит ее за руку и, вне себя от радости, кричит: «Ну-ка, посмотрите на мою будущую женушку!» А она, моя голубушка, и смело и застенчиво, и плача и смеясь в одно и то же время, говорит мне тут: «Да, дядюшка, если только вы дадите на это свое согласие». Мое согласие! — воскликнул мистер Пиготти в каком-

то экстазе, трясая головой. — Господи! Да я только и мечтал о том, чтобы они поженились! А моя девочка и говорит: «Ну и прекрасно, коли вы согласны. Я стала теперь степеннее, и обдумав хорошенько, сказала себе: отчего мне не постараться быть для него хорошей женой, ведь он такой добрый, славный парень». Тут миссис Гуммидж захлопала в ладоши, словно в театре, а вы как раз оба и входите. Как видите, шила в мешке не утаишь! Понимаете, все это случилось вот сейчас, когда вы входили. И вот этот самый парень женится на ней тотчас же, как только она покончит со своим ученьем.

Закончив свой рассказ, мистер Пиготти, в порыве беспредельной радости, в знак своего доверия и дружбы, так хватил кулаком Хэма, что тот едва удержался на ногах. Счастливый жених сознавал, что ему тоже надлежит что-нибудь сказать. И с великим трудом, преодолевая свое смущение, он начал прерывающимся голосом:

— Видите ли, мистер Дэви, она еще была ребенком, таким, как вы сами в ваш первый приезд сюда, а я уж тогда мечтал, какой она будет взрослой. Она, джентльмены, расцвела на моих глазах, как цветочек! Я, мистер Дэви, поверьте охотно и с радостью отдал бы за нее свою жизнь. Она, джентльмены, для меня больше... словом, она для меня все, что я только могу желать... Она больше. Ну, я не в силах найти для этого слов... Я... Одним словом, я верно, по-настоящему люблю ее. И нет ни одного джентльмена ни на суше, ни на море, который больше любил бы свою леди, чем я ее, хотя, быть может, другой парень на моем месте и сумел бы лучше высказать то, что думает и чувствует.

По правде сказать, я был тронут до глубины души, видя, что такой дюжий парень, как Хэм, дрожит, словно лист, под влиянием могучего чувства к маленькому хорошенькому существу, покорившему его сердце. Трогательным также показалось мне и доверие, оказанное нам мистером Пиготти и Хэмом, и самый рассказ их. Уж не знаю, какую роль тут играли мои детские воспоминания. Не знаю также, когда я ехал сюда, таилась ли в глубине души у меня смутная надежда, что я могу снова полюбить маленькую Эмми. Одно мне ясно, что все виденное и слышанное доставило мне какую-то особенную радость, — радость, которую пустяк мог бы обратить в страдание.

Если бы в ту минуту мне пришлось ответить мистеру Пиготти и Хэму, то не сомневаюсь, что я очень неважно справился бы со своей

задачей. К счастью, это взял на себя Стирфорт и выполнил так ловко, что уже несколько минут спустя каждый из нас чувствовал себя совершенно в своей тарелке.

— Мистер Пиготти, — обратился к нему мой друг, — вы чудеснейший человек и вполне заслуживаете то счастье, которое свалилось на вас сегодня. Позвольте мне пожать вашу руку! Хэм, радуюсь за вас, дружище! Дайте также пожать и вашу руку. А вы, Маргаритка, помешайте-ка кочергой в камине: пусть огонь разгорится как можно ярче. Теперь же, мистер Пиготти, должен сказать, что если ваша милая племянница не согласится занять свое место у семейного очага, то я сейчас же удаляюсь отсюда, и никакие сокровища Индии не заставят меня пойти на то, чтобы именно это место в такой вечер, как сегодня, осталось бы из-за меня незанятым.

Тут мистер Пиготти пошел за маленькой Эмилией в бывшую мою комнату. Сперва она было заартачилась, и Хэму пришлось идти на подмогу дядюшке. Им вдвоем удалось-таки убедить Эмилию выйти, и они привели ее к камину, очень сконфуженную и смущенную. Но смущение ее мало-помалу стало проходить, когда она увидела, как мило и почтительно говорит с ней Стирфорт, как искусно избегает он всего того, что могло привести ее в замешательство. Мой друг, видимо, с большим интересом беседовал с мистером Пиготти о лодках, кораблях, приливах и отливах, о рыбах... Тут же напомнил он мне о том, как когда-то в Салемской школе познакомился с мистером Пиготти и Хэмом. А как восхищался он баржей-домом и всем, что было в нем! Словом, он сумел сделать разговор общим и оживленным, вовлечь нас как бы в зачарованный круг, где все мы чувствовали себя прекрасно и болтали без умолку. Правда, Эмилия в этот вечер мало говорила, но она смотрела и слушала с оживленным лицом и была прелестна. Стирфорт как-то естественно в разговоре с мистером Пиготти перешел к описанию одного ужасного кораблекрушения и изобразил его так живо и ярко, словно сам был очевидцем. Все время, пока он говорил, Эмилия не сводила с него глаз, как будто на его лице отражалась эта страшная картина. Потом, чтобы рассеять мрачное впечатление, Стирфорт принялся рассказывать нам о бывшем с ним забавном приключении, причем казалось, что на него оно производит такое же впечатление, как и на нас, впервые слышавших о нем. Маленькая наша Эмилия хохотала так, что скоро ее звонкий голосок

слышен был во всех уголках баржи. Все мы тоже, не исключая Стирфорта, смеялись от души, охваченные заразительным, непринужденным весельем. Наконец Стирфорт подбил мистера Пиготти пропеть, или, вернее сказать, прореветь матросскую песню «Как задуют, как задуют ветры буйные», вслед за ним сам пропел тоже матросскую песню и пропел ее так чудесно и с таким чувством, что мне почудилось, будто самый ветер, завывающий вокруг баржи, на время затих, очарованный этим голосом.

Что же касается миссис Гуммидж, этой жертвы мрачных воспоминаний, то Стирфорт развеселил ее так, как никому это, судя по словам мистера Пиготти, не удавалось с самой смерти ее старика. Он не дал ей ни на минуту погрузиться в свою печаль, так что на следующий день старуха даже уверяла, что ее просто околдовали.

Но нельзя сказать, чтобы Стирфорт особенно стремился завладеть разговором или привлечь к себе общее внимание. Помнится, когда маленькая Эмилия в конце концов расхрабрилась и, правда, еще несколько смущаясь, начала вспоминать о наших с ней детских скитаниях по морскому берегу, а я спросил ее, не забыла ли она, как в те далекие времена я был ей предан, причем мы оба покраснели и засмеялись, — друг мой не вмешался в наш разговор, а все время молчал и задумчиво смотрел на нее.

Эмилия весь вечер сидела на своем прежнем ящике и в прежнем углу у камина, а Хэм подле нее, там где когда-то сиживал я. Не знаю уж почему, хотелось ли ей помучить немножко своего жениха, или из девичьей скромности, только она все время прижималась к стене и старалась как можно дальше держаться от Хэма.

Была почти полночь, когда мы ушли от мистера Пиготти. На ужин нам подали морские сухари и сушеную рыбу. Стирфорт вытащил из кармана бутылку можжевелевой водки, и мы, мужчины, — я уже не краснея причислял себя к таковым, — сейчас же ее распили. Весело расстались мы с нашими радушными хозяевами; и в то время, когда они все, столпившись, стояли у двери, чтобы посветить нам, пока мы не выберемся на дорогу, я видел, как из-за спины Хэма выглядывали милые глазки маленькой Эмми, и слышал ее ласковый музыкальный голосок, которым она давала нам указания, как не сбиться с пути.

— Какое прелестное маленькое существо! — проговорил Стирфорт, беря меня под руку. — Ну, скажу я вам, и оригинальная же обстановка и оригинальные люди! Я, признаться, в их обществе положительно испытывал какие-то совсем новые ощущения.

— А как нам повезло, — отозвался я: — быть свидетелями их счастья во время этой помолвки! Мне никогда в жизни не приходилось встречать таких счастливых людей. Как восхитительно видеть это и быть участниками такой наивной искренней радости.

— А правда, этот тупой малый совсем не пара такой девушке? — вдруг сказал Стирфорт.

Он был так мил с Хэмом и вообще со всеми, что его слова как бы обдали меня холодной водой. Но, быстро повернувшись к нему, я при виде его смеющихся глаз решил, что он просто пошутил, и у меня отлегло от сердца.

— Ах, Стирфорт — сказал я, — вы можете подшучивать сколько хотите над бедняками, можете дразнить сколько угодно мисс Дартль, но меня вы не проведете: я вас слишком хорошо знаю. Когда я вижу, как прекрасно вы понимаете бедняков, как тонко вы можете постичь счастье этого простого рыбака, как потакаете беззаветной любви ко мне моей няни, я знаю, что для вас не могут быть безразличны ни радости, ни горести бедного люда. И за все это, Стирфорт, я еще в двадцать раз больше люблю вас!

Он остановился, и пристально посмотрев на меня, промолвил:

— Маргаритка, я верю, вы это говорите от всего сердца. Вы — славный! Хорошо, если бы все мы были, как вы!

Через минуту он уже запел матросскую песню мистера Пиготти, и под ее звуки мы быстро зашагали к Ярмуту.

Глава XXII

СТАРЫЕ МЕСТА И НОВЫЕ ЛЮДИ

Пробыли мы со Стирфортом в этих местах более двух недель. Излишне даже говорить, что мы проводили с ним много времени вместе, но иногда нам случалось расставаться на несколько часов. Стирфорт был хорошим моряком, а я довольно безразлично относился к морю, и вот, когда мой приятель отправлялся с мистером Пиготти на рыбную ловлю, я обыкновенно предпочитал оставаться на берегу. Вечером же мне неловко было долго засиживаться, зная, что моя милая Пиготти, утомленная за целый день уходом за мужем, будет ждать меня, а Стирфорт жил в гостинице и мог возвращаться к себе, когда ему заблагорассудится. Иногда по вечерам он угощал рыбаков в трактире «Доброжелатель», куда часто навещался мистер Пиготти, или, нарядившись в одежду рыбака, проводил в море лунные ночи, возвращаясь на берег только с утренним приливом. Хорошо зная подвижную натуру моего друга и его отважный дух, я несколько не удивлялся тому, что для своих морских прогулок он выбирает бурную погоду и несет на рыбацких лодках такую же тяжелую работу, как и сами хозяева этих лодок.

Была и еще одна причина, порой разлучавшая меня со Стирфортом. Естественно, что меня тянуло в Блондерстон, с которым связано было столько воспоминаний детства, а друг мой, побывав там раз, понятно, не мог иметь особого желания снова попасть туда. И вот помнится, что три или четыре раза во время нашего пребывания там мы с ним, рано позавтракав, расходились каждый в свою сторону и снова встречались лишь за поздним обедом. Я хорошенько не представлял себе, как именно проводит он время без меня, а знал только, что он пользуется большой популярностью во всем Ярмуте, да еще то, что там, где другому человеку не найти было ни одного способа развлечь себя, мой друг мог приискать их себе двадцать.

Я же, отправляясь один в мои паломничества, старался не пропустить ни единой мелочи на дороге, по которой хаживал ребенком, и мне все больше и больше хотелось видеть те места, где я жил когда-то. Долго прогуливался я у могилы под деревом, где

покоились мои родители. Тут я вспоминал, с какой странной жалостью относился я, будучи малышом, к этому надгробному камню, когда под ним лежал только прах неведомого мне отца; вспоминал свое отчаяние, когда отцовская могила вновь открылась, чтобы поглотить мою прелестную маму и ее крошку. Могила эта благодаря верной Пиготти содержалась в образцовом порядке, и дорогая моя няня насадила вокруг неё целый садик. Находилась она в укромном уголке кладбища, неподалеку от дорожки, так что, расхаживая по ней, я мог читать имена на надгробном камне. Бой церковных часов время от времени выводил меня из задумчивости. Помнится, что у меня в голове, кроме дум об умерших, в то же время роились мысли о моей будущности и тех подвигах, которые несомненно предстоит совершить мне. Расхаживая взад и вперед по кладбищенской дорожке, я чувствовал себя так, словно я приехал домой к матушке и в ее присутствии строю свои воздушные замки.

Старая наша усадьба очень изменилась. Истрепанные гнезда, давно покинутые грачами, совершенно исчезли; деревья были так обрезаны, что стали неузнаваемы. Фруктовый сад одичал, а в доме половина окон были наглухо закрыта ставнями. В нем жил теперь какой-то несчастный умалишенный и те, кто за ним ухаживали. Он по целым дням сидел у окна моей бывшей детской, не спуская глаз с кладбища. И я спрашивал себя, не бродят ли порой в его голове те самые мысли, которые в детстве занимали меня, когда бывало рано утром в одной ночной рубашонке я высовывался из своего окна, глядя на овец, спокойно щипавших траву под лучами восходящего солнца...

Бывшие наши соседи, мистер и миссис Грейпер, переселились в Южную Америку. Стены их дома заплесневели от протекавшего сквозь крышу дождя. Доктор Чиллип женился во второй раз на высокой худой женщине с горбатым носом, у них родился ребенок с огромной головой, с трудом державшейся на тоненькой шейке. Болезненные глазки малютки с удивлением смотрели кругом, как бы недоумения, зачем ему надо было родиться.

С каким-то смешанным чувством радости и грусти бродил я по родным местам, пока зимнее солнце не начинало краснеть, напоминая мне, что пора уж отправляться в обратный путь. Но как только Блондерстон оставался позади, а особенно, когда я сидел уже со Стирфортом за обедом перед пылающим камином, помнится, с

каким наслаждением думал я о том, что побывал в родных местах. Это чувство почти с такой же силой оживало во мне и тогда, когда, добравшись до своей чистенькой комнатки, я перелистывал книгу о крокодилах (она всегда лежала здесь на столике). Я с благодарностью думал о том, какое счастье иметь такого друга, как Стирфорт, такого близкого человека, как моя няня, и такую великодушную бабушку, заменившую мне мать.

Возвращаясь из Блондерстона, я для сокращения пути обыкновенно пользовался паромом, который приставал к пустынному песчаному берегу. Пересекая этот берег по направлению к городу, я проходил каких-нибудь ста ярдах от баржи мистера Пиготти. Понятно, здесь я не мог не зайти к старым друзьям, да к тому же, я знал, что меня, наверное, поджидает у них Стирфорт, а оттуда мы с ним, поеживаясь от холода, направимся к мерцающим сквозь туман огонькам Ярмута.

Однажды темным вечером, возвращаясь из Блондерстона позднее обыкновенного, — мы уже собирались на следующий день ехать обратно в Лондон, и это было мое последнее посещение родных мест, — я застал в доме мистера Пиготти одного лишь Стирфорта, в задумчивости сидящего у огня. Он так был погружен в свои думы, что не только не слышал, как я подходил к дому, но даже не обратил никакого внимания на меня и тогда, когда я вошел в комнату. Я стал совсем близко подле него, глядел на него, но он, ничего не замечая, продолжал витать где-то.

Стирфорт так вздрогнул, когда я положил ему руку на плечо, что я сам невольно вздрогнул.

— Вы появились передо мной, как какое-то укоряющее привидение, — почти сердито проговорил он.

— Но надо же было мне как-нибудь дать о себе знать, — ответил я. — А вы, Стирфорт, кажется, пребывали в заоблачных эмпиреях, не так ли? — шутя спросил я.

— Нет, — промолвил он, — нет.

— Где же тогда вы витали? — продолжал я допрашивать, садясь подле него.

— Да я смотрел в огонь, и в нем рисовались мне разные картины.

— Отчего же вы не хотите дать и мне полюбоваться на них? — сказал я, видя, как он с такой энергией принялся мешать огонь

пылающим поленом, что целый сноп красных искр с гулом понесся в трубу.

— Все равно вы ничего не увидели бы, — ответил он. — Как ненавижу я эти глупейшие сумерки! Не то день, не то ночь... Что же вы так поздно?

— Прощался с родными местами, — ответил я.

— А я вот сидел здесь в одиночестве, — промолвил Стирфорт, озираясь вокруг, — и царящая вокруг тишина навеяла на меня мрачные предчувствия. Мне казалось, что всем, кого мы нашли здесь такими веселыми в первое наше посещение, всем им суждено или рассеяться по белу свету, или погибнуть, или перенести бог знает какие напасти... Знаете, Давид, я несказанно жалею, что последние двадцать лет у меня не было здравомыслящего отца.

— Что с вами, дорогой мой Стирфорт?

— Всем сердцем жалею, что мной не руководили как следует, — воскликнул мой друг, — и что сам я не выработал в себе умения владеть собой!

Когда он это говорил, в нем чувствовался страшный упадок духа. Меня поразило это. Никогда я не предполагал, чтобы когда-либо он мог быть так не похож на самого себя.

— Знаете, я предпочел бы быть этим бедняком Пиготти или его неотесанным племянником, чем быть в моей шкуре, — снова заговорил Стирфорт, вставая и продолжая смотреть на огонь. — Что толку в том, что я в двадцать раз и богаче и умнее их, когда приходится терзаться так, как сейчас я терзался в этой проклятой барже!

Я был до того смущен происшедшей в моем друге переменой, что первое время мог только молча смотреть, как он, стоя у камина и подперев голову рукой, мрачно глядит на огонь. Наконец, охваченный страшным беспокойством, я стал молить его сказать мне, что довело его до такого состояния.

— Если даже я не буду в силах помочь вам советом, — говорил я, — то хоть смогу всей душой посочувствовать.

Но не успел я проговорить это, как Стирфорт расхохотался. Вначале смех его был какой-то неприятный, деланный, но вскоре в нем послышалась его обычная веселость.

— Все это, Маргаритка, вздор и пустяки! — воскликнул он. — Помните, я как-то говорил вам в Лондоне, что подчас бываю плохим для себя компаньоном. Вот и сейчас меня словно какой-то кошмар терзал. Порой, в грустные минуты, мне вспоминаются сказки, слышанные в детстве, и тут мне представилось, что и, непослушный мальчик, угодил на съедение львам (ведь, не правда ли, что более величественно, чем быть растерзанным собаками?). И у меня, как говорят старухи, от ужаса волосы на голове стали дыбом. Я самого себя испугался.

— Надеюсь, ничто другое не страшит вас? — с беспокойством спросил я.

— Как будто да, а впрочем, всегда есть поводы бояться. Но что об этом говорить! Кошмар рассеялся, и я, Давид, не допущу, чтобы он опять овладел мной, Но все-таки еще расскажу вам, друг мой, что было бы гораздо лучше для меня (и не только для меня одного), если бы я имел здравомыслящего и с твердым характером отца.

Когда он говорил это, продолжая глядеть на огонь, мне показалось, что никогда до сих пор я не видел его выразительную лица таким серьезным и мрачным.

Тут он вдруг сделал такой жест рукой, словно что-то отталкивал от себя в воздухе, и произнес;

— «Оно ушло, и снова стал я человеком», — помните, это сказал Макбет^[65], когда освободился от терзавшего его привидения... А теперь идемте обедать.

— Но куда же девались они все? Меня это удивляет, — сказал я.

— Бог их знает! Я ходил сначала к перевозу в надежде встретить вас, потом зашел сюда и нашел дом пустым. Вот это и навяло на меня те мрачные думы, среди которых вы меня застали.

В этот момент вошла миссис Гуммидж с корзинкой в руках, и мы узнали, почему пустой дом оставался незапертым. Старушка, уходя в город за кое-какими продуктами, на всякий случай не заперла дверей, чтобы маленькая Эмми и Хэм в ее отсутствие могли попасть домой. Самого же хозяина ожидали в моря только с утренним приливом.

Стирфорт сейчас же, по своему обыкновению, развеселил разными прибаутками меланхоличную миссис Гуммидж, затем самым комическим образом расцеловал ее и схватив меня под руку, поспешно увел.

Развеселив неутешную вдову, друг мой, видимо, и себя привел в прекрасное настроение, ибо всю дорогу до Ярмута он безумолку весело болтал.

— Ну, значит, завтра мы с вами заканчиваем нашу бродячую жизнь, не так ли? — улыбаясь, проговорил он.

— Да, это уже решено, и даже, как вам известно, места для нас заказаны в дилижансе, — ответил я.

— Тогда, видно, ничего не поделаешь, — отозвался Стирфорт. — А я здесь, представьте, совсем забыл, что на свете можно делать что либо иное, чем носиться по морским волнам. По правде сказать, жаль, что это не так.

— По крайней мере, до тех пор, пока вам это в новинку, — смеясь, заметил я.

— Возможно, — проговорил он, — Но, признаться, я не ожидал услышать такое саркастическое^[66] замечание из уст моего милого невинного дружка. А что правда, то правда: я, Давид, капризный, сам это знаю. Но также знаю, что, когда железо горячо, я здорово могу ковать его. Знаете, мне кажется, что я вполне был бы в состоянии выдержать теперь испытания на лоцмана здешних вод.

— Старик Пиготти считает вас просто чудом, — заметил я.

— Уж не морским ли чудом? — рассмеялся Стирфорт.

— Да вы сами знаете, как искрение он восхищается вашими мореходными талантами. К тому же, вы беретесь за всякое дело с таким жаром, что очень быстро овладеваете им. Меня лично, Стирфорт, удивляет только то, как можете вы так по мелочам растрачивать свои силы и удовлетворяться этим?

— Удовлетворяться? — весело повторил Стирфорт. — Откуда вы это берете? Да меня вообще ничто и никогда на свете не удовлетворяет, кроме вашей чарующей наивности, моя милая Маргаритка. А что касается моих капризов и увлечений, то, правда, до сих пор я не мог постичь искусства цепляться за колесо одного из Иксионов^[67] наших дней. С детства меня к этому не приучили, а теперь, признаться, нет никакой охоты себя ломать. Кстати, знаете вы, что я здесь купил лодку?

— Что вы за удивительный человек, Стирфорт! — воскликнул я, невольно останавливаясь, ибо впервые услышал об этой новой затее

моего друга. — Покупать лодку, когда, быть может, вы никогда больше и не попадете сюда!

— Почему знать? — возразил он. — Место это очень пришлось мне по душе. Как бы то ни было, — продолжал он, ускоряя шаг, — я купил лодку, благо она продавалась. Мистер Пиготти зовет ее клипером. Клипер — быстроходная лодка. Так вот этим самым клипером и будет он распоряжаться в мое отсутствие.

— А, теперь понимаю вас, Стирфорт! — в восторге воскликнул я. — Вы говорите, что купили лодку для себя, а в сущности, она будет принадлежать мистеру Пиготти. Зная вас, я должен был бы сразу догадаться об этом. Дорогой мой Стирфорт! Не нахожу слов, чтобы выразить, как восхищен я вашей щедростью!

— Тсс... замолчите! — промолвил он краснея. — Чем меньше говорить об этом, тем лучше.

— Видите, как я был прав, Стирфорт, — закричал я, — когда говорил, что нет радости, горя, волнения у этого бедного честного люда, которые не были бы близки вашему сердцу!

— Да, да, вы говорили все это, — отозвался он. — Но довольно, забудем об этом!

Боясь рассердить моего друга, я замолчал, но не переставал думать о его щедрости, пока мы с ним шли еще более ускоренным шагом, чем раньше.

— Этот клипер надо заново оснастить, — снова заговорил Стирфорт, — и я оставлю здесь Литтимера, чтобы присмотреть за этим. Тогда уж я буду уверен, что все сделано как следует... А я вам еще не сказал, что Литтимер здесь?

— Нет.

— Да, он приехал сегодня утром с письмом от матушки.

Взглянув на Стирфорта, я заметил, что он страшно бледен и даже губы его побелели. Это, однако, не мешало ему очень пристально смотреть на меня. Тут у меня мелькнула мысль, не произошло ли у него неприятности с матерью, что могло быть причиной и того ужасного настроения, в котором я застал его сидящим в одиночестве у очага мистера Пиготти. Я намекнул ему на это.

— О нет! — возразил он, качая головой и посмеиваясь. — Ничего подобного. Он просто приехал ко мне.

— Что же, он такой, — как всегда? — спросил я.

— Как всегда, — ответил Стирфорт: — холодный, спокойный, как Северный полюс. Он будет присутствовать при новом крещении клипера: до сих пор он звался «Буревестником». Но что значит для мистера Пиготти какой-то буревестник! Я решил дать ему другое имя.

— Какое же? — поинтересовался я.

— «Маленькая Эмми».

Говоря это, Стирфорт продолжал так пристально глядеть на меня, что я в этом усмотрел нежелание с его стороны, чтобы я превозносил его поступок. Поэтому, хотя лицо мое и сняло удовольствием, я едва проронил несколько слов, а у Стирфорта как бы полегчало на душе, и на лице появилась его обычная улыбка.

— Посмотрите-ка, — вдруг сказал он, глядя вперед, — вот идет подлинная Эмми. И с ней этот парень, гм... Ей-богу, это настоящий рыцарь: он от нее ни на шаг.

Хэм теперь работал в доках, на постройке судов. У него были прирожденные к этому способности, и, усердно трудясь, он стал заправским мастером своего дела. Хэм был в рабочей одежде и грубоват на вид, но вместе с тем настолько мужествен, что мог служить достойным защитником шедшей с ним рядом миниатюрной красавицы. Его открытое, честное лицо сияло такой любовью к своей невесте, такой гордостью ею, что все это, на мой взгляд, было лучше всякой красоты. И, когда они подходили к нам, я подумал, что эти два существа прекрасно подходят друг к другу.

Маленькая Эмилия, застенчиво высвободив свою руку из руки жениха, протянула ее мне и Стирфорту. Когда, обменявшись с нами несколькими словами, парочка продолжала свой путь, я обратил внимание на то, что Эмилия не захотела итти снова под руку со своим женихом, а, как бы смущаясь, шла рядом с ним. Все это казалось мне очень милым и очаровательным; повидимому, так думал и Стирфорт, когда мы с ним обернувшись, смотрели вслед этой парочке, исчезавшей при свете молодого месяца.

Вдруг перед нами появилась молодая женщина, очевидно шедшая вслед за парочкой. Приближения ее мы не заметили, но, когда она проходила мимо нас, лицо ее показалось мне знакомым. У женщины был дерзкий, напыль вид. Вместе с тем она выглядела измученной. Одетая она была крикливо и в то же время бедно и слишком легко для этого времени года. Но в данную минуту ей, казалось, не было дела ни

до чего на свете. Видимо, она всецело была поглощена мыслью поскорее догнать идущих впереди. Вскоре вслед за парочкой исчезла и темноте и фигура женщины.

Перед нашими глазами виднелась лишь на горизонте, между морем и тучами, светлая полоса.

— За маленькой Эмилией двигается какая-то черная тень, — проговорил Стирфорт как-то тихо и странно — Что бы это могло значить?

— Мне кажется, что эта тень собирается просить у них милостыню, — сказал я.

— Нищенство — вещь не новая, но удивительно, что эта нищая приняла такой облик и именно сегодня вечером, заметил Стирфорт.

— Почему же это удивительно? — спросил я.

— Да просто потому, что я как раз думал о чем-то подобном. Откуда, черт побери, она могла появиться?

— Вот из-за этой стены, — сказал я, показывая на стену, вырисовывающуюся перед нами.

— Ну, тень эта исчезла, — сказал, оглядываясь Стирфорт. — Пусть же с ней исчезнет и все недоброе. А теперь идемте поскорее обедать.

Но, пока мы дошли до гостиницы, он не раз еще оглядывался на светлеющую вдали полосу и какими-то обрывистыми фразами выражал свое удивление. Только когда мы с ним весело обедали в светлой, теплой комнате у потрескивающего камина, он, казалось, позабыл об этом.

Литтимер был тут, и его присутствие оказывало па меня такое же действие, как и в хайгейтском доме. Когда я спросил его, как поживают миссис Стирфорт и мисс Дартль, он, поблагодарив меня, почтительно и, конечно, с большим достоинством сообщил мне, что они чувствуют себя довольно хорошо и просили передать мне свой привет. Больше он ничего не прибавил, ко мне казалось, что всей своей особой он ясно говорил мне «Вы, сэр, очень молоды, вы чрезвычайно молоды».

Мы почти кончили обед, когда Литтимер, все время из угла наблюдавший за нами, вернее, по-моему, за мной одним, сделал шага два к столу и проговорил:

— Смею доложить, сэр: мисс Маучер здесь.

— Кто такой? — воскликнул чрезвычайно удивленный Стирфорт.

— Мисс Маучер, сэр.

— Ну да, рассказывайте! Что ей здесь делать? — бросил Стирфорт.

— Кажется, сэр, она отсюда родом и говорила, что каждый год бывает здесь по делам. Я сегодня встретил ее на улице, и она просила узнать, сможет ли она иметь честь видеть нас, сэр, после обеда.

— Знаете ли вы эту самую великаншу, Маргаритка? — обратился ко мне, Стирфорт.

К великому своему стыду, я в присутствии Литтимера принужден был сознаться, что о мисс Маучер не имею ни малейшего представления.

— Ну, тогда вам надо непременно с ней познакомиться, — заявил Стирфорт, — это ведь одно из семи чудес света... Литтимер, когда она явится, введите ее сюда.

Любопытство мое относительно этой особы было тем более возбужденно, что каждый раз, когда я спрашивал о ней Стирфорта, он покатывался со смеху, и положительно отказывался что-либо говорить о ней. И я принужден был с полчаса пронести в томительном ожидании. Со стола была уже убрана скатерть, и мы сидели за бутылкой портвейна когда Литтимер, открывая дверь, доложил со своим всегдашним невозмутимым видом:

— Мисс Маучер!

Почему-то в дверях никто не показывался, и я уже недоумевал, куда могла деваться эта мисс Маучер, как вдруг, к великому своему изумлению, я увидел почти рядом с собой толстую карлицу, лет так сорока — сорока пяти, с несоразмерно большой головой, белым лицом и плутовскими серыми глазками. У нее были такие коротенькие ручонки, что когда она, желая шутовски приветствовать Стирфорта, хотела приложить согнутый палец к своему курносому носу, то никак не могла это сделать, пока не нагнула головы и не помогла пальцу на полпути встретиться с носом. Двойной ее подбородок был так жирен, что в нем совершенно исчезали завязанные бантом ленты ее шляпки. Шеи и талии у мисс Маучер совсем не имелось, ног тоже почти не было. Она была так мала, что стул служил ей столом, и, стоя подле него, она опустила на сиденье свое сумку.

И вот эта особа, одетая эксцентрично и несколько небрежно, с усилием наклоняя нос к указательному пальцу и держа голову набок, стала строить Стирфорту уморительные рожи, а затем разразилась целым потоком слов.

— Вот вы где, мой бутончик! — шутливо затараторила она, кивая Стирфорту своей огромной головой. — Ах, вы такой скверный мальчик! Как вам не стыдно быть так далеко от родительского дома! Ручаюсь, что тут не без шалости. Вы ведь ловкач, мне хорошо это известно, да и сама я девица не промах, не так ли? Ха-ха-ха!.. Ведь правда, Стирфорт, вы, пожалуй побились бы об заклад, что вы никоим образом не можете меня тут встретить? А вот оказывается, милый мой, я вездесуща — и здесь, и там, и везде, как золотая монета в платке, взятая фокусником у какой-нибудь присутствующей леди: монету эту ловкач умудряется находить во всех углах. Кстати: заговорили о платках и леди... Воображаю, каким утешением вы служите своей дражайшей родительнице, — не правда ли, дорогой мой мальчик?

Во время этой болтовни мисс Маучер развязала ленты своей шляпки, отбросила их назад и уселась на скамеечку у камина, сделав себе из обеденного стола красного дерева нечто вроде навеса.

— Ох, — проговорила она, похлопывая своими коротенькими ручонками по коленям и лукаво посматривая на меня, — что-то очень уж я стала толста, это факт, Стирфорт. Поднимаюсь я по лестнице с таким трудом, словно тащу ведро с водой. А, выплянь я из окна верхнего этажа, — пожалуй, могла бы вам показаться хорошенькой женщиной. Какого вы мнения на этот счет?

— Да где бы я вас ни видел, всюду нахожу хорошенькой, — ответил Стирфорт.

— Ах, бесстыдник вы этакий! — замахала на него карлица сжатым в комочек носовым платком, которым она только что утирала себе лицо. — Не будьте же наглым! Но, даю вам честное слово, за мной еще ухаживают. Не далее как на прошлой неделе была я у леди Митерс. Вот так женщина, скажу я вам: как она сохранилась! Пока я ее ждала, в комнату вошел сам лорд Митерс. Ну и мужчина, как он сохранился! Не хуже своего парика, которому лет десять уже. Тут лорд начал до того увиваться за мной, что я стала уж подумывать, не

придется ли звать, на помощь. Занятный он повеса, только без принципов.

— Я сплетнями не занимаюсь, дорогое мое дитя, — ответила с кривой улыбкой карлица, подмигивая и опять дотрагиваясь носом до пальца. — Какое вам до этого дело? Конечно, вы, непрочь были бы узнать, что делаю я для сохранения ее волос, чем крашу их, какие снадобья употребляю для ее кожи, бровей, и тому подобное. Все это, сокровище мое, вы могли бы узнать от меня, да не на таковскую напали. А знаете, кем был мой прадед?

— Нет.

— Он, милая деточка, был ходатаем по делам, да и происходил из рода ходатаев, так что я уж по наследству получила все их приемы и повадки: меня так легко не поймаете.

Я никогда не видывал, чтобы кто-нибудь обладал таким искусством подмигивания, как мисс Маучер; оно могло быть только сравнено с ее самообладанием. У нее была еще одна удивительная манера: слушая, лукаво склонять набок свою огромную голову, прищуривать один глаз, а другим глазом вращать наподобие сороки. Все это так поразило меня, что я сидел, как вкопанный, вытаращив на нее глаза и, боюсь, забыв при этом правила приличия.

Между тем мисс Маучер, придвинув к себе стул, энергично принялась вытаскивать из сумки (причем каждый раз запускала туда свою короткую ручонку по плечо) множество флаконов, губок, гребней, щеток, кусочков фланели, маленьких щипцов для завивки и всевозможных других инструментов. Все это она нагромоздила целой кучей на стул. Среди этого занятия она вдруг, к моему большому смущению, спросила Стирфорта:

— Как зовут вашего друга?

— Мистер Копперфильд, — ответил Стирфорт. — Он хочет с вами познакомиться.

— Ну что ж, пусть знакомится, он действительно, кажется, этого жаждет, — проговорила она со смехом, вперевалочку направляясь ко мне со своей сумкой.

Когда я, раскланявшись, снова сел, она, поднявшись на цыпочки, чтобы ущипнуть меня за щеку, пропищала:

— Настоящий персик! Как соблазнительно! Обожаю персики! Поверьте, я очень счастлива, что познакомилась с вами, мистер

Копперфильд.

Я ответил, что также рад знакомству с ней и тому, что оно, повидимому, доставляет нам обоим взаимное удовольствие.

— Ах, господи, до чего мы оба с вами вежливы! — воскликнула мисс Маучер, стараясь закрыть как бы от смущения свое большое лицо крошечной ручонкой. — Сколько обмана и фальши в этом мире, не правда ли?

Эта последняя фраза, казалось, относилась к нам обоим, и мисс Маучер, отняв от лица свою ручонку, засунула ее опять в сумку.

— Что хотите вы этим сказать, мисс Маучер? — спросил Стирфорт.

— Ха-ха-ха! — залилась смехом карлица. — А правда, милое мое дитя, какую интересную коллекцию шарлатанов мы собой представляем? — промолвила она, склонив голову набок и глядя одним глазком вверх, в то время как ее ручонка шарила в сумке. — Взгляните-ка, — продолжала она, вынимая из сумки какой-то пакетик: — это обрезки ногтей русского князя... я его зову «азбука шиворот-навыворот», до того перепутаны все буквы его фамилии.

— Этот русский князь ваш клиент, что ли? — спросил Стирфорт.

— Конечно, голубчик, — я два раза в неделю стригу ему ногти на руках и ногах.

— Надеюсь, он вам хорошо платит? — бросил Стирфорт.

— Дорогое дитя, платит он так, как говорит, говорит же он в нос, — ответила мисс Маучер. — Знаете, ни одна бритва не касалась его физиономии. Посмотрели бы вы на него: вот какие отрастил себе усищи, рыжие от природы и черные благодаря искусству.

— Конечно, благодаря вашему искусству, заметил Стирфорт.

Мисс Маучер утвердительно мигнула.

— Видите ли, ему пришлось обратиться ко мне. Никакому без этого было не обойтись, — здешний климат оказал влияние на краску его усов. В России она держалась прекрасно, а тут все пошло к чорту. Невозможно было видеть князя в более запущенном виде: ни дать ни взять — старое, заржавленное железо.

— Это его вы имели в виду, когда только что говорили о шарлатанах? — спросил Стирфорт.

— Не прикидывайтесь простачком, мой мальчик, — ответила мисс Маучер, энергично тряся головой. — Я сказала, что мы все

шарлатаны, и в доказательство показала вам обрезки княжеских ногтей. Вот эти самые обрезки доставили мне среди английского дворянства гораздо больше клиентов, чем все мои таланты, вместе взятые. Княжеские ногти всегда при мне и служат для меня лучшей рекомендацией. Подумайте только, уж если мисс Маучер может стричь княжеские ногти, то, видимо, она знаток своего дела. Знаете, я раздаю даже эти ногти молодым леди, они, кажется, прячут их в свои альбомы. Ха-ха-ха! Честное слово, вся социальная система, как говорят джентльмены, произносящие речи в парламенте, зиждется на княжеских ногтях! — закончила она, пытаясь скрестить на груди ручки и трясая своей большущей головой.

Стирфорт расхохотался так заразительно, что и я последовал его примеру. А мисс Маучер все продолжала качать своей склоненной набок головой, прищулив один глаз и вращая, как сорока, другим.

— Однако пора и за дело, — промолвила она, хлопнув себя по коленкам и поднимаясь с места. — Ну-ка, Стирфорт, давайте осмотрим вашу полярную зону и убедимся, что там творится!

Тут, выбрав два или три инструмента и маленький флакончик, она, к моему удивлению, осведомилась, выдержит ли ее стол. Стирфорт ответил, что выдержит, и она придвинула стул и, попросив у меня позволения опереться на мою руку, ловко взобралась на стол, словно на сцену. Обосновавшись там, она проговорила самым серьезным тоном:

— Джентльмены! Если кто-либо из вас видел хоть кончик моей ножки, скажите, — и я, придя домой, немедленно же покончу с собой.

— Я ничего не видел, — заявил Стирфорт.

— Я также ничего не видел, — прибавил я.

— Ну и прекрасно! — воскликнула мисс Маучер. — В таком случае я, пожалуй, согласна еще пожить. А теперь предавайте вашу главу в мои руки.

Это приглашение относилось к Стирфорту, и он уселся на стул спиной к столу, обратив ко мне свое смеющееся лицо. Видимо, он подставил свою голову карлице исключительно для забавы, несколько не нуждаясь в ее услугах. Действительно, трудно себе представить что-либо более курьезное, чем вид мисс Маучер, когда она, нагнувшись над головой Стирфорта, рассматривала в большое

увеличительное стекло, вынутое ею из кармана, его роскошные каштановые кудри.

— Ну, вы, конечно, красивый малый, — заявила мисс Маучер после кратковременного исследования головы моего друга, — но знайте: не будь меня, вы в год получили бы лысину величиной с тонзуру^[68] католического монаха. А вот теперь, мой юный друг, дайте мне только полминуты пополировать вашу головку, и кудри ваши застрахованы на десять лет.

С этими словами она смочила жидкостью из флакончика кусочек фланели и щеточку и принялась самым энергичным образом скрести и расчищать ими голову Стирфорта, не переставая при этом все время болтать с ним безумолку.

— Жаль очень, что в этих местах у меня совсем нет клиентов, — между прочим сказала мисс Маучер, — из-за этого приходится уезжать отсюда. Представьте, Джемми, во всем Ярмуте я не встретила ни одной хорошенькой женщины.

— Неужели? — промолвил Стирфорт.

— Ни тени даже хорошенькой женщины, — уверяла мисс Маучер.

— А мы вот с вами могли бы ей показать не только тень, а самую красавицу. Правда, Маргариточка?

— Правда, правда! — отозвался я.

— Вот как! — воскликнула карлица, пристально глядя на меня, а затем на Стирфорта. — Так вот оно что!.. Так вот оно что!..

Первое из этих восклицаний, казалось, относилось к нам обоим, а второе уж к одному Стирфорту.

Ожидая от нас дальнейших пояснений, мисс Маучер продолжала обрабатывать темя моего друга, склонив при этом свою большую голову набок и поглядывая одним глазком вверх, словно оттуда она могла получить интересующие ее сведения.

— Это ваша сестрица, мистер Копперфильд? — наконец заговорила она, продолжая глядеть вверх. — Не правда ли, я угадала?

— Нет, — сказал Стирфорт, прежде чем я успел ответить. — Ничего подобного. И, если я не ошибаюсь, мистер Копперфильд даже очень увлекался ею.

— Отчего же, спрашивается, теперь он не увлекается ею? — допытывалась мисс Маучер. — Неужели он такой непостоянный? Как

ему не стыдно! Неужели он перелетал с цветка на цветок, пока Полли не оплатила ему такой же монетой? Ведь, наверно, ее зовут Полли?

Карлица задала мне этот вопрос так неожиданно и при этом так испытующе на меня посмотрела, что я совсем смутился.

— Нет, мисс Маучер, — пробормотал я, — ее зовут Эмилией.

— Вот как! Так, так!.. — воскликнула она снова совершенно с той же интонацией, как и в первый раз. — Однако какая же я болтушка! Мистер Копперфильд, скажите по правде, вы меня не считаете слишком легкомысленной?

В ее тоне и взгляде мне почудилось что-то неприятное, словно какой-то оскорбительный для маленькой Эмилиии намек, поэтому я сказал гораздо более серьезным тоном, чем мы все говорили до сих пор:

— Девушка, о которой идет речь, так же безупречна, как и красива. Она помолвлена с чудесным, достойным человеком из своей же среды. Я так же уважаю ее за здравый смысл, как и восхищаюсь ее красотой.

— Молодец, Копперфильд! Прекрасно сказано! Bravo, bravo! — закричал Стирфорт. — А теперь слушайте, дорогая Маргаритка, я хочу утолить жажду любопытства этой крошечной женщины, и так утолить, чтобы ей все решительно стало ясно. Ну так вот, мисс Маучер! Красотка находится в настоящее время в учении в магазине траурных принадлежностей «Омер и Джорам», в здешнем городе. Запомнили, правда?.. «Омер и Джорам». Помолвлена она со своим двоюродным братом, при крещении получившем имя Хэма. Фамилия его — Пиготти. Он в этом же городе работает на верфи. Красотка живет у родственника — имени не знаю, а фамилия Пиготти. Большую часть времени родственник этот пребывает в море. Местожителство — также здешний город. Девушка эта — самая прелестная, самая восхитительная на свете маленькая фея. Мы оба с моим другом очарованы ею. К этому всему я мог бы еще кое-что добавить, если б не боялся рассердить своего друга: мог бы сказать, что красотка, выходя замуж за такого малого, роняет себя, — он ей совсем не пара. Без всякого сомнения, она могла бы гораздо лучше выйти замуж. Клянусь, она рождена быть знатной леди.

Пока Стирфорт все это рассказывал неторопливо и отчетливо, мисс Маучер слушала его с величайшим вниманием, склонив голову

набок и глядя одним глазком вверх, как бы ожидая услышать скрытый смысл того, что говорилось. Когда друг мой кончил, она сразу снова оживилась и затрещала с удивительной быстротой.

— И это все?! — воскликнула крошка, подстригая бакенбарды Стирфорта маленькими ножницами, так и сверкавшими вокруг его головы. — Чудесно! Настоящая сказка! Ее следовало бы — не правда ли? — закончить так: — «А потом они жили долго и счастливо». Ах, кстати, вы знаете эту игру? Я люблю мою милочку, потому что она прелестна; я ненавижу ее, потому что она невеста другого. Я покорил ее, посулив роскошь. Я вел с ней разговоры о побеге. Имя ее Эмилия, живет она на востоке. Кто это? Ха-ха-ха!.. Правда, мистер Копперфильд, я очень легкомысленная?

Взглянув на меня с необыкновенным лукавством, она, не ожидая ответа, снова затрещала:

— Ну, теперь готово! Могу сказать, что ни у одного повесы никогда голова не была доведена до такого совершенства, как ваша, Стирфорт! А что делается внутри этой башки, так это для меня ясно, как день! Слышите, сокровище мое: ясно, как день, — повторила она, заглядывая ему в лицо. — А теперь проваливайте (так говорят у нас при дворе). И если мистер Копперфильд сядет на ваше место, я готова и над ним потрудиться.

— Что вы скажете на это, Маргаритка? — смеясь, спросил Стирфорт, уступая место. — Не хотите ли усовершенствовать свою наружность?

— Благодарю вас, мисс Маучер, уж лучше мы займемся этим как-нибудь в другой раз, — отвечал я.

— Не отказывайтесь, — проговорила она, рассматривая меня с видом знатока, — вам, например, не мешало бы немного удлинить брови.

— Благодарю вас. В другой раз, — повторил я.

— Их надо немного протянуть к вискам, — продолжала настаивать мисс Маучер. — На что потребуется всего каких-нибудь две недели. Желаете?

— Нет, благодарю вас, не сейчас.

— Тогда, быть может, сделать вам прическу? Тоже нет?.. Ну, так давайте произнесем приговор над вашими бакенбардами. Пожалуйте...

Тут я не мог не покраснеть, задетый за живое; а мисс Маучер, убедившись, что в данную минуту я не склонен испытать на себе всю силу ее искусства и меня даже не соблазняет флакончик, который она для большей убедительности все вертела перед моими глазами, сказала, что займется мною в другой раз, и попросила меня помочь ей спуститься с занимаемых высот. Я подал руку, она очень проворно прыгнула на пол, и, надев шляпку, стала завязывать ленты под своим двойным подбородком.

— А сколько вам следует? — спросил Стирфорт.

— Цыпочки мои, чертовски мало: всего каких-нибудь пять шиллингов, — ответила мисс Маучер. — Но не кажусь ли я вам легкомысленной, мистер Копперфильд?

Я вежливо ответил: «Нисколько», но, видя, как она, подбросив полученные монеты, поймала их, положила в карман, а затем сильно хлопнула по этому карману, подумал, что и вправду она довольно-таки легкомысленна.

— Это вот моя касса, — пояснила мисс Маучер, подходя к стулу и начиная укладывать обратно в сумку ворох разных мелких вещей. — Все ли тут мои доспехи? Как будто так, — проговорила она. — А теперь, хоть я и прекрасно знаю, что этим разбиваю ваши сердца, но все-таки, увы, принуждена оставить вас. Что делать! Призовите на помощь все свое мужество и постарайтесь перенести этот удар! До свиданья, мистер Копперфильд! Берегите себя, Стирфорт! Ах, господи, как я с вами заболталась! Это вы винуваты, повесы вы этакие. Ну, прощаю вам. До свиданья, до свиданья, утятки мои!

С сумкой на руке, переваливаясь, как утка, и не переставая трещать, мисс Маучер добралась до дверей. Тут она еще спросила нас, не желаем ли мы получить от нее на память по локону; затем, приложив нос к пальцу и как бы комментируя этот жест, с ужимкой сказала: «А ведь правда, я очень легкомысленная...» и скрылась за дверью.

Стирфорт начал так хохотать, что я невольно принужден был присоединиться к нему, хотя и был далеко не уверен, стал ли бы я смеяться, не зарази он меня своим весельем. Когда мы вдоволь нахохотались, Стирфорт рассказал мне, что у мисс Маучер огромное

знакомство и множеству людей она оказывает самые разнообразные услуги.

— Многие, — прибавил он, — смотрят на нее как на чудачку, но в действительности она умна и проницательна, как бес, — умнее и проницательнее всех, кого я только знаю. Про мисс Маучер можно было бы, пожалуй, сказать, что у нее ручонки коротки, да ум долог.

По словам Стирфорта, карлица была недалеко от истины, уверяя, что она вездесуща. Действительно, мисс Маучер то и дело совершает набеги из столицы на провинцию, отыскивает там себе бесчисленных клиентов и в результате знает решительно всех и вся. Я спросил у Стирфорта, что она за человек по существу, но мой друг, пропустив вопрос этот мимо ушей, продолжал рассказывать мне о ее ловкости и получаемых ею больших доходах. Вообще весь этот вечер карлица была главной темой наших разговоров, и, когда я уже уходил, Стирфорт, поднимаясь по лестнице к себе, крикнул мне, передразнивая мисс Маучер: «До свиданья, утенок!»

Подойдя к дому мистера Баркиса, я был удивлен, увидев разгуливавшего перед дверью Хэма, но удивление мое возросло еще больше, когда я узнал, что здесь в доме маленькая Эмилия. Я, разумеется, сейчас же спросил Хэма, почему он, вместо того, чтобы прогуливаться здесь, не входит в дом.

— Видите ли, мистер Дэви, — каким-то нерешительным тоном ответил Хэм. — Эмилия тут говорит с одной особой.

— Вот именно потому, Хэм, мне и кажется, что вам следовало бы присутствовать при этом разговоре, — заметил я улыбаясь.

— Оно, конечно, можно сказать, так должно было быть, да здесь, мистер Дэви, дело совсем особенное, — и, понизив голос, Хэм добавил очень серьезным тоном: — Тут вопрос идет об одной молодой женщине, которую Эмилия знавала раньше, но с которой ей больше не следует знаться.

Когда я услышал это, у меня промелькнула мысль, не та ли это самая женщина, которая шла вслед за ними несколько часов тому назад.

— Это несчастная женщина, — продолжал рассказывать Хэм, — которую весь город положительно готов затоптать в грязь. От нее бегут с большим страхом, чем от привидения на кладбище.

— Не ее ли, Хэм, видел я сегодня вечером на берегу, вскоре после того, как вы прошли?

— Так вы говорите, она шла за нами следом, да? — спросил Хэм. — Значит, это она самая. Теперь я понимаю, как могло случиться, что она подошла к окошечку в комнату Эмми, как только та вошла к себе со свечой. Она постучала в окно и прошептала: «Эмилия, Эмилия, ради Христа, сжальтесь надо мной! Я ведь когда-то была такая же, как и вы». А ведь такие слова, мистер Дэви, слышать равнодушно нельзя.

— Конечно, Хэм. Что же сделала тут Эмилия?

— Эмилия сказала: «Марта, вы? Неужели это вы, Марта?» Надо вам сказать, они немало дней проработали вместе в магазине мистера Омера.

— Прекрасно припоминаю ее теперь! — воскликнул я. — Да, да, это одна из тех девушек, которых я еще мальчиком видел там.

— Это Марта Эндель, — сказал Хэм. — Она на два-три года старше Эмили, но в школе они учились вместе.

— Я никогда не слышал даже имени этой девушки, — заметил я, — просто как-то невольно перебил вас.

— Да мне, мистер Дэви, в сущности, и рассказывать больше нечего, тут все было в словах: «Эмилия, ради Христа, пожалейте меня, — ведь я была такая же, как и вы». Она хотела поговорить с Эмилией, а та не могла повидаться с нею у себя, так как обожающий ее дядя был дома, а он ни за что на свете... поймите только, мистер Дэви, что дядя, при всей своей великой доброте и золотом сердце, не согласился бы и за все сокровища, скрытые на дне моря, видеть рядом со своей маленькой Эмми эту женщину.

Я мгновенно почувствовал, как и сам Хэм, что это действительно было немислимо.

— Так вот, — продолжал Хэм, — Эмилия написала карандашом записку и передала ее Марте через окно, сказав: «Отнесите эту записку моей тетке, и она из любви ко мне приютит вас у своего очага, пока дядя не уйдет в море и я не смогу притти к вам». Потом все, о чем я говорил вам, она рассказала мне и просила проводить ее сюда. Что же мне было делать?.. Конечно, Эмили не следовало бы знаться с такой женщиной, но я не силах отказать ей, когда она просит меня со слезами на глазах.

Тут он с большой осторожностью вынул из внутреннего кармана своей грубой куртки хорошенький кошелечек.

— И если, мистер Дэви, я не был уж в силах устоять против ее слез и повел ее сюда, как мог я отказаться нести вот это? — проговорил Хэм, с нежностью глядя на крошечный кошелек, лежащий на его грубой ладони. — Как отказать, зная, для чего он ей нужен?.. Настоящая игрушка, — прибавил он с умилением, продолжая смотреть на кошелек, — да и денег то там у моей дорогой Эмми кот наплакал!

Когда Хэм спрятал обратно кошелек, я горячо пожал ему руку, — это, по-моему, больше всяких слов должно было сказать о моих к нему чувствах, — и мы с ним еще несколько минут ходили молча взад и вперед перед домом.

Дверь открылась, вышла моя Пиготти и поманила Хэма войти в дом. Я хотел было остаться пока на улице, но Пиготти догнала меня и настояла, чтобы я также вошел. Я решил никому на глаза не показываться, но так как Эмилия и Марта сидели как раз в той самой кухоньке с изразцовым полом, о которой я раньше уже упоминал, а дверь с улицы открывалась прямо туда, то я, не успев опомниться, сразу очутился среди них.

На полу у камина сидела та женщина, которую я недавно видел на берегу. Из ее позы я заключил, что Эмилия только что встала со стула, а до того голова этой несчастной, вероятно, лежала у нее на коленях. Я почти не мог рассмотреть лица женщины, так как она, должно быть нарочно, прикрыла его своими растрепанными волосами, но все-таки видно было, что она молода и красива. И Пиготти и Эмилия — обе были заплаканы. Царило полное молчание, и только голландские часы подле буфета, казалось, тикали вдвое громче обыкновенного.

Первой заговорила Эмилия.

— Марте хотелось бы поехать, в Лондон, сказала она Хэму.

— Почему в Лондон? — спросил тот.

Навсегда запомнился мне взгляд, который он бросил при этом на сидевшую на полу женщину, в этом взгляде было и сострадание и также неудовольствие, что она — в обществе его любимой. Оба они, и Хэм и Эмилия, говорили почти шопотом, словно Марта была больная.

— Там лучше, чем здесь, — вдруг громко раздался третий голос — голос Марты, попрежнему неподвижно сидевшей на полу. — Там ни одна душа не знает меня, а здесь — все.

— Что же она там будет делать? — снова спросил Хэм.

Женщина подняла голову и мрачно посмотрела на него, потом снова опустила ее и вдруг, как будто пронзенная пулей, ухватилась за шею правой рукой.

— Она постарается вести себя хорошо, — сказала маленькая Эмилия. — Вы не знаете всего того, что рассказала она нам. Ведь правда, тетушка, как ему знать это?

Пиготти сочувственно кивнула головой.

— Я буду стараться вести себя хорошо, — проговорила Марта, — если только вы поможете мне выбраться отсюда. Хуже того, что я здесь, там я не могу быть, а лучше — могу. О, дайте мне уйти с этих улиц, где весь народ знает меня с самого детства! — вся дрожа, закричала она.

Эмилия протянула руку Хэму, и я видел, как он положил в нее небольшой парусиновый мешочек. Приняв его за свой кошелек, она сделала шаг или два вперед, но, заметив ошибку, вернулась к Хэму, который стоял подле меня, и молча показала ему мешочек.

— Это все ваше, Эмилия, — услышал я его тихий голос. — Дорогая моя, у меня теперь нет ничего на свете, что не было бы вашим. Деньги могут доставить мне радость только тогда, когда они вам нужны.

Снова слезы заблестели на глазах Эмилии; она молча повернулась и подошла к Марте. Не знаю уж, сколько она дала ей, только видел, как, нагнувшись над нею, она положила деньги ей за пазуху. Прошептав что-то, она спросила, достаточно ли этого.

— Более чем достаточно, — ответила Марта и, схватив руку Эмилии, стала целовать ее.

Затем несчастная женщина встала, закуталась в свою шаль так, что почти не было видно лица, и, громко рыдая, пошла к выходу. Перед тем как отворить дверь, она на мгновение остановилась, как бы собираясь что-то сказать, но так ничего и не сказала и, продолжая тихонько рыдать, вышла из кухни.

Когда дверь за ней закрылась, Эмилия как-то растерянно посмотрела на нас троих и вдруг, закрыв лицо руками, зарыдала.

— Полно, Эмилия! — ласково проговорил Хэм, нежно глядя ее по плечу. — Полно, дорогая, не надо плакать, моя красоточка!

— Ах, Хэм! — воскликнула девушка, горько плача. — Я вовсе не такая хорошая, как мне следовало бы быть. Порой я чувствую себя такой неблагодарной!

— Вы хорошая, да, да, хорошая, — утешал ее Хэм.

— Нет! Нет! — крикнула Эмилия, качая головой и рыдая. — Говорю вам, я не такая хорошая, как должна была бы быть, далеко не такая, далеко...

И она рыдала так, что казалось — сердце ее готово было разорваться на части.

— Я слишком злоупотребляю вашей любовью, я знаю это, — с рыданием говорила она, — я часто бываю недобра к вам, неровна, тогда как мне следовало бы быть совсем иной. Вы совсем по-другому со мной... Почему же я такая гадкая, неблагодарная, — я, которая должна бы только и думать о том, как вас сделать счастливым?..

— Да вы это и делаете, дорогая моя, — утешал ее Хэм. — Я счастлив, когда вижу вас, счастлив целый день только потому, что могу думать о вас.

— Ах, этого недостаточно! — закричала Эмми. — Вам это кажется потому, что вы сами хороший, а не я хороша. О, дорогой мой, поверьте, вы были бы гораздо счастливее, полюби вы другую девушку, более спокойную, более достойную вас, для которой вы были бы всем на свете, а не такое изменчивое, пустое, легкомысленное создание, как я...

— Бедное нежное сердечко! — прошептал Хэм. — Эта Марта совсем взбудоражила ее.

— Тетечка, милая, идите поближе ко мне, дайте мне прижаться к вам! — рыдая, промолвила Эмилия. — Ах, тетечка, какой несчастной чувствую я себя сегодня! Я не такая хорошая, как нужно, — знаю, что не такая...

Пиготти бросилась к ней, а Эмилия, посадив ее на стул у камина, стала перед ней на колени и, обняв ее за шею, взволнованно глядя на нее, закричала;

— Тетечка, молю вас, попытайтесь помочь мне! Хэм, дорогой, попробуйте и вы помочь мне, и вы тоже, мистер Давид, в память прошлых дней... Мне так хочется быть лучше, чем я есть! Так хочется

быть в тысячу раз благодарнее, так хочется глубже сознавать, какое это великое счастье быть женой чудесного человека и вести спокойную, хорошую жизнь! Боже мой, боже мой! Сердце мое, сердце!..

Тут она спрятала свое лицо на груди моей старой няни и, прекратив свои жалобы; в которых было еще так много детского, как и в ее манере себя держать и в самой ее наружности, тихо плакала, а няня гладила и ласкала ее, как малого ребенка.

Понемногу Эмми стала успокаиваться, и тогда мы все принялись утешать ее, подбадривая и несколько даже подшучивая над нею. Она приподняла голову, заговорила с нами, а потом даже улыбнулась, рассмеялась и наконец, несколько сконфуженная происшедшей сценой, села рядом с тетюшкой. Пиготти привела в порядок ее растрепанные кудри, вытерла ей глаза, оправила платье, чтобы, когда Эмми вернется домой, дядюшке и и голову не могло притти, что любимица его плакала.

В этот вечер я увидел то, чего мне до сих пор видеть не приходилось: Эмилия целомудренно поцеловала своего жениха в щеку и так прижалась к нему, словно видела в нем своего защитника.

Когда при слабом свете молодого месяца они вместе направились домой и я, глядя им вслед, думал о том, какая огромная разница между этим уходом и уходом Марты, я заметил, как Эмми, обхватив обеими руками руку жениха, все так же прижималась к нему.

Глава XXIII

Я ВЫБИРАЮ СЕБЕ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проснувшись на следующее утро, я долго думал о маленькой Эмилии и о ее переживаниях после ухода Марты. Ни к кому не чувствовал я такой нежности, как к этому прелестному существу, подруге моих детских лет, которого я тогда, еще мальчиком, беззаветно любил. В этом я был убежден всю мою жизнь и умру с этим убеждением. И теперь мне казалось, что, став невольным свидетелем ее интимных переживаний, я обязан хранить их в строжайшей тайне. Рассказать о них даже такому другу, как Стирфорт, было бы, по-моему, поступком грубым, недостойным и меня самого и нашего чистого детства, обаяние которого в моих глазах и поныне окружает своим ореолом мою бывшую маленькую подругу. Поэтому я твердо решил хранить тайну в глубине своей души, и она, эта тайна, казалось мне, придавала новую прелесть маленькой Эмми.

За завтраком мне подали письмо от бабушки. Так как в нем был затронут вопрос, по которому, я считал, Стирфорт мог дать мне полезный совет, я уже заранее с восторгом предвкушал, как мы будем с ним это обсуждать дорогой в Лондон. В данную минуту нам было не до этого — надо было проститься со всеми нашими здешними приятелями. Не последнее место среди них занимал мистер Баркис; он искренне горевал о нашем отъезде, и я нисколько не сомневаюсь, что он снова охотно открыл бы свой заповедный сундучок, снова извлек бы оттуда еще одну золотую гинею, если б такую ценою он смог удержать нас в Ярмуте хотя бы еще на двое суток. Мистер Пиготти и его семейство были тоже очень огорчены нашим отъездом. Торговый дом «Омер и Джорам» в полном составе вышел на улицу проститься с нами. А Стирфорта пришлось проводить столько рыбаков, наперебой предлагавших отнести на дилижанс наши чемоданы, что будь у нас багаж целого полка, то и тогда не пришлось бы искать носильщиков. Словом, мы покинули Ярмут, оставив по себе прекрасную память и общее сожаление, что уезжаем.

— Вы долго пробудете здесь, Литтимер? — спросил я его, в то время как он, в ожидании нашего отъезда, стоял подле дилижанса.

— Нет, сэр, — ответил он, — вероятно, не очень долго.

— Да этого он еще и сам сказать не может, — беспечным тоном проговорил Стирфорт. — Ему дано определенное поручение, и он должен его выполнить.

— Не сомневаюсь, что оно будет им выполнено, — заметил я.

Литтимер дотронулся до своей шляпы, как бы благодаря меня за хорошее о нем мнение, и я опять сразу почувствовал себя не старше восьми лет.

Дилижанс тронулся. Литтимер еще раз прикоснулся к своей шляпе, желая нам доброго пути, и остался стоять на мостовой, столь же таинственный, полный достоинства, как какая-нибудь египетская пирамида. Некоторое время мы ехали молча, не проронив ни единого слова. Стирфорту, против обыкновения, не хотелось болтать, а я задумался о том, когда мне снова удастся попасть в родные места и какие перемены произойдут за это время и с ними и со мной. Вдруг Стирфорт, мгновенно стряхнув свою задумчивость, дернул меня за руку и весело сказал (такие быстрые перемены в настроении были ему вообще присущи):

— Что же это вы, Давид? Ну-ка, откройте рот! Расскажите, от кого это письмо, полученное вами за завтраком?

— Да это от моей бабушки, — ответил я, вынимая письмо из кармана.

— Что же хорошенького она вам пишет?

— Бабушка напоминает мне, Стирфорт, о том, что я ведь отправился путешествовать с целью посмотреть, что делается на свете, и обдумать, кем бы я хотел быть.

— И, разумеется, вы делали это?

— То-то и есть, что я не особенно этим занимался. Признаться, к стыду моему, я совсем забыл об этом.

— Ну, так исправляйте же теперь свою оплошность, — окапал Стирфорт, — поглядывайте хорошенько вокруг себя. Вот, например, посмотрите направо — и вы увидите болотистую равнину, посмотрите налево, вперед, назад — перед вами будет все та же самая картина.

Я рассмеялся и заявил, что, к сожалению, окружающие виды, быть может, из-за их однообразия, не будят во мне ровно никаких

мыслей относительно выбора профессии.

— А что же говорит по этому поводу ваша бабушка? — спросил Стирфорт, взглянув на письмо, которое я держал в руке.

— Она спрашивает меня, какого я мнения о том, чтобы стать проктором. А вы, Стирфорт, что вы думаете относительно этого?

— Не знаю уж, право, что вам сказать, — ответил Стирфорт равнодушно-спокойным тоном. — Мне думается, что вы можете быть проктором так же, как и кем-либо иным.

Я тут не мог не рассмеяться, видя, с каким глубочайшим безразличием мой друг относится вообще ко всем профессиям на свете. Я высказал ему это, а затем спросил:

— А что, в сущности, представляет собой проктор, Стирфорт?

— Это, видите ли, что-то вроде стряпчего по духовным делам. Проктор играет в допотопном учреждении, называемом «Докторской общиной», примерно, такую же роль, какую обыкновенный стряпчий играет в гражданских судах. Должность проктора, по-моему, следовало бы упразднить лет двести тому назад. Вам же яснее всего станет, что такое проктор, когда я расскажу вам в нескольких словах, что представляет собой «Докторская община». Начать с того, что это присутственное место находится у чорта на куличках, где-то по соседству с кладбищем святого Павла. И вот в этом уединенном месте прокторы разбирают дела по так называемому церковному праву. При этом, в силу отживших чудовищных парламентских законов, выкидываются всевозможные трюки. О существовании этих законов три четверти смертных не имеют ни малейшего представления, а остальная четверть убеждена, что законы эти были откопаны в окаменелом состоянии при королях Эдуардах. Эта самая «Докторская община» испокон веков обладает монопольным^[69] правом ведать дела, связанные с завещаниями и брачными контрактами, а также разбирает всякие тяжёбые дела разных морских судов.

— Чепуху несете, Стирфорт! — воскликнул я. — Не уверите же вы меня, в самом деле, что может быть что-либо общее между делами церкви и флота!

— Да я и не думаю уверять вас в этом, дорогой мой мальчик, — ответил Стирфорт, — я только хочу вам сказать, что те и другие дела разбираются прокторами в этой «Докторской общине». Если вы когда-нибудь зайдёте туда, то будете присутствовать при том, как эти

прокторы, употребляя, часто невпопад, массу морских терминов, разбирают, скажем, дело о том, как судно «Ненси» потопило судно «Сара Джен», или рассматривают претензии к Ост-Индской компании мистера Пиготти и других, ярмутских рыбаков, желающих получить вознаграждение за то, что они в бурю доставили судну «Нельсон», принадлежащему этой компании, с берега якорь и канаты. А попадете вы в эту самую «Докторскую общину» другой раз, так услышите, что там уже идет дело какого-нибудь священника, обвиняемого в неприличном его сану поведении. Причем вы увидите, что тот самый проктор, который является судьей в морских делах, в данном деле выступает защитником, а тот, кто тогда был защитником, теперь играет роль судьи. Не правда ли, совсем как на сцене: сегодня проктор играет одну роль, а завтра — другую. Но как бы то ни было, все эти театральные представления, разыгрываемые прокторами при самой избранной публике, очень выгодны, — их работа прекрасно оплачивается.

— Так скажите, Стирфорт, — спросил я с некоторым недоумением, — проктор и адвокат — это не одно и то же?

— Нет, — ответил он, — это две вещи разные. Адвокаты — это знатоки гражданского права, получающие степень доктора прав при университете, — вот почему, между прочим, я несколько и в курсе всего этого. Прокторы же пользуются услугами адвокатов, образуя с ними сплоченную, всесильную компанию, загребающую деньги. Одним словом, я советовал бы нам, Давид, не пренебрегать этой «Докторской общиной»: она не только дает своим прокторам хороший доход, но те еще очень кичатся своим положением, считая его необыкновенно почетным.

Зная манеру моего друга говорить обо всем шуточным, легкомысленным тоном, я не придавал большой веры его словам, но в то же время древность и важность этой «Докторской общины» невольно внушали мне к ней уважение, я уже непрочь был согласиться на бабушкино предложение. Надо сказать, что она вовсе не настаивала на этом, предоставляя мне полную свободу решать самому. Бабушка откровенно писала мне, что мысль эта пришла ей в голову совершенно случайно, когда она явилась в «Докторскую общину» к своему проктору, для того чтобы сделать завещание в мою пользу.

— Вот это, во всяком случае, похвально со стороны вашей бабушки, — заметил Стирфорт, когда я сказал ему, что она сделала меня своим наследником, — и требует поощрения. Да, Маргаритка, мой совет вам — благосклонно принять эту должность в «Докторской общине».

Тут я твердо решил так и поступить. Затем я сообщил моему другу, что, судя по бабушкиному письму, она ждет меня в Лондоне, где на неделю сняла помещение в маленькой гостинице в квартале Линколн-Фильд только потому, что там была каменная лестница и выход на крышу: ведь бабушка моя, — пояснил я, — глубоко убеждена в том, что нет дома в Лондоне, которому не грозил бы каждую ночь пожар.

Ехали мы очень весело, подчас возвращаясь к разговорам о «Докторской общине» и о том времени, когда я стану проктором, причем все это мой друг изображал в таком забавном, комическом виде, что оба мы с ним не переставали хохотать.

Когда мы добрались до Лондона, Стирфорт отправился к себе домой, пообещав через два дня побывать у меня, а я направился в гостиницу на Линколн-Фильде, где бабушка еще не ложилась спать и ждала меня с ужином.

Возвратись я из кругосветного путешествия, радость наша с бабушкой и тогда не могла бы быть больше, чем при этой нашей встрече. Бабушка просто плакала от радости, обнимая меня; делая вид, что смеется, она сказала, что совершенно не сомневается в том, что будь жива моя матушка, эта маленькая глупышка, наверное, сейчас проливали бы слезы.

— Как жаль, бабушка, что вы не взяли с собой мистера Дика! — воскликнул я. — Я этим очень огорчен. А, Дженет! Как поживаете?

Пока Дженет, приседая, справлялась о моем здоровье, я заметил, что лицо бабушки совсем вытянулось.

— Я тоже очень жалею об этом, — проговорила она, почесывая переносицу. — Знаете, Трот, с тех пор как я здесь, я просто не нахожу себе места.

Прежде чем я успел спросить у нее, почему она в таком волнении, бабушка, с видом грустной решимости, положив руку на стол, продолжала:

— Я, видите ли, убеждена, что мистер Дик при своем характере не в состоянии справиться с ослами, на это у него несомненно не хватит энергии. Его мне следовало взять сюда с собой, Дженет же оставить дома, — тогда, быть может, я была бы спокойнее. А теперь я уверена, что сегодня ровно в четыре часа осел вытоптал мою лужайку, — добавила бабушка торжественным тоном: — У меня как раз в этот момент с головы до ног пробежала дрожь, и я знаю, что это был осел.

Я старался утешить бабушку, как только мог, но она отвергала все мои утешения.

— Нет, нет и не говорите мне, — я знаю даже, какой именно. Это осел с обрубленным хвостом, на котором тогда ехала сестрица вашего убийцы-отчима. В Дувре нет осла, который по всей наглости был бы так невыносим мне, как это животное, — докончила бабушка, стукнув кулаком по столу.

Дженет отважилась сказать бабушке, что она напрасно беспокоится, так как ей кажется, что этот самый осел занят перевозкой песка и щебня и потому бродить по заповедной площадке никак не может, но бабушка ничего не хотела слышать.

Нам был подан хороший и даже совершенно горячий ужин, хотя бабушкино помещение и находилось очень далеко от кухни, чуть ли не на самом верху. Уж не знаю, чем руководствовалась бабушка при выборе этого помещения, быть может, она желала быть ближе к выходу на крышу. Ужин состоял из жареной курицы, бифштекса и овощей. Все это было очень вкусно, и я воздал всему должное. Но бабушка, у которой были свои собственные воззрения на лондонские продукты, почти ничего не кушала.

— Мне что-то кажется, — заметила она, — что эта злополучная курица вылупилась из яйца и весь свой век прожила в подвале. Хочу надеяться, что бифштекс, по крайней мере, из говядины, но и в этом я далеко но уверена. По-моему, в Лондоне, кроме грязи, все поддельное.

— А вы не думаете, бабушка, что эта курица могла быть привезена из деревни? — скромно заметил я.

— Конечно, нет, — ответила бабушка. — Лондонские купцы такие мошенники, что, поверьте, им не доставило бы ни малейшего удовольствия продать что-либо покупателю, не обманув его.

Я не пытался вовсе опровергать это, а продолжал уписывать за обе щеки прекрасный ужин, чем доставил бабушке большое удовольствие.

Когда убрали со стола, Дженет помогла бабушке причесать волосы, надеть ночной чепчик, более нарядный, чем обыкновенно (на случай пожара, как объяснила бабушка), и подобрать платье выше колен; это бабушка всегда делала, чтобы перед отходом ко сну хорошенько согреть себе ноги. Затем, согласно заведенному порядку, от которого не допускалось даже самого ничтожного отступления, я приготовил бабушке стакан горячего белого вина с водой и, тонко нарезав длинные кусочки хлеба, поджарил их на огне. Сделав для бабушки все, что ей было нужно, Дженет ушла, а мы остались вдвоем у камина коротать вечер. Бабушка сидела против меня, попивала горячее вино с водой и кушала поджаренные кусочки хлеба, предварительно обмокнув их в вино. Она ласково поглядывала на меня из-за оборок своего ночного чепца.

— Ну что, Трот, — начала она, — какого вы мнения относительно карьеры проктора? Или, быть может, вы еще не обдумали этого вопроса?

— Наоборот, дорогая бабушка, я много думал над этим и много говорил по этому поводу со Стирфортом. Карьера проктора мне очень нравится, чрезвычайно мне по душе.

— Ну, это меня радует.

— Одно только меня смущает, бабушка...

— Что именно, Трот?

— А то, бабушка, что из разговоров со Стирфортом я понял, что в эту корпорацию прокторов вообще трудно попасть, и потому я боюсь, что мое поступление обойдется очень дорого.

— Определить вас туда будет стоить ровно тысячу фунтов стерлингов, — заявила бабушка.

— Так видите, дорогая бабушка, — сказал я, придвигая свой стул поближе к ее креслу, — вот это именно очень смущает меня. Ведь тысяча фунтов — немалые деньги. Вы и так много потратили на мое образование и вообще никогда ничего для меня не жалели. Вы были, можно сказать, олицетворением щедрости. Наверно, существуют и другие пути, где можно начать почти без затрат и добиться цели настойчивостью и энергией. Не лучше ли так и поступить? Уверены

ли вы, что для вас не будет ощутительно израсходовать такую большую сумму денег, и благодазумно ли истратить ее именно подобным образом? Только, пожалуйста, дорогая моя вторая мама, все это хорошенько обсудите.

Пока я говорил, бабушка, кончая кушать сухарики, не сводила с меня глаз; затем она поставила стакан на камин и, положив руки на свое подобранное платье, ответила:

— Трот, мальчик мой, единственная цель моей жизни — сделать из вас хорошего, разумного, счастливого человека. И я и Дик — мы оба от всей души желаем этого. Мне хотелось бы, чтобы некоторые люди послушали, что по этому поводу говорит Дик. Он поразительно рассудителен. Но, кроме меня, никто не знает глубины ума этого человека.

Бабушка на мгновенье умолкла, взяла мою руку в свои, а затем продолжала:

— Напрасно, Трот, вспоминать прошлое, если воспоминания эти не могут оказать влияния на настоящее. Быть может, мне следовало бы лучше относиться и к нашему отцу и к вашей матери, бедной малютке, даже после того как она обманула мои ожидания относительно нашей сестры Бетси Тротвуд. Когда вы прибежали ко мне оборванным, грязным мальчуганом, вероятно, и тогда уже мне это приходило в голову. А с тех пор, Трот, вы все время вели себя так, что я могла только радоваться и гордиться, глядя на нас. Никто, кроме вас, не имеет права на мое состояние, разве только...

Тут, к моему удивлению, бабушка как-то не то смутилась, не то сконфузилась. Это длилось всего одно мгновение, и она снова заговорила:

— Нет, повторяю, никто больше вас не имеет прав на мое состояние, и вы ведь усыновленное дитя. Будьте только, Трот, для меня в мои годы любящим сыном, снисходительно относитесь к моим причудам и капризам. Тогда, поверьте, вы гораздо больше сделаете для старухи, — молодость которой была не так хороша, как можно было бы желать, — чем эта самая старуха сделала для вас.

Впервые бабушка при мне коснулась своего прошлого. И она сделала это с таким благородством, с таким спокойствием, что моя любовь и уважение к ней еще бы возросли, если бы только это было возможно.

— Ну, Трот, значит, теперь у нас с вами все выяснено и решено, — добавила бабушка, — говорить нам об этом больше нечего. Поцелуйте меня, а завтра, после завтрака, мы отправляемся с вами в «Докторскую общину».

Прежде чем разойтись, мы долго еще с бабушкой болтали у камина.

Моя комната была в том же коридоре, что и бабушкина. Ночью, услышав отдаленный грохот наемных карет и телег, она не раз принималась стучать ко мне в дверь и спрашивала, не пожарные ли это мчатся. Только под утро бабушка уснула спокойнее и дала мне поспать. Около полудня мы отправились в «Докторскую общину», в контору мистеров Спенлоу и Джоркинса. Бабушка, у которой было глубочайшее убеждение, что каждый человек, встретившийся на лондонских улицах, карманный вор, отдала мне на хранение свой кошелек, в котором было десять золотых гиней и несколько серебряных монет.

По дороге мы остановились на Флит-стрит у магазина игрушек, чтобы отсюда посмотреть, как в двенадцать часов великаны на церкви св. Иуста на бьют в колокола. Мы, надо сказать, нарочно к этому времени пришла сюда. Полюбовавшись на великанов, мы направились в Людгейтхилл, к кладбищу св. Павла. Подходя к нему, я вдруг заметил, что бабушка почему-то с испуганным видом ускоряет шаг. В то же время я увидел, что какой-то мрачного вида, плохо одетый человек, который перед этим остановился и пристально смотрел на нас, теперь идет вслед за нами так близко, что почти наступает бабушке на платье.

— Трот, дорогой Трот, — в ужасе зашептала бабушка, сжимая мне руку, — я, право, не знаю, что мне делать...

— Успокойтесь, — сказал я ей, — тут ровно ничего нет страшного. Войдите в первый попавшийся магазин, а я быстро отделаюсь от этого субъекта.

— Нет, нет, дитя мое, — волнуясь, ответила бабушка, — я ни за что на свете не хочу, чтобы вы с ним говорили. Умоляю вас, слышите, запрещаю вам это делать!..

— Господь с вами, бабушка! Чего вам бояться! Это просто наптый нищий.

— Вы совершенно не знаете ни кто он, ни что он, — проговорила бабушка, — и сами вы не ведаете, что говорите.

Тут мы остановились у какого-то подъезда, и человек также остановился.

— Не смотрите на него, — приказала мне бабушка, когда я с негодованием повернул голову, — а поскорее приведите мне извозчичью карету и ждите меня на кладбище св. Павла.

— Ждать вас? — с удивлением переспросил я.

— Да, — ответила бабушка. — Мне надо ехать без вас. Я поеду вот с ним.

— С ним, бабушка? С этим человеком?

— Не бойтесь: я в своем уме, — ответила бабушка. — Говорю вам, я должна ехать. Достаньте же мне карету.

Как ни был я поражен, тем не менее я понимал, что не могу не повиноваться такому решительному приказанию. Я пробежал несколько шагов и сейчас же наткнулся на свободную, проезжавшую мимо извозчичью карету. Не успел я опустить подножку, как бабушка каким-то непонятным образом сама моментально вскочила в карету, а вслед за ней вошел туда и незнакомец. Бабушка так энергично замахала рукой, приказывая мне отойти, что я, несмотря на свое, замешательство, сейчас же отошел в сторону. Уходя, я слышал, как бабушка сказала извозчику: «Везите нас, куда хотите, — ну, поезжайте прямо вперед!» — и карета стала подниматься на холм.

Тут вспомнил я рассказ мистера Дика, который показался мне тогда игрой его больного воображения. Теперь же я не мог сомневаться в том, что это было то самое лицо, о котором он так таинственно говорил мне; но, как ни ломал я себе голову, я не в силах был объяснить себе, какое отношение этот человек может иметь к моей бабушке.

Пробродив с полчаса по кладбищу, я увидел наконец возвращавшуюся карету и пошел ей навстречу. Карета остановилась, — бабушка была одна.

Чувствуя, что она недостаточно еще пришла в себя для деловых разговоров, бабушка попросила меня сесть в карету и приказать извозчику, чтобы он некоторое время повозил нас тихонько взад и вперед.

Мне бабушка ничего не сказала, кроме такой фразы:

— Дорогой мой мальчик, никогда не спрашивайте меня об этом и даже никогда не вспоминайте.

Успокоившись, она заявила мне, что теперь уж может выйти из кареты, и я велел извозчику подвезти нас к «Докторской общине». Когда бабушка подала мне кошелек, чтобы расплатиться с извозчиком, я сразу увидел, что в нем нет золотых монет, а осталось одно серебро.

Мы вошли в «Докторскую общину» через небольшие сводчатые ворота, и лондонский шум сразу, как по волшебству, замер в отдалении. Мы прошли через несколько мрачных дворов и узких переходов и очутились перед конторой «Спенлоу и Джоркинс», окна которой были проделаны в крыше.

В преддверии этого святилища, доступ куда был открыт для каждого, ибо двери не запирались, сидели три или четыре писца, занятых перепиской бумаг. Один из них, маленький сухощавый человек в густом, каштанового цвета парике, имевший такой вид, словно он был сделан из пряника, поднялся навстречу бабушке и провел нас в кабинет своего начальника.

— Мистер Спенлоу в настоящее время в суде, мэм, — сказал сухощавый человек, — там идет заседание, но это рядом, и я сейчас же за ним пошлю.

Пока ходили за мистером Спенлоу и мы с бабушкой оставались одни в кабинете, я успел рассмотреть все вокруг себя. Мебель в кабинете была старомодная и запыленная. Зеленое сукно на письменном столе совершенно выгорело и было вытерто и бесцветно, как старый нищий. На столе этом лежали кипы каких-то бумаг. Я стал пересматривать надписи на их обложках. Боже мой! Каких только документов здесь не было и в какие только суды «Докторской общины» они не направлялись! Я со смущением подумал, как возможно все это постичь, но, с другой стороны, мне пришло в голову, что при такой сложности и разнообразии дел положение проктора должно быть очень выгодно и почетно. Я продолжал с возрастающим приятным чувством рассматривать папки на полках и книги в солидных переплетах, когда в соседней комнате послышались торопливые шаги, и в черной мантии, опушенной белым мехом, быстро вошел мистер Спенлоу; увидев нас, он снял шляпу. Это был небольшого роста блондин в безукоризненно вычищенных ботинках и в туго накрахмаленном воротничке и белом галстуке; его сюртук в

обтяжку был застегнут на все пуговицы, бакенбарды тщательно подвиты. Золотая цепь от часов отличалась такой массивностью, что, казалось, надо было иметь очень сильную руку, чтобы вытаскивать ее из кармана. Мистер Спенлоу до того был затянут в свой сюртук, что, повидимому, утратил всякую способность сгибаться. Когда ему понадобилось взглянуть на какую-то бумагу, лежавшую на его письменном столе, то он, как марионетки, повернулся всем корпусом.

Бабушка поспешила представить меня мистеру Спенлоу, и он отнесся ко мне очень любезно.

— Итак, мистер Копперфильд, — начал он, — вы желаете посвятить себя нашей профессии? На днях, когда я имел удовольствие видеть у себя мисс Тротвуд (тут он снова, как марионетка, поклонился бабушке), я случайно сказал ей, что у нас имеется свободная вакансия. Мисс Тротвуд сооблаговостили тогда поведать мне, что у нее есть внучатый племянник, которого она усыновила и желает как можно лучше устроить и жизни. Я полагаю, что этого племянника теперь и имею удовольствие видеть. (Новый поклон марионетки в мою сторону.)

Я поклонился ему, как бы подтверждая этим его предположение, и сказал, что бабушка уже сообщила мне о существовании вакансии, и тут же прибавил, что перспектива стать проктором мне очень улыбается, но все-таки, прежде чем окончательно решиться избрать эту профессию, я думаю, следует сперва в течение некоторого времени присмотреться к делу.

— О, конечно, конечно! — воскликнул мистер Спенлоу. Мы всегда даем новичку месяц, как бы на посвящение. Я с удовольствием продлил бы этот срок до двух или даже до трех месяцев, но, к сожалению, я не вправе этим распорядиться сам, ибо у меня имеется компаньон, мистер Джоркинс.

— А вступительный взнос, сэр, у вас, кажется, полагается в тысячу фунтов стерлингов? — спросил я.

— Совершенно верно, — ответил мистер Спенлоу, — включая в эту тысячу фунтов и гербовый сбор. Я, видите ли, как имел уже честь говорить мисс Тротвуд, очень далек от каких-либо меркантильных расчетов, — смею вас уверить, что мало людей так равнодушны к этим вопросам, как я, — но у мистера Джоркинса имеются на этот счет

собственные воззрения. Словом, мистер Джоркинс находит, что тысячи фунтов даже слишком мало.

— А скажите, сэр, — начал я, стремясь сэкономить бабушкины деньги, — если секретарь, несколько лет работающий в вашей конторе, совершенно ознакомившись со всеми тонкостями профессии, является действительно полезным для своих патронов, может ли он рассчитывать на некоторое...

Тут мистер Спенлоу с большим трудом высвободил свою голову из тугого воротника, именно настолько, чтобы, отрицательно покачав ею, не допустить произнести слова «вознаграждение».

— Нет, — отрезал он. — Не будем говорить о том, как поступил бы я, не будь я связан. Но мистер Джоркинс непреклонен.

Я, признаться, просто пришел в ужас от этого грозного мистера Джоркинса. Со временем, однако, мне стало ясно, что этот самый мистер Джоркинс — безобиднейший человек довольно унылого характера, роль которого заключалась в том, что он, держась в тени, как бы за кулисами, давал возможность мистеру Спенлоу постоянно ссылаться на него как на самое неумолимое безжалостное существо. Когда писец просил прибавки, всегда оказывалось, что мистер Джоркинс и слышать об этом не желает. Когда клиент медлил вносить судебные издержки, то Джоркинс требовал безотлагательной уплаты, и как ни тяжело это было добродушному Спенлоу, а деньги изыскивались. У клиента же оставалось такое впечатление, что рука и сердце ангела-Спенлоу всегда с радостью отверзлись бы, не будь тут демона-Джоркинса.

Надо сказать, что потом в жизни я не раз встречал торговые фирмы, где проводилась точно такая же политика.

Выло условлено, что я могу начать свой пробный месяц, когда мне будет угодно, и что бабушке нет никакой надобности ни оставаться на это время в Лондоне, ни приезжать снова сюда по истечении этого месяца, ибо договор на мое зачисление в кандидаты на должность проктора будет для подписи послан ей на дом. Когда, таким образом, было обо всем переговорено, мистер Спенлоу предложил свести меня на заседание суда, где бы я мог получить некоторое представление о «Докторской общине».

Я охотно на это согласился, и мы с мистером Спенлоу отправились в суд. Бабушка, заявив, что она не отваживается посещать

подобные места, осталась в кабинете ждать моего возвращения. Как видно, она представляла себе каждое судебное учреждение чем-то вроде порохового погреба, который может в любую минуту взлететь на воздух. Мистер Спенлоу повел меня по мощеному двору, вокруг которого шли внушительного вида кирпичные здания. Здесь, судя по дощечкам с именами, находились кабинеты крупных адвокатов, имевших ученую степень доктора прав, о которых говорил мне Стирфорт. Затем мы вошли в большой мрачный зал, напоминающий часовню. Передняя часть этого зала была отгорожена решеткой, и там, на эстраде в виде подковы, восседали в старинных креслах разные джентльмены в красных мантиях и седых париках. Это, как я узнал, и были доктора прав. В центре этой подковообразной эстрады сидел пожилой джентльмен, щурясь на лежащие перед ним на пюпитре бумаги. В зоологическом саду я непременно принял бы его за сову, но он, как выяснилось, являлся председателем этого суда. Пониже этих джентльменов в красном сидели за длинным столом, покрытым зеленым сукном, сотоварищи мистера Спенлоу — прокторы, одетые так же, как и он, в черные мантии, опушенные белым мехом. У них всех, казалось, были туго накрахмаленные воротнички, белые галстуки и очень надменный вид. Но что касается надменности, то вскоре выяснилось, что на этот счет я ошибался. Когда двум или трем из них пришлось встать, чтобы дать какие-то объяснения председателю суда, то я убедился, что людей более глупого вида мне не случалось видеть никогда в жизни. Всю публику представляли собой какой-то мальчуган и какой-то джентльмен в потертой одежде, который, греясь со своим юным соседом у печи, находившейся посередине зала, то и дело вытаскивал из кармана кусочки хлеба и старался их как можно незаметнее проглотить.

Сонная тишина в зале нарушалась не только потрескиванием дров в печи, но и однообразным журчанием голоса одного из докторов, который, медленно блуждая по бесконечным свидетельским показаниям, время от времени останавливался, как бы на привале, чтобы из всего слышанного сделать свои выводы. Словом, никогда до сих пор я не видывал такой уютно расположившейся, сонной, старомодной, отжившей свой век семейной компании. И я почувствовал, что войти в эту компанию кем угодно, но только не истцом, было бы равносильно приему успокоительного, снотворного

средства. Вполне удовлетворенный миром, царящим в этом допотопном убежище, я заявил мистеру Спенлоу, что на первый раз с меня довольно, и мы вернулись к бабушке. Уходя с ней из конторы «Спенлоу и Джоркинс», я опять почувствовал себя ужасно юным, ибо заметил, как писцы начали тыкать друг друга перьями, заставляя взглянуть на меня.

Добравшись мы с бабушкой до нашей гостиницы без всяких новых приключений, если не считать встречи с ослом, который вез тележку, полную овощей. Осел этот пробудил в уме бабушки мною тревожных мыслей.

Вернувшись к себе, мы долго говорили с бабушкой о моем будущем. Прекрасно зная, как жаждет бабушка скорее попасть домой, как она, боясь пожаров, карманных воров и недоброкачественной пищи, не имеет в Лондоне ни минуты покоя, — я стал упрашивать ее не беспокоиться на мой счет и, предоставив мне заботиться о себе самому, ехать спокойно домой.

— Да неужели вы можете допустить, — сказала мне бабушка, — что, пробыв здесь целую неделю, я не подумала о вас? У меня есть в виду маленькая квартирка, которая, по-моему, как раз подойдет вам.

С этими словами она вынула из кармана аккуратно вырезанное из газеты объявление, которое говорило о том, что в квартале Адельфи на Букингамской улице сдается уютная небольшая меблированная квартира, выходящая окнами на Темзу. Она вполне подходит для одинокого молодого джентльмена, занимающегося в судебных учреждениях или в других присутственных местах; цена умеренная, можно снять на один месяц.

— Чего же лучше, бабушка! — заявил я, краснея от удовольствия при мысли, что у меня может быть собственная квартира.

— Тогда идемте, — заявила бабушка, снова надевая только что снятую шляпку, — сейчас же посмотрим эту квартиру.

И мы отправились. В объявлении было сказано, что для переговоров надо обращаться к миссис Крупп, живущей в этом самом доме, и потому мы позвонили у двери черного хода, думая, что звонок проведен к миссис Крупп. Однако пришлось звонить три или четыре раза, прежде чем миссис Крупп соблаговолила выйти к нам. Наконец, она появилась; это была полная особа в нанковом капоте, из-под которого виднелась фланелевая юбка.

— Будьте добры, мэм, покажите нам сдаваемую квартиру, — сказала бабушка.

— Вот для этого джентльмена? — осведомилась миссис Крупп, разыскивая у себя в кармане ключи.

— Да, для моего внучатого племянника, — ответила бабушка.

— Ну, так это помещение как раз ему подойдет, — заявила миссис Крупп, и мы поднялись наверх.

Квартира эта находилась в верхнем этаже, что с точки зрения бабушки было очень важно в пожарном отношении, и состояла из крохотной передней, где почти ничего не было видно, из маленького чуланчика-кладовой, где уж абсолютно ничего не было видно, из гостиной и спальни. Мебель была далеко не новая, но для меня вполне годилась; из окон действительно видна была Темза.

Бабушка, видя, что я в восторге от этой квартиры, удалилась с миссис Крупп в кладовую переговорить относительно условий, а я в это время сидел на диване в гостиной и с трудом верил своему счастью: неужели я действительно стану обладателем такого великолепного помещения? После довольно продолжительного словесного поединка бабушка с миссис Крупп возвратилась в гостиную, и по их лицам я увидел, к великой своей радости, что дело сделано.

— Скажите, эта мебель осталась от последнего жильца? — поинтересовалась бабушка.

— Да, мэм, — ответила миссис Крупп.

— А где же он теперь, этот жилец? — продолжала спрашивать бабушка.

Тут на миссис Крупп напал сильный кашель, и она с трудом проговорила:

— Он заболел здесь... кхи-кхи-кхи... ах, боже мой!.. и умер.

— Вот как! А отчего же он умер? — с беспокойством спросила бабушка.

— Видите ли, мэм, он умер от пьянства, — вполголоса проговорила миссис Крупп, — да еще от дыма.

— От дыма? Неужели из печных труб? — испугалась бабушка.

— Нет, мэм, — успокоила ее хозяйка, — от сигар и трубок.

— Ну, это не заразно, не правда ли, Трот? — обратилась ко мне бабушка.

— Конечно, нет, — ответил я.

Короче говоря, бабушка, видя, что я очарован квартирой, сняла ее на месяц с правом оставить ее потом за собой на год. Миссис Крупп обязалась давать мне постельное белье, готовить и вообще заботиться обо мне, как о родном сыне. Условились, что я перееду к ней послезавтра. На прощанье миссис Крупп сказала, что, слава богу, теперь у нее есть о ком заботиться.

По дороге в гостиницу бабушка высказала уверенность, что новая жизнь должна выработать во мне то, чего мне нехватает, — самостоятельность и решительность. И на следующий день, среди разговоров о том, как доставить сюда мои вещи и книги от мистера Уикфильда, бабушка не раз возвращалась к этой мысли. Я написал длинное письмо Агнессе, где не только касался пересылки моих вещей, но и подробно описал ей, как провел я время после моих последних каникул; бабушка, собираясь на следующий день домой, взялась по дороге доставить ей это письмо.

Теперь, не вдаваясь в дальнейшие подробности, я только скажу, как бабушка щедро снабдила меня деньгами на предстоящий мне пробный месяц; как мы с нею были огорчены тем, что Стирфорт не появился до ее отъезда; и, наконец, как бабушка, благополучно усевшись со своей Дженет в дуврский дилижанс, уже предвкушала удовольствие по приезде своем разделаться с дерзкими бродячими осликами...

Дилижанс скрылся из виду, а я направился в квартал Адельфи, в свою новую квартиру. Я шел и думал о далеких днях «на дне», думал о счастливом водвороте, выбросившем меня на поверхность...

Глава XXIV

МОЙ ПЕРВЫЙ КУТЕЖ

Как чудесно было очутиться в своем «величавом замке» и, закрыв за собой дверь, почувствовать то, что почувствовал Робинзон Крузо, когда он, забравшись в свое укрепленное убежище, втащил туда за собой лестницу. Чудесно было гулять по городу с ключом в кармане от своей квартиры и знать, что можно пригласить к себе кого угодно, не побеспокоив при этом ровно никого, кроме самого себя. А разве не чудесно было уходить из дому и приходить, никому не говоря ни слова; звонить миссис Крупп, которая после этого, тяжело дыша, поднимается из своей преисподней... правда, не всякий раз, а когда ей только заблагорассудится.

Все это, говорю я, было чудесно, но должен сознаться, что по временам все-таки мне становилось тоскливо. Хорошо бывало по утрам, еще лучше — ясными утрами. Дышалось легко и свободно днем, когда солнце заливало все своим светом. Но надвигались сумерки, и со светом как бы уходила жизнь. Не знаю уж почему, но квартира моя много теряла при свечах. Мне хотелось с кем-нибудь отвести душу. Мне так недоставало улыбающейся Агнессы, этой хранительницы моих юных тайн. Миссис Крупп казалась мне за тридевять земель. Я невольно начинал думать о своем предшественнике, погибшем от пьянства и табачного дыма, и очень жалел, что он не соблаговолил остаться в живых, ибо таким образом избавил бы меня от неприятных мыслей о его смерти.

Через двое суток мне казалось, что я тут прожил чуть не целый год. Но от этого — увы! — я нисколько не стал старше и так же страдал от своей ужасной юности, как и раньше.

О Стирфорте все не было ни слуху ни духу, и я начал уже беспокоиться, не заболел ли он. Поэтому на третий день, уйдя раньше обыкновенного из «Докторской общины», я отправился пешком в Хайгейт. Миссис Стнрфорт очень обрадовалась мне. После первых приветствий она мне сказала, что сын ее уехал с одним из оксфордских товарищей, чтобы повидаться с другим их товарищем, живущим возле Сент-Албанса, и что она ожидает его завтра. Я так

любил Стирфорта, что почувствовал страшную ревность к его оксфордским друзьям.

Миссис Стирфорт пригласила меня у них пообедать, я остался на весь вечер, и мы, кажется, ни о чем другом не говорили, кроме как о ее ненаглядном Джемсе. Я рассказал миссис Стирфорт, как полюбили ее сыночка в Ярмуте и каким он был чудесным для меня компаньоном в эту поездку. Мисс Дартль все время не переставала намекать на что-то, задавать какие-то таинственные вопросы и столько раз повторила свою любимую фразу: «Да неужели действительно это было так?», что успела выведать от меня абсолютно все, что хотела узнать. Наружность мисс Дартль совсем не изменилась, но общество двух дам было так приятно мне, я так легко себя чувствовал с ними, что мне вдруг начала казаться, уже не влюблен ли я слегка в Розу Дартль. Несколько раз в течение вечера, и особенно, когда я ночью возвращался домой, мне приходила в голову мысль о том, какой восхитительной собеседницей была бы для меня мисс Дартль в моей квартире на Букингамской улице...

Утром, когда перед уходом в «Докторскую общину» я пил кофе с булкой (кстати заметить, как удивительно много у миссис Крупп выходило моего кофе и до чего он бывал жидок!), к моей невыразимой радости, в комнату вошел Стирфорт.

— Дорогой мой Стирфорт! — закричал я. — Я начал уж было думать, что больше не увижу вас!

— Да меня просто насильно утащили на следующий же день после моего возвращения домой, — пояснил Стирфорт. — Ну, знаете, Маргаритка, совсем недурно вы здесь устроились, словно добрый старый холостяк.

Я не без гордости показал моему другу всю свою квартиру, не забыв и про кладовую. Стирфорту все чрезвычайно понравилось.

— Послушайте, старина, приезжая в Лондон, я буду жить у нас, пока вы не укажете мне на дверь.

Я пришел в совершенный восторг и сказал, что в таком случае ему пришлось бы дожидаться конца света.

— Но вы непременно должны у меня позавтракать, — заявил я, берясь за шнурок звонка. — Миссис Крупп сейчас же сварит вам кофе, а я в своей холостяцкой голландской печурке поджарю вам копченой грудинки.

— Нет, нет! — ответил Стирфорт. — Не звоните. Я немедленно должен отправиться завтракать с одним из товарищей в гостиницу «Пьяцца» близ Ковент-Гардена.

— Ну, тогда приходите обедать, — сказал я.

— Клянусь вам, не могу, хотя и страшно хотелось бы. Но сегодня я должен провести с этими двумя товарищами весь день, а завтра утром мы все вместе уезжаем в Оксфорд.

— В таком случае, приведите их сюда обедать, — предложил я. — Как вы думаете, захотят они притти?

— Они-то, конечно, придут, — ответил Стирфорт, — но для вас это было бы довольно-таки хлопотно. Лучше вы приходите к нам, и пообедаем где-нибудь вместе.

Но подбить меня на это было невозможно: мне пришла в голову, что непременно надо устроить маленькое новеселье и что лучшего случая быть не может. После того как Стирфорт похвалил мою квартиру, я возгордился его еще больше прежнего и горел желанием показать ее в полном блеске. Поэтому я заставил Стирфорта дать слово, что он приведет ко мне обедать своих двух товарищей. Условились, что они явятся к шести часам.

После ухода Стирфорта я позвонил миссис Крупп и сообщил ей о своем смелом плане. Миссис Крупп сейчас же заявила, что, конечно, она сама ни в коем случае не может прислуживать за этим обедом, но знает одного очень ловкого малого, который за пять шиллингов и еще какой-нибудь пустяк, который я соблаговолю пожаловать ему, возьмется это сделать. Я сказал, что, конечно, надо пригласить его. Затем миссис Крупп высказала ту мысль, что она одновременно никак не может быть в двух местах (с чем, конечно, я не мог не согласиться) и потому надо также нанять молоденькую девушку, которая в кладовой при свечке не переставая будет мыть посуду. На мой вопрос, сколько придется уплатить этой молодой особе, миссис Крупп ответила:

— Надеюсь, вас не могут разорить каких-нибудь восемнадцать пенсов.

Я был того же мнения, и с этим вопросом было покончено.

— Ну, теперь поговорим о самой обеде, — сказала миссис Крупп.

Тут надо заметить, что торговец железными изделиями, снабдивший кухню миссис Крупп очагом, был удивительно

непредусмотрителен, ибо на этом очаге, как оказывается, можно было приготовить только котлеты с картофельным пюре.

— А что касается рыбного котелка, — заявила хозяйка, — то пусть мистер Копперфильд сам придет и посмотрит, где можно его поместить на моем очаге.

Пойти, конечно, я не пошел, так как это вовсе не подвинуло бы дела, а сказал:

— Ну, тогда обойдемся без рыбы.

Но это, очевидно, не входило в планы миссис Крупп.

— А почему? — сказала она. — Теперь сезон устриц, можно их достать.

Таким образом, с этим было улажено. Тут миссис Крупп предложила свое меню обеда: пару жареных кур, тушеное мясо с овощами, пирог на дрожжах, соус из почек; на сладкое — торт да еще какое-нибудь желе; и все это должно быть заказано в соседнем трактире. По ее словам, это даст ей возможность целиком заняться приготовлением картофеля и вовремя подать его и сыр на стол, а также как следует приготовить салат из сельдерея.

Я поступил, как советовала мне миссис Крупп, и сам взялся заказать все нужное в трактире. Возвращаясь оттуда, я увидел в колбасной какое-то твердое пятнистое вещество, напоминающее мрамор; по на нем был ярлык: «Поддельная черепаха»; я соблазнился, зашел в колбасную и купил этой «поддельной черепахи» такой кусище, которого, как я потом сообразил, хватило бы на пятнадцать человек. Немало времени, помнится, пришлось упрашивать миссис Крупп разогревать эту самую черепаху, а когда наконец она взялась за ее разогревание, то вещество это растаяло и так сжалось, что, по мнению Стирфорта, его маловато было и для четверых.

Благополучно покончив с этими приготовлениями, я зашел еще на Ковентгарденский рынок купить фруктов для десерта, а затем заказал в соседней виноторговле довольно большое количество спиртных напитков. Когда после полудня я вернулся домой, то при виде этой массы бутылок, выставленных в чулане четырехугольником (хотя по счету двух бутылок, к смущению миссис Крупп, и недоставало), я положительно перепугался.

Одного из приятелей Стирфорта звали Грэйнджер, а другого — Маркхэм. Оба они были веселые, живые юноши: Грэйнджер был

несколько старше Стирфорта; Маркхэм выглядел очень молодо, — на вид ему, по-моему, было не более двадцати лет. У младшего я заметил странную привычку — говорить о себе неопределенно, в третьем лице.

— Прекрасно можно было бы жить здесь человеку, мистер Копперфильд, — сказал он, оглядываясь кругом и, очевидно, имея в виду себя самого.

— Да, — ответил я, — место неплохое, и комнаты действительно удобны.

— Надеюсь, что вы оба нагуляли себе аппетит? — промолвил Стирфорт.

— Честное слово, это верно, что Лондон возбуждает у человека аппетит, — заметил Маркхэм. — Человек не перестает есть целый день и всегда голоден.

Когда подали обед, я, несколько смущенный и чувствуя себя слишком юным, чтобы председательствовать за столом, попросил Стирфорта сесть на хозяйское место, а сам поместился против него.

Все было превосходно вино лилось рекой, и Стирфорт так блестяще председательствовал, что веселье не замирало ни на минуту. Сам я не был таким хорошим собеседником, как бы мне этого хотелось, ибо я сидел против самой двери и видел, как ловкий малый, прислуживавший за обедом, то и дело выходит из комнаты и каждый раз на стене передней отражается его тень с бутылкой у рта. Девушка также действовала мне на нервы — не тем, что она медленно перемывала посуду, а тем, что немилосердно била ее. Она была, очевидно, очень любопытной и постоянно выходила из чулана (вопреки строгому приказанию не показываться из него) и заглядывала к нам, а затем, боясь быть пойманной на месте преступления, бросалась в глубь чулана, натываясь там на расставленную на полу посуду. Но все это, в сущности, были мелочи, и они моментально вылетели из моей головы, как только обед был кончен, скатерть убрана, а на стол поставлен десерт. К этому времени ловкий малый уже не был в силах ворочать языком. Тут я тихонько посоветовал ему спуститься к миссис Крупп, прихватив с собой и девушку, а сам совершенно развеселился.

У меня стало как-то особенно легко и весело на душе и совершенно необычайно развязался язык. В голове то и дело

воскресало многое полузабытое, и я разглагольствовал обо всем этом без удержу. Громко хохотал я и над своими собственными остротами и над остротами своих гостей. Я, помню, требовал от Стирфорта, чтобы он хорошенько следил за тем, чтобы все пили добросовестно, Несколько раз начал я уверять своих гостей, что непременно явлюсь к ним в Оксфорд; наконец, объявил, что намерен еженедельно задавать подобные обеды, впредь до нового постановления. Увидев у Грэйнджера в руках табакерку, я безрассудно захватил из нее такую огромную щепотку, что принужден был убежать в чулан и чихал там наедине минут десять.

Все чаще и чаще притаскивал я бутылки и откупоривал их гораздо раньше, чем это требовалось. Я предложил выпить за здоровье Стирфорта, моего самого дорогого друга, покровителя моего детства, товарища моей юности. Я заявил, что сам с восторгом пью за его здоровье и никогда не смогу отплатить ему за сделанное мне добро, никогда не смогу выразить, как я восхищаюсь им.

— Выпьем же за здоровье Стирфорта! Да благословит его господь! Ура! — с увлечением закончил я.

И тут мы в честь его выпили по три бокала. Затем опорожнили еще по два бокала. После этого, бросившись к Стирфорту, чтобы пожать ему руку, я вдребезги разбил свой бокал и заплетающимся языком проговорил:

— Стирфорт, вы моя путеводная звездочка.

Вдруг я наметил, что кто-то поет. Это Маркхэм затянул студенческую песню «Когда заботы одолевают нас». Кончив ее, он предложил выпить «за женщин». Я восстал против такой редакции, находя ее недостаточно почтительной, и заявил, что в своем доме не допущу, что этот тост был выпит иначе как «за леди». Помнится, я был довольно-таки резок с Маркхэмом и очень петушился, быть может потому, что видел, как Стирфорт и Грэйнджер подсмеиваются надо мной или над нами обоими, уж не знаю, право. Словом, мы с Маркхэмом немного повздорили... Он сказал, что человеку нельзя так предписывать, а я ответил, что должно. Он возразил, что человека не следует оскорблять. Я согласился, что в этом он прав и что гость под моим кровом не может подвергнуться никакому оскорблению, ибо законы гостеприимства священны. На что Маркхэм заявил, что без

всякого ущерба для достоинства человека можно сказать, что я чертовски славный малый, и я тут же предложил тост за его здоровье.

Кто-то закурил. Все последовали его примеру. И я курил, хотя мне было очень не по себе. Стирфорт в мою честь произнес речь, которая растрогала меня чуть не до слез. Я ответил благодарственной речью и кончил тем, что пригласил своих гостей обедать у меня завтра и послезавтра, словом, ежедневно, только в пять часов, чтобы иметь затем больше времени для дружеской беседы. Тут я нашел нужным выпить за здоровье мисс Бетси Тротвуд, лучшей из женщин.

Кто-то высовывается из окна моей спальни и, прильнув пылающим лбом к каменному карнизу, вдыхает прохладный вечерний воздух... Это я, собственной персоной. При этом я вслух разговариваю с собой, называя себя Копперфильдом:

— Скажите, Копперфильд, с какой стати вздумали вы курить? Вы должны бы знать, что делать этого вам нельзя.

Кто-то подходит нетвердыми шагами к зеркалу и начинает в него смотреться... это также я. В зеркале отражается моеочень бледное лицо, бессмысленные глаза, но почему-то пьяными кажутся одни только волосы... Чей-то голос говорит:

— Копперфильд, пойдите в театр.

Я уже не в спальне, а снова перед столом, где звенит бутылки. Горит лампа. Грэйнджер справа от меня, Маркхэм слева, Стирфорт напротив. Всех их я вижу вдаль сквозь какую-то дымку.

— В театр? — повторяю я. — Прекрасно! Идемте, только, простите, я уйду последним: потушу лампу, а то может случиться пожар...

Вдруг в темноте почему-то исчезает дверь; напрасно и разыскиваю ее у оконных занавесей. Стирфорт со смехом берет меня под руку и выводит из комнаты.

Вот мы начинаем одни за другим спускаться по лестнице. Внизу кто-то валится и скатывается по ступеням. Кто-то другой говорит: «Это Копперфильд». Сперва я прихожу в негодование, но потом, чувствуя, что лежу на спине, соображаю, что слова эти, пожалуй, имеют некоторое основание.

Туманная ночь; слабо мерцают фонари, окруженные словно радужными кольцами. Вокруг меня говорят, что очень сыро, а мне, наоборот, погода кажется морозной. Стирфорт под каким-то фонарем

отряхивает с меня пыль и надевает на меня шляпу, которая откуда-то появляется самым непонятным образом. Я хорошо помню, что до этого на моей голове ее не было.

— Ну, теперь вы молодцом, Копперфильд, говорит мне Стирфорт. — Как вы себя чувствуете?

— Прре-восс-ходно, — заплетающимся языком отвечаю я.

Какой-то человек, сидящий в какой-то клетке, выплывает будто из тумана; он получает от кого-то деньги и спрашивает, в числе ли я тех джентльменов, за которых уплачивается, и на миг мне кажется, что он колеблется, впускать меня или нет. Вскоре мы сидим очень высоко и каком-то театре, где очень жарко; мы смотрим вниз, словно в большую яму, откуда, мне кажется, поднимается какой-то туман, из-за которого трудно разглядеть теснящихся на ее дне людей. Тут большая сцена; она после уличной грязи производит впечатление очень чистой и гладкой. На сцене люди что-то говорят, но что — разобрать невозможно. Все залито светом, гремит музыка, внизу в ложах нарядные дамы и что-то еще... незнаю, что именно. А в общем, мне кажется, что весь театр как будто учится плавать, — так он раскачивается в моих глазах...

Кто-то предлагает спуститься вниз, в ложи, где сидят дамы, и мы отправляемся. Перед глазами моими мелькает фигура нарядно одетого джентльмена, сидящего на диване с биноклем в руках, потом в зеркале отражается во весь рост моя собственная персона. Тут я попадаю в какую-то ложу. Сев на стул, я что-то начинаю говорить своим соседям. Кто-то кричит: «Тсс, тсс... Замолчите!» Дамы смотрят на меня с негодованием... и вдруг кого же я вижу?! — Агнессу, сидящую в этой же ложе рядом с какими-то не знакомыми мне дамой и джентльменом. Мне кажется, что в эту минуту я вижу ее лицо даже яснее, чем тогда, когда она посмотрела на меня с таким невыразимым изумлением и жалостью.

— Аг-нес-са... — Бо-же м-мой... Аг-аг-несса... — говорю я заплетающимся языком.

— Тише, замолчите, пожалуйста, — почему-то отвечает она. — Вы мешаєте слушать. Смотрите на сцену.

Я стараюсь исполнить ее приказание, смотрю на сцену, на то, что там происходит, но, увы, тщетно. Я снова пляжу на Агнессу и замечаю,

что она вся словно съежилась в углу ложи и держит у лба руку, затянутую в перчатку.

— Аг-нес-са. — говорю я заикаясь — Бо-юсь... вы... вы не-здо-ро-вы...

— Да, да, не обращайтесь только на меня внимания, — отвечает она. — Послушайте, вы не думаете скоро уйти отсюда?

— Уй-уй-ти от-сюда? — переспрашиваю я.

— Да.

У меня является нелепая мысль, что я должен проводить ее до экипажа, и я, повидимому, как-то пытаюсь ее выразить, ибо Агнесса, внимательно поглядев на меня и как бы угадывая мою мысль, вполголоса говорит;

— Я знаю, вы сделаете то, о чем я вас прошу, если я скажу, что это для меня очень важно. Так вот, ради меня, уходите, Тротвуд, и попросите своих друзей отвести вас домой.

Слова Агнессы настолько временно отрезвляют меня, что хотя я и сердит па нее, по мне делается стыдно, и я, пробормотав «топайте», вместо «прощайте», сейчас же поднимаюсь со стула и выхожу из ложи. Мои приятели идут за мной. И вот мне кажется, что из ложи в мою спальню я делаю всего только один шаг. Здесь со мной уже один только Стирфорт; он помогает мне раздеться, а я то говорю ему, что Агнесса моя сестра, то умоляю дать мне пробочник, чтобы откупорить еще бутылку вина. Кто-то, лежа в моей постели, всю ночь снова переживает в лихорадочном сне все сделанное и сказанное, а кровать под ним качается, словно челнок на бурном море... Потом мало-помалу этот кто-то сливается со мной, и я чувствую, что я весь в огне. Язык во рту горит, как горит на медленном огне дно пустого старого чугунного котла; кожа на всем теле жестка, как дерево; ладони рук кажутся раскаленными металлическими пластинками, которых и льдом не охладить.

Но какие душевные муки, какие угрызения совести, какой стыд охватывают меня, когда на следующее утро я окончательно прихожу в себя! Как ужасно было сознавать, что я наделал тысячу глупостей, которых даже не помню, но которых ничто не может загладить. А этот невыразимый взгляд, брошенный на меня Агнессой! И мне, к моему отчаянию, даже нельзя с нею повидаться, ибо накануне я был в таком скотском состоянии, что не мог узнать, каким образом она очутилась в

Лондоне и у кого остановилась. С каким отвращением вошел я в гостиную, где вчера было отпраздновано мое новоселье! Голова трещит. Этот противный запах табачного дыма, эти пустые бокалы, эта полная невозможность не только выйти на улицу, но даже подняться со стула, на который я свалился... Ах, что за ужасный день это был! А какой ужасный вечер я провел, когда, сидя у камина с чашкой бульона, подернутого бараньим жиром, я с горечью думал о том, что иду по стопам своего предшественника, унаследовав от него не только квартиру, но и его судьбу. У меня даже мелькнула мысль помчаться в Дувр и обо всем рассказать бабушке. Да! Славный выдался вечер! Когда миссис Крупп вошла, чтобы принять чашку из-под бульона и поставить передо мной соус из почек на маленькой тарелке (по ее словам, единственной, уцелевшей из всей моей посуды после вчерашнего пиршества), то я был очень близок к тому, чтобы с искренним раскаянием броситься на ее нанковую грудь и крикнуть; «Ах, миссис Крупп! Миссис Крупп! Бог с ними, с этими разбитыми тарелками... я так несчастлив!» Но даже в этом критическом положении меня удержала мысль, что вряд ли миссис Крупп принадлежит к тем женщинам, которым можно довериться.

Глава XXV

АНГЕЛ И ДЬЯВОЛ

После этого плачевного дня, с его безумной головной болью, тошнотой и угрызениями совести, я вышел утром из своей квартиры со страшной путаницей в голове относительно времени моего злополучного новоселья. Мне казалось, будто какие-то титаны, вооружившись огромным рычагом, отбросили на целые месяцы назад то, что было третьего дня.

На лестнице я увидел рассыльного, поднимающегося с письмом в руках. Он не особенно торопился, но, заметив, что я смотрю на него с верхней площадки, проворно взбежал наверх, запыхавшись так, как будто нёсся всю дорогу.

— Его благородию Тротвуду-Копперфильду, — сказал он, касаясь тросточкой шляпы.

Я едва был в силах ответить, что это действительно я, до того я взволновался, уверенный, что письмо от Агнессы. Рассыльный поверил мне и передал письмо, сказав, что нужен ответ. Я оставил рассыльного на лестнице, а сам, заперев входную дверь, вернулся к себе в таком нервном состоянии, что принужден был положить письмо на стол, где я только что завтракал. Я некоторое время рассматривал его, прежде чем решился распечатать. Пробежав его глазами, я убедился, что это была премилая записка, без единого намека на мое поведение в театре, в которой было только следующее.

«Дорогой мой Тротвуд. Я остановилась здесь в доме папиного агента, мистера Вотербрука, на площади Эли в Гольборнском квартале. Не зайдете ли вы ко мне сегодня? Укажите время, когда вам будет удобно это сделать.

Всегда расположенная к вам Агнесса».

Я столько времени употребил на свой ответ, что, право, уж не знаю, как объяснил себе это рассыльный; пожалуй, он мог подумать, что я только начал учиться писать. А я в это время набросал по крайней мере с полдюжины черновиков. Один я начал так: «Как смогу я надеяться, дорогая Агнесса, изгладить из вашей памяти то отвратительное впечатление...» Но мне это не понравилось, я

разорвал и начал снова: «Дорогая Агнесса, Шекспир заметил, что наибольший враг человека — его язык...» Но «человек» напоминал мне Маркхэма, и я и это забраковал, Я даже попоробовал было написать стихами — из этого тоже ничего не вышло, и, наконец, изведя множество бумаги, я написал:

«Дорогая моя Агнесса, ваше письмо похоже на вас самих, — можно ли сказать что-либо большее в его похвалу? Я буду у вас в четыре часа. Ваш любящий и опечаленный Т.-К..».

С этим посланием рассыльный наконец ушел, а я долго еще мучился, что не могу его догнать и взять обратно написанное.

Если бы кому-нибудь из прокторов хоть наполовину день показался таким длинным, как мне, то это, не сомневаюсь, в большой мере искупило бы взятый им себе на душу грех — участие в этой гнилой, отжившей «Докторской общине». Но всему бывает конец, — и в половине четвертого я вышел из конторы, а через несколько минут уже бродил вокруг указанного Агнессой в письме дома в Гольборне. Тем не менее я отважился позвонить в квартиру мистера Вотербрука только тогда, когда на часах св. Андрея пробило четверть пятого.

Контора мистера Вотербрука помещалась внизу, а дела наиболее деликатного свойства (их было немало) вершились в верхнем этаже. Меня провели в хорошенькую небольшую гостиную, где сидела за вязаньем кошелька Агнесса.

У нее был такой спокойный, милый вид, она так мне напоминала недавние блаженные школьные дни в Кентербери, что я еще более устыдился, мне стало еще больнее, что она видела меня тогда в театре в таком постыдном состоянии, и я, благо никого здесь больше не было, повел себя совсем как глупый мальчишка: должен сознаться, что я тут горько расплакался. И вот и по сей час я не могу решить, поступил ли я тогда самым умным или самым смешным образом.

— Будь кто-нибудь другой на вашем месте, Агнесса, — наконец проговорил я, отворачиваясь и не решаясь взглянуть на нее, — мне далеко не было бы так тяжело, как теперь. И нужно же было, в самом деле, мне встретить именно вас! О, кажется, лучше было бы раньше умереть!

Агнесса ласково коснулась моей руки (никто на свете не мог этого сделать так, как она), и я почувствовал такое облегчение, так

воскрес душой, что невольно схватил ее руку и с великой благодарностью поцеловал.

— Ну, садитесь же! — весело проговорила Агнесса. Не унывайте, Тротвуд. Если вы не доверяете мне, то кому же тогда вы можете довериться?

— Ах, Агнесса! воскликнул я. — Вы мой ангел-хранитель.

Она улыбнулась — улыбка ее показалась мне грустной — и покачала головой.

— Да, да, Агнесса, вы мой ангел-хранитель, — настаивал я, — и всегда им были для меня.

— Если бы действительно это было так, промолвила она, — то мне бы очень хотелось...

Я посмотрел на нее вопросительно, впрочем, уже догадываясь о том, что она хочет сказать.

— ... предостеречь вас, — продолжала она пристально глядя мне в глаза, — от вашего дьявола-соблазнителя.

— Агнесса, дорогая, — начал я, — если вы имеете в виду Стирфорта...

— Именно его, Тротвуд, — перебила она меня.

— ... то поверьте, Агнесса, вы к нему очень несправедливы. Да и вообще, может ли Стирфорт быть дьяволом-соблазнителем! Всегда он был для меня только руководителем, защитником, другом. Агнесса, дорогая, это несправедливо, это не похоже на вас — судить о Стирфорте, только основываясь на том, что вы видели меня в театре в таком виде.

— Я сужу о нем вовсе не по этому, спокойно ответила Агнесса.

— А по чему вы судите?

— Да по многому, — ответила она. Отдельные факты — как будто пустячные, но, взятые вместе, они вовсе не кажутся мне такими. Я сужу о нем, Тротвуд, по вашим рассказам и по тому влиянию, какое он оказывает на вас, — а вас-то я прекрасно знаю.

В ее скромном, кротком голосе было что-то такое, что заставляло звучать в моей душе струны, которых она одна умела коснуться. Голос ее всегда действовал на меня; когда же говорила она с жаром, как сейчас, я совсем не мог устоять. Я сидел и смотрел на нее; она работала, опустив глаза, а слова ее как будто все еще продолжали

звучать в моей душе, и образ Стирфорта, несмотря на всю мою любовь к нему, стал меркнуть.

— Правда, это смело с моей стороны — давать так уверенно советы или даже составить себе такое определенное мнение о человеке, — мне, которая всегда жила в таком уединении и так мало знает свет. Но я прекрасно вижу, откуда берется моя смелость: ее источник — наша детская дружба и тот искренний интерес, который я питаю ко всему, что вас касается. И вот, поверьте мне: то, что я вам говорю, — истина. Я нисколько в этом не сомневаюсь. И мне кажется, словно не я, а кто-то другой говорит вам, что дружба эта для вас опасна.

Она замолчала, а я снова смотрел на нее, снова в душе моей продолжал звучать ее голос, и образ Стирфорта, все еще дорогой мне, все больше и больше тускнел.

— Я вовсе не так безрассудна, — заговорила через некоторое время Агнесса своим обычным тоном, — чтобы вообразить, что вы можете сразу изменить свое отношение, свой взгляд, особенно, когда дело идет о чувствах, укоренившихся в вашем привязчивом сердце. Конечно, вы не должны сразу измениться к вашему приятелю. Я только хочу сказать, что если вы когда-нибудь думаете обо мне, — тут она спокойно улыбнулась, видя, что я хочу перебить ее, и прекрасно зная, что именно я собираюсь возразить, — то есть каждый раз, когда вы думаете обо мне, вспоминайте о том, что я вам сейчас сказала. А теперь признайтесь: вы не сердитесь на меня? Прощаете?

— Я это прошу вам, Агнесса, только тогда, — ответил я, — когда вы в конце концов воздадите должное Стирфорту и сами полюбите его так, как люблю его я.

— Не раньше? — промолвила Агнесса.

Я заметил, что какая-то тень промелькнула тут на ее лице, но сейчас же мы улыбнулись друг другу и принялись болтать откровенно, как всегда.

— А вы, Агнесса, когда простите мне тот вечер? — спросил я.

— Как только о нем вспомню, — ответила она.

Этим она желала показать, что считает вопрос исчерпанным, но я слишком близко принимал к сердцу все случившееся и не успокоился до тех пор, пока не рассказал ей все подробно. Мне положительно было необходимо объяснить ей, каким образом довел я себя до такого

унизительного состояния и благодаря какому стечению обстоятельств мы с ней встретились в театре. Словно камень свалился у меня с души после этого, и тут я воспользовался случаем рассказать Агнессе, как ухаживал за мной Стирфорт, когда я был не в состоянии сам позаботиться о себе, и как я должен быть ему за это благодарен.

— Помните, — спокойным тоном сказала Агнесса, желая, очевидно, переменить тему разговора, — вы ведь должны говорить мне не только о своих горестях, но и о более радостных вещах, — о любви, например. А ну-ка, признайтесь, Тротвуд, кто сейчас сменил в вашем сердце мисс Ларкинс?

— Никто, Агнесса.

— Кто-то есть, — смеясь, промолвила она, грозя пальцем.

— Нет, Агнесса, честное слово, нет! Правда, есть одна особа в доме миссис Стирфорт, мисс Дартль, она очень умна, и я люблю говорить с ней, но я совсем не влюблен в нее.

Агнесса рассмеялась своей собственной пронизательности и сказала мне, что если только я добросовестно буду сообщать ей, когда влюблюсь, то она заведет список всех моих увлечений с обозначением года, месяца и числа начала и конца каждого из них. Это будет нечто вроде хронологии царствований королей и королев в истории Англии. Потом она вдруг спросила, не видел ли я Уриа.

— Уриа Гиппа? — удивился я. — Нет. А разве он в Лондоне?

— Он ежедневно бывает в здешней конторе, — ответила Агнесса. — Приехал он сюда за неделю до меня и по делу, боюсь, Тротвуд, не очень для нас приятному.

— По делу, которое, я вижу, беспокоит вас, Агнесса. Что ж это за дело?

Агнесса отложила в сторону вязанье, сложила руки и, глядя на меня своими чудесными, кроткими глазами, проговорила:

— Кажется, он станет папиным компаньоном по конторе.

— Что вы говорите, Агнесса! Да этого быть не может! Что бы такой низкий, пресмыкающийся малый мог втереться в такое дело! — закричал я в негодовании. — Неужели, Агнесса, вы не протестовали против этого? Подумайте только о последствиях! Вы не можете молчать! Вы не должны допустить вашего отца до такого безумного шага! Надо остановить его, пока еще не поздно!

Продолжая смотреть на меня и улыбаясь моей горячностью, она покачала головой и ответила:

— Помните наш последний разговор о папе? Так вот очень вскоре после этого, через два-три дня, он впервые намекнул мне на то, что я вам сейчас сказала. Тяжело было видеть, как он старается уверить меня, что поступает так по собственному желанию, и в то же время не может скрыть, что его заставляют это сделать... Признаюсь, очень было мне больно.

— Заставляют его, Агнесса? Но кто же заставляет?

— Видите ли, — после минутного колебания заговорила Агнесса, — Уриа сумел стать необходимым для папы. Он человек хитрый и наблюдательный. Подметив слабые стороны отца, он ловко пользовался ими до тех пор, пока... Одним словом, Тротвуд, папа его боится.

Для меня стало ясно, что здесь больше того, что она мне сказала, и больше, быть может, того, о чем она сама знает или догадывается. Я не хотел мучить ее расспросами, понимая, что если она не договаривает, то только потому, что щадит отца. А я признавал, что все давно шло к этому, и молчал.

— Влияние его на папу огромно, — продолжала Агнесса. — Правда, он всегда выказывает по отношению к папе полную покорность и глубочайшую благодарность, — хочу надеяться, что это искренне, но вместе с тем несомненно, что Уриа теперь большая сила, и я очень боюсь, чтобы он не злоупотреблял этим.

— Это сущий пес! — воскликнул я, и это несколько облегчило меня.

— В ту пору, когда папа впервые заговорил со мной об этом, — рассказывала Агнесса, — Уриа заявил папе, что уходит от него. При этом он сказал, что ему очень тяжело уходить, он не хочет этого, но в другом месте ему открываются лучшие перспективы на будущее. Папа был удручен, как никогда раньше, он совсем пал духом. С одной стороны, мысль сделать Уриа компаньоном была как будто выходом из положения, с другой — это казалось ему оскорбительным и постыдным.

— А как же вы, Агнесса, отнеслись к этому проекту?

— Я поступила, Тротвуд, так, как считала нужным: чувствуя, что это необходимо для папиного спокойствия, я убедила его принести эту

жертву. Я уверила его, что это облегчит бремя его забот (надеюсь, это действительно будет так) и даст возможность нам больше быть вместе. Ах, Тротвуд! — воскликнула Агнесса, закрывая руками лицо, по которому струились слезы. — Мне порой кажется, что я была для папы не любящей дочерью, а злейшим врагом, ибо знаю, что он переменялся из-за любви ко мне. Знаю я, что желание всецело посвятить себя мне заставило его забросить своих друзей и меньше заниматься делами. Знаю, сколько жертв принес он ради меня, как заботы обо мне омрачали его жизнь и подрывали энергию: ведь все его мысли сосредоточивались на мне одной. Если бы я могла все это поправить! Если бы я, которая невольно была причиной его упадка, могла снова поднять его!

Никогда раньше не видывал я, чтобы Агнесса по-настоящему плакала. Правда, у нее на глазах, помнится, блестели радостные слезы, когда я победителем, с наградами, возвращался со школьных торжеств; были влажны ее глаза, когда мы последний раз говорили об ее отце; она отвернулась, чтобы скрыть свои слезы, когда я окончательно уезжал от них. Но все это было не то. Тут было глубокое горе. Меня это так огорчило, что я, схватив ее за руку, беспомощно, по-детски все повторял: «Не плачьте, не плачьте же, дорогая сестрица!» Но у Агнессы характер был настолько сильнее моего, настолько лучше она владела собой, что мне недолго пришлось ее уговаривать успокоиться. К ней скоро вернулось ее чарующее спокойствие, так отличавшее ее от всех, кого мне приходилось знать, и личико ее прояснилось, как небо после пронесшейся грозы.

— Нам, наверно, еще недолго придется быть наедине, — промолвила Агнесса, — и я хочу воспользоваться этим временем, чтобы горячо попросить вас быть поласковее с Уриа. Не отталкивайте его от себя и не возмущайтесь (как, мне кажется, вы склонны делать) тем, что вам в нем не нравится. Быть может, он и не заслуживает ненависти: ведь, в сущности, мы не знаем за ним ни одного низкого поступка. Во всяком случае, помните, Тротвуд, что ради папы и меня вы должны быть вежливы с ним.

Больше Агнессе ничего не удалось мне сказать, так как открылась дверь и в гостиную величественно вплыла миссис Вотербрук — дама или очень полная, или одетая в очень пышное платье, — по правде сказать, разобраться в этом я не был в силах. Я припомнил, что видел

ее в театре, но припомнил так смутно, словно видел ее изображение в плохо освещенном волшебном фонаре. Она же, повидимому, сразу узнала меня и, пожалуй, опасалась, не пьян ли я снова.

Однако, мало-помалу убедившись, что я трезвый и, смею надеяться, скромный молодой человек, она смягчилась и соблаговолила спросить меня, во-первых, часто ли я гуляю в парках и, во-вторых, много ли я бываю в светском обществе. Мой отрицательный ответ на оба вопроса, кажется, снова уронил меня в ее глазах, но она любезно не показала виду и даже пригласила меня на следующий день обедать. Я принял приглашение, поблагодарил ее и удалился. Спустившись вниз, я зашел повидаться с Уриа, но не застал его и оставил ему визитную карточку.

Когда на следующий день я явился к обеду, то, как только открылась входная дверь и в нос мне ударил запах жарившейся баранины, я сейчас же догадался, что не был единственным гостем, так как внизу лестницы стоял мой старый знакомец — рассыльный, одетый теперь в ливрею его, очевидно, взяли в помощь прислуг, чтобы докладывать о гостях. Малый этот, тихонько спрашивая мое имя, изо всех сил старался не подать виду, что он раньше встречал меня; я сделал то же самое, и нам обоим от этого стало неловко.

Мистер Вотербрук оказался джентльменом средних лет, с короткой шеей, с высоким, туго накрахмаленным воротничком. Ему недоставало только черного носа, чтобы совершенно походить на моську. Приветствуя меня, мистер Вотербрук заявил, что счастлив иметь честь познакомиться со мной, и, когда я поздоровался с хозяйкой дома, представил меня очень страшной даме, в черном бархатном платье и большой черной бархатной шляпке, имевшей вид родственницы Гамлета, ну, скажем, его тетки.

Имя этой дамы было миссис Генри Спикер. Ее супруг был также в числе гостей; от него веяло таким ледяным холодом, что волосы его казались не седыми, а покрытыми инеем. Мистеру Генри Спикеру и его супруге оказывалось самое подобострастное почтение, которое, как мне объяснила Агнесса, вызывалось тем, что мистер Спикер был поверенным в делах у кого-то, имеющего какое-то отношение к министерству финансов.

Среди гостей был и Уриа Гипп, облаченный во фрак и глубочайшее смирение. Я пожал ему руку. Он сказал мне, как горд он

тем, что я соблаговолил узнать ею, и какую действительно чувствует большую благодарность за мою к нему снисходительность. Я предпочел бы, чтобы его благодарность была менее горяча, ибо, охваченный этим чувством, он бродил вокруг меня весь вечер, и стоило нам с Агнессой перекинуться несколькими словами, как позади появлялось его мертвенно бледное лицо с устремленными на нас глазами, лишенными ресниц.

Были еще и другие гости, и все они казались замороженными, словно шампанское. Но один из них привлек мое внимание еще до своего появления, как только было доложено о нем как о мистере Трэдльсе. Мгновенно я перенесся в прошлое, в Салемскую школу. «Неужели это тот самый Томми, — мелькнуло в моей голове, — который, бывало, все рисовал скелеты?» Понятно, с каким нетерпением ожидал я этого мистера Трэдльса. Он оказался сдержанным, степенным молодым человеком со скромными манерами, очень смешно торчавшими на голове волосами и широко открытыми глазами. Трэдльс так поспешил забиться в темный угол, что мне трудно было разглядеть его. Когда со временем мне все-таки это удалось сделать, то я решил, что если только глаза меня не обманывают, это действительно прежний злосчастный Томми.

Я подошел к мистеру Вотербруку и сказал ему, что, повидимому, я имею удовольствие видеть среди его гостей своего бывшего товарища по школе.

— В самом деле? — удивленно проговорил мистер Вотербрук. — Но вы слишком молоды, чтобы могли быть в школе с мистером Спикером.

— Я не о нем говорю, сэр, — ответил я; — я имел в виду мистера Трэдльса.

— Ах! Вот как! — сказал хозяин дома несравненно более равнодушным тоном. — Да, да, это возможно.

— Если это действительно тот самый Трэдльс, — продолжал я, глядя в ту сторону, — так мы с ним учились когда-то в Салемской школе. Это был чудесный малый.

— О да! Трэдльс — хороший человек, — кивая головой, со снисходительным видом проговорил мистер Вотербрук. — Трэдльс — вполне хороший человек.

— Какое курьезное совпадение! — заметил я.

— Действительно, совпадение удивительное, — согласился мистер Вотербрук. — Тем более, что Трэдльс попал к нам совершенно случайно: ему только сегодня утром было послано приглашение, так как, видите ли, одно место за нашим столом должно было остаться незанятым вследствие нездоровья брата миссис Генри Спикер. Да, мистер Копперфильд, вот уже кто в полном смысле слова джентльмен, так это брат миссис Генри Спикер.

Я что-то пробормотал, восхищаясь этим джентльменом, о котором впервые слышал, а затем спросил мистера Вотербрука о профессии Трэдльса.

— Трэдльс готовится в адвокаты, мистер Копперфильд. Да, он прекраснейший малый и если кому враг, то только самому себе.

— Так вы говорите — он враг себе? — переспросил я, опечаленный слышать это.

— Видите ли, — ответил мистер Вотербрук, поджимая губы и с самодовольным видом играя цепочкой от часов, — Трэдльс один из тех людей, которые в жизни ничего не могут добиться. Ну, например, ему никогда не получать в год и пятисот фунтов стерлингов. Трэдльса мне рекомендовал один из моих приятелей-адвокатов. Да, да! Оказалось, что он не лишен способностей, несомненно в состоянии изучить дело и толково изложить его. Вот почему время от времени ему от меня и перепадают дела, а для него это имеет значение. Да, да...

На меня производила большое впечатление та благодушно-самодовольная манера, с которой мистер Вотербрук время от времени ронял свои «да, да». Оно говорило о том, что человек, произносящий его, родился если не с серебряной ложкой во рту, как говорится у нас в Англии, то с лестницей в руках, по которой он со ступеньки на ступеньку усердно избирался на жизненную крепость, и теперь, наконец, добравшись до ее вершины, философски и покровительственно смотрит на людей, копающихся где-то там внизу, во рву.

Я все еще думал об этом, когда доложили, что обед подан. Мистер Вотербрук предложил руку тетушке Гамлета; мистер Генри Спикер проследовал под руку с миссис Вотербрук; Агнесса, кавалером которой мне так бы хотелось быть, — увы! досталась молодому человеку с глуповатой улыбкой и слабыми ногами. Уриа,

Трэдльс и я, как самые юные члены общества, поплелись за ними в хвосте. Я не был так огорчен, как мог бы быть, лишившись за столом соседства Агнессы, только потому, что это дало мне возможность возобновить на лестнице наше знакомство с Трэдльсом. Он мне страшно обрадовался, а Уриа при этом до того противно и навязчиво, извиваясь ужом, выражал свое удовольствие, что я готов был схватить его поперек туловища и швырнуть за перила.

В столовой мы с Трэдльсом разлучились: нас рассадили на противоположные концы стола, и, в то время как он попал в сферу сияния, исходившего от красного бархатного платья своей дамы, надо мной нависла тень мрачного туалета тетушки Гамлета. Обед тянулся очень долго, и разговор шел исключительно об аристократии и чистоте крови. Миссис Вотербрук поведала нам, что если у нее имеется слабость, то только к аристократической крови. Кровь! Кровь! О ней столько говорилось, что, право, можно было принять наш обед за обед людоедов.

— Должен признаться, что вполне разделяю взгляд моей супруги, — проговорил мистер Вотербрук, подняв бокал с вином и прищурившись на него. — Немало хорошего есть на свете, но выше всего я ставлю кровь!

— О, ничто не может дать столько удовлетворения! — воскликнула тетушка Гамлета. — Поистине, чистота крови является наивысшим, всеобъемлющим идеалом. Правда, есть низменные умы (хочу надеяться, что их все-таки не так много), которые предпочитают, я бы сказала, заниматься идолопоклонством... Да, положительно, они поклоняются, например, тем, кто оказал государству большие услуги, людям ума, таланта и тому подобное. Но все это неосознательно, не то что частота крови, которую вы сейчас же видите в самом носе аристократа, в его подбородке! Это уж нечто достоверное. Здесь уж не может быть никаких сомнений!

Тут слабый на ноги молодой человек с глуповатой улыбкой, который вел Агнессу под руку к обеду, перещеголял, кажется, в своих воззрениях и самую тетушку Гамлета.

— Да, черт побери! — начал этот милый молодой человек, поглядывая кругом с идиотской улыбкой. — Знаете, это сильнее нас, вот эта самая чистая аристократическая кровь! Знаете, она положительно необходима нам. Подайте нам ее, да и только! Знаете,

встречаются молодые аристократы, которые и по образованию и по поведению, быть может, не совсем на высоте. Они даже иной раз собьются с пути, натворят всяких бед и себе и другим. А вот поди же! все-таки приятно, чорт побери, сознавать, что в их жилах течет аристократическая кровь. Скажу о себе: мне было бы гораздо приятнее, чтобы меня свалил на землю аристократ, чем поднял с земли простой смертный!

Эта речь, в сущности, в сжатом виде выразившая общие взгляды, имела огромный успех, и благодаря ей автор пользовался всеобщим вниманием до самого ухода дам из столовой.

Мужчины, оставшись один за столом, заговорили о каких-то лордах, о каких-то векселях. Мне все это было неприятно и невыносимо скучно, а мистер Вотербрук снял оттого, что в его доме упоминаются такие аристократические имена.

Можно себе представить, как я был рад, когда наконец смог подняться наверх, в гостиную, где была Агнесса. Поговорив с ней немного и укромном уголке, я представил ей Трэдльса. Мой старый товарищ, несмотря на свою застенчивость, остался таким же милым и симпатичным, каким я знавал его и в школе. Так как на следующее утро ему предстояло, на целый месяц покинуть Лондон, то он ушел очень рано, и я далеко не наговорился с ним так, как бы мне этого хотелось. Но мы обменялись адресами и условились по его возвращении сейчас же снова встретиться. Он очень заинтересовался тем, что я возобновил свою дружбу со Стирфортом, и говорил о нем с таким жаром, что я заставил его все это повторить Агнессе. Но во время этих дифирамбов она молча поглядывала на меня и, когда этого не мог видеть Трэдльс, покачивала головой.

Так как Агнесса была в кругу людей, среди которых вряд ли она могла себя чувствовать как дома, то я почти обрадовался, узнав, что она скоро возвращается в Кентербери, хотя, конечно, вместе с тем мне не могло не быть грустно, что мы снова с ней расстанемся. Это заставило меня пересидеть всех гостей. Разговор с Агнессой, ее пение так чудесно напоминали мне счастливые дни, прожитые в тихом старинном доме, которому она придавала такую невыразимую прелесть, что я охотно просидел бы в этой гостиной добрую половину ночи: но когда все светила из плеяды гостей мистера Вотербрука закатились, то мне ничего не оставалось больше делать, как самому

откланяться. Уходя, я более ясно, чем когда либо, чувствовал, каким, действительно, ангелом-хранителем была для меня Агнесса.

Я только что сказал, что гости разошлись, — разошлись все, кроме Уриа, который весь вечер не переставал вертеться вокруг нас с Агнессой. Я чувствовал его за своей спиной, спускаясь по лестнице, чувствовал и выйдя на улицу, когда он, идя за мной, натягивал на свои костлявые пальцы какие-то огромные перчатки.

Не имея ни малейшего желания находиться в его обществе, но помня просьбу Агнессы быть с ним любезным, я предложил ему зайти ко мне и выпить чашку кофе.

— О! Неужели, мистер Копперфильд, вы оказываете мне такую честь? Мне бы не хотелось, чтобы вы стесняли себя, пригласив в свой дом такого маленького человека, как я.

— Да я вовсе себя и не стесняю, — ответил я. — Так хотите зайти ко мне?

— С превеликим удовольствием! — извиваясь всем телом, воскликнул Уриа.

— Ну, так идемте, — отозвался я.

Я невольно говорил с ним сухо, но он, казалось, не замечал этого. Мы шли кратчайшим путем и дорогой почти не говорили. При входе в дом я взял его за руку, чтобы провести по лестнице, где он мог стукнуться впотьмах головой, но его холодная и влажная рука так напоминала лягушку, что мне захотелось бросить ее и убежать. Однако мысль об Агнесе и долг гостеприимства взяли верх, и я привел его к себе. Когда я зажег свечи, он пришел в неопикуемый восторг от моей гостиной; когда же я стал варить кофе в жестяной посуде (она, в сущности, предназначалась для подогревания воды для бритья, но моя хозяйка употребляла ее для варки кофе, жалея дорогой патентованный кофейник, ржавеющий в чулане), он тут проявил столько волнения, что вывел меня из себя, и я был близок к тому, чтобы вылить на него кипящий кофе.

— Господи! Мог ли я думать, мистер Копперфильд, что вы сами будете готовить для меня кофе! Но со мной вообще за последнее время происходит столько неожиданного, что все это кажется мне благословением божьим, ниспосланным мне за мое смирение. Вы, вероятно, слышали, мистер Копперфильд, о предстоящей перемене в моей судьбе?

Видя, как Уриа сидит на моем диване, подобрав свои длинные ноги так, чтобы поставить на колени чашку с кофе, как он положил подле себя на пол шляпу и перчатки, а сам тихонько помешивает ложечкой кофе, и в это время его красные глаза без ресниц устремлены на меня, а ноздри то сжимаются, то раздуваются, и весь он, от подбородка до сапог, извивается, как змея, — видя все это, я признался себе, что к этому человеку я просто питаю отвращение. Мне было очень не по себе, и я чрезвычайно тяготился таким гостем, — ведь тогда я был еще очень молод и не привык скрывать своих переживаний.

— Мне кажется, что вы должны были слышать о предстоящей перемене в моей судьбе, мистер Копперфильд? — повторил Уриа.

— Да, — ответил я, — кое-что слышал.

— А-а-а... Я так и думал, что это известно мисс Агнессе, — спокойным тоном промолвил он. — Чрезвычайно рад, что мисс Агнесса знает об этом. О, благодарю вас, мистер Копперфильд!

Я готов был тут же запустить в него сапожной колодкой, случайно стоявшей здесь же, у камина. Меня взбесило, что этой гадине удалось выведать хотя бы ничтожную долю того, что сказала мне Агнесса, но я сдержался и молча продолжал пить свой кофе.

— А знаете, мистер Копперфильд, вы оказались пророком, — продолжал Уриа — Да каким еще пророком! Господи! Помните, вы мне как-то сказали, что, пожалуй, когда-нибудь я стану компаньоном мистера Уикфильда и фирма будет тогда уж называться «Уикфильд и Гипп». Вы, конечно, можете этого и не помнить, но такой маленький человек, как я, подобных слов забыть не в силах и хранит их, как какую-нибудь драгоценность.

— Припоминаю, будто я говорил что-то в этом роде, — согласился я, — но, по правде сказать, тогда мне это казалось маловероятным.

— А скажите, кому тогда в голову могло притти, что это может когда-нибудь осуществиться! — с восторгом воскликнул Уриа — Я первый не мог допустить этого. Помню, как я вам ответил, что слишком уж я ничтожный для этого человек. И, поверьте, я был искренен, говоря вам это.

Он сидел со своей отвратительной застывшей улыбкой-гримасой и смотрел на огонь, а я не спускал с него глаз.

— Но, видите ли, мистер Копперфильд, — продолжал он после некоторого молчания, — самые скромные люди могут иногда служить орудием в добрых делах. Я рад думать, что, быть может, оказался таким орудием в судьбе мистера Уикфильда, а со временем буду в состоянии сделать для него еще больше. Ах, мистер Копперфильд! Какой это достойный человек и как он был неосторожен!

— Очень огорчен это слышать, — сказал я и не мог удержаться от того, чтобы, делая ударение на этих словах, не прибавить: — во всех отношениях.

— Совершенно верно, мистер Копперфильд, «во всех отношениях». И больше всего ради мисс Агнессы. Быть может, вы уже не помните, как однажды вы так верно и красноречиво сказали, а я прекрасно запомнил эти ваши слова: «Каждый, кто ее знает, должен восхищаться ею». Я тогда еще горячо благодарил вас за них. Но вы, наверно, все это забыли, мистер Копперфильд, не правда ли?

— Нет, — сухо ответил я.

— О, как я рад, что вы не забыли этого нашего разговора! — воскликнул Уриа. — Подумать только, что вы первый заронили и мою скромную душу искру тщеславия и еще помните об этом. О, мистер Копперфильд! Вы извините меня, если я попрошу у вас еще чашечку кофе?

Приподнятый тон, которым он говорил об искре, брошенной мной в его душу, взгляд, который он при этом кинул на меня, заставили меня вздрогнуть, словно я при каком-то ослепительном свете вдруг увидел его настоящую сущность. Просьба налить ему еще кофе, произнесенная совсем иным, обыкновенным тоном, вернула меня к моим хозяйским обязанностям. Но, наливая кофе из посуды, предназначенной для бритья, я чувствовал, как дрожит моя рука; я понял, что не в силах с ним тягаться, и инстинктивно боялся того, что он собирается еще мне сказать. Конечно, от него не могло укрыться мое волнение.

Он молчал, старательно мешая ложечкой сахар, пил маленькими глотками кофе, поглаживал своей костлявой рукой подбородок, смотрел в огонь, оглядывал комнату, под видом улыбки строил мне гримасы и снова, охваченный низкопоклонством, извивался наподобие змеи; но все это он делал не проронив ни слова, предоставляя мне возобновить беседу.

— Итак, значит, — заговорил я наконец, — мистер Уикфильд, который стоит по крайней мере пятисот таких, как вы... или как я (тут я не мог удержаться, чтобы после слова «вы» не сделать паузы), по вашим словам был очень неосторожен, не так ли, мистер Гипп?

— Действительно, он был очень неосторожен, мистер Копперфильд, — ответил Уриа, скромно вздыхая.. — О, чрезвычайно неосторожен! Но, пожалуйста, зовите меня просто Уриа, как в былые времена.

— Ну, хорошо, — с трудом проговорил я.

— О, благодарю вас! — с жаром воскликнул он. — Благодарю вас, мистер Копперфильд! Когда вы назвали меня Урна, на меня пахло прошлым, и я как будто услышал звон родных церковных колоколов. Но, прошу прощения, о чем это мы с вами сейчас говорили?

— О мистере Уикфильде, — напомнил я.

— Да, да, — подтвердил Уриа. — Ах, как неосторожно вел он свои дела! Конечно, ни в чьем присутствии, кроме вашего, я не стал бы и намекать на это, но даже и вам я только могу намекнуть, не более. Одно скажу если бы эти последние годы на моем месте был кто-нибудь другой, то он зажал бы мистера Уикфильда (а что это за достойнейший человек!) в свой кулак, — да, говорю вам, в свой кулак.

При этом он так стукнул кулаком по столу, что не только стол, но, кажется, и вся комната задрожала.

Я так ненавидел его в эту минуту, что, верно, не мог бы ненавидеть больше, если б эта гадина на моих глазах наступила своей ножицей на голову мистера Уикфильда.

— Да-с, дорогой мистер Копперфильд, — продолжал он тихонько, что особенно подчеркивало злобу, с которой он нажимал на стол своим сжатым кулаком, — это не подлежит ни малейшему сомнению: тут было бы и разорение, и позор, и уж не знаю еще что. И мистеру Уикфильду это хорошо известно. Я был скромным орудием, служившим ему, при всей своей ничтожности, верой и правдой, и вот он возводит меня на такую высоту, о которой я даже и мечтать не смел. Как же я должен быть ему благодарен!

Хорошо помню, с каким негодованием колотилось мое сердце, когда я глядел на его плутовскую физиономию, зловеще освещенную красным отблеском раскаленных углей в камине, и чувствовал, что он еще не все сказал.

— Мистер Копперфильд... — снова начал он. — Но, быть может, я не даю вам спать своими разговорами?

— Нет, вы мне нисколько не мешаете, я обыкновенно поздно ложусь спать, — ответил я.

— Благодарю вас, мистер Копперфильд Правда, с тех пор как мы с вами впервые встретились, положение мое несколько улучшилось, но я все-таки и теперь человек маленький, скромный, и надеюсь, что таким я останусь на всю жизнь. Не правда ли, вы не сочтете меня нескромным, если я поведаю вам одну маленькую тайну?

— О нет! — с усилием проговорил я.

— Благодарю вас. — Тут он вынул носовой платок и стал вытирать свои влажные ладони. — Так, видите ли, мистер Копперфильд, мисс Агнесса...

— Ну, продолжайте же, Уриа.

— До чего мне приятно, что вы меня зовете Уриа! — воскликнул Гипп, извиваясь всем телом, словно рыба, только что вытащенная из воды. — Не находите ли вы, мистер Копперфильд, что сегодня вечером она была очень красива?

— Сегодня, как и всегда, я нахожу, что она во всех отношениях выше окружающих ее, — ответил я.

— О, благодарю вас! Это так верно! — закричал Уриа. — Очень, очень благодарен вам за эти слова!

— Не за что, — надменно заметил я. — У вас нет никакого основания благодарить меня.

— Видите ли, мистер Копперфильд, это как раз связано с той маленькой тайной, которую я беру на себя смелость вам открыть. Как ни скромн я, — тут он снова еще усерднее стал вытирать платком ладони, поочередно глядя то на них, то на огонь в камине, — как ни скромна моя матушка, как ни жалок наш хотя честный, но бедный дом, а все-таки образ мисс Агнессы... (мне не тяжело делиться с вами моей тайной с той минуты, как я впервые увидел вас в кабриолете с вашей бабушкой, я почувствовал к вам симпатию) образ мисс Агнессы все эти годы жил в моем сердце... О мистер Копперфильд! Если бы вы знали, какую чистую любовь питаю я к самой земле, по которой моя Агнесса пройдет своими ножками!

Кажется, у меня является безумная мысль выхватить из камина раскаленную докрасна кочергу и проткнуть ею эту рыжую скотину. К

счастью, мысль эта вылетает из моей головы, как пуля из ружья, но образ Агнессы, в моих глазах как бы поруганный самыми помыслами этой рыжеголовой скотины, не покидает меня. Эта скотина как-то скорчившись сидит на моем диване, словно его подлая душонка держит в тисках его тело, и доводит меня до головокружения. Мне мерещится, что Уриа на моих глазах как бы распухает, растет, его голос наполняет всю комнату, и мною овладевает странное чувство (верно, знакомое многим), что все это когда-то, давным-давно уже было, и я знаю все, что он собирается сказать мне.

Тут я замечаю на лице Уриа сознание своей силы; это больше всего прочего заставляет меня вспомнить о просьбе Агнессы, и я спрашиваю его с кажущимся спокойствием, на которое я совершенно не считал себя способным еще за минуту перед этим, говорил ли он уже Агнессе о своих чувствах к ней.

— О нет, мистер Копперфильд! — воскликнул он. — Боже мой! Конечно, нет! Никому, кроме вас одних, не говорил я. Видите ли, я только начинаю выходить из своего более чем скромного положения. Все мои надежды зиждутся на том, что она видит, до какой степени я полезен ее отцу (действительно, я надеюсь быть ему очень полезным, мистер Копперфильд), знает, как я стану все облегчать ему, как буду стараться, чтобы никакие беды не коснулись его. Агнесса ведь так привязана к своему отцу, мистер Копперфильд (как чудесно видежь это в дочери!), и вот я мечтаю, что ради него она может быть добра ко мне.

Тут я понял всю глубину замыслов этого мерзавца, а также и то, почему он решил их высказать мне.

— Если вы, мистер Копперфильд, будете так добры и не выдадите моей тайны, — продолжал Уриа, — и вообще не будете против меня, то я сочту это для себя великой милостью. Зная ваше доброе сердце, я уверен, что вы не захотите намеренно повредить мне в глазах моей Агнессы, но, быть может, вы могли бы это сделать невольно. Видите, мистер Копперфильд, я уже называю ее моей. Есть песня, в которой поется: «Отдал бы царскую корону, лишь бы была она моей». Вот я и надеюсь не сегодня, так завтра добиться этого.

Дорогая моя Агнесса! Она, такая любящая, такая хорошая, для которой я не видел кругом ни одного достойного ее молодого человека, — неужели может она достаться подобному мерзавцу!

В то время как эти мысли бродили в моей голове и я пристально смотрел на Уриа, он снова заговорил своим заискивающим тоном;

— Знаете, мистер Копперфильд, это дело не к спеху. Моя Агнесса еще очень молода, а нам с матушкой много еще надо потрудиться, много еще нужно подняться в гору, раньше чем думать об этом, и у меня будет время мало-помалу, пользуясь удобными случаями, приучить ее к моим мечтам. О, я так благодарен вам, что вы позволили мне открыть вам свою тайну! У меня просто камень с души свалился, с тех пор как я знаю, что вы понимаете положение вещей, и потому уверен, что ради самой Агнессы и ее отца вы не пойдете против меня.

Говоря это, он схватил мою руку, — я не решился ее выдернуть, — и, пожав ее влажной своей рукой, взглянул на свои бесцветные часы.

— Бог мой! — воскликнул он. — Уже второй час! Как быстро летит время, когда вспоминаешь о прошлом, мистер Копперфильд! Подумайте только, почти половина второго!

Я ответил, что считал время более поздним. Сказал я это не потому, что так думал, а просто сболтнул, совсем истощив свои разговорные способности.

— Боже мой! — проговорил он, что-то обдумывая. — Как быть? В меблированных комнатах близ Нового моста, где я остановился, уже часа два как все спят.

— Очень жаль, что у меня только одна кровать...

— Какая там кровать, мистер Копперфильд! — воскликнул он, почему-то в восторге подпрыгивая ногой. — Скажите, вы ничего не будете иметь против того, чтобы я лег здесь, на полу, у камина?

— Если на то пошло, так лучше уж вы ложитесь на мою кровать, а я устроюсь здесь, на полу, — сказал я.

Усиленно отказываясь от моего предложения, Уриа, в порыве благодарности и самоуничужения, так визжал, что, наверное, разбудил миссис Крупп, должно быть, давно мирно спавшую в своей преисподней под тиканье отчаянно вравших стенных часов. Они отставали в сутки на три четверти часа, из-за чего у нас с хозяйкой порой бывали маленькие столкновения по поводу хронических ее запаздываний.

Так как, при скромности Уриа, убедить его лечь на мою кровать оказалось невыполнимым, то мне пришлось устроить его по возможности лучше на полу, у камина. Я соорудил ему ложе из диванного матраца (конечно, слишком короткого для его долговязой фигуры), диванных подушек, одеяла, сукна со стола, чистой скатерти и теплого пальто. Благодарности его не было границ. Я дал ему свой ночной колпак, и он, напялив его себе на голову, стал таким страшилищем, что с тех пор я никогда не решался больше надевать этот колпак. Устроив его таким образом, я пожелал ему спокойной ночи и ушел к себе.

Никогда не забыть мне этой ночи! Никогда не забыть, как я ворочался и метался! Что за пытку переносил я, думая об Агнессе и о тех видах, какие имеет на нее эта тварь! Как ломал я себе голову над тем, что мне тут делать и как делать, и все это сводилось к тому, что ради спокойствия самой Агнессы лучше ровно ничего не делать и все, что я узнал, таить в своей душе. Стоило мне забыться на несколько минут и я сейчас же видел Агнессу с ее кроткими глазами, видел ее отца, который смотрит на нее с любовью, как часто что бывало наяву; я чувствовал, что обоим им грозит какая-то беда, что они молят меня о помощи, и я в ужасе просыпался. Мысль, что рядом спит Уриа, угнетала меня, как кошмар, — мне казалось, что здесь почует сам дьявол.

В моих тревожных мимолетных снах и каминная кочерга не давала мне покоя. Когда я стал просыпаться и еще находился в каком-то среднем состоянии между сном и бодрствованием, мне вдруг померещилось, что я сейчас только, схватив эту самую раскаленную кочергу, проткнул ею тело рыжей скотины. Мысль эта так навязчиво преследовала меня, что, прекрасно понимая всю ее нелепость, я тем не менее встал с постели и на цыпочках пошел в гостиную. Уриа лежал на спине, вытянув ноги почти до самой стены, и, широко открыв рот, храпел и сопел немилосердно. Он был еще отвратительнее, чем снился мне, и меня как-то болезненно стало тянуть чуть ли не каждые полчаса по несколько минут смотреть на него. Эта длинная, бесконечная ночь показалась мне такой тяжелой, такой безнадежной! На сумрачном, обложенном тучами небе все не появлялось признака рассвета... Когда рано утром я увидел, что Уриа спускается по лестнице (слава богу, завтракать он не остался!), мне

почудилось, что с ним вместе уходит от меня эта ужасная ночь. Помню, что, отправляясь в «Докторскую общину», я настойчиво просил миссис Крупп оставить окна подольше открытыми, чтобы гостиная хорошенько проветрилась после пребывания в ней этого гада.

Глава XXVI

Я ПОПАДАЮ В ПЛЕН

Я не видел Уриа Гиппа до отъезда Агнессы из Лондона. Придя в контору дилижанса проститься с ней и проводить ее, я узнал, что с этим же дилижансом возвращается в Кентербери и Уриа. Мне доставило некоторое удовлетворение видеть, что он в своем изношенном, безобразном, бурого цвета пальто и с открытым зонтиком, напоминающим палатку, сидит в заднем углу империала^[70], в то время как Агнесса, конечно, была внутри дилижанса. Я заслужил эту маленькую награду теми усилиями, которые я делал над собой, чтобы быть любезным сним в присутствии Агнессы. Все время, пока мы с ней говорили у окна дилижанса, Уриа, как тогда на званом обеде, не переставал парить над нами, словно какой-то большущий ястреб, жадно плотая каждое сказанное нами слово.

Встревоженный тайной, сообщенной мне Уриа у моего камина, я часто и много думал о словах, сказанных Агнессой по поводу вступления Уриа в компанию с ее отцом: «Я поступила так, как считала нужным. Чувствуя, что для папиного спокойствия эта жертва необходима, я умоляла его пойти на нее». И вот теперь меня мучило тяжелое предчувствие, что из любви к отцу Агнесса может пойти и на другую, еще более ужасную жертву. Я ведь знал, как она любит отца, знал ее самоотверженную натуру и слышал от нее самой, что она считает себя хотя и невольной, но все же причиной всех отцовских бед и жаждет уплатить ему свой долг. Меня при этом нисколько не утешало, что между Агнессой и этим рыжим мерзавцем в буром, выцветшем пальто нет ничего общего, ибо я прекрасно понимал, что огромная опасность именно и заключается в самой разнице между самоотверженной, чистой душой Агнессы и низкой, грязной душой Уриа. Несомненно, что все это ему было досконально известно и, при своем коварстве, он это прекрасно учитывал.

Я, конечно, был уверен, что перспектива такой жертвы должна была отравить жизнь Агнессы, но, видя, что она пока еще далека от этих мыслей, что тень этой грядущей беды еще не коснулась ее, я считал так же невозможным открыть ей замыслы Уриа, как и обидеть

ее. Вот почему, провожая ее, я об этом не проронил ни слова. Уезжая, Агнесса с улыбкой махала мне рукой, а в это время ее злой гений торжествующе извивался на империале, словно уже захватил ее в свои когти.

Долго потом я не мог отделаться от тяжелого впечатления, произведенного на меня этой сценой при отъезде. Получив от Агнессы письмо, в котором она сообщала мне о своем благополучном прибытии домой, я почувствовал себя таким же несчастным, как и в момент ее отъезда. Стоило мне задуматься, как я сейчас же вспоминал о грозившей Агнессе опасности, и мне делалось вдвое тяжелее. Редкую ночь мне во сне не мерещилась эта опасность. Страх за Агнессу стал как бы частью моей жизни, столь же неотделимой от моего существа, как и моя голова.

Предаваться душевным мукам у меня было более чем достаточно времени, ибо Стирфорт, как я знал из его писем, находился в Оксфорде, и по возвращении моем из «Докторской общины» я чувствовал себя очень одиноко. Мне кажется, что в эти дни в мою душу стало уже закрадываться некоторое недоверие к Стирфорту. Отвечал я на его письма очень дружески, но, в сущности, мне думается, я был рад, что ему как раз в это время нельзя приехать в Лондон. Сказать правду, я подозреваю, что это было влияние Агнессы, еще усиливавшееся благодаря тому, что она со своим горем завладела всеми моими мыслями.

А время шло своим чередом. Уходил день за днем, неделя за неделей. Я по контракту изучал дело в конторе «Спенлоу и Джоркинс». Бабушка решила давать мне на жизнь девяносто футов стерлингов в год (не считая платы за квартиру и всяких других расходов). Квартира моя была снята на год, и хотя все еще, когда темнело, она нагоняла на меня тоску и вечера в ней казались мне бесконечными, но я как-то привык пребывать и меланхолическом настроении и утешался кофе. Я поглощал его чуть не целыми ведрами. В этот период времени я, помнится, сделал три открытия: во-первых, что миссис Крупп подвержена какой-то странной болезни, при которой воспаляется нос, — болезни, требующей употребления мятной настойки; во-вторых, что у меня в чулане, очевидно вследствие каких-то удивительных колебаний температуры, лопаются и испаряются бутылки со спиртными напитками; и, в-третьих, что я,

чувствуя себя совершенно одиноким на свете, склонен изливать это в стихах на родном языке.

День, когда я был зачислен в штат конторы, ознаменовался только тем, что я угостил писцов бутербродами и вишневой настойкой, а сам вечером отправился в театр. Я выбрал драму «Незнакомец», как соответствующую духу моей «Докторской общины», и вернулся оттуда в таком виде, что едва узнал себя в зеркале.

После того как был подписан мой контракт с фирмой «Спенлоу и Джоркинс», мистер Спенлоу сказал мне, что он был бы счастлив пригласить меня, к себе в Норвуд отпраздновать вновь завязавшиеся между нами отношения, но сейчас это, к сожалению, неудобно сделать, ввиду производимых в его доме переделок по случаю возвращения из Парижа его дочери, заканчивающей там свое образование. Он тут же добавил, что как только приедет дочь, он надеется иметь удовольствие принять меня у себя. До меня раньше уж доходили слухи, что он вдовец и у него единственная дочь. Я выразил ему свою признательность.

Мистер Спенлоу сдержал свое слово. Через неделю-другую он вернулся к этому вопросу и сказал мне, что будет чрезвычайно счастлив, если, приехав в ближайшую субботу, я окажу ему честь погостить у него до понедельника. Понятно, я ответил, что честь эту ему окажу, а он тут же добавил, что сам и привезет и отвезет меня в своем экипаже.

Когда наступила суббота и я явился в контору со своим саквояжем, то писцы, почитавшие норвудский дом каким-то таинственным святилищем, почувствовали величайшее почтение не только ко мне, но даже и к моему саквояжу. Один из них не замедлил сообщить мне, будто, по слухам, мистер Спенлоу кушает не иначе как на серебре и китайском фарфоре; другой намекнул, что в норвудском доме шампанское подается так же запросто, как в других домах пиво. Старый конторщик в парике, мистер Тиффи, давно работавший в фирме «Спенлоу и Джоркинс», не раз бывал по делам в норвудском доме, и всегда его приглашали в малую столовую, где обыкновенно завтракали. Так вот, по словам мистера Тиффи, комната эта была чрезвычайно роскошно обставлена, а ост-индская темная настойка, которой его там угощали, до того крепка, что, выпив ее, вы невольно начинаете моргать глазами.

В ту субботу в нашем суде по духовным делам вторично слушалось отложенное дело одного булочника, которому грозило отлучение от церкви за то, что он на собрании своего прихода противился уплачивать налог на содержание мостовой. И так как папка с этим делом, по моему расчету, была вдвое объемистее «Приключений Робинзона Крузо», то заседание очень затянулось. Все же к вечеру мы отлучили булочника от церкви на шесть недель и наложили на него бесконечное количество судебных издержек. После того и прокурор, и судья, и адвокаты (все они были в родстве между собой) вместе отправились в город, а мы с мистером Спенлоу в его собственном экипаже поехали к нему в Норвуд.

Выезд у мистера Спенлоу был чудесный: прекрасный экипаж и породистые лошади, которые так грациозно выгибали шеи и выкидывали ноги, словно знали, что принадлежат к «Докторской общине». Вообще члены нашей общины старались перещеголять друг друга по части изящества, в том числе и изящных выездов. Впрочем, я считал, как и поныне считаю, что в мое время все эти прокторы больше всего старались перещеголять друг друга по части крахмальных воротничков и галстуков, и, по-моему, на них бывало максимальное количество крахмала, какое только человек в состоянии вынести.

Ехать было очень приятно. Дорогой мистер Спенлоу осветил мне некоторые стороны нашей профессии. Он уверял меня, что это вообще лучшая профессия на свете и никоим образом ее нельзя смешивать с деятельностью адвоката. У прокторов, по его словам, совершенно особенная работа, совсем не такая механическая, как у тех, и гораздо более выгодная в материальном отношении.

— Мы, — говорил он, — имеем возможность подходить к делам гораздо проще и ближе, чем другие учреждения, и вот это самое и делает нас привилегированной корпорацией. Конечно, — прибавил он, — нельзя отрицать неприятного факта, что работу нам дают главным образом адвокаты, но это не мешает нам смотреть на них свысока.

Я спросил мистера Спенлоу, какие, по его мнению, наилучшие дела в нашей профессии. Он ответил, что, несомненно, наиболее выгодными являются дела по спорным духовным завещаниям, когда, например, вопрос идет о каком-нибудь хорошеньком именице, так в

тридцать или сорок тысяч фунтов стерлингов. При таких делах получаются большие доходы во всех стадиях судопроизводства, — ведь нужны целые горы справок, показаний, протоколов и т. п. А обе спорящие стороны обыкновенно рьяно берутся за дело и денег не жалеют. Тут мой патрон начал во всю превозносить «Докторскую общину».

— Больше всего достоин восхищения дух единства, царящий в ней, — с жаром рассказывал он. — Благодаря этому «Докторская община» является наилучше организованным учреждением в мире. Подумайте только, как это удобно! У нас все тут, словно в одной ореховой скорлупе. Вот представьте: вы вносите в нашу консисторию дело о разводе или о возвращении обратно приданого. Здесь ваше дело рассматривается, так сказать, в семейной обстановке, не спеша, на досуге. Предположим, вас не удовлетворяет вынесенное постановление. Что делаете вы дальше? Вы переносите это самое дело под арки, в верховный суд. А что это за суд? Да, в сущности, прежний: в прежнем помещении, с прежним же составом, и только тот, кто в первой инстанции был судьей, здесь является защитником ваших интересов, а тот, кто был защитником, здесь становится судьей. Опять и здесь ваше дело разыгрывается, как по нотам. Но допустим, что и решением верховного суда вы не вполне довольны. Прекрасно! Вы еще раз переносите ваше дело в третье наше судебное учреждение — суд церковных делегатов. Кто же, спрашивается, эти самые делегаты? Да это прокторы, которые только не принимали участия в тех двух судах при рассмотрении вашего дела, по присутствовали там от нечего делать и совершенно в курсе его. Теперь, являясь судьями, они выносят постановления к общему удовольствию, хотя все-таки, знаете, угодить всем бывает трудно. Находятся люди, которые поговаривают о злоупотреблениях, творимых у нас, о слишком большой замкнутости и о необходимости у нас реформ, но, сэр, все это лишь пустые толки, и мы можем, положив руку на сердце, смело сказать перед лицом всего мира: «Коснитесь только «Докторской общины» — и вы развалите всю страну».

Я слушал все это с большим вниманием, и хотя, признаться, не вполне разделял взгляд моего патрона на значение для Англии «Докторской общины», но почтительно соглашался со всем тем, что

он высказывал. Я отнюдь не принадлежал к числу людей, собиравшихся трогать «Докторскую общину» и разваливать страну.

Через некоторое время разговор перешел на недавно виденную мной пьесу «Незнакомец», затем вообще на драму и, наконец, на лошадей, везших нас. Этих тем нам вполне хватило на всю дорогу. При доме мистера Спенлоу был прекрасный сад, и хотя время года далеко не было благоприятно для него, но содержался он в таком удивительном порядке, что я пришел от него в восторг. Виднелась зеленая лужайка, величественная группа деревьев, аллеи с трельяжем^[71], по которому весной, должно быть, вились всевозможные цветущие растения. «Ах, боже мой! здесь, наверно, в одиночестве прогуливается дочь мистера Спенлоу», мелькнуло у меня в голове.

Войдя в дом, весело сиявший огнями, мы очутились в большой передней, наполненной всевозможными шляпами, пальто, пледами, перчатками, хлыстами и тростями.

— Где мисс Дора? — спросил мистер Спенлоу у слуги. «Дора! Какое прелестное имя!» подумал я.

Из передней мы вошли в смежную комнату, которая, вероятно, была той самой малой столовой, где старый конторщик в парике упивался ост-индской темной настойкой, и я услышал голос, произнесший:

— Мистер Копперфильд, позвольте вас представить моей дочери Доре и другу дочери, пользующемуся ее доверием.

Наверное, это был голос мистера Спенлоу, но я не узнал его, — до того ли мне было! Свершилось! Судьба моя была решена: я стал пленником и рабом. В одно мгновение я до безумия влюбился в Дору.

Она казалась мне не то феей, не то сальфидой^[72], словом, каким-то сверхчеловеческим существом, — кем-то таким, кого смертные никогда не встречают, но жаждут узреть. В один миг провалился я в бездну любви... Я не в силах был удержаться на краю этой бездны, не в силах оглянуться, заглянуть на дно, — я полетел туда стремглав, прежде чем был в состоянии сказать ей хотя бы одно слово.

— Мы уже раньше встречались с мистером Копперфильдом, — услышал я хорошо знакомый голос, когда, бормоча что-то, я раскланивался перед дамами.

Не Дора произнесла это, нет, — говорил «пользующийся ее доверием друг» — мисс Мордстон.

Мне кажется, что я даже не особенно удивился. Повидимому, в эту минуту у меня пропала всякая способность удивляться чему-либо, кроме Доры Спенлоу, и я как ни в чем не бывало проговорил:

— Как поживаете, мисс Мордстон? Надеюсь, хорошо?

— Очень хорошо, — ответила она.

— А как себя чувствует мистер Мордстон? — спросил я.

— Благодарю вас, он совершенно здоров.

Думаю, что мистер Спенлоу был очень удивлен, видя, что мы знаем друг друга.

— Рад видеть, Копперфильд, что вы с мисс Мордстон старые знакомые, — проговори он.

— Мы в дальнем родстве с мистером Копперфильдом, — суровым тоном пояснила мисс Мордстон. — Когда-то мы немного знали друг друга. Это было в его детстве. Обстоятельства тогда разъединили нас, а сейчас, если бы я не услышала его имени, то никогда не узнала бы его.

— Я же всегда и всюду узнал бы вас, — заявил я, и это действительно была чистая правда.

— Видите ли, — сказал мистер Спенлоу, обращаясь ко мне, — мисс Мордстон была так добра, что согласилась взять на себя обязанность быть, так сказать, доверенным другом моей дочери Доры. Ведь у моей дочери, увы, нет матери, и мисс Мордстон как бы должна быть ее другом и защитником.

При слове «защитник» у меня невольно мелкнула в голове мысль, что мисс Мордстон напоминает те карманные пистолеты, носящие название «защита жизни», которые скорее служат грабителям для нападения, чем защитой жизни тех, на кого нападают. Но в моей голове ни одна мысль, кроме как о Доре, не могла удержаться и я, глядя на нее, по ее мило надутым губкам понял, что она вовсе не намерена доверяться своему «другу и защитнику».

Тут раздался звон колокола, и хозяин дома, объяснив мне, что это первое предупреждение к обеду, провел меня в мою комнату переодеться.

Но переодеваться или вообще что-либо делать в том восторженном состоянии любви, в котором я пребывал, казалось мне

просто смешным. Я мог только сидеть у камина и, покусывая ключ от саквояжа, думать о пленительной, очаровательной юной Доре с ее ясными глазками. Какая фигура! Какое личико! Какая прелестная манера себя держать, капризно-обворожительная!

Вторично колокол прозвучал так скоро, что я едва успел кое-как натянуть свою фракную пару (вместо того чтобы как можно аккуратнее сделать это ввиду новых обстоятельств) и спустился вниз. В гостиной я застал несколько человек гостей. Дора разговаривала с каким-то седовласым стариком. Несмотря на его седины и то, что, как он сам говорил, у него были уже правнуки, я вдруг почувствовал к нему безумную ревность...

В каком удивительном был я состоянии! Я ревновал всех и вся не только к самой Доре, но и к ее отцу. Невыносима была мысль, что другие присутствующие знают мистера Спенлоу гораздо лучше моего. Для меня было пыткой слушать разговоры о событиях, в которых я не играл никакой роли. Когда один из гостей, совершенно лысый джентльмен, с блестящей, точно отполированной головой, впрочем очень милый, спросил меня, в первый ли раз я в этих местах, я так взбесился, что готов был бог знает что ему сделать.

Но, в сущности, я никого не помню, кроме Доры. Что подавали за обедом, я тоже не помню, — одна Дора была перед моими глазами. Мне кажется, что пообедал только Дорой, и тарелок шесть были приняты от меня нетронутыми. Я сидел рядом с нею. Я говорил с нею. У нее был такой чудесный голосок, такой веселый, звонкий смех, такая прелестная, чарующая манера себя держать, — словом, было все, чтобы обратить не счастливого, погибшего юношу в полное рабство. Она была удивительно миниатюрна, но это делало ее еще более для меня драгоценной. Когда Дора с мисс Мордстон ушли из столовой (они были единственными дамами за обедом), я впал в блаженно-мечтательное состояние, которое только порой отравляла мысль, что мисс Мордстон может, пожалуй, очернить меня в глазах Доры. Милый джентльмен с отполированной головой что-то долго рассказывал мне, кажется, о садоводстве. Как будто несколько раз до меня доходили слова «мой садовник». Я делал вид, что очень внимательно слушаю его, а сам в это время бродил с Дорой по садам рая.

Когда мы пришли в гостиную, то холодный и мрачный вид мисс Мордстон еще усилил во мне страх, что мой враг задумает очернить

меня в глазах предмета моего обожания. Совершенно неожиданно от этого страха я был избавлен.

— Давид Копперфильд, — позвала меня мисс Мордстон, указывая на амбразуру^[73] окна, — на два слова.

Я храбро предстал перед лицом мисс Мордстон.

— Давид Копперфильд, — начала она, — я не стану распространяться относительно наших семейных дел. Это мало «приятная тема для разговоров.

— Далеко не приятная, мэм, — ответил я.

— Далеко не приятная, — согласилась мисс Мордстон. — Я не намерена вспоминать о бывших неприятностях и бывших обидах. Мне было нанесено оскорбление женщиной, — да будет это сказано к стыду моего пола, — о которой я не могу говорить иначе, как с презрением и отвращением, так уж лучше совсем не говорить о ней.

Я был взбешен, услышав такой отзыв о бабушке, но сдержал себя и сказал, что, конечно самое лучшее, если мисс Мордстон будет угодно вовсе не упоминать о ней, и прибавил, правда, не особенно решительным тоном, что я не могу слышать, чтобы о моей бабушке говорили неуважительно в моем присутствии.

Мисс Мордстон, закрыв глаза, презрительно кивнула головой. Затем, медленно поднимая веки, она снова заговорила:

— Давид Копперфильд, я вовсе не пытаюсь скрывать от вас того, что когда вы были ребенком, я составила себе о вас очень неблагоприятное мнение. Быть может, это было ошибкой с моей стороны, а быть может, вы с тех пор изменились. Теперь об этом нечего говорить. Но я принадлежу к семье, известной, мне кажется, твердостью характера. Я не склонна ни меняться под влиянием обстоятельств, ни менять своих мнений. И вот у меня сложилось мнение о вас, и вы можете думать обо мне все, что вам будет угодно.

Я, в, свою очередь, кивнул головой.

— Однако, — продолжала она, — нет никакой надобности, чтобы эти наши взгляды друг на друга проявлялись здесь. При теперешних обстоятельствах гораздо лучше, чтобы этого не было. Жизнь столкнула нас и может еще когда-нибудь столкнуть, и потому нам лучше всего держаться возможно дальше друг от друга. Отдаленность нашего родства является для этого достаточным основанием, и нам

вовсе не нужно привлекать внимание друг к другу. Согласны ли вы со мной?

— Мисс Мордстон, — ответил я, — я считаю, что вы и мистер Мордстон были очень жестоки со мной и бесчеловечно обходились с моей матерью. Я убежден в этом и сохраню это убеждение до конца своей жизни. Что же касается вашего предложения, то я вполне согласен с ним.

Мисс Мордстон опять закрыла глаза и кивнула головой. Затем, едва коснувшись моей руки кончиками своих жестких, холодных пальцев, она отошла от меня, поправляя свои стальные цепочки, которые я видел на ней, будучи ребенком. Эти украшения мисс Мордстон напомнили мне цепи, которые, висая на воротах тюрьмы, говорят проходящим о том, что ждет каждого, кто попадает за тюремные ворота.

Из всего, бывшего потом в тот вечер, я помню только, что владычица моего сердца пела очаровательные баллады на французском языке, аккомпанируя себе на каком-то божественном инструменте, напоминающем гитару. Баллады эти как будто все были на один и тот же танцевальный мотив: тра-ла-ла, тра-ла-ла... Помню, я утопал в блаженстве... Я отказался от всех напитков, особенно был мне отвратителен пунш. Когда моя богиня под конвоем мисс Мордстон уходила к себе, она, улыбаясь, подала мне прелестнейшую ручку. Случайно взглянув в зеркало, я увидел, что у меня совершенно дурацкий, идиотский вид. Я отправился спать в чрезвычайно сентиментальном настроении, а утром встал слегка помешанным.

Выло чудесное раннее утро, и я решил прогуляться по аллеям с трельяжем, где ничто не могло мешать мне мечтать о «ней». По дороге в сад я наткнулся в передней на ее маленькую собачку Джипа и с нежностью подошел к ней, ибо моя любовь распространялась и на собачку Лоры: но Джип оскалил на меня зубы и, рыча, забрался под стул, не желая и слышать о какой-либо дружбе.

В саду было тихо и прохладно. Я гулял, думая о том, какое было бы блаженство, если бы когда-нибудь я стал женихом этого чудесного существа. О самой женитьбе, о приданом и тому подобном я так же мало думал, как в дни моего детства, когда был влюблен в миленькую Эмми. Иметь право звать ее «Дорой», писать ей, обожать ее, боготворить, думать, что в обществе других людей она вспоминает

обо мне, — все это казалось мне верхом человеческого счастья, моего счастья... Несомненно, что тогда я был глупым, сентиментальным мальчиком, но во всем этом было столько душевной чистоты, что как ни смешно мне теперь, но все-таки я не в силах относиться к этому презрительно.

Я гулял недолго, так как вдруг, свернув на другую аллею, встретился с «ней». И сейчас, когда я вспоминаю об этом мгновении, мурашки пробегают у меня с головы до ног, а перо дрожит в руке.

— Вы... вы... мисс... Спенлоу... раненько... вышли... гулять... — пробормотал я, заикаясь.

— У нас в доме все так бестолково, — заговорила моя богиня, — мисс Мордстон просто какая-то нелепая; выдумала такую глупость — ни свет ни заря проветривать комнаты. Видите ли, ей необходим воздух!.. (Тут она расхохоталась самым мелодичным на свете смехом.) По утрам в воскресенье я ведь не упражняюсь на рояле, — продолжала она щебетать. — А надо же что-нибудь делать!. Вот я и сказала вчера вечером папе, что я решила, как только встану, пойти гулять. К тому же, это самое лучшее, самое светлое время дня, не правда ли? Как вы находите?

Я вдруг отважился на очень храбрый шаг и, правда, заикаясь, но все-таки проговорил, что в настоящую минуту действительно я нахожу, что очень светло, но еще недавно все казалось мне очень мрачным.

— Что это, комплимент или в самом деле погода изменилась? — спросила Дора.

Заикаясь больше прежнего, я ответил, что тут нет никакого комплимента, а только чистая правда, хотя изменения в погоде я и не заметил; чтобы пояснить, я застенчиво прибавил: «Я ведь имел в виду перемену своего настроения».

Дора густо покраснела, и — боже! — как обворожительно встряхнула она от смущения своими локонами! Никогда не видывал я таких локонов, и ничего нет удивительного, ибо других таких не существует в целом свете. А эта соломенная шляпка с голубыми лентами, из-под которой выбиваются эти самые локоны! О, если б только я мог завладеть этой шляпкой! Какой драгоценностью была бы она для меня в моей гостиной на Букингамской улице!

— Вы только что приехали из Парижа? — спрашиваю я.

— Да, — отвечает она. — А вы когда-нибудь бывали там?

— Нет.

— Ну, надеюсь в недалеком будущем вы туда попадете. Воображаю, как Париж должен вам понравиться!

На моей физиономии, наверное, отразилась жесточайшая мука. Как могла она надеяться, что я скоро попаду в Париж! Как могло ей даже в голову прийти, что я в состоянии помышлять об этом! Очень нужен мне Париж! Очень нужна мне вся Франция! Я тут же заявил ей, что при теперешних обстоятельствах ни за какие сокровища мира не согласился бы оставить Англии. Никто и, ничто не было бы в силах заставить меня это сделать. Словом, Дора уже снова стала потряхивать от смущения локонами, когда, к нашему большому облегчению, мы увидели бегущего по аллее Джипа.

Собачка почувствовала ко мне ужасную ревность и отчаянно принялась на меня лаять. Дора взяла ее на руки и стала ласкать, — боже мой, как завидовал я ей! — но она все не унималась. Я хотел погладить ревнивого Джипа, но он так огрызнулся на меня, что юная хозяйка принялась его за это наказывать. Мучения мои еще больше возросли, когда я увидел, до чего мило треплет она Джипа по носу, а собачонка, продолжая сердито ворчать на меня, щурит глазки и лижет ей руку. Наконец Джип успокоился, — и как было не успокоиться ему, когда прелестный подбородок с ямочкой покоился на его головке! — и мы направились в оранжерею.

— Вы, повидимому, не особенно близки с мисс Мордстон? — спросила Дора. — Любимчик мой!

Увы! Последние два слова относились к песику... Ах, если бы они были сказаны мне!

— Нет, — ответил я, — мы ничуть не близки с ней.

— Прескучная особа, — проговорила Дора, мило надув губки. — Не знаю, право, о чем только думал папа, когда выбирал мне такую неприятную компаньонку! Кому, спрашивается, нужна ее защита? Мне ее совсем не надо. Джип может гораздо лучше, чем мисс Мордстон, защитить меня. Ведь правда, Джип, дорогой мой?

Собачонка только лениво жмурила глазки, когда хозяйка целовала ее.

— Папа почему-то зовет мисс Мордстон моим «доверенным другом», но я уверена, что это далеко не так, — ведь правда, Джип?

Мы с вами, Джип, вовсе не намерены доверять таким злющим людям. Мы сами знаем, кому доверять, и сами будем находить себе друзей. Нам совсем не нужно тех, кого нам навязывают, — ведь так, Джип?

Джип в ответ приветливо заворчал, напоминая поющий на огне чайник. А для меня каждое слово Доры было новым кольцом цепи, приковывающей меня к ней.

— Как грустно, Джип, что вместо доброй мамы за нами все время ходит по пятам такая угрюмая, ворчливая старуха, как наша мисс Мордстон! Ну, ничего, дружок, мы не станем доверять ей и постараемся, несмотря на ее присутствие, быть как можно счастливее, а ее будем не ублажать, а дразнить. Ведь так, Джип?

Еще немного — и, мне кажется, я не вытерпел бы и тут же в аллее опустился бы на колени, рискуя не только перепачкать брюки в песке, но еще к быть выгнанным из дома. К моему счастью, мы уже подходили к оранжерее.

В ней были целый ассортимент^[74] великолепных гераней. Прохаживаясь, мы любовались им, Дора то и дело, восхищаясь, останавливалась над тем или другим цветком, а я вслед за ней сейчас же тоже выражал свой восторг. Дора, по-детски хохоча, поднимала Джипа и заставляла его нюхать цветы. Если не все мы трое, то я по крайней мере, несомненно чувствовал себя в это время в каком-то сказочном царстве. И теперь запах герани неизменно будит во мне какое-то полунасмешливое, полусерьезное чувство к тогдашним моим переживаниям, и у меня всегда при этом мелькают перед глазами соломенная шляпка с голубыми лентами, масса локонов, две тонкие ручки, поднимающие к зеленым листьям и ярким цветам маленькую черненькую собачку...

Мисс Мордстон уже искала нас. Найдя нас в оранжерее, она подставила для поцелуя свою жесткую, в морщинах, набитых пудрой, щеку. Затем она взяла Дору под руку и повела нас завтракать с такой мрачной торжественностью, словно мы шли за телом павшего в бою воина.

Не знаю уж, сколько чашек чаю выпил я за этим завтраком, ибо приготовлен он был ручками Доры. Знаю одно, что этим количеством я мог бы расшатать свою нервную систему, будь у меня в те времена нервы. Немного погодя мы отправились в церковь. Мисс Мордстон уселась на скамье между мной и Дорой, но я слышал, как пело мое

божество, и все и вся исчезло из моих глаз... Была проповедь. Конечно, в ней говорилось о Доре... Вот все, боюсь, что вынес я из этой обедни.

День прошел очень спокойно. Гостей, кроме меня, не было. Мы гуляли, потом обедали, а вечер провели, рассматривая книги и рисунки. Мисс Мордстон, с какой-то духовной книгой перед глазами, зорко следила за нами. Ах, воображал ли мистер Спенлоу, когда после обеда дремал против меня с носовым платком на лице, как мысленно я горячо обнимаю его, видя уже в нем своего тестя! Так же, когда я прощался с ним на ночь, наверное, он далек был от мысли, что только что дал свое полное согласие на нашу помолвку с Дорой и что я не перестану призывать благословение божие на его голову...

Мы уехали в понедельник очень рано, ибо в адмиралтейском суде^[75] «Докторской общины» должно было слушаться дело по иску моряков, оказавших помощь потерпевшему бедствие судну. Дело это требовало основательного знания мореходства. Но так как знанием этим никто в «Докторской общине» не обладал, то судья умолил явиться ему на помощь двух старых специалистов. Несмотря на раннее время, Дора присутствовала за завтраком и, как накануне, сама приготавливала чай. Когда мы отъезжали от дома, а она стояла на крыльце, держа в своих объятиях Джипа, я, сняв шляпу и раскланиваясь с ней, испытал радостно-грустное чувство.

Не стану делать бесплодных усилий, чтобы описать, каким в этот день казался мне адмиралтейский суд и какие глупости приходили мне в голову по поводу разбираемого дела. Помню, я видел все время на серебряном весле, лежавшем на столе как эмблема^[76] нашего морского судопроизводства, выгравированное имя «Дора», а когда мистер Спенлоу уехал без меня (во мне почему-то все жила безумная надежда, что он опять должен взять меня с собой), я почувствовал себя моряком, чье судно ушло, бросив его на пустынном острове.

И так жил я в мечтах и грезах не только этот понедельник, а день за днем в течение целых недель и месяцев. Я шел в «Докторскую общину» отнюдь не для того, чтобы изучать там дело, а мечтать о Доре. Если до меня случайно доносились обрывки из бракоразводных дел, я, представляя себе, конечно, образ Доры, удивлялся, как люди могут быть несчастны в браке. Когда до моих ушей доходило какое-нибудь дело об утверждении в правах наследства, я начинал мечтать о

том, какие прежде всего шаги предпринял бы я немедленно для завоевания моей Доры, будь я на месте счастливого наследника.

В первую же неделю моей любви я купил себе четыре великолепных жилета, и купил их не потому, что мне лично хотелось щеголять, нет: исключительно для Доры. Также для нее я стал носить на улице палевые перчатки, ради нее же я нажил себе мозоли, от которых никогда потом не смог избавиться. Уж одни ботинки того времени, такие маленькие по сравнению с величиной моих ног, могли бы красноречиво и трогательно рассказать о состоянии моего сердца.

Искалечив себе таким образом ноги из любви к Доре, я тем не менее ежедневно искаживал огромные расстояния, все надеясь увидеть ее. Не говоря уже о том, что на норвудской дороге меня знали не меньше, чем почтальона, я усердно колесил и по лондонским улицам, особенно там, где находились магазины дамских мод. Так же по целым часам до изнеможения бродил я по парку.

Время от времени, к несчастью далеко не часто, мне все-таки удавалось увидеть ее. Иногда она махала мне перчаткой из окна кареты, иногда встречал я ее на прогулке с мисс Мордстон, и тогда я мог пройти с ними немного и перекинуться с нею несколькими словами. Но после этих встреч я бывал всегда в ужасном состоянии, — мне все казалось, что я не сказал ей того, что нужно было сказать, и благодаря этому она не представляет себе, до чего я люблю ее. Тут я начинал терзаться мыслью, что она совершенно равнодушна ко мне. Можно себе представить, как жаждал я, чтобы мистер Спенлоу еще пригласил меня к себе! Но, увы, такого приглашения, к моему великому огорчению, я все не удаивался.

Моя миссис Крупп, несомненно, была женщиной проницательной. Прошло всего каких-нибудь несколько недель, как я влюбился, и я еще даже не собрался с духом открыть свою тайну Агнессе, а только ограничился тем, что сообщил ей в письме о моем посещении мистера Спенлоу, у которого «вся семья состоит из единственной дочери», — и вот миссис Крупп, очевидно, повторяю, благодаря своей удивительной проницательности, уже догадалась о моей любви.

Однажды вечером, когда я сидел у себя в особенно удрученном состоянии духа, появилась миссис Крупп и спросила, нет ли у меня настойки из кардамона и ревеня с семью каплями гвоздичного масла,

а в случае, если такого снадобья у меня не имеется, не могу ли я ей дать немного водки, которая до некоторой степени может заменить при ее недуге это лекарство. Так как никогда в жизни до этого я ни о чем подобном не слышал, а бутылка водки у меня всегда стояла в чулане, то я, тотчас же сходяв за этой бутылкой, налил ей стакан водки, и миссис Крупп, очевидно желая доказать, что она не употребит ее для каких либо других целей, тут же принялась ее пить.

— Развеселитесь, сэр, — вдруг проговорила она, — я просто не могу вас видеть таким, сэр, ведь я сама мать.

Я, по правде сказать, не совсем понял, какое имеет отношение ко мне выражение «я сама мать», но все-таки улыбнулся ей насколько только мог добродушнее.

— Ну, уж вы простите, меня, сэр, — продолжала миссис Крупп, — я знаю, в чем дело: тут замешалась какая-нибудь леди.

— Миссис Крупп! — воскликнул я, краснея до ушей.

— Да благословит вас господь! Будьте молодцом, сэр, — подбадривала меня хозяйка не только словами, но и жестами. — Главное, не приходите в отчаяние, смотрите, не думайте о смерти. Если леди ваша немилостлива к вам, так, мало ли других на свете, которые будут радёшеньки полюбить такого красавчика, как вы. Вам, сэр, надо себе цену знать, вот что скажу я вам!

— Откуда же вы взяли, миссис Крупп, что тут замешена леди? — спросил я.

— Сэр, я сама мать, — с большим чувством заявила миссис Крупп.

Некоторые время она была так взволнована, что могла только, прижав руку к своей нанковой груди, подкреплять себя моим «лекарством». Наконец она опять заговорила:

— Когда ваша милая бабушка сняла для вас эту квартиру, я, помните, тогда сказала: «Слава богу, теперь мне есть о ком заботиться». И вот, сэр, я вижу, вы кушаете плохо и пьете плохо.

— Так, значит, вы на этом основываете свои подозрения, миссис Крупп? — спросил я.

— Сэр, — ответила моя хозяйка, и в голосе ее слышалась некоторая строгость, — у меня на квартире до вас жило немало молодых людей, и, знаете, опыт у меня имеется. Бывает, что молодой человек вдруг начинает или уж очень заботиться о своей внешности,

или уж положительно на нее не обращает внимания. Он, причесываясь, то слишком вертится перед зеркалом, то даже и пробора себе не сделает. Носит или слишком узкие, или слишком широкие ботинки. Все это зависит, конечно, от характера молодого человека, но и в том и в другом случае тут, поверьте, замешана какая-нибудь леди.

Закончив свою речь, миссис Крупп так решительно тряхнула головой, что у меня почва совершенно ускользнула из-под ног.

— Вот и джентльмен, который жил здесь до вас и умер, — продолжала моя хозяйка, — как только он влюбился в трактирную служанку, сейчас же велел сузить свой жилет, чтобы скрыть, как его разнесло от пьянства.

— Миссис Крупп, — с неудовольствием сказал я, — прошу вас не смешивать леди, о которой идет речь, с трактирной служанкой или кем-либо в этом роде.

— Мистер Копперфильд, я сама мать и понимаю, что вам мои слова не нравятся. Простите же меня, если я вмешалась не в свое дело... Вообще я считаю, что не нужно соваться туда, куда тебя не просят, но вы так молоды, сэр, и мне захотелось дать вам добрый совет: плядите веселей на жизнь, будьте молодцом и знайте себе цену. Хорошо, если б вы чем-нибудь занимались, сэр, хотя бы вот игрой в кепли. Это развлекло бы вас и было бы вам полезно.

Сказав это, миссис Крупп сделала мне величественный реверанс^[77] и удалилась, делая вид, что боится разлить водку, которой в стакане и следа уже не осталось.

Когда фигура моей хозяйки исчезла в темной передней, я подумал, что, давая мне эти советы, миссис Крупп позволила себе некоторую вольность, но тут же решил, что, пожалуй, это даже полезно, ибо является предостережением для меня в том смысле, что следует лучше хранить свои тайны.

Глава XXVII

ТОММИ ТРЭДЛЬС

Не знаю уж, оказал ли тут влияние совет миссис Крупп, или кепли, по ассоциации, напомнили мне Трэдльса, но только на следующий день я решил его навестить. Месяц, который Трэдльс собирался провести в провинции, давно прошел. Я знал, что он живет в маленькой улочке около ветеринарного колледжа в Кемпдентаунском квартале. По словам одного из наших писцов, проживавшего там по соседству, улочку эту населяли почти исключительно студенты ветеринарного колледжа, и они покупали живых ослов для проведения над ними у себя на дому разных опытов. Разузнав от того же писца, как самым кратчайшим путем попасть в это царство науки, я после службы отправился отыскивать своего старого товарища. Добравшись до нужной мне улочки, я нашел, что в ней мало хорошего, а ради Трэдльса мне бы хотелось, чтобы она была лучше. Обитатели ее, повидимому, имели обыкновение выбрасывать сюда из своих домов все, что было лишнего, поэтому, не говоря уж о невылазной грязи, от которой несло смрадом, здесь еще валялись капустные листья. Впрочем, разыскивая номер дома Трэдльса, я убедился, что, кроме отбросов растительного мира, тут же можно увидеть еще негодные ботинки, кастрюли с продырявленным дном, изношенную черную шляпу, поломанный зонтик.

Общий вид этого места живо напоминал мне те дни, когда я жил у Микоберов. Дома были все на один лад и казались произведениями какого-то взбалмошного малого, который, раздобыв кирпичей и известки, впервые пустился строить. Один только дом, и именно тот, который я разыскивал, выделялся из общего числа. Его жалкие претензии на изящество как-то особенно воскресили в моей памяти мистера и миссис Микобер.

Я подошел к дверям этого дома как раз в тот момент, когда их отперли для молочника, и разговор, который я тут услышал, окончательно перенес меня в микоберовские времена.

— Ну, что слышно о моем счетце? — спрашивал молочник очень юную служанку.

— Хозяин говорит, что вам скоро будет заплачено, — ответила девушка.

— Дело в том, — продолжал молочник, как будто не слыша ответа и говоря, видимо, не для девушки, а для кого-то, находящегося внутри дома, — дело в том, что мне так давно не платят по этому счету, что, пожалуй, думают и совсем этого не делать. Знайте же: это не пройдет у вас! Дудки! — крикнул, молочник, свирепо глядя в коридор.

Молоденькая служанка с перепугу заговорила почти шопотом, и я только по движению ее губ догадался, что она снова повторяет обещание своего хозяина уплатить немедленно.

— Так вот что скажу я вам, — впервые глядя сурово на, девушку и беря ее за подбородок, заявил молочник: — вы любите молоко, да?

— Люблю, — ответила девушка.

— Прекрасно, — заявил молочник. — Завтра вы его не получите, слышите? Ни капли не получите!

Мне показалось, что у девушки от этих слов стало легче на душе, ибо она поняла, что сегодня-то молоко еще будет. И действительно, молочник, мрачно покачав головой, оставил в покое подбородок девушки и, открыв свой бидон, налил молока в ее кувшин. Покончив с этим, он, ворча, ушел, и вскоре у соседнего дома раздался его злобный голос, выкрикивающий: «Молоко, молоко!»

— Здесь живет мистер Трэдльс? — спросил я у служанки.

Какой-то таинственный голос ответил из глубины коридора: «Да», после чего и девушка подтвердила это.

— Что, он дома?

Опять таинственный голос ответил: «Да», и служанка, как эхо, повторила это. Я вошел в дом и по указанию девушки стал подниматься по лестнице. Проходя мимо одной из комнат внизу, я заметил, что за мной следят чьи-то глаза, верно, обладателя таинственного голоса.

Дом был двухэтажный, и на верхней площадке лестницы меня встретил Трэдльс в своем поношенном сюртуке. Он был в восторге видеть меня и радушно повел в свою комнату. Комната эта выходила на улицу. Она обставлена была бедно, но имела чрезвычайно опрятный вид. Другой комнаты у него, видимо, не было, так как диван служил ему постелью, а вакса и сапожные щетки помещались на

книжной этажерке, выплядывая из-за толстого словаря. Стол был завален бумагами, и, очевидно, Трэдльс перед моим приходом усердно работал.

— Трэдльс! — воскликнул я, сев и еще раз пожимая ему руку. — Я просто в восторге от того, что вижу вас!

— И я в восторге, Копперфильд! — улыбаясь, ответил он. — Действительно в восторге! Вот потому, что я был так рад встрече с вами у Вотербруков и видел, что это взаимно, я и пригласил вас сюда, а не в свою контору.

— А! Так у вас есть контора! — воскликнул я.

— То есть четверть конторы, четверть коридора и четверть конторщика, — с улыбкой ответил Трэдльс. — Я и еще трое — мы сняли контору компанией и наняли конторщика Видите ли, это нам нужно для представительства контора и конторщик придают деловой вид. А один конторщик обходится мне полкроны в неделю.

В улыбке, с которой он все это рассказывал, я так и увидел прежнюю Трэдльса — простодушного, доброго и, — увы! — кажется, такого же неудачливого.

— Конечно, вы понимаете, Копперфильд, я отнюдь не из гордости не даю здешнего моего адреса, — продолжал Трэдльс, — а только потому, что не всем, кто приходит ко мне, это могло бы быть приятно. А я, знаете, пробиваю себе дорогу в жизнь, и было бы смешно, если б я стал изображать из себя что-либо другое.

— Вы готовитесь стать адвокатом? Мне сказал об этом мистер Вотербрук.

— Да, собираюсь быть адвокатом, — ответил он, медленно потирая руки. — Но я только недавно записался в число помощников... то есть, в сущности, записался-то я давно, но требуемый взнос в сто футов стерлингов я смог внести совсем недавно, и с каким трудом, скажу я вам! Да, с каким трудом, — повторил он с такой болезненной гримасой, словно ему вырвали зуб.

— Знаете, Трэдльс, о чем я невольно вспомнил, сидя здесь и глядя на вас? — спросил я.

— Нет, — ответил он.

— О вашем небесно-голубом костюме.

— Да, да, — засмеялся Трэдльс, — помните, как он обтягивал мне руки и ноги? А все-таки это было счастливое время...

— Мне же кажется, что наш директор, без ущерба для нас, мог сделать это время гораздо счастливее, — возразил я.

— Быть может, и так, не спорю, но несмотря на все, согласитесь, ведь бывало очень весело. Помните наши вечера в дортуаре? Какие устраивались там пирушки! Что за забавные истории вы рассказывали! Ха-ха-ха!.. А помните, как я был избит палкой за то, что осмелился плакать о мистере Мелле? Ах, старый Крикль! И все-таки, представьте, я хотел бы его видеть.

— Да что вы говорите, Трэдльс! — воскликнул я с негодованием. — Ведь он обращался с вами совершенно по-зверски.

Его добродушное отношение к мистеру Криклю и ужасному прошлому вдруг воскресило это прошлое, и мне казалось, будто я только вчера видел, как его секли.

— Вы так думаете? — задумчиво спросил Трэдльс. — Быть может, он действительно переусердствовал надо мной, но все это дела давно минувших дней. Эх, старина Крикль!

— Ведь правда, Трэдльс, вы были тогда на попечении какого-то дяди? — спросил я.

— Да, да, это тот самый дядя, которому я все собирался писать, да так и не написал. Ха-ха-ха!.. Конечно, был у меня тогда дядя. Он умер вскоре после окончания мною школы.

— Вот как!

— Да. Он был... как бы это сказать?.. коммерсант по части сукон, удалившийся от дел. Одно время он даже считал меня своим наследником, но когда я вырос, то не пришелся ему по вкусу.

— Что вы хотите сказать? — воскликнул я, не веря, ну он может так спокойно говорить об этом.

— Боже мой, Копперфильд! Я говорю именно так, как оно есть. К моему несчастью, дядя невзлюбил меня, уверял, что я совершенно не оправдал возлагаемых им на меня надежд, и взял да и женился на своей экономке.

— А что вы тут стали делать? — поинтересовался я.

— Ничего особенного не делал. Жил себе с ними в ожидании того, что дядя как-нибудь меня пристроит, жил до тех пор, пока дядина подагра не набросилась на его желудок и он не приказал долго жить. Вдова его вышла за молодого, а я, так сказать, остался на мели.

— И вы так-таки ничего и не получили после дяди?

— Как не получил! Целых пятьдесят фунтов стерлингов! Первое время я совершенно не знал, что с собой делать, так как не был подготовлен ни к какой профессии. Потом мне помог найти работу бывший товарищ по Салемской школе — Яулер, сын адвоката. Быть может, вы его помните? У него еще такой смешной нос на сторону?

— Нет, очевидно, он был не в мое время. При мне у всех носы были на своем месте, — заявил я.

— Да это неважно, — заметил Трэдльс. — Начал я благодаря помощи Яулера с переписки судебных документов, но, конечно, это давало немного. Мало-помалу я стал браться за более замысловатую работу — составлять отношения, извлечения и тому подобное, Вы ведь знаете, Копперфильд, что я человек усидчивый, и, когда возьмусь за работу, она у меня спорится. Ну, мне тут и пришло в голову изучить юридические науки. Вот на это и пошло все, что оставалось от моих пятидесяти фунтов. В то же время Яулер рекомендовал меня в две-три адвокатские конторы, в том числе и к Вотербруку, и недостатка в работе у меня не было. К тому же, мне еще удалось познакомиться с одним издателем энциклопедии^[78], и он тоже стал мне давать работу. Как раз сейчас я работаю на него. Представьте себе, Копперфильд, я, оказывается, совсем неплохой компилятор^[79], — прибавил Трэдльс своим добродушно-доверчивым тоном, — а вот подите же, к самостоятельному творчеству я не имею ни малейших способностей. Вряд ли можно найти другого малого, столь бездарного в этом отношении.

Видя, что Трэдльс ждет моего подтверждения, я принужден был кивнуть головой, и он продолжал... как бы это вернее выразиться?.. ну, скажем, мужественно-терпеливо.

— Работая таким образом и живя очень скромно, я смог наконец скопить сто фунтов стерлингов. И теперь взнос сделан, хотя это была далеко не легкая штука. Да, конечно, не легкая, — повторил он, и на лице его снова появилась гримаса, словно у него только что вытащили и второй зуб. — Итак, в настоящее время я живу той работой, о которой говорил вам. У меня еще есть надежда в ближайшее время стать сотрудником газеты. О, это совсем поставило бы меня на ноги!.. Ну, а вы, Копперфильд, вы совершенно такой же, как и были, с тем же самым лицом, и я так рад вас видеть, что ничего не в силах скрыть от вас. Так знайте же: я помолвлен!

— Помолвлен?

«Ах, Дора! Почему не я?» пронеслось в моей голове.

— Невеста моя — дочь девонширского священника, — рассказывал Трэдльс, — одна из десяти его дочерей. Если б вы только знали, какая это милая девушка! Она несколько старше меня, но что за чудесное существо! Помните, я говорил вам, что отлучаюсь из Лондона?.. Это я был у нее. Туда и назад я шел пешком. Как мне было там хорошо! Правда, мам долгонько придется ждать свадьбы, но у нас с ней девиз^[80]: «Жди и надейся». Да, мы часто себе это повторяем: «Жди и надейся», И она ради меня, Копперфильд, готова ждать и до шестидесяти лет и больше.

Говоря это, Трэдльс встал и подошел к чему-то, покрытому белой простыней (я и раньше обратил на это внимание, не понимая, что бы это могло быть).

— Но все-таки, Копперфильд, нельзя сказать, чтобы мы совсем не думали о нашем будущем хозяйстве. Нет, нет, мы уже начали кое-чем обзаводиться. Вот тут, — проговорил он с торжествующим видом, осторожно снимая простыню, — для начала две вещи. Эту жардиньерку с цветочным горшком моя невеста купила сама. Вы представьте себе, какой красивый вид будет она иметь с поставленными на ней растениями где-нибудь у окна в гостиной! — с восторгом говорил он, отходя, чтобы издали полюбоваться жардиньеркой. — А этот круглый столик с мраморной доской (два фута и десять дюймов в окружности) — мое приобретение. Тоже очень нужная вещь. Понадобится ли вам положить книгу, зайдет ли к вам или к вашей жене гость — как удобно на него поставить, например, чашку чаю, ведь правда? Прекрасно, отлично сделанная вещь, — прочна, как скала!

— Конечно, — продолжал Трэдльс, — это немного вообще для обзаведения, но все-таки начало положено. Что меня, по правде сказать, Копперфильд, приводит в уныние, так это вопрос о столовом и постельном белье и кухонной посуде, — все это так дорого. Но... «жди и надейся». А невеста моя, поверьте, чудесная девушка!

— Совершенно уверен в этом! — с жаром заявил я.

— Теперь, кажется, о себе я все рассказал, — продолжал Трэдльс, усаживаясь снова на стул. — Словом, оборачиваюсь, как только могу. В общем, зарабатываю не бог весть что, но зато и проживаю немного.

Столуюсь я у своих хозяев. Это очень милые люди. Мистер и миссис Микобер много видели на своем веку, и оба они превосходные собеседники.

— Что вы говорите, дорогой Трэдльс! — воскликнул я. Трэдльс с удивлением посмотрел на меня.

— Мистер и миссис Микобер! — повторил я. — Быть не может! Да я с ними в прекраснейших отношениях!

Как раз в этот момент внизу два раза постучали в наружную дверь. Я сейчас же узнал этот стук: живя на Виндзорской террасе, я так свыкся с ним. Мне казалось, что никто, кроме мистера Микобера, не может так стучать, и это рассеяло все мои сомнения. Я попросил Трэдльса пригласить мистера Микобера наверх. Он сейчас же исполнил мою просьбу, крикнув с верхней площадки своему хозяину, чтобы тот к нему поднялся. И вот через какую-нибудь минуту в комнату вошел со своим щеголеватым, молодежавым видом совсем не изменившийся мистер Микобер. На нем были такие же франтовские панталоны в обтяжку, такой же крахмальным воротничок, тот же лорнет, так же он помахивал своей изящной тросточкой.

— Прощу прощения, мистер Трэдльс, — начал мистер Микобер таким знакомым мне рокочущим голосом, оборвав напеваемую им песенку. — Я не был осведомлен, что в вашем святилище имеется лицо, непричастное к этому обиталищу.

Тут мистер Микобер сделал мне легкий поклон и оправил воротничок своей сорочки.

— Как вы поживаете, мистер Микобер? — обратился я к нему.

— Сэр, вы очень любезны, — ответил он. — Я все пребываю в statu quo^[81]. — А как поживает миссис Микобер? — продолжал я спрашивать.

— Она также, сэр, благодарение богу, пребывает в statu quo.

— А ваши дети, мистер Микобер?

— Рад сказать вам, что они также здоровы и веселы.

Во время всего этого разговора я видел, что мистер Микобер совершенно не узнает меня, хотя мы и стояли с ним прямо друг против друга, так сказать, лицом, к лицу. Наконец, видя, что я улыбаюсь, он стал пристальнее всматриваться в меня и, отступив назад, закричал:

— Да может ли это быть?! Неужели я имею удовольствие видеть перед собой Копперфильда?

И, схватив меня за обе руки, он стал пожимать их с величайшим жаром.

— Господи боже мой! — воскликнул мистер Микобер. — Да могло ли мне притти в голову, мистер Трэдльс, что вы знакомы с другом моей юности, товарищем прежних лет!

В то время, как Трэдльс с удивлением смотрел на меня и не без основания, конечно, недоумевал, как мог я быть другом юности такого пожилого человека, мистер Микобер, перегнувшись через перила, кричал своей супруге:

— Дорогая моя, здесь, у мистера Трэдльса есть один джентльмен, который желает быть представлен вам, душа моя!

Затем он сейчас же вернулся и снова стал горячо жать мне руки.

— А как себя чувствует наш добрейший друг доктор и вообще весь наш кентерберийский круг знакомых?

— Насколько мне известно, все у них обстоит благополучно, — ответил я.

— Счастливы слышать это, — сказал мистер Микобер. — В последний раз мы с вами виделись в Кентербери, в тени, если можно так образно выразиться, священного здания, увековеченного Чосером^[82], к которому когда-то стекались паломники^[83] с отдаленнейших концов... короче говоря, мы виделись с вами вблизи собора.

Я подтвердил это, и мистер Микобер продолжал разговаривать самым оживленным образом, однако, как мне показалось, он в то же время прислушивался к звукам, доносившимся из соседней комнаты. Судя по ним, миссис Микобер сначала мыла руки, а затем, спеша, с большим трудом выдвигала и задвигала ящики комода.

— Вы застаете нас, Копперфильд, — сказал мистер Микобер, одним глазом поглядывая на Трэдльса, — в скромной, непритязательной обстановке. Но вы знаете, что мне не раз в течение моего жизненного пути приходилось преодолевать затруднения и бороться с препятствиями. Вам тоже известно, что в жизни моей бывали времена, когда надо было приостановиться и выждать, чтобы что-нибудь подвернулось. Тут иногда приходилось даже податься назад, чтобы, так сказать, — надеюсь, это не будет самонадеянно с

моей стороны, — лучше прыгнуть... Сейчас я как раз переживаю такой период: прыгнул в ожидании прыжка.... И я имею основание думать, что прыжок этот будет могучим...

Едва я начал выражать свое удовольствие по этому поводу, как вошла миссис Микобер. На меня произвело впечатление, что она еще неряшливее прежнего, но, быть может, это мне показалось потому, что я давно не видел ее; а ведь она еще приделась перед встречей с джентльменом, который желал быть ей представленным, и даже надела коричневые перчатки.

— Дорогая моя, — сказал мистер Микобер, подводя ее ко мне, — вот джентльмен, по фамилии Копперфильд, который желает с вами возобновить знакомство.

Видимо, надо было подготовить миссис Микобер к встрече со мной, ибо, не совсем хорошо себя чувствуя, она была так потрясена неожиданностью, что почти лишилась чувств, и мистеру Микоберу пришлось со всех ног бежать во двор за водой, налить ее в таз и мочить голову супруги. Но скоро миссис Микобер оправилась и самым искренним образом была рада мне. Мы с ней побеседовали с полчаса. Когда я спросил ее о близнецах, она сказала мне, что они совсем большие, а мистер Микобер-младший и мисс Микобер — так те просто великаны. Но почему-то никого из детей мне не показали.

Мистеру Микоберу очень хотелось, чтобы я остался у них обедать. Я бы ничего не имел против этого, но мне показалось, что я уловил беспокойство в глазах миссис Микобер, — она, очевидно, не была уверена, что обеда хватит на всех. Поэтому я категорически отказался, ссылаясь на то, что уже приглашен в другой дом, и сейчас же заметил, как при этом прояснилось лицо миссис Микобер.

Тут я заявил Трэдльсу и мистеру и миссис Микобер, что не намерен уходить от них до тех пор, пока они не назначат дня, когда придут ко мне обедать. Так как у Трэдльса была срочная работа, то пришлось назначить день довольно отдаленный, и вот, окончательно сговорившись с ними, я распрощался и ушел. Мистер Микобер, под тем предлогом, что должен указать мне более близкую дорогу, пошел проводить меня до угла соседней улицы. Сделал же он это, по его словам, чтобы без свидетелей по душам поговорить со старым другом.

— Дорогой мой Копперфильд, — начал мистер Микобер, — мне излишне говорить вам, каким счастьем, при теперешних

обстоятельствах, является для нас то, что мы имеем под своей кровлей человека с такой, если можно так выразиться, светящейся душой, как ваш друг Трэдльс. Подумайте только, в каком мы окружении: с нами рядом живет прачка, к тому же изготавливающая какое-то отвратительное печенье, которое она выставляет у себя в окне, а напротив обитает полицейский надзиратель. Теперь вы можете себе представить, каким утешением является для нас общество Трэдльса. А я, дорогой мой Копперфильд, состою в настоящее время комиссионером по продаже зерна. Нельзя сказать, чтобы это было для меня очень выгодным делом, другими словами, оно из рук вон плохо оплачивается, следствием чего, естественно, являются финансовые затруднения. Однако я рад при этом прибавить, что в самом недалеком будущем кое-что должно подвернуться (я не вправе сообщить вам этот секрет), что сразу поставит на ноги как меня, так и вашего друга Трэдльса, к которому я отношусь с искренним интересом. А теперь еще об одном: вас, быть может, не особенно удивит, если я скажу вам, что судя по состоянию здоровья миссис Микобер, можно предположить... словом, есть надежда на приращение нашего семейства. Родственники миссис Микобер нашли нужным выразить свое неудовольствие по этому поводу. Но на это я могу заметить одно, что им до этого нет ровно никакого дела, а к их неудовольствию я отношусь с совершенным презрением.

Тут мистер Микобер еще раз подал мне руку, и мы расстались.

Глава XXVIII

МИСТЕР МИКОБЕР БРОСАЕТ ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ

Все время до того дня, когда ко мне должны были прийти обедать вновь обретенные друзья, я жил, главным образом, Дорой и кофе. Любовь лишила меня аппетита, и я был даже рад этому, ибо тяготение к обеду казалось бы мне изменой Доре. Даже мои длинейшие прогулки не оказывали своего обыкновенного действия; влияние свежего воздуха, очевидно, парализовалось моей разочарованностью. Я не стал делать для этого дружеского обеда всех тех приготовлений, которые произведены были для моего новоселья, а ограничился тем, что купил две камбалы, небольшую ножку барашка и пирог с голубями. Не успел я робко сказать моей миссис Крупп, что ей надо будет приготовить рыбу и зажарить ножку барашка, как сейчас же она взбунтовалась и с чувством оскорбленного достоинства заявила:

— Нет, нет, сэр! И не просите меня об этом! Вы сами уж должны знать, что я не стану делать того, что претит моим чувствам!

Но в конце концов мы с ней все-таки пошли на компромисс: миссис Крупп согласилась заняться рыбой и барашком, с тем условием, что потом в течение двух недель я не буду обедать дома.

Надо тут сказать, что я вообще очень страдал от тирании миссис Крупп. Никогда и никого я так не боялся, как ее. На каждом шагу мне приходилось уступать ей. Если я с чем-нибудь не соглашался, сейчас же на сцену появлялся припадок ее странной брлезни, бывшей у нее всегда как будто наготове. Когда мне случалось после каких-нибудь шести скромных звонков нетерпеливо дернуть за шнурок, то, если миссис Крупп соблаговоляла появиться (что бывало далеко не всегда), она тут же бессильно опускалась на стул, смотрела на меня с немым укором, прижимая руку к своей нанковой груди, и так страдала от своего припадка, что в эти минуты я рад был пожертвовать любым количеством водки, лишь бы избавиться от нее. Если я бывало замечу ей, что спальня моя убирается не раньше пяти часов дня, то достаточно ей было сделать жест рукой по направлению к своей

нанковой, груди, где скрывались ее оскорбленные чувства, и я в страшном смущении начинал бормотать извинения. Я готов был идти на все, только бы не оскорбить миссис Крупп. Она просто меня терроризировала.

Не желая больше во время моего званого обеда иметь дело с прислуживавшим на новоселье ловким малым, я нарочно купил по случаю столик на колесиках для посуды. К ловкому малому я чувствовал особое недоверие с тех пор, как однажды встретил его на набережной в жилете, поразительно похожем на мой собственный, исчезнувший после новоселья. Девушка-судомойка была взята, но с условием, что она будет только приносить блюда и сейчас же удаляться на площадку лестницы, дабы не производить наблюдения над моим гостями и, поспешно отступая, не бить стоящую на полу посуду.

Я приготовил все, что требуется для пунша, изготовление которого я собирался поручить мистеру Микоберу. Потом для миссис Микобер я поставил на свой туалетный стол бутылочку лавандовой воды^[84], две восковые свечи, положил туда булавок, шпилек и велел для нее в моей комнате затопить камин. Наконец, сам накрыв на стол к обеду, я стал спокойно ждать гостей.

В назначенное время они появились, все трое вместе. На мистере Микобере был особенно высокий воротничок, а лорнет его висел на новой ленточке. При миссис Микобер был парадный чепец, завернутый в светлокоричневую бумагу. Пакет этот с чепцом нес Трэдльс, на руку которого опиралась миссис Микобер. Гости пришли в восторг от моей квартиры. Когда я подвел миссис Микобер к своему туалетному столику и показал ей все, что приготовил в честь ее, она до того была восхищена, что сейчас же позвала своего супруга полюбоваться на все это.

— Дорогой мой Копперфильд, — заявил мистер Микобер, — это, скажу я вам, уже просто роскошь. Подобная жизнь напоминает мне время, когда я пребывал в безбрачии, а миссис Микобер не была еще призвана принести обет верности на алтаре Гименя!^[85] — То есть он хочет сказать, мистер Копперфильд, — лукаво заметила миссис Микобер, — что тогда он лично еще не сделал мне предложения, но он не может говорить о других.

— Дорогая моя, — вдруг став серьезным, возразил ей супруг, — я не имею ни малейшего желания говорить о других: не сомневаюсь, что судьба создала нас друг для друга. Но, конечно, вы могли бы достаться и другому, и этот другой, так же как и я, после долговременной борьбы мог пасть под ударами рока и запутаться в сложных обстоятельствах денежного характера. Прекрасно понимаю намек, душа моя. Мне больно, но я постараюсь перенести это безропотно.

— Микобер! Да разве я заслужила это? — воскликнула заливаясь слезами, миссис Микобер. — Я, которая никогда не покидала вас и никогда не покину!

— Душа моя, — совершенно растроганный, заговорил мистер Микобер, — надеюсь, что вы оба с моим старым, верным другом Копперфильдом простите мне мою раздражительность, вызванную бывшим сегодня столкновением с любимцем сильных мира сего, — проще говоря, с подлецом агентом общества водопроводов, — простите и пожалеете меня.

Тут мистер Микобер обнял свою супругу, а мне крепко пожал руку, предоставив по его намекам мне самому догадываться, что общество водопроводов сегодня за неплатеж закрыло в его квартире воду.

Желая рассеять меланхолические, мысли мистера Микобера, я попросил его заняться изготовлением пунша. Моментально от его если не отчаянного, то, во всяком случае, подавленного состояния духа не осталось и следа. Я никогда не видывал, чтобы человек так наслаждался запахом лимонных корок, жженого сахара, пылающим ромом, кипящей водой, как наслаждался всем этим в тот вечер мистер Микобер. Приятно было видеть его лицо, сияющее среди легких пахучих паров, в то время как он мешал, рассматривал, пробовал этот, по его словам, божественный напиток. Казалось, он готовит не пунш, а создает целое состояние, которое должно обогатить все его потомство. Что же касается миссис Микобер, то не знаю уж благодаря чему — нарядному ли чепцу, лавандовой ли воде, горящим восковыми свечам и камину или шпилькам и булавам, — но только она вышла из моей спальни прелестной (сравнительно, конечно) и веселой, как жаворонок.

Я предполагаю, — так никогда и, не решился я спросить об этом, — только предполагаю, что миссис Крупп, поджарив обе камбалы, совсем расхворалась, ибо обед, в сущности, на рыбе и закончился. Ножка барашка была очень красна в середине, и очень бледна снаружи, не говоря уже о том, что эта самая баранья ножка была покрыта каким-то порошкообразным веществом: казалось, что она побывала в золе кухонного очага. Быть может, на этот счет смогла бы просветить нас подливка, но судомойка пролила ее всю длинной дорожкой на лестнице, где она и пребывала до тех пор, пока ее постепенно не вытерли ногами. Пирог с голубями на вид был ничего себе, но это был обманчивый пирог, похожий на череп разочарованного, говоря языком френологов^[86], - полный всяких комков, шишек, под которыми нет ничего заслуживающего внимания. Словом, обед до того был неудачен, что я пришел бы в полное отчаяние (конечно, только по этому поводу, ибо из-за любви моей к Доре я никогда не переставал пребывать в отчаянии), если бы не чудесное настроение моих гостей и не блестящая мысль, пришедшая в голову мистеру Микоберу.

— Дорогой друг Копперфильд, — обратился он ко мне, — подобные неудачи бывают и в самых хорошо поставленных семейных домах. Что же касается хозяйств, где не существует, так сказать, прозорливого ока, короче говоря, где нет женщины, возведенной в почетное звание супруги, то здесь подобные неудачи надо переносить стоически. Смею просить разрешения сообщить, что ничто не может сравниться с поджаренным на углях мясом, и вот если мы все применим принцип разделения труда, а ваша судомойка принесет нам сюда жаровню, то, поверьте, неудача с бараньей ножкой будет совершенно забыта.

По счастью, жаровня была в моем чулане: на ней по утрам поджаривалась для меня копченая грудинка. В мгновение ока мы принесли эту жаровню и тотчас же стали осуществлять блестящую мысль мистера Микобера, применив следующим образом предложенный им принцип разделения труда: Трэдльс разрезал баранину на тоненькие ломтики, мистер Микобер, большой знаток этого дела, мазал эти кусочки горчицей, посыпал солью и черным кайеннским перцем, а я клал их на решетку и снимал по указанию мистера Микобера. Миссис Микобер была вся поглощена

приготовлением грибного соуса. Когда кусочков было нажарено достаточное количество, мы, еще с засученными рукавами, принялись их уписывать, в то же время следя за другими кусочками, еще поджаривавшимися на огне.

Вследствие того, что этот способ приготовления барашка был нам внове и блюдо получилось превкусное, а мы раскрасневшиеся, веселые, шумные, то и дело вскакивали, чтобы перевернуть жарившиеся кусочки, которые тут же, с пылу, уплетали с огромным удовольствием, — мы не заметили, как от бараньей ножки осталась одна лишь кость. Даже и у меня каким-то чудом появился прекрасный аппетит. Мне стыдно в этом сознаться, но, кажется, правда, на очень короткое, время, все-таки я забыл о Доре. С радостью я видел, что мистер и миссис Микобер веселятся так, словно для этой пирушки они спустили собственную кровать.

Трэдльс, работая и вместе с тем уничтожая плоды своих трудов, не переставал заливаться самым беззаботным смехом, и все мы, надо признаться, от него не отставали. Словом успех был полнейший.

Веселье наше было в полном разгаре, каждый из нас с жаром работал по своей специальности, стремясь довести до совершенства последние жарившиеся кусочки баранины и этим как бы увенчать наше пиршество, когда вдруг я заметив в комнате новое лицо, и глаза мои встретились с глазами всегда спокойного Литтимера, стоявшего передо мной со шляпой в руке.

— В чем дело? — невольно воскликнул я.

— Прошу извинения, сэр, меня направили сюда. Не у вас ли мой хозяин?

— Нет.

— Вы не изволили с ним видеться, сэр?

— Нет. Да разве вы сейчас не от него?

— Не прямо от него, сэр.

— Он сказал вам, что вы застанете его здесь?

— Не совсем так, сэр, но я предполагаю, что если не сегодня, то завтра они непременно будут у вас.

— Он, значит, едет из Оксфорда?

— Прошу вас, сэр, сесть, — почтительно проговорил Литтимер, — а мне разрешите заняться вашим делом.

С этими словами он осторожно взял из моей руки вилку, причем я не оказал ему ни малейшего сопротивления, и, склонившись над жаровней, видимо, сосредоточил на ней все свое внимание.

Появление Стирфорта, наверное, нисколько не смутило бы нас, но все мы сразу присмирели в присутствии его почтенного лакея. Мистер Микобер, желая показать, что он все же чувствует себя совсем в своей тарелке, опустил на стул, напевая какую-то песенку; вилку, бывшую при этом у него в руке, он поспешно засунул за жилет таким образом, что она казалась кинжалом, которым он только что заколол себя. Миссис Микобер надела свои коричневые перчатки и приняла аристократически-томный вид. Трэдльс так взъерошил пальцами свои волосы, что они встали у него дыбом, а сам он пристально уставился на скатерть. Что касается меня, то я на своем хозяйском месте за столом превратился в настоящего ребенка и едва решался взглянуть на этого феномена добропорядочности, явившегося бог весть откуда наводить порядок в моем хозяйстве.

Тут Литтимер, дожарив барашка, положил его на блюдо и с важным видом обнес вокруг стола, предлагая каждому из нас. Все мы положили себе на тарелки понемногу, но аппетита как не бывало, и мы только делали вид, что едим. Заметив, что мы отодвинули свои тарелки, Литтимер бесшумно прибрал их и подал нам заранее приготовленный сыр. После сыра он все убрал со стола и поставил на него вино и рюмки. Затем без всякого указания с моей стороны откатил купленный мною столик с грязной посудой в чулан. Все это он делал самым безупречным образом, не поднимая глаз от своей работы. Но тем не менее, когда он стоял ко мне даже спиной, то и тогда мне казалось, что самые локти его говорят о том, что я ничего больше, как мальчишка.

— Не прикажете ли, сэр, еще чего?

Я поблагодарил его, сказал, что делать больше нечего, и спросил, не желает ли он сам пообедать.

— Нет, весьма обязан вам, сэр, — ответил он.

— Скажите, когда же мистер Стирфорт приедет из Оксфорда?

— Извините, сэр, что вы изволите спрашивать?

— Что, из Оксфорда приезжает мистер Стирфорт?

— Они, верно, придут сюда завтра. Я думал, что даже сегодня они будут здесь, — сказал Литтимер, — но, как видите, сэр, я что-то

перепутал.

— Если вы раньше меня увидите его...

— Простите, сэр, я не думаю, что увижу их раньше вашего.

— Но все-таки, если вы увидите его раньше меня, пожалуйста, скажите ему, как я жалею, что сегодня его не было у меня, так как он встретился бы здесь со своим бывшим школьным товарищем.

— Слушаю, сэр, — проговорил Литтимер и, поглядывая на Трэдльса, поклонился как бы одновременно и мне и ему.

Затем Литтимер тихим шагом направился к двери, а я, все порываясь сказать ему хотя бы одну естественную фразу, что мне в отношении этого человека еще никогда не удавалось, крикнул ему вдогонку:

— Эй, Литтимер!

— Слушаю, сэр.

— Что, вы долго тогда пробыли в Ярмуте?

— Не особенно долго, сэр.

— При вас закончили ремонтировать лодку?

— Да, сэр, я ведь и оставлен был нарочно для того, чтобы закончить ремонт этой лодки.

— Знаю, — проговорил я. (Литтимер почтительно взглянул на меня.) — Ведь правда, мне кажется, мистер Стирфорт эту лодку еще не видел?

— Право, сэр, не могу вам сказать. Я так предполагаю, но наверное не знаю. Желаю вам спокойной ночи, сэр.

И, отвесив всем присутствующим почтительный поклон, он удалился.

Мои гости, видимо, вздохнули свободнее после его ухода, а обо мне и говорить нечего: кроме всегдашней неловкости, которую я в присутствии Литтимера никак не мог побороть в себе, я еще чувствовал угрызения совести, что с меньшим доверием стал относиться к его хозяину, и даже боялся, что он при своей проницательности, пожалуй, может заметить это. Я был весь во власти этих мыслей, к которым примешивалась еще какая-то боязнь предстоящего свидания со Стирфортом, когда мистер Микобер вывел меня из задумчивости, начав с жаром расхваливать Литтимера как идеального слугу и почтенного человека. Видимо, мистер Микобер

принял на свой счет наибольшую долю поклона Литтимера и отнесся к этому чрезвычайно благосклонно.

— Но пунш, дорогой мой Копперфильд, — сказал мистер Микобер, пробуя его, — как время и морской прилив, не ждет никого. Сейчас, по-моему, он как раз готов. Что за чудесный у него аромат! А вы какого мнения, дорогая моя?

Миссис Микобер попробовала пунш и нашла его превосходным.

— В таком случае, — начал мистер Микобер со столь знакомым мне рокотанием в голосе, стараясь принять при этом как можно более аристократический вид, — я, с разрешения своего друга Копперфильда, поднимаю бокал и пью за минувшие дни, когда мы с ним были моложе и бок о бок боролись на жизненном поприще.

Тут мистер Микобер хлебнул пунша, и все мы последовали его примеру, причем Трэдльс, видимо, ломал себе голову над тем, в какие такие времена могли мы с мистером Микобером бороться на жизненном поприще.

— Акхм! — крикнул мистер Микобер, прочищая горло и чувствуя, как приятная теплота от пунша и горящего камина разливается по всему его телу. — Дорогая моя, еще стаканчик!

Миссис Микобер согласилась, что, пожалуй, выпьет еще немножко, но мы все против этого восстали и налили ей полный бокал.

— Мистер Копперфильд, — заговорила миссис Микобер, потягивая свой пунш маленькими плотками, — здесь все люди свои, ведь мистер Трэдльс тоже как бы член нашего семейства, и мне хотелось бы знать ваше мнение относительно будущности мистера Микобера. Не раз говорила я мужу, что его зерновое дело, быть может, и дает ему приличное положение, но оно не доходное. Как бы ни были окромны наши потребности, но комиссионное вознаграждение в два фунта девять пенсов за две недели не может считаться достаточным.

Мы все согласились с этим. Надо тут заметить, что миссис Микобер очень гордилась своим трезвым взглядом на жизнь и была убеждена, что без ее здравых советов мистер Микобер легко бы мог свихнуться.

— И вот я задаю себе вопрос, — продолжала миссис Микобер: — если нельзя полагаться на зерно, то на что же еще другое можно надеяться? На каменный уголь? Ни в коем случае. По совету моей

родни, мы пробовали было этим заняться, но из этого ничего не вышло.

Мистер Микобер в это время сидел, откинувшись на спинку стула, запустив руки в карманы, и, поглядывая на нее, кивал головой, как бы говоря этим, что дело совершенно ясно.

— Итак, раз не может быть даже речи о зерновом и угольном делах, — снова заговорила с еще большей безапелляционностью миссис Микобер, — то, мистер Копперфильд, я оглядываюсь вокруг себя и задаю вопрос: в какой же области мог бы проявить себя с наибольшим успехом человек со способностями мистера Микобера? Я, надо вам сказать, исключаю тут комиссионное дело как неопределенное и ненадежное. Человеку же с характером мистера Микобера, я глубоко убеждена, нужна определенность.

Мы с Трэдльсом вполне согласились с этим великим открытием и заявили, что такой характер делает большую честь ее супругу.

— Не скрою от вас, дорогой мой мистер Копперфильд, — продолжала миссис Микобер, — что я долго считала пивное дело самым подходящим для мистера Микобера. Возьмите Баркляя и Перкинса! Возьмите Тремана, Гонбури, Вэкстона! Зная так, как я знаю, мистера Микобера, я убеждена, что на этом обширном поприще он смог бы делать блестящие дела, а доходы здесь ко-лос-сальные! Но какой смысл думать о пивоваренном деле, когда мистер Микобер не может попасть ни в одну из таких фирм! Они даже не находят нужным отвечать на его письма, когда он предлагает им свои услуги хотя бы в качестве младшего служащего. Конечно, ни малейшего смысла. Затем, я уверена, что благодаря умению мистера Микобера себя держать...

— Ну, право же, дорогая моя... — перебил ее мистер Микобер.

— Молчите, душа моя! — остановила миссис Микобер, кладя свою руку в коричневой перчатке на руку мужа. — Так вот, мистер Копперфильд, я уверена, что со своей благородной манерой себя держать мистер Микобер более всего был бы на месте в банковском деле. Знаете, я сужу по себе: имей — я текущий счет в банке, манеры мистера Микобера как, например, его директора внушили бы мне большое доверие к этому банку и побудили бы меня расширить свои операции в нем. Прекрасно! Но если все эти банкирские дома не желают воспользоваться талантами мистера Микобера и даже

оскорбительно отзываются о его предложениях, то есть ли какой-нибудь смысл останавливаться и на этой идее? Конечно, никакого. Разумеется, можно было бы открыть свою собственную банкирскую контору, если бы некоторые из моих родственников пожелали вверить мистеру Микоберу свои капиталы, но, раз они не склонны это делать, значит и о собственной банкирской конторе думать нечего. И вот, в конце концов, мы ни на шаг не подвинулись вперед.

— Ни на шаг, — повторил я, кивнув головой.

Трэдльс также кивнул головой и пробормотал:

— Ни на шаг.

— Какой же вывод могу я сделать отсюда? — продолжала миссис Микобер с видом оратора, старающегося как можно яснее ответить на данный вопрос. — Да тот, дорогой мистер Копперфильд, — и вы, наверно, согласитесь с этим, — что нам все же нужно жить.

Тут мы оба с Трэдльсом в один голос заявили; что она совершенно права, а я еще от себя глубокомысленно прибавил:

— Человек должен жить или умереть.

— Совершенно верно, — отозвалась миссис Микобер, — это именно так. А между тем мы не в состоянии существовать, если наши теперешние обстоятельства совершенно не изменятся чем-нибудь, неожиданно подвернувшимся. Я же убеждена — и не раз за последнее время указывала на это мистеру Микоберу, — что ничто само собой подвернуться не может. Чтобы это произошло, мы должны сделать усилие. Быть может, я ошибаюсь, но это мое глубочайшее убеждение.

Оба мы с Трэдльсом горячо согласились с ней.

— Прекрасно. Но что могу я в данном случае предложить? — продолжала миссис Микобер. — Перед нами мистер Микобер — человек с разнообразными способностями, одаренный большим талантом...

— Ну, право же, дорогая моя... — пытался остановить ее мистер Микобер.

— Пожалуйста, милый мой, дайте мне закончить... Так вот, перед нами мистер Микобер, со своими разнообразными способностями, одаренный талантом; сказала бы даже — гениальностью, но боюсь, что подобный отзыв жены может показаться пристрастным. (Тут мы оба с Трэдльсом пробормотали: «Нисколько!») А между тем мистер Микобер не имеет ни занятий, ни положения, соответствующих его

талантам. На ком, спрашивается, лежит ответственность за это? Конечно, на обществе. И нахожу необходимым обнародовать этот постыдный факт и, бросив вызов обществу, заставить его исправить свою несправедливость. Мне кажется, дорогой мистер Копперфильд, — еще более энергичным тоном проговорила миссис Микобер, — что мужу моему не остается больше ничего, как бросить перчатку^[87] обществу и сказать ему: «Ну, посмотрим, кто из вас поднимет ее! Пусть тот выйдет вперед!»

Я тут позволил себе спросить миссис Микобер, каким образом, по ее мнению, этот вызов может быть осуществлен.

— Поместив объявления во всех газетах, — заявила миссис Микобер. — Мне кажется, что мистер Микобер должен сделать это и ради себя, и ради своей семьи, — и даже скажу больше — и ради самого общества, которое до сих пор, пренебрегало им. В этих объявлениях он должен указать на все свои солидные знания и блестящие способности, а затем заявить, что теперь желающие за приличное вознаграждение воспользоваться знаниями и способностями этого человека должны написать ему, оплатив письмо, по следующему адресу: «Кемпдентаунское почтовое отделение, до востребования В.М.».

— Дорогой мой Копперфильд, вот эта самая идея миссис Микобер и есть тот чудесный прыжок, о котором я говорил вам, когда имел удовольствие в последний раз видеть вас, — заявил мистер Микобер, искоса поглядывая на меня и подтягивая свой воротничок к самому подбородку.

— Но ведь объявления в газетах стоят довольно дорого, — нерешительно заметил я.

— Совершенно верно, — проговорила миссис Микобер тем же самоуверенным тоном, — вы вполне правы, мой дорогой мистер Копперфильд: я то же самое говорила мистеру Микоберу. И вот именно в силу этого, мне кажется, как я уже упоминала, мистер Микобер, чтобы воздать должное себе, семье и обществу, обязан добыть денег под вексель.

Мистер Микобер, откинувшись на спинку стула, играл своим лорнетом, глядя в потолок, но мне казалось, что он наблюдал также за Трэдльсом, который не сводил глаз с огня камина.

— Если ни у кого из моего семейства не окажется настолько родственных чувств, чтобы дать нам денег под этот вексель... но, кажется, для этой операции существует специальный термин?

— Это называется учесть вексель, — продолжая смотреть в потолок, пояснил мистер Микобер.

— Итак, если мои родичи не захотят учесть этот вексель, то мистер Микобер должен отправиться на биржу и там учесть его на каких угодно условиях. Если при этом дисконтеры^[88] заставит мистера Микобера принести слишком большие жертвы, то это уж дело их совести. А сделать это все-таки надо, ибо жертвы эти вознаграждаются сторицей.

Я тут вообразил, не знаю уж почему, что в словах миссис Микобер звучит только самопожертвование и необычайная преданность своему мужу, и прошептал что-то одобрительное. Трэдльс, глядя на огонь камина, также пробормотал что-то в этом роде.

— Я кончила и больше не стану продолжать разговор о денежных делах мистера Микобера, — заявила его супруга, допивая свой пунш и натягивая на плечи шарф. — У вашего очага, дорогой мистер Копперфильд, и в присутствии мистера Трэдльса, который хотя и не такой наш старый друг, как вы, но все-таки нам не чужой, я не могла удержаться от того, чтобы не познакомить вас обоих с теми советами, которые я даю мистеру Микоберу. Я чувствую, что теперь как раз настал момент, когда мистер Микобер должен показать себя, и предложенный мною способ мне кажется наилучшим. Я не забываю, конечно, что я только женщина, а в таких вопросах считают более компетентным мужской ум, но я прекрасно помню, что когда я жила еще с мамой и папой, то папа часто говорил: «Вот наша Эмма хотя по виду и хрупкая, но никому не уступит в умении уловить суть дела». Понятно, папаша мог быть пристрастен ко мне, но я знаю, как он разбирался в людях, а потому и мой разум и дочерний долг не позволяют мне сомневаться в его словах.

Сказав это, миссис Микобер, как мы ни упрашивали ее не покидать нашего общества и выпить еще с нами пунша, все-таки удалилась в мою спальню. И я почувствовал, что миссис Микобер действительно благородная женщина, — она могла бы быть римской

матроной, способной в трудные времена народных смут на великие подвиги.

Под этим впечатлением я горячо стал поздравлять мистера Микобера, что он обладает таким сокровищем. Трэдльс присоединился ко мне. Мистер Микобер, пожав каждому из нас поочередно руку, закрыл себе лицо носовым платком, который, мне кажется, был гораздо больше испачкан нюхательным табаком, чем он предполагал, а затем, в необыкновенно веселом настроении, снова принялся за пунш.

Тут он стал удивительно красноречив. Он нам поведал, что мы возрождаемся в наших детях, и потому во время финансовых затруднений появление нового ребенка нужно приветствовать вдвое радостнее. По его словам, миссис Микобер еще недавно сомневалась в этом, но ему удалось рассеять ее сомнения, и она успокоилась. Что же касается ее родичей, то они все совершенно недостойны его супруги; на их взгляды и чувства он плюет, а самих родичей посылает (это его собственное выражение) к чорту...

Затем мистер Микобер стал горячо восхвалять Трэдльса; говорил, что хотя он сам и не обладает стойкостью характера, но способен, слава богу, восхищаться этим качеством. Очень трогательно коснулся он молодой незнакомки, которую Трэдльс удостоил своей любви, а она осчастливила его своей взаимностью. При этом мистер Микобер выпил за ее здоровье, и я также. Трэдльс горячо благодарил нас и так мило и простодушно сказал (я рад, что сумел оценить это):

— Уверяю вас: она чудесная девушка.

Вскоре мистер Микобер воспользовался удобным случаем, чтобы очень осторожно и деликатно намекнуть на мои сердечные дела.

— Вот подите же, — сказал он, — только самые горячие опровержения моего друга Копперфильда одни смогли бы разубедить меня в том, что друг Копперфильд любит и любим.

От его слов меня бросило в жар, и я некоторое время чувствовал себя очень смущенным, но потом, отнекиваясь, краснея и заикаясь, я поднял бокал и сказал:

— Ну, хорошо, я пью за здоровье Д.

Это привело в такой восторг мистера Микобера, что он даже побежал в мою спальню с бокалом пунша, чтобы заставить миссис Микобер также выпить за Д. И та выпила за Д. с таким же восторгом

и, стуча в стену, как бы аплодируя, крикнула мне своим пронзительным голосом:

— Bravo, bravo, дорогой мистер Копперфильд, я в восхищении, bravo!

Потом разговор наш принял более прозаический, житейский характер. Мистер Микобер сказал нам, что считает Кемпдентаунский квартал неудобным, и как только объявления, помещенные в газетах, возымеют, действие и что-либо подвернется, он немедленно переберется оттуда. По его словам, он давно высмотрел один дом с террасой на Оксфордской улице, как раз против Гайд-парка, но, конечно, вряд ли там можно будет поселиться сейчас же, ибо потребуется слишком большая сумма денег на обзаведение. Очень возможно, что придется пока удовлетвориться одним верхним этажом дома над каким-нибудь респектабельным торговым предприятием, — ну, скажем, хотя бы на Пикадилли. Здесь миссис Микобер будет чувствовать себя прекрасно. А в случае надобности всегда возможно будет произвести какие-нибудь переделки; например, проделать венецианское окно, приделать балкон, даже достроить третий этаж, и в этом доме можно будет очень недурно прожить несколько годочков до лучших дней. Но при этом, — уверял он, — что бы ни подвернулось ему, всегда в его доме будет комната для Трэдльса и место за столом для меня. Мы с Трэдльсом были очень признательны ему, а он извинился, что, быть может, надоел нам, входя во все эти мелочные хозяйские соображения, но, — прибавил он, — это ведь так естественно для человека, собирающегося начать совершенно новую жизнь.

В это время миссис Микобер снова постучала в стенку, желая узнать, не готов ли чай, и этим прервала наши дружеские излияния. Она очень мило поила нас чаем, и каждый раз, когда я подходил к ней или за чашкой чая, или подавал ей бутерброды, она шопотом спрашивала меня, брюнетка или блондинка Д., высокая она или, маленькая, и без конца в том же духе. Кажется, мне это было приятно.

После чая мы уселись у камина и вели разговоры на всевозможнейшие темы. Потом миссис Микобер была так добра, что спела нам слабеньким, жиденьким голоском (помню, будучи мальчиком, я считал его верхом совершенства) две свои любимые баллады — «О храбром белом сержанте» и «О маленьком Тафлине».

Тут мистер Микобер поведал нам, что супруга его, живя еще в родительском доме с папой и мамой, славилась исполнением этих самых баллад. Когда он впервые увидел ее под родительским кровом и она спела «Храброго белого сержанта», это произвело на него огромное впечатление; а когда дело дошло до «Маленького Тафлина», он решил или добиться ее, или пасть в борьбе...

Был уже одиннадцатый час, когда миссис Микобер поднялась с кресла и, завернув свой парадный чепец в светлокориичневую бумагу, надела шляпку. Мистер Микобер, улучив момент, когда Трэдльс надевал пальто, сунул мне в руку письмо, шепнув, чтобы я прочел его на досуге. Когда я светил гостям, — мистер Микобер сводил по лестнице свою супругу, а Трэдльс шел за ними с парадным чепцом в руках, — я тоже воспользовался случаем, чтобы на минуту задержать Трэдльса.

— Трэдльс, вот что я хотел сказать вам... — начал я. — Конечно, у бедняги мистера Микобера нет никаких злых намерений, но все-таки на вашем месте я не давал бы ему займы.

— Дорогой мой Копперфильд, — ответил Трэдльс, — да мне и нечего давать займы.

— Но, знаете, у вас есть имя, — пояснил я.

— Ах, вот что вы имеете в виду, говоря о займе! — проговорил Трэдльс с задумчивым видом.

— Разумеется.

— Да, да, это совершенно верно. Спасибо вам, Копперфильд, за предостережение... но боюсь, что таким образом я уже дал ему займы.

— Не ваш ли уж вексель думают они учесть на бирже?

— Нет, — ответил Трэдльс, — я подписал другой. Об этом векселе я впервые слышу, и, признаться, мне пришло в голову, что на обратном пути он, пожалуй, может мне предложить подписать еще и этот.

— Хочу надеяться, что ничего плохого из этого для вас не выйдет, — сказал я.

— Надеюсь, — промолвил Трэдльс. — Только на-днях мистер Микобер уверял меня, что он принял по этому вопросу надлежащие меры. Именно так он и выразился: «надлежащие меры».

Так как в эту минуту мистер Микобер бросил взгляд на верхнюю площадку лестницы, где мы стояли, то я успел только повторить свое предостережение, и Трэдльс, поблагодарив меня, побежал вниз.

Видя, с каким добродушным видом он несет чепец миссис Микобер и подает ей руку, я со страхом подумал, что не избежать бедному малому лап дисконтеров биржи.

Вернувшись в гостиную, к своему камельку, я полусерьезно, полусхотливо стал думать о характере мистера Микобера и наших с ним давнишних отношениях, как вдруг я услышал, что по лестнице кто-то быстро поднимается. Сначала я было подумал, что это возвращается Трэдльс за какой-нибудь забытой миссис Микобер вещью, но, когда шаги приблизились, я узнал их. Сердце мое забилося, и кровь прилила к лицу. Это был Стирфорт.

Я никогда не забывал Агнессы, и она никогда не покидала святилища (если так можно выразиться), которое я создал для нее в своей душе с первого дня нашего знакомства. Но, когда Стирфорт вошел с протянутой рукой, мрачное облако, заволакивавшее его в последнее время, мгновенно рассеялось, он снова в моих глазах был окружен каким-то сиянием, и мне стало стыдно, что я мог усомниться в друге, которого так горячо люблю. Агнессу я от этого не стал любить меньше и по-прежнему считал ее своим ангелом-хранителем. Не ее упрекал я, а только самого себя. Я жаждал искупить свою вину перед другом, но не знал, как это сделать.

— Что ж это вы, дорогая Маргаритка, совсем онемели?! — со смехом закричал Стирфорт, дружески пожимая мне руку, а затем шаловливо отбрасывая ее в сторону. — Скажите, уж не застаю ли я вас, сибарит^[89] вы этакий, врасплох после нового кутежа? Ведь более веселящегося народа, чем в «Докторской общине», нет во всем Лондоне. Куда нам, скромным, благонравным оксфорцам, до вас!

Говоря это, он окинул комнату своими веселыми, блестящими глазами, уселся против меня на диван (здесь только что перед этим сидела миссис Микобер) и, взяв кочергу, стал мешать огонь в камине, заставив его ярко запыхать.

— Я сначала был так удивлен, увидя вас, Стирфорт, — проговорил я, самым радушным образом пожимая ему руку, — что просто язык мой прилип к гортани, и я не смог поздороваться с вами.

— А ведь видеть меня «полезно для больных глаз», как говорят в Шотландии. Но вы так расцвели, милая Маргаритка, что то же можно сказать и о вас. Как же вы чувствуете себя, поклонник Вакха?^[90]

— Прекрасно, и я далек от всяких вакханалий^[91], хотя, признаюсь, сегодня у меня обедало трое гостей.

— Я только что встретил их на улице и слышал, как они расхваливали вас. Кто он такой, этот ваш приятель в модных панталонах в обтяжку?

Тут я, как только мог, в нескольких словах набросал ему портрет мистера Микобера. Стирфорт до упаду хохотал над моим, в сущности, слабым изображением этого джентльмена, а затем заявил, что с таким человеком нельзя не познакомиться и он это непременно сделает.

— А теперь догадайтесь, кто этот другой приятель — сказал я.

— Бог его знает! Надеюсь, не какой-нибудь скучнейший человек: мне что-то так показалось.

— Трэдльс! — воскликнул я торжествующе.

— Кто такой? — переспросил Стирфорт своим безразличным тоном.

— Да разве вы не помните Трэдльса, нашего товарища по дортуару в Салемской школе?

— Вот кто! — промолвил Стирфорт, разбивая кочергой кусок угли в камине. — А скажите, он такая же размазня, как был тогда? Где же вы его откопали?

Я изо всех сил стал расхваливать Трэдльса, ибо мне показалось, что Стирфорт отозвался о нем как-то пренебрежительно. Стирфорт слушал меня, улыбаясь и кивая головой, но продолжать этот разговор он, видимо, не был склонен. Он сказал, что, пожалуй, будет рад встретиться с Трэдльсом, ибо он был всегда странной «штукой», и тут же спросил, не могу ли я покормить его.

Во время нашего недолгого разговора мне бросилось в глаза, что Стирфорт или говорит каким-то нервным, повышенным тоном, или молча и лениво разбивает кочергой уголь в камине. Он продолжал возиться с огнем, пока я ходил за остатками пиршества.

— Да это, Маргаритка, просто королевский ужин! — воскликнул Стирфорт, вдруг прервав свое молчание и присаживаясь к столу. — Уж я ему воздам должное: ведь я, знаете, только из Ярмута.

— А я думал, вы из Оксфорда, — заметил я.

— Нет, я занимался мореходством — это получше лекций.

— Литтимер сегодня заходил сюда справляться о вас, — сказал я, — и я понял, что он ждет вас из Оксфорда. Впрочем, как теперь вспоминаю, он, конечно, не говорил этого.

— Вижу, что Литтимер глупее, чем я думал. Не понимаю, зачем ему понадобилось обо мне справляться, — проговорил Стирфорт, с веселым видом наливая себе вина и выпивая его за мои здоровье. — А что касается понимания того, что он говорит, то, умудрись вы, милая Маргаритка, это осилить, вы были бы мудрее многих из нас.

— Действительно, его трудно понять, — согласился я. — Итак, вы были в Ярмуте, Стирфорт? Интересно знать, как там все. Долго вы там пробыли?

— Нет, я вырвался туда всего на какую-нибудь неделю.

— А как там они все поживают? Маленькая Эмми еще не вышла замуж?

— Пока еще нет. Это событие должно совершиться через несколько недель или несколько месяцев, уж хорошенько не знаю. Я не очень то много виделся с ними. А кстати, — прибавил он, бросая нож и вилку, которыми до сих пор усердно работал, и ощупывая свои карманы, — вам есть письмо.

— От кого?

— От кого?.. От вашей старой няни, — проговорил Стирфорт, вынимая какие-то старые бумаги из бокового кармана. «Его благородию Джемсу Стирфорту счет из трактира «Доброжелатель». Нет, не то... терпение, терпение, Маргаритка, сейчас найдем... Видите ли, тот старик, — я забыл, как его звать, — очень плох, и мне кажется, что в письме речь идет об этом.

— Вы говорите о Баркисе?

— Да, — ответил Стирфорт, продолжая шарить по карманам. — Боюсь, что его, бедняги, песенка спета. Я видел там не то аптекаря, не то доктора, словом, маленького человечка, который присутствовал при появлении на свет вашего благородия. Так вот, он прочел мне целую лекцию по поводу болезни этого самого Баркиса, и вывод его, как я понял, таков, что старый извозчик закончит не сегодня, так завтра свою последнюю поездку... А посмотрите-ка, Маргаритка, в боковом кармане моего пальто, — вот оно лежит на стуле, — мне помнится, письмо должно быть там.

— Вот оно!

— Ну и прекрасно.

Письмо действительно было от Пиготти, короткое и еще менее разборчивое, чем всегда. Няня сообщала мне о безнадежном состоянии своего мужа, вскользь говорила о том, что он стал еще более прижимист, и это особенно печально потому, что лишает ее возможности побаловать его так, как бы ей этого хотелось. Она не обмолвилась ни единым словом ни о своей усталости, ни о бессонных ночах, а только рассыпалась в похвалах своему мужу. Все письмо дышало простой, безыскусственной, искренней любовью, а кончалось так: «Шлю свое почтение моему всегда любимому», «Любимый» — эта был я.

Пока я разбирал каракули моей дорогой Пиготти, Стирфорт продолжал есть и пить.

— Да, дело тут плохо, — промолвил он, когда я кончил письмо. — Но ведь солнце заходит каждый день, и люди умирают каждую минуту, а раз такой общий удел, зачем же бояться этого? Если мы будем падать духом каждый раз, когда неизбежная смерть стучится у чьих-либо дверей, то немногого добьемся мы на этом свете. Нет! Вперед по плохой, по хорошей, дороге, — по всякой, какая только встретится! Вперед! Через все преграды — к цели!

— Но к какой же цели? — поинтересовался я.

— Да к той цели, которую вы наметили себе. Итак, смело вперед!

Когда, воскликнув это «вперед», он несколько откинул назад свою красивую голову и, с поднятым стаканом вина, глядел на меня, я увидел на его свежем, обветренном морем лице новое выражение какого-то охватившего его страстного увлечения. Я хотел было пожурить его за безумную отвагу, с какой он, рискуя жизнью, любит пускаться по бурному морю в штормовую погоду, но я был слишком под впечатлением полученного письма и потому снова вернулся к мыслям о нем.

— Послушайте, Стирфорт, — начал я, — если только в вашем возбужденном состоянии вы в силах выслушать меня...

— Я всегда хозяин своих настроений и готов вас слушать, Маргаритка, — перебил он меня, вставая из-за стола и опять усаживаясь подле камина.

— Вот что я вам скажу, Стирфорт: мне хочется поехать проведать старую няню. Конечно, я не смогу ей быть особенно полезен, не смогу оказать ей какой-нибудь существенной услуги, но она так любит меня, что уже одно мое появление будет для нее утешением и поддержкой. А мне ничего не стоит это сделать для такого старого, верного друга. Не правда ли, будь вы на моем месте, вы охотно пожертвовали бы ради такого случая деньком-другим?

Стирфорт задумался и через некоторое время проговорил:

— Ну что же... Поезжайте! От этого беды не будет.

— Раз вы только что оттуда приехали, Стирфорт, то уговаривать вас ехать со мной, очевидно, бесполезно, правда?

— Совершенно бесполезно, — ответил он. — Мне нужно сегодня же вечером быть дома. Я, давно не видел матушки, и уж совесть начинает мучить меня. Ведь что ни говори, а такая любовь, как ее, к своему блудному сыну что-нибудь да значит. А впрочем, все это пустяки! Скажите, Маргаритка, вы, верно, собираетесь ехать завтра? — спросил он, положив мне руки на плечи.

— Да, хотел бы завтра же.

— Знаете, отложите свою поездку до послезавтра. Мне бы хотелось, чтобы вы побыли у нас несколько дней, и я даже нарочно заехал с целью увезти вас с собой, а вы вдруг улетаете в Ярмут.

— Вам ли, дорогой мой, возмущаться моими «полетами», как вы выражаетесь, — смеясь, заметил я. — Вам ли, который всегда куда-то устремляется с безумной поспешностью!

Стирфорт молча с минуту глядел мне в глаза, потом, продолжая держать за плечи, слегка встряхнул меня и проговорил:

— Ну, решайте, что едете послезавтра, а завтрашний день проведете у нас. Ведь неизвестно, когда мы еще с вами опять увидимся. Решайтесь же! Понимаете, я не хочу остаться с глазу на глаз с Розой Дартль, и вы мне нужны для этого.

— Что ж, вы боитесь, что без меня воспылаете друг к другу слишком горячей любовью?

— Уж не знаю, любовью или ненавистью, но чем-то мы можем воспылать! — со смехом ответил Стирфорт. — Ну, значит, конечно: вы завтра у меня!

— Пусть будет по-вашему, — сказал я, и Стирфорт, надев пальто и закулив сигару, собрался уходить.

Мне захотелось его проводить, и я, также надев пальто, но не зажигая сигары (с меня совершенно достаточно было той пробы, сделанной во время моего новоселья), вышел с ним и довел его до большой дороги. Ночь была довольно таки унылая, Стирфорт все время был в каком-то возбужденном состоянии, а когда мы расстались, то я, видя, как бодро и весело он шагает, вспомнил его восклицание: «Вперед через все преграды — к цели!» — и впервые у меня в голове мелькнула мысль: «Только бы эта цель была достойна его».

Придя домой и раздеваясь в своей спальне, я нечаянно выронил на пол письмо мистера Микобера и только сейчас вспомнил о нем. Сломав печать и открыв письмо, я увидел, что оно было написано за полтора часа до нашего обеда. Не помню, упоминал ли я уже о том, что когда дела мистера Микобера бывают в особенно критическом состоянии, он начинает прибегать к стилю судебных документов: видимо, ему кажется, что этим он как бы выпутывается из затруднений.

«Сэр! (ибо я не осмеливаюсь назвать вас дорогим Копперфильдом). Я должен уведомить вас, что нижеподписавшийся раздавлен... Быть может, сегодня вы заметите слабые попытки, которые он будет делать, чтобы преждевременно не обнаружить перед вами своего бедственного положения, но тем не менее всякая надежда на горизонте нижеподписавшегося закатилась, и он, повторяю, раздавлен. Настоящее сообщение делается в присутствии (не могу сказать в обществе) личности, находящейся на грани опьянения. Личность эта прислана вексельным маклером, имеющим права на все находящееся в квартире имущество вследствие невзноса квартирной платы. В опись, сделанную вышеуказанной личностью, вошло не только все имущество, принадлежащее нижеподписавшемуся как годовому арендатору дома, но и все имущество его жильца, мистера Томаса Трэдльса, члена достопочтенного сословия адвокатов. Если в этой, переполненной горечью чаше, поднесенной к устам нижеподписавшегося, не доставало последней капли (как сказал бессмертный писатель), то эта капля, появилась в виде векселя вышеупомянутого мистера Томаса Трэдльса на сумму двадцать три фунта четыре шиллинга и девять с половиной пенсов, срок коего наступил, а соответствующих сумм для оплаты не приискано. К этой капле горечи прибавляется еще то обстоятельство, что к тяготеющей

над нижеподписавшимся ответственности в отношении живых существ должна присоединиться еще новая ответственность, за невинную жертву, чье злосчастное появление произойдет не позднее шести лунных месяцев от сего числа. После всех вышеуказанных предпосылок является как бы излишним присовокуплять, что отныне прах и пепел должны покрывать главу

Вилькинса Микобера».

«Бедный Трэдльс!» мелькнуло у меня в голове. Я настолько уже знал мистера Микобера, что не сомневался, что он-то перенесет и этот новый удар. Но всю ночь не давали мне спать мысли о Трэдльсе и дочери девонширского священника, одной из его десяти дочерей, — о чудесной девушке, готовой ждать Трэдльса (какая зловещая похвала!) до шестидесяти лет и даже больше...

Глава XXIX

Я СНОВА В ГОСТЯХ У СТИРФОРТА

На следующий день утром я сказал мистеру Спенлоу, что хотел бы воспользоваться кратковременным отпуском. Так как я жалования не получал и, следовательно, неумолимому мистеру Джоркинсу возражать здесь было нечего, то отпуск без всяких затруднений был мне разрешен. Пользуясь удобным случаем, я прерывающимся от волнения голосом, с туманом в глазах, осведомился о здоровье мисс Спенлоу. Мистер Спенлоу ответил совершенно спокойно, словно дело шло об обыкновенном смертном существе, что он очень благодарен мне за внимание и что дочь его чувствует себя прекрасно.

Я отправился в контору дилижансов, взял билет рядом с кучером и не успел оглянуться, как уже очутился в Хайгейте. Миссис Стирфорт была рада меня видеть, так же как и Роза Дартль. Меня приятно удивило то, что нет Литтимера; нам прислуживала молоденькая скромная горничная в чепце с голубыми лентами, и было гораздо приятнее и спокойнее подчас встретиться с ее глазами, чем с пытливым взором почтенного лакея.

Вскоре, через какие-нибудь полчаса, я обратил внимание на то, что мисс Дартль как-то необычно пристально смотрит то на меня, то на Стирфорта, как будто желая что-то прочесть в наших глазах. Стоило мне взглянуть на нее — и я видел устремленный на меня быстрый, мрачно горящий взгляд, который она сейчас же переводила на Стирфорта. Хотя я и чувствовал, что совершенно ни в чем не повинен и вряд ли она может в чем-нибудь меня заподозрить, но тем не менее я как то весь съежился, будучи не в силах выносить алчного блеска ее глаз.

В течение всего дня мисс Дартль казалась вездесущей: говорили ли мы со Стирфортом в его комнате, я слышал шорох ее платья в коридоре; занимались ли мы с ним попрежнему спортивными играми на лужайке позади дома, лицо ее начинало мелькать, как блуждающий огонек, то в одном, то в другом окне, пока наконец она не находила удобного пункта для своих наблюдений над нами.

Когда после обеда мы все вчетвером отправились на прогулку, мисс Дартль вцепилась, как клещами, своей сухой рукой в мою руку с намерением не выпускать меня и, видя, что Стирфорт с матерью настолько далеко ушли вперед, что не могут слышать нас, вдруг заговорила:

— Вы что-то давно у нас не были. Неужели ваша служба так интересна, что может совершенно захватить вас? Я, понимаете, спрашиваю вас об этом, так как всегда стремлюсь узнать то, чего не знаю. Ваша служба действительно до того интересна? В самом деле?

Я ответил ей, что службой своей, в общем, доволен, но нельзя, конечно, сказать, чтобы я был увлечен ею.

— Ах, я очень рада слышать это, — люблю, когда мне докажут, что я ошибалась. Быть может, вы хотите сказать, что работа ваша немного суховата? Не так ли?

— Пожалуй, немного суховата, — согласился я.

— Так вот, значит, почему вам нужны развлечения, перемены, возбуждения... Да, конечно, это в порядке вещей. Но ведь надо все-таки знать меру... Как вы на это смотрите? Я не говорю, понятно, о вас, а о нем...

Быстрый взгляд, который она при этом бросила на Стирфорта, идущего впереди под руку с матерью, пояснил мне, кого она имела в виду, но на что она намекала, было для меня совершенной загадкой, и это, несомненно, должно было отразиться на моем лице.

— Быть может... Я не утверждаю, а только хочу знать... Скажите, не слишком ли он развлекается? Быть может, благодаря именно этому он стал реже бывать у матери, слепо обожающей его. Как вы думаете? — спросила она, сверкнув глазами по направлению к Стирфорту, а потом посмотрела на меня так пытливо, словно хотела прочесть мои самые сокровенные мысли.

— Мисс Дартль, — проговорил я, — пожалуйста, не думайте...

— Да я вовсе ничего не думаю! — перебила она меня. — Ах, боже мой! Не воображайте, что я что-либо такое вбила себе в голову. Совсем я не подозрительна. Я только спрашиваю. Мнения у меня никакого не имеется. Я именно хотела составить себе мнение на основании того, что вы мне скажете... Значит, вы говорите, что это не так? Ну, я очень рада это слышать.

— Если Стирфорт стал реже бывать у своей матери, о чем я узнал только сейчас от вас, то, поверьте, я тут ровно ни при чем, — смущенно проговорил я. — Все это время, до вчерашнего вечера, я даже не виделся с ним.

— Не виделись?

— Уверяю вас, не виделся.

На моих глазах лицо ее побледнело и как будто вдруг еще более похудело и вытянулось, а шрам стал ясно виден: перерезав обе губы, он спускался по подбородку. Этот шрам и блеск ее глаз положительно наводили на меня ужас. Вдруг она, пристально глядя на меня, проговорила:

— Что же он делает?

Я был до того удивлен, что машинально, скорее для себя, повторил:

— Что же он делает?

— Что же он делает? — снова произнесла она с таким жаром, который, казалось, мог, как огонь, спалить ее. — В чем же, спрашивается, оказывает ему помощь этот человек, в глазах которого я никогда ничего не видела, кроме бездонной фальши? Я говорю о Литтиммере. Раз вы благородны и верны, я вовсе не хочу, чтобы вы выдавали своего друга, а только прошу сказать, что, по-вашему, руководит его поступками: гнев ли, ненависть, тщеславие, жажда перемен, какой-нибудь безрассудный каприз или, быть может, любовь?

— Мисс Дартль, — ответил я, — как мне уверить вас, что я не больше знаю о жизни Стирфорта, чем тогда, когда впервые явился к вам? У меня даже нет никаких догадок. Я лично уверен, что ровно ничего и нет. Признаться, я даже не совсем ясно понимаю, что именно вы хотите сказать.

В то время как она продолжала молча смотреть на меня, страшный шрам на ее лице подергивался и вздрагивал, словно в нем ощущалась былая боль; углы рта ее как-то приподнялись с выражением презрения и жалости. Она поспешила закрыть рот своей тонкой бледной рукой, напомилавшей мне дорогой фарфор, и быстро, со страстью в голосе сказала:

— Заклинаю вас — все, что я говорила, сохранить в тайне, — и больше не проронила ни слова.

Никогда, кажется, миссис Стирфорт не чувствовала себя более счастливой в обществе сына, он был как-то особенно внимателен и мил с ней. Мне было очень интересно видеть их вместе не только потому, что они любили друг друга, а еще из-за поразительного сходства в их наружности и даже манерах: непреклонно-гордая, порывистая натура сына проявлялась в матери в более смягченном виде, придавая ей достоинство и благородство.

Мне пришло в голову: как хорошо, что между этими двумя людьми нет серьезных поводов к разногласию, ибо мне казалось, что этим родственным натурам было бы гораздо труднее столкнуться, чем людям с самыми противоположными характерами. Надо сказать, что на эту мысль натолкнула меня Роза Дартль.

За обедом она вдруг сказала:

— Ах, если б кто-нибудь объяснил мне... Я целый день не перестаю думать об этом, и мне так хотелось бы знать!

— Что вам хотелось бы знать, Роза? — спросила миссис Стирфорт. — Но только, пожалуйста, без таинственности.

— Таинственности?! — закричала Роза. — Вы действительно находите, что я люблю таинственность?

— Да разве постоянно я вас не умоляю говорить прямо, просто и естественно? — ответила миссис Стирфорт.

— Значит, я держу себя неестественно? Пожалуйста, откровенно скажите мне, — мы ведь никогда не знаем самих себя.

— Неестественность стала второй вашей натурой, — промолвила без всякого следа недовольства миссис Стирфорт, — а, однако, я помню, да и сами вы, верно, не забыли того времени, когда были совсем другой — более доверчивой, прямой.

— Вы совершенно правы, — ответила мисс Дартль. — Вот как мы становимся жертвами плохих привычек! Так я действительно стала менее доверчивой, менее прямой? Как могла я незаметно для самой себя так измениться? Странно! Очень, очень странно! Нужно непременно стараться стать такой, какой я была прежде.

— Мне бы этого очень хотелось, — с улыбкой заметила миссис Стирфорт.

— Уверю вас, я добьюсь этого, — ответила Роза. — Я буду учиться прямоту и откровенности... да хотя бы у Джемса.

— Ну что ж, милая Роза, вы не можете учиться этому в лучшей школе, — сейчас же откликнулась миссис Стирфорт, уловив в словах Розы следы язвительной насмешки.

— О, я нисколько не сомневаюсь! — с необычайным жаром ответила мисс Дартль. — Если вообще я могу быть в чем-нибудь уверена, так именно в этом.

Мне показалось, что миссис Стирфорт жалеет, что несколько погорячилась, так как она не замедлила сказать очень добродушным тоном:

— Однако, милая Роза, мы так и не узнали, что именно вас интересует и что вам хотелось бы знать?

— Да... что хотела бы я знать? — ледяным тоном переспросила Роза. — Так вот что меня интересует. Как вы находите: люди, имеющие между собой большое сходство по своей, так сказать, нравственной организации. Кстати, так ведь можно выразиться?

— Да почему же нет? — отозвался Стирфорт.

— Благодарю вас. Итак, как вам кажется; люди, имеющие между собой большое сходство по своей нравственной организации, в случае серьезного разногласия могут ли поспорить более ожесточенно, непримиримо, чем люди, разные по своему характеру?

— Я сказал бы, что да, — промолвил Стирфорт.

— Вы так считаете? Боже мой! Но предположим самую невероятную вещь, — что вы серьезно поспорили с вашей матушкой...

— Ну, милая Роза, вы могли бы придумать что-нибудь, более правдоподобное, — добродушно смеясь, заметила миссис Стирфорт, — а мы с Джемсом, слава богу, слишком хорошо знаем свои обязанности по отношению друг к другу, чтобы это с нами могло случиться.

— Да, вы правы, — задумчиво качая головой, проговорила мисс Дартль. — Значит, вы думаете, что сознание своих обязанностей может помешать всякой ссоре между вами? Да, да, конечно, это так. А я все-таки рада, что задала этот глупый вопрос: мне очень приятно знать, что вы смотрите на это именно так.

Тут я должен рассказать еще об одной маленькой сделке, касающейся мисс Дартль, — я потом припомнил ее, когда узнал, увы, непоправимое прошлое. В течение всего дня, а особенно после только

что переданного разговора Стирфорт из кожи лез вон, чтобы с присущим ему умением очаровать Розу и заставить эту странную девушку развеселиться и стать приятной собеседницей. То, что ему это удалось, меня, конечно, не удивило. Также считал я совершенно естественным и то, что она не сразу поддалась его обаянию: я ведь знал, какой у нее желчный и упрямый характер. Но потом я стал замечать, как мало-помалу выражение ее лица и манера себя держать менялись. Я видел, что она все больше и больше восхищается им, но в то же время, считая это слабостью с своей стороны, как бы с раздражением борется с этим, но вот, наконец, ее суровый взгляд совсем смягчился, милая улыбка заиграла на губах, и я перестал ее бояться, как, по правде сказать, боялся весь этот день. Мы тут все втроем уселись у камина и начали болтать и смеяться, как настоящие дети.

Трудно сказать почему, было ли уже поздно, или Стирфорт решил использовать до конца одержанную над Розой победу, но только мы с ним не больше пяти минут пробыли в столовой после ее ухода.

— Это она играет на арфе, — сказал мне тихо Стирфорт у дверей гостиной. — Знаете, уже года три никто, кроме матушки, не слышал ее игры.

Проговорил он это с какой-то странной улыбкой, которая сейчас же исчезла. Мы зашли в гостиную и застали там Розу одну.

— Пожалуйста, не вставайте, милая Роза, — обратился к ней Стирфорт (она уже успела подняться). — Ну, будьте же милой хоть один разок и спойте нам какую-нибудь ирландскую песню.

— Ах, очень нужна вам ирландская песня! — воскликнула она.

— Очень! — возразил Стирфорт. — Больше всякой другой. А тут еще и Маргаритка обожает музыку. Ну, спойте же нам, Роза, ирландскую песню, а мне позвольте сесть, как я, бывало, сиживал.

И он сел подле самой арфы. Роза постояла некоторое время, беззвучно перебирая правой рукой струны, а затем опустилась на стул, порывистым движением притянула к себе арфу и, аккомпанируя себе, запела.

Уже не знаю, чем это объяснить, игрой ли ее, или голосом, но такой песни я не слышал во всю свою жизнь. В ней было что-то сверхъестественное. В ней звучала какая-то страшная правда. Казалось, песнь эта не была сочинена и положена на музыку, а

вырывалась прямо из ее страстной души. Но, видимо, низкий голос Розы не был в силах выразить всю ее страсть, и песнь вдруг оборвалась. Я так был потрясен, что просто онемел, а она, склонившись над арфой, снова правой рукой беззвучно перебирала струны...

Из этого оцепенения вывел меня Стирфорт. Он вскочил, смеясь, обнял Розу и проговорил;

— Ну, Роза, давайте отныне горячо любить друг друга.

Она размахнулась, ударила его и, оттолкнув от себя с яростью дикой кошки, умчалась из гостиной.

— Что это с Розой? — спросила, входя в эту минуту, миссис Стирфорт.

— Видите ли, мама, она некоторое время была настоящим ангелом, а потом вдруг превратилась в дьявола и убежала, — пояснил сын.

— Вам бы не следовало раздражать ее, Джемс, — вы должны помнить, что у нее испортился характер и ее не надо дразнить.

Роза не появлялась больше, и о ней не было разговора вплоть до момента, когда я перед сном зашел со Стирфортом в его комнату пожелать ему спокойной ночи. Тут он заговорил о ней, посмеиваясь, и спросил меня, приходилось ли мне когда-нибудь в жизни встречать подобное неистовое, непостижимое существо.

Я признался, что происшедшая сцена бесконечно удивила меня, и спросил его, не догадывается ли он, что могло внезапно привести ее в такое состояние.

— Один бог ведает. В такое бешенство ее может привести все, что угодно, всякий пустяк. Я уже вам говорил, что она не перестает все оттачивать — и вокруг себя и самое себя, и вот теперь стала довольно-таки острой штукой. С ней надо осторожно: она опасна. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, дорогой Стирфорт! — сказал я. — Вы будете еще спать, когда я уеду. Спокойной ночи и до свиданья!

Ему, видимо, не хотелось отпускать меня: он, как тогда у меня в комнате, положил обе руки на мои плечи и, улыбаясь, сказал:

— Маргаритка, хотя это и не то имя, какое дали вам ваши крестные отец и мать, но мне больше всего нравится так называть вас,

и как бы я хотел... хотел, чтобы и вы могли меня называть этим именем...

— Я могу, — сказал я.

— Слушайте, Маргаритка, если когда-нибудь обстоятельства разлучат нас, вспоминайте меня только с хорошей стороны. Ну, давайте уговоримся: что бы ни было, вы будете с добрым чувством думать обо мне.

— Что вы говорите, Стирфорт! Вы всегда, всегда одинаково дороги и милы мне! — воскликнул я.

В этот момент я почувствовал такие угрызения совести, — действительно, как мог я усомниться в нем! — что мне страшно захотелось покаяться перед ним, и меня только удержала мысль, что при этом я должен буду упомянуть имя Агнессы.

— Да благословит вас бог, Маргаритка! Спокойной ночи! — проговорил Стирфорт.

Мы пожали друг другу руки и расстались.

Проснулся я на рассвете. Одевшись, как можно тише, я заглянул в комнату Стирфорта. Он спал крепким сном, подложив руку под голову, совершенно так же, как я часто видел его спящим в дортуаре Салемской школы.

Настало время, и сравнительно скоро, когда я не мог не удивляться тому, как в это утро был он в силах спать так спокойно... Но он спал... Пусть же всегда вспоминается он мне таким, каким был в эту минуту, похожим на салемского школьника.

И я расстался с ним в этот тихий час раннего утра, чтобы никогда больше дружески и с любовью не прикоснуться к его руке. Никогда... Никогда...

Конец первого тома.

ПРИМЕЧАНИЯ

notes

Примечания

1

Бабушка Давида Копперфильда считала, что «Пиготти» — языческое имя, потому что слово «пэген» по-английски значит «язычник».

Фунт стерлингов — английская золотая монета; во времена, описываемые Диккенсом, равнялась приблизительно 10 рублям.

В трагедии Шекспира «Гамлет» датскому принцу Гамлету является тень его убитого отца и требует, чтобы Гамлет отомстил его убийцам.

Бакенбарды — немецкое слово, буквально значит: «борода на щеках». Прежде была мода выбривать бороду на подбородке, но оставлять полоски волос вдоль щек.

5

Гинея — английская золотая монета, немного больше 10 рублей (21 шиллинг).

6

Такелаж — оснастка судна, все его веревочные и канатные снасти.

7

Бриг — парусное двухмачтовое судно.

Маленький Давид Копперфильд, вспоминает библейское предание о «праведном Ное», который спасся во время всемирного потопа в ковчеге, то есть в огромном, построенном им корабле. Хам (по-английски Хэм) — имя одного из сыновей Ноя.

Стойки — последователи жившего в V веке до нашей эры греческого философа Зенона, который учил, что человек должен равнодушно относиться к земным радостям и горестям и жить согласно требованиям долга и разума. Теперь стойками называют людей, твердо переносящих бедствия.

10

Шиллинг — английская серебряная монета стоимостью около 50 копеек (в английском фунте стерлингов 20 шиллингов).

Полукрона — английская серебряная монета в $2\frac{1}{2}$ шиллинга.

Дилижанс — большая дорожная карета, перевозившая пассажиров и почту.

Полпинты — мера жидкостей, немного меньше полулитра.

Эль — крепкое английское пиво.

Пудинг — кушанье, очень распространенное в Англии. Приготавливается из муки, моченой булки или риса, с изюмом, коринкой и разными приправами.

Пенни — английская мелкая монета, немного больше 4 копеек. Во множественном числе говорят не «пенни», а «пенсы», например: 3 пенса, 6 пенсов. В шиллинге 12 пенсов.

Дортуар — общая спальня для воспитанников в закрытых учебных заведениях, то есть в таких, где ученики не только учатся, но и живут.

«Перегрин Пикль» — роман Смоллета, шотландского писателя XVIII века. Герой романа, Перегрин, на средства дяди путешествует по Англии, Франции и другим странам Европы. С ним происходит ряд приключений, которые благодаря его уму и ловкости всегда заканчиваются благополучно.

Шехерезада. — По восточным сказаниям, Шехерезада, одна из жен персидского царя, спаслась от казни тем, что стала рассказывать по ночам своему мужу сказки. Каждый раз она прерывала свой рассказ на самом интересном месте, и царь со дня на день откладывал казнь, чтобы дослушать сказку. Так продолжалось в течение тысячи и одной ночи. Отсюда сборник сказок, рассказанных Шехерезадой (главным образом арабских), получил название «Тысяча и одна ночь». Стирфорт сравнивает Давида Копперфильда с Шехерезадой.

Тантал. — По греческой мифологии, Тантал, сын Зевса, за провинность перед богами был осужден на вечные муки от голода и жажды. Он стоял посреди реки, но, как только он наклонялся, чтобы напиться, волны убегали от него. Над его головой свешивались сочные плоды, но они поднимались, как только он протягивал руку, чтобы сорвать их.

Жиль Блаз — главный герой известного романа французского писателя XVIII века Лесажа. Роман полон всевозможных приключений. Жиль Блаз то попадает в притон разбойников, то становится врачом, то лакеем, поваром, актером, бродягой, то делается любимым секретарем министра, то попадает в тюрьму.

Вульгарный — грубый, пошлый.

Креветки — особая порода морских раков.

Лорд-мэр — звание ежегодно избираемого в Лондоне главы города. В других городах занимающий эту должность называется просто мэром.

Пантомима — пьеса, где актеры объясняются без слов — жестами и мимикой, то есть выразительной игрой лица.

Лорнет — употребляется вместо очков. Это стекло в оправе, к которой приделана ручка. За эту ручку держат лорнет, когда подносят стекла к глазам.

Сити — так называется в Лондоне старинная деловая часть города где находятся главные банки, конторы, торговые предприятия.

Вавилон — столица древней страны Вавилонии, на реке Евфрате, один из самых больших и богатых городов древнего Востока. Славился своими дворцами, храмами,исячими садами.

Жалюзи — род ставня, состоящего из узких поперечных пластинок. Пластинки эти можно поворачивать. Когда они наклонены под углом, они защищают от солнца и в то же время свободно пропускают свежий воздух.

30

Полпенни — мелкая английская монета, немного больше 2 копеек.

Полугинея — английская золотая монета, немного больше 5 рублей ($10 \frac{1}{2}$ шиллингов).

Обелиск — высокая четырехгранная, суживающаяся кверху колонна.

Стрит — по-английски — улица. Поэтому названия улиц в английских городах обычно оканчиваются на «стрит».

Рейд — часть моря у входа в порт.

Бакен, или бакан, — пловучий знак, который указывает мели или отмечает границы фарватера, то есть водного пути, безопасного для прохода судов.

Херес — белое виноградное вино.

Мор дер — по английски убийца.

Каин — по библейскому преданию, сын первых людей — Адама и Евы, убивший своего брата Авеля.

Триктрак — старинная французская игра вроде шашек, но с бросаньем костей, как при игре в гусёк.

Феб — у древних римлян бог солнца, покровитель искусств (то же, что у греков Аполлон).

Карл I, из дома Стюартов, был английским королем с 1625 года. При нем в Англии произошла революция. Карл был свергнут с престола и в 1649 году казнен.

Аллегория — иносказательное изображение или описание чего-нибудь.

Лорд-канцлер — высшее должностное лицо в Англии, ближайший советник короля, член кабинета министров, председатель Палаты лордов в парламенте.

Франклин — североамериканский государственный деятель и ученый XVIII века. Боролся за независимость Североамериканских штатов. Изобрел громоотвод.

Квакер — последователь религиозной секты, возникшей в Англии в середине XVII века. Квакеры не признавали священников, отказывались от присяги, от военной службы.

Констебль — полицейский в Англии.

Компенсация — вознаграждение за какие-нибудь убытки.

Кентерберийский собор — древнейший собор в Англии, построенный в начале VI века. Сюда стекались богомольцы со всей страны. Архиепископ Кентерберийский — высшее духовное лицо в государстве.

Синдбад-Мореход — герой одной из арабских сказок из собрания «Тысяча и одна ночь».

Раджа — владетельный князь в Индии.

Тромбон — музыкальный духовой инструмент.

Термины — специальные слова и выражения, принятые в различных областях науки, искусства и техники.

Спенсер — вязаная кофточка или фуфайка.

«Будет носить парик...» — В Англии адвокаты и судья во время судебных заседаний носят парик и мантию (длинный широкий плащ).

Экстаз — состояние восторга, возбуждения.

«Юлий Цезарь» — трагедия Шекспира, изображающая последние дни жизни и смерть Юлия Цезаря, знаменитого римского полководца и диктатора. Он был убит в 44 году до нашей эры заговорщиками из республиканской партии.

Стирфорт называет Давида Копперфильда «Дези» (вместо Дэви), а «дези» по-английски значит «маргаритка».

Юпитер — главное божество у древних римлян, отец всех богов, бог неба и земли, грома и молнии, почему его называют «громовержцем».

Фижмы — широкие юбки на обручах из китового уса.

Респектабельность — представительность, благопристойность, умение держать себя с достоинством, внушать к себе почтение.

Рапира — узкая длинная тупая шпага с острым концом.

Фехтование — упражнение в борьбе холодным оружием: на шпагах, рапирах.

Олимпийский — величественный, свойственный богам-олимпийцам.

Астма — болезнь, выражающаяся в припадках удушья.

Макбет — герой шекспировской трагедии того же названия. Это полководец, который занял королевский престол путем ряда убийств. Его преследует тень его жертвы — полководца Банко.

Саркастический — полный горькой, язвительной насмешки.

Иксион — по греческой мифологии, царь народа лапифов. За оскорбление жены Зевса он был жестоко наказан: прикреплен в подземном царстве к вечно вращающемуся огненному колесу.

Тонзура. — У католиков лицам духовного звания выстригают на макушке кружок. Он называется тонзурой и означает отречение от земных интересов.

Монополия — исключительное право на определенные действия, например, на производство каких-нибудь изделий, на торговлю и пр. Монопольные права могут принадлежать государству, организациям и отдельным лицам.

Империял — верх дорожногo экипажа или вагона, с местами для сиденья.

Трельяж — решетка или стенка, обвитая вьющимися растениями.

Сильфиды — сказочные существа, духи воздуха.

Амбразура — в домах так называются оконные ниши, то есть углубления в стене.

Ассортимент — большой выбор разных сортов какого-нибудь товара.

Адмиралтейский суд — суд по морским делам.

Эмблема — условное изображение.

Реверанс — поклон с приседанием, который девочки делали при встрече со взрослыми. Реверанс делали также и взрослые женщины в знак особого почтения.

Энциклопедия — сочинение, в котором даются сведения по всем областям науки, искусства, техники и пр.

Компилятор — тот, кто пишет статью или книгу не самостоятельно, а пользуясь материалами других авторов.

Девиз — краткое изречение, выражающее основное правило, выбранное как руководство в жизни.

В statu quo — по-латыни — в прежнем положении.

Чосер — английский поэт второй половины XIV века. Одно из лучших его произведений — «Кентерберийские рассказы».

Паломники — странники-богомольцы, путешествовавшие по так называемым святым местам.

Лавандовая вода — ароматичная туалетная вода (из растения лаванды).

Гименей — в мифологии древних греков — юный бог брака, спутник богини любви Афродиты.

Френологи — ученые, изучавшие строение черепа и считавшие, что по форме черепа можно узнавать черты характера человека.

«Бросить перчатку», то есть сделать вызов на состязание. Ведет свое начало от средних веков, когда рыцарь, вызывая своего противника на поединок, бросал перед ним перчатку.

Дисконтеры — лица, которые учитывают вексель, то есть покупают вексель до наступления срока его уплаты.

Сибарит — человек изнеженный, живущий в свое удовольствие

Вакх — в мифологии римлян — бог вина и веселья.

Вакханалия — празднество в честь Вакха.